

- [Гарди Томас](#)

○

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной
электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Гарди Томас

Возвращение на родину

Томас Гарди
Возвращение на родину
Перевод О.Холмской
ВСТУПЛЕНИЕ

Дата, к которой следует отнести описанные здесь события, это десятилетие между 1840 и 1850 годами. В это время старинный курорт, названный здесь Бедмутом, сохранял еще отблески того ореола веселья и аристократизма, которым был осенен в георгианскую эпоху, и мог безраздельно пленить романтическую душу и пылкое воображение одинокой обитательницы каких-нибудь более далеких от берега и глухих местностей.

Под общим именем Эгдонской пустоши, которое мы придали сумрачному краю, где разыгрывается действие романа, объединено не меньше десятка подобных же вересковых пустошей, носящих разные названия; они действительно едины по характеру и виду, хотя их первоначальное единство сейчас несколько замаскировано вторжением полос и клиньев с разным успехом возделанной земли или лесных насаждений.

Приятно помечтать о том, что где-то на этом обширном пространстве, юго-западная четверть которого здесь описана, находится и та вересковая степь, по которой некогда блуждал легендарный король Уэссекса - Лир.

Т. Г.
Июль 1895 года
Постскриптум

Чтобы уберечь от разочарования любителей посещать помянутые в литературе места, считаю нужным добавить, что, хотя действие происходит в центральной и наиболее уединенной части всех этих пустошей, слитых, как сказано выше, в одну, некоторые топографические особенности, подобные здесь описанным, встречаются в действительности по ее краю, за много миль к западу от центра. Да и в других случаях мы нередко сближали разбросанные по значительному пространству черты.

В ответ на многочисленные вопросы упомяну также, что имя героини Юстасия - было именем жившей в царствование Генриха IV владелицы мэнора Оуэр-Монь, к каковому приходу относилась и часть той местности, которая в романе описана как Эгдонская пустошь.

Впервые этот роман был опубликован в трех томах в 1878 году.

Т. Г.

Апрель 1912 года

КНИГА ПЕРВАЯ

ТРИ ЖЕНЩИНЫ

ГЛАВА I

ЛИЦО, НА КОТОРОМ ВРЕМЯ ОСТАВЛЯЕТ МАЛО СЛЕДОВ

Ноябрьский день близился к сумеркам, и обширное пространство неогороженной и поросшей вереском и дроком земли, известное под названием Эгдонской пустоши, с каждой минутой становилось все темнее. Высоко над головой легкие беловатые облака сплошь закрывали небо, словно шатер, полом которого была вся бескрайняя вересковая степь.

Небо, затянутое этим бледным пологом, и земля, одетая более темной растительностью, разделялись на горизонте резкой пограничной чертой. И в силу этого контраста вересковая степь казалась достоянием ночи, водворившейся здесь еще раньше, чем наступил ее

астрономический час; здесь внизу, уже сгущался ночной сумрак, тогда как в небе еще невозбранно царил день. Поглядев вверх, поселянин, занятый резкой дрека, склонен был бы продолжать работу; поглядев вниз, он решил бы, что пора увязывать свою вязанку и идти домой. Дальние окраины земли и небосвода, казалось, были разделом во времени не менее, чем разделом в мире вещественном. Лик вересковой пустоши одной своей окраской мог на полчаса приблизить вечер; и точно так же он властен был отдалить рассвет, опечалить полдень, загодя подать весть о едва лишь зарождающихся грозах и непроглядность безлунной ночи обратить в нечто вызывающее жуть и трепет.

Именно этот переломный час перед нисхождением в ночную темь был часом торжества Эгдонской пустоши, когда она облекалась в особую, одной ей присущую красоту - и тот, кто не видал ее в это время, не может утверждать, что сколько-нибудь ее понял. Ее лучше чувствуешь, когда она не слишком отчетливо видна; в сумерки и перед рассветом она сильнее воздействует на человека и свободнее раскрывает себя; тогда и только тогда она расскажет вам свою подлинную повесть. Об Эгдонской степи по справедливости можно было бы сказать, что она в близком родстве с ночью; и при первом же приближении ночи ясно проявлялось их взаимное тяготение. Все это тусклое пространство, с его буграми и впадинами, словно вздымалось и дружественно тянулось к вечерней мгле; вереск источал темноту так же быстро, как небеса ее роняли. И мрак воздуха, и мрак земли сливались в угрюмом братанье, встречая друг друга на полпути.

В этот час Эгдон вдруг оживал, исполняясь чуткого, настороженного вниманья. Когда все остальное никло и клонилось в сон, вересковая степь словно бы пробуждалась и начинала прислушиваться. Каждую ночь ее таинственная ширь, казалось, чего-то ждала; но

уже столько веков ждала она все так же безучастно среди всех свершавшихся в мире переворотов, что поневоле думалось: она ждет единственного последнего переворота - конечного уничтожения.

Те, что любят ее, всегда вспоминают о ней с чувством какой-то умиротворяющей внутренней близости. Улыбчивые долины, цветущие поля и полные плодов сады не вызывают такого чувства, ибо согласуются только с жизнью более счастливой и более окрыленной надеждами, чем наша нынешняя. Из сочетания сумерек и ландшафта Эгдонской степи возникал образ торжественный без суровости, выразительный без показной яркости, властный в своем спокойствии, величавый в своей простоте. Те же свойства, которые фасаду тюрьмы нередко придают достоинство, какого мы не находим в фасаде дворца вдвое большего по размеру, сообщали этой вересковой пустоши величие, чуждое прославленным своей живописностью местам. Смеющиеся пейзажи хороши, когда жизнь нам улыбается, но что, если она нерадостна? Люди гораздо больше страдают от насмешки слишком веселого для их мыслей окружения, чем от гнета чрезмерно унылых окрестностей. Мрачный Эгдон обращался к более тонкому и реже встречающемуся чутью, к эмоциям, усвоенным позже, чем те, которые откликаются на общепризнанные виды красоты, на то, что называют очаровательным и прелестным.

Да и кто знает, не идет ли уже к закату безраздельное господство этого традиционного вида красоты? Не будет ли новой Темпейской долиной какая-нибудь безлюдная пустыня в дальних краях Севера? Мы все чаще находим нечто родственное себе в картинах природы, отмеченных угрюмостью, которая отталкивала людей, когда род человеческий был юным. И, может быть, близко время, если оно еще не

наступило, когда только сдержанное величие степи, моря или горного кряжа будет вполне гармонировать с душевным строем наиболее мыслящих из нас. Так что в конце концов даже для рядового туриста такие места, как Исландия, станут тем, чем для него сейчас являются виноградники и миртовые сады Южной Европы, и он будет равнодушно оставлять в стороне Гейдельберг и Бадей на своем пути от альпийских вершин к песчаным дюнам Схевепингена.

Самый строгий аскет мог бы со спокойной совестью прогуливаться по Эгдонской пустоши; открывая душу таким влияниям, он оставался бы в пределах законных для него удовольствий. Ибо краски столь приглушенные и красоты столь смиренные, бесспорно, принадлежат каждому по праву рождения. Только в самые солнечные летние дни Эгдон озарялся каким-то слабым подобием веселья. Сила была и ему доступна, но источником этой силы бывал не блеск, а сумрак; и высшей своей точки она достигала во время зимних бурь, среди тьмы и туманов. Тогда Эгдон одушевлялся ответным чувством, ибо буря была его возлюбленной и ветер его другом. Тогда его населяли странные призраки; и мы вдруг узнавали в нем прообраз тех диких областей мрака, которые смутно ощущаем вокруг себя в полных снах, где все грозит гибелью и понуждает к бегству. Проснувшись, мы уже никогда о них не думаем, пока такое зрелище, как зимний Эгдон, не воскресит их в памяти.

Но сейчас, в осеннюю пору, Эгдонская пустошь казалась вполне созвучной человеку. В ней не было ничего мертвенного, отпугивающего, уродливого, не было и ничего банального, вялого, обыденного; она была как человек, несправедливо обиженный и терпеливо сносящий пренебрежение; и вместе с тем какая-то грандиозность и таинственность была в ее смуглом однообразии. И так же, как человек, слишком

долго живший вдали от людей, она несла на себе печать отъединения. У нее было одинокое лицо, говорившее о трагических возможностях.

Этот заброшенный, безвестный, темный край упоминается в Книге Страшного суда. Он описан там как дикая степь, поросшая вереском, дроком и терновником - "Бруария". Дальше дается ее длина и ширина в лигах, и хотя точная величина этой старинной меры не установлена, все же из приведенных цифр можно заключить, что площадь Эгдона за все это время не намного сократилась. "Турбария Бруария" - термин, означающий право резать вересковый торф встречается в хартиях, относящихся к тамошнему округу. "Заросшая вереском и мхом" - говорит Леланд об этой пустынной полосе земли.

Это уже ясные указания на характер ее тогдашнего ландшафта достоверные свидетельства, способные удовлетворить исследователя. Каков Эгдон сейчас, таким он был всегда - непокорным и отверженным изгоем. Цивилизация была его врагом; и с тех самых пор, как на земле впервые появилась растительность, он всегда носил одну и ту же древнюю коричневатую одежду, естественный и неизменный покров определенной геологической формации. В его верности этому единственному одеянию как бы заключена сатира на человеческую склонность тщеславиться своими нарядами. На этих вересковых склонах человек в платье современного покроя и расцветки выглядит странно и нелепо. Там, где одежда земли так первобытна, и человека хочется видеть в самых древних и простых одеждах.

В этот промежуток между дном и ночью особенно хорошо было посидеть, прислонясь к терновому пню, в широкой котловине, занимающей середину Эгдонской пустоши. Отсюда взгляд не проникал дальше замыкающих кругозор гребней и скатов, и мысль, что

все вокруг и под ногами с доисторических времен оставалось столь же неизменным, как звезды над головой, служила своего рода балластом для сознания, расколебленного волнами перемен и натиском неугомонной новизны. В этой от века нетронутой земле чувствуешь такое постоянство и такую древность, на какую даже море не может притязать. В самом деле, можно ли о каком-нибудь отдельном море сказать, что оно древнее? Солнце испаряло его, луна месила его, как тесто, оно обновлялось с каждым годом, с каждым днем, даже с каждым часом. Моря сменялись, поля сменялись, реки, деревни, люди сменялись, но Эгдон пребывал. Его горы были не настолько круты, чтобы подвергаться выветриванию, его низины не настолько плоски, чтобы на них могли отлагаться паводочные наносы. За исключением старой проезжей дороги и еще более старого кургана, о которых еще будет речь и которые за долговременное свое существование сами словно бы откристаллизовались и стали продуктом природы, все прочие, даже небольшие неровности почвы, были произведены здесь не киркой, плугом или лопатой и возникли не на памяти людской, но сохранялись издревле как доподлинные отпечатки пальцев последнего геологического переворота.

Упомянутая проезжая дорога пересекала сравнительно низменную часть Эгдона от одного края горизонта до другого. Местами она накладывалась на старинный проселок, отходивший где-то невдалеке от Великого западного пути римлян, известного в истории как Виа-Икениана, или Айкенилд-стрйт. Добавим еще, что в тот вечер, о котором пойдет рассказ, хотя сумрак и стирал уже менее резкие черты эгдонского ландшафта, белая лента дороги была видима почти так же ясно, как днем.

ГЛАВА II

НА СЦЕНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК И С НИМ ТРЕВОГИ

По дороге шел старик - белоголовый, как гора, согбенный в плечах и весь какой-то поблекший. На нем была клеенчатая шляпа, старый бушлат с якорями на медных пуговицах, башмаки. В руке он держал трость с серебряным набалдашником, которой пользовался, как настоящей третьей ногой, на каждом шагу тыча ею в землю, так что позади оставался частый пунктирный след. С первого же взгляда всякий признал бы в нем бывшего морского офицера.

Перед ним простиралась длинная томительная дорога, сухая, безлюдная, белая. Она ничем не отделялась по бокам от примыкающего к ней вереска и прорезала всю эту обширную темную равнину, как узкий пробор на черноволосой голове, сужаясь постепенно и чуть загибаясь к далекому горизонту.

Старик часто всматривался в даль, как бы измеряя расстояние, которое ему еще предстояло пройти. Под конец он различил далеко впереди движущуюся точку, - очевидно, какой-то экипаж, ехавший в том же направлении, куда и старик держал свой путь. То был единственный атом жизни во всей этой темной, немой степи и только подчеркивал ее пустынную. Он двигался медленно, и старик мало-помалу нагонял его.

Приблизившись, он увидел, что это фургон, обыкновенный по форме, но совершенно необычный по цвету, так как весь он был зловеще-красный. Возница шел рядом, и он тоже, как и его фургон, весь был красный с головы до ног. Одна и та же густая краснота без всякой разницы в оттенках покрывала его одежду, шапку на голове, башмаки, лицо и руки. И это была не случайная, временно наложенная окраска - он был ею пропитан.

Старик понял, что это значит. Перед ним был охряник - разъездной торговец, снабжавший окрестных фермеров охрой для их овец. Представители этой быстро вымирающей в Уэссексе профессии занимают в

современном сельском мире такое же место, какое за последнее столетие дронг занимал в мире животном. Любопытное и сейчас уже почти утерянное звено между отживающими формами быта и теми, что приходят им на смену.

Дряхлый моряк наконец поравнялся с ним и поздоровался. Охряник повернул голову и отвечал ему тем же, но как-то рассеянно и невесело. Он был молод, и, как ни портила его странная окраска, все же, взглядевшись в его лицо, никто бы не усомнился, что в естественном своем виде оно было красиво. Глаза его, так странно высматривавшие из багровой маски, сами по себе были очень хороши - пронзительные, как у хищной птицы, и синие, как осенний туман. Он не носил ни усов, ни бороды, и ничто не скрывало мягких очертаний его рта и подбородка. Губы у него были тонкие и сейчас крепко сжатые, словно он о чем-то неотступно думал, но в уголках иногда шевелилась затаенная улыбка. Одет он был в плотно облегающий плисовый костюм хорошего покроя и отличного качества, не слишком поношенный, хотя и утративший свой первоначальный цвет от постоянного соприкосновения с краской. Эта удобная для работы и ловко сидящая одежда выгодно оттеняла его статную фигуру. Да и вообще что-то в его манерах и облике говорило о благосостоянии, - очевидно, для своего положения он был далеко не беден. И, глядя на него, всякий невольно задавал себе вопрос: зачем же было этому столь одаренному природой существу избирать занятие, при котором все его внешние достоинства оставались скрытыми?

Ответив на приветствие старика, он не обнаружил склонности продолжать разговор, и хотя старший путник не отставал, видимо, наскучив одиночеством, оба теперь шли молча. Кругом нависла тишина - слышен был только свист ветра над рыжеватой травянистой

порослью, скрип колес на дороге, шорох шагов обоих путников да топот копыт двух косматых лошадок, тащивших фургон. Это были низкорослые выносливые лошадки, помесь галовейской и экзетерской пород - в наших краях их называют вересковыми стригунами.

Время от времени охряник покидал своего спутника и, зайдя за фургон, заглядывал внутрь через маленькое оконце. Вид у него всегда был при этом тревожный и озабоченный. Потом он возвращался к старику, тот делал какое-нибудь замечание о погоде или состоянии пустоши, охряник отвечал все так же рассеянно, и снова оба умолкали. Они не испытывали неловкости от этого молчания; в таких пустынных местах случается, что путники после первых приветствий проходят бок о бок целые мили, не обмениваясь ни словом; простое соседство для них равносильно безмолвному разговору, потому что соседство это не вынужденное, как то часто бывает в городах: ему в любой момент может быть положен конец, и обоюдная готовность его сохранить уже сама по себе есть общение.

Эти двое, возможно, так и не заговорили бы до самого расставанья, если бы охряник не наведывался так часто в свой фургон. Когда он в пятый раз вернулся к старику, тот спросил:

- У вас там еще что-то есть, кроме товара?

- Да.

- Кто-то, за кем нужно присматривать?

- Да.

Невдолге после этого из фургона послышался слабый крик. Охряник поспешил к оконцу, заглянул и отошел.

- Ребенок у вас там, что ли?

- Нет, сэр. Женщина.

- Вон что! Чего же это она кричит?

- Да, видите, заснула она, а к езде непривычная, так и сон у нее беспокойный. Приснилось, наверно, что-

нибудь.

- Молодая она?

- Да. Молодая.

- Сорок лет назад меня бы это заинтересовало. Может, она ваша жена?

- Жена! - с горечью сказал охряник. - Нет, она не для таких, как я. Но я не вижу, почему я должен вам про это рассказывать.

- Верно. Но почему бы и нет? Что я плохого могу сделать вам или ей?

Охряник долгим взглядом посмотрел в лицо старику.

- Что ж, сэр, - сказал он наконец, - я, правда, знал ее и раньше, хоть, может, лучше было бы не знать. Но она мне никто, и я ей никто, и она не была бы в моем фургоне, кабы там нашелся для нее экипаж получше.

- Где это, можно спросить?

- В Энглбери.

- А, я хорошо знаю этот городок. Что она там делала?

- Да ничего такого, чтобы нам ее пересуживать. В общем, устала она до смерти, да и нездоровится ей, от этого она такая беспокойная. Час назад задремала, авось теперь ей полегчает.

- И красивая девушка, наверно?

- Пожалуй, что и красивая.

Старик с любопытством поглядел на оконце и, не отрывая от него глаз, спросил:

- Можно мне взглянуть?

- Нет, - коротко ответил охряник. - Уже темнеет, вы все равно не увидите, да, кроме того, я и права не имею вам разрешать. Сейчас она, слава богу, крепко спит, - хорошо бы, до самого дома не проснулась.

- Да кто она такая? Из местных кто-нибудь?

- Не важно кто, сэр, простите.

- Уж не та ли девушка из Блумс-Энда, о которой у нас в последнее время столько говорили? Если так, то я ее знаю и догадываюсь, что случилось.

- И это тоже не важно... Извините, сэр, боюсь, теперь нам придется расстаться. Мои лошадки притомились, а ехать еще далеко, хочу дать им часок отдохнуть вон под тем пригорком.

Старший путник равнодушно кивнул, и охряник завернул лошадей и фургон в сторону от дороги, пожелав старику доброй ночи. Тот ответил ему таким же пожеланием и продолжал свой путь.

Охряник долго смотрел ему вслед, пока фигура старика не превратилась в крохотное пятнышко и не растаяла в сгущавшейся вечерней мгле. Потом он достал сена из охапки, привязанной под фургоном, насыпал кучку перед лошадьми, а остальное положил возле фургона и сам уселся на эту подстилку, прислонясь к колесу. Из фургона слышалось теперь тихое, ровное дыхание. Это, по-видимому, его успокоило, и он стал раздумчиво оглядываться по сторонам, как бы соображая, какой следующий шаг ему предпринять.

В этот сумеречный час в эгдонских долинах только так и можно было что-нибудь делать - постепенно, обдуманно, шаг за шагом, потому что в самой пустоши в это время проявлялось что-то похожее на медлительное, осторожное, полное колебаний раздумье. Таково было свойство объемлющего ее в этот час покоя. Это не был абсолютный покой неподвижности, а только мнимый покой невероятно медленного движения. Здесь была здоровая жизнь, внешне сходная с оцепенением смерти, застылость пустыни и одновременно такая полпота сил, какая свойственна разве только цветущему лугу или даже лесу, - любопытнейшее в своем роде явление; и в тех, кто о нем думал оно порождало ту утонченную

внимательность, которая отличает обычно людей сдержанных и осторожных.

С того места, где сидел охряник, открывался широкий вид на уходившие вдаль склоны - почва постепенно, уступами и грядами, поднималась от уровня дороги к нагорью в глубине пустоши. Тут были увалы и лощины, гребни и отроги - они громоздились один за другим, и все завершалось высоким холмом, ясно рисовавшимся на еще светлом небе. Взгляд путника некоторое время блуждал по всем этим неровностям и наконец остановился на самой примечательной из них. Это был курган. Круглый и выпуклый, резко отделяясь от окружавшей его гладкой взлобины, он венчал собой самую высокую и самую одинокую вершину всего нагорья. Хотя снизу, из долины, он казался всего лишь бородавкой на челе Атланта, действительные его размеры были довольно велики. Он служил как бы полюсом и осью всего этого одетого вереском мира.

Отдыхавший путник, все еще глядя на курган, заметил вдруг, что на его вершине, до сих пор составлявшей наивысшую точку всего нагорья, возвышается еще что-то. Маленькая человеческая фигура венчала полукруглый бугор, как острие шлема. И такой древностью, таким далеким прошлым веяло здесь от всего окружающего, что одаренный фантазией наблюдатель, пожалуй, склонен был бы увидеть в этой фигуре одного из тех кельтов, которые возвели этот курган. Казалось, последний из их парода еще медлил там в раздумье, задержавшись на миг, перед тем как кануть в вечную ночь вместе со всем своим племенем.

Он стоял там, этот неведомый человек, недвижимый, как холм у него под ногами. Над равниной возвышался холм, над холмом - курган, над курганом эта фигура. А над ней - уже только то, что могло быть нанесено на небесную карту.

Такую совершенную, изящную и необходимую законченность придавала эта фигура темному нагромождению холмов, что казалось, именно она связывает их очертания воедино. Без нее это был бы купол без фонаря верхнего света, с ней архитектурные требования были удовлетворены. Во всем этом ландшафте была какая-то удивительная однородность. Долина, нагорье, курган и фигура на нем составляли неразрывное единство. Обратив взгляд на то или другое в отдельности, вы сразу понимали, что перед вами не целое, а всего лишь осколок.

Эта фигура так органично выростала из увенчанного ею холмистого массива, что, шевельнись она, это показалось бы совершенно невероятным. Неподвижность была характернейшей чертой того стройного целого, в которое она входила как часть, и нарушение неподвижности в какой-либо из его частей, казалось, должно было тотчас же превратить его в хаос.

Однако именно это и произошло. Фигура заметно двинулась, переместилась в сторону на шаг либо два, повернулась. словно чем-то испугнутая, она соскользнула по правой закраине кургана, как дождевая капля по бутону, и исчезла. При движении отчетливее обрисовались ее контуры, и стало ясно, что это женщина.

Причина ее внезапного бегства тут же объяснилась. Едва она исчезла с правой стороны, как с левой возник на фоне неба темный силуэт человека с ношей на плечах. Он поднялся по склону и сложил свою ношу на вершине кургана. За ним появился другой, третий, четвертый, пятый, и вскоре весь курган был усеян фигурами с ношей на плечах.

Из этой пантомимы китайских теней можно было понять, что женщина, стоявшая здесь раньше, не имела отношения к тем, кто занял ее место, она даже

избегала встречи с ними, и цель у нее, очевидно, была иная. Но эта исчезнувшая одинокая фигура больше говорила воображению, чем пришедшие ей на смену, она казалась более интересной и значительной, как будто таила в себе историю, которую стоило узнать, и новые пришельцы были тут всего лишь досадной помехой. Однако они остались и, судя по всему, расположились надолго, а та, кто до сих пор была царицей одиночества, видимо, пока что не собиралась вернуться.

ГЛАВА III МЕСТНЫЙ ОБЫЧАЙ

Если бы наблюдавший все это путник находился возле самого кургана, он распознал бы в этих людях поселян - взрослых мужчин и мальчиков - из соседних деревень. Каждый, поднимаясь по склону, нес четыре больших вязанки дрока - две спереди, две сзади, что достигалось с помощью двух длинных, положенных на плечи палок, на заостренные концы которых и были наткнуты эти вязанки. Все это они тащили на себе добрую четверть мили, из дальней части пустоши, заросшей почти исключительно дроком.

За такими огромными вязанками человека даже не было видно, пока он не сбрасывал ношу, - казалось, идет куст на двух ногах. Двигались они гуськом, в том же порядке, как овцы в стаде, то есть старшие и более сильные впереди, те, что помоложе и послабее, - сзади.

Наконец, все вязанки были сложены, и на макушке кургана - он на много миль кругом был известен под прозвищем Дождевого кургана - выросла пирамида из дрока в тридцать футов окружностью. Теперь одни готовили спички и выбирали самые сухие пучки дрока, другие распутывали плети ежевики, которыми были скреплены вязанки. А кое-кто, пока шли эти приготовления, посматривал по сторонам, озирая обширное пространство, открывавшееся с этой высоты

и уже тонувшее во мраке. В эгдонских долинах ничего не увидишь вокруг, кроме угрюмого лика самой пустоши, - здесь же кругозор был так широк, что охватывал и окрестные села, лежавшие за пределами Эгдона. Ничего в отдельности сейчас уже нельзя было разглядеть, но все вместе ощущалось как смутные, затаившиеся в темноте дали.

Пока мужчины и мальчики готовили костер, в тех уплотнениях тьмы, которыми обозначались эти дальние селения, произошла перемена. Там и сям стали вспыхивать маленькие красные солнца и хохолки света, пестря огнями темную равнину. То были костры в других приходах и деревнях, где люди тем же способом отмечали праздник. Одни костры, очень далекие и зажженные в сырых низинах, глухо просвечивали сквозь туман, так что видны были только расходящиеся веером бледные лучи, похожие на пук соломы; другие, близкие и яркие, кроваво рдели, как раны на черной шкуре. Были среди них Менады с багровыми от вина лицами и развевающимися волосами. Эти бросали отсветы на молчаливое лоно облаков и, озаря разверстые в нем воздушные пещеры, превращали их в кипящие котлы. Во всей округе можно было насчитать до тридцати костров, и так же, как при плохом свете можно по положению стрелок на циферблате узнать час, хотя цифры и неразличимы, так и люди на холме по направлению и углу безошибочно определяли, в какой деревне горит костер, хоть самой деревни и не могли видеть.

Высокий огненный язык внезапно взвился над Дождевым курганом, и все, кто еще смотрел на дальние чужие костры, поспешили вернуться к тому, который был создан их собственными стараниями. Веселое пламя расписало золотом внутреннюю сторону этого людского круга, пополнившегося теперь еще новыми запоздалыми пришельцами, мужчинами и женщинами,

и даже на темный вереск позади них набросило дрожащее сияние, которое редело и гасло там, где бока кургана закруглялись и уходили вниз. Стало видно, что курган представляет собой половинку шара, такую же аккуратную, как в тот день, когда его только что насыпали; сохранилась даже кольцевая канавка на том месте, откуда брали землю. Плуг никогда не тревожил этой скудной почвы. В ее негодности для фермера таилось ее богатство для историка. Ничто тут не было стерто, потому что не было ухожено.

Люди, озаренные пламенем костра, как будто стояли в каком-то верхнем ярусе мира, отдельном и независимом от темноты внизу. Со всех сторон их окружала бездна - так чудилось им оттого, что взгляд, привыкший к свету, не проникал в эти черные глубины. Иногда, правда, случалось, что взревевшее с внезапной силой пламя забрасывало туда быстрые отблески, словно высылало разведчиков в неведомую страну, и тогда какой-нибудь куст на дальнем склоне, озерцо, участок белого песка на миг ответно вспыхивал таким же красноватым огнем, а затем снова все терялось во мраке. Тогда казалось, что вся эта нижняя бездна - это преддверие Ада, такое, каким узрел его в своих видениях божественный флорентиец, когда заглянул туда, склонившись над краем; и в бормотании ветра по лощинам слышались жалобы и мольбы "могучих душ", обреченных вечно парить там в пустоте.

Эти мужчины и мальчики из соседней деревни словно бы вдруг нырнули в глубь столетий и вынесли оттуда какой-то завет седой древности, ибо то, что они сейчас делали, уже не раз вершилось в этот же час и на этом месте. Пепел от жертвенных огней древних бриттов еще лежал, чистый и нетронутый, под темным дерном кургана. Погребальные костры более поздних лет точно так же бросали отсветы на окрестные низины. Празднества в честь Тора и Одина пришли им

на смену и отсняли в положенное время. Теперь уж можно считать установленным, что в этих осенних кострах, одним из которых наслаждались сейчас поселяне, следует видеть прямое наследие друидических ритуалов и саксонских похоронных обрядов, а вовсе не воспоминание народа о Пороховом заговоре.

А кроме того, осенью всякого тянет разжечь костер. Это естественное побуждение человека в ту пору, когда во всей природе прозвучал уже сигнал гасить огни. Это бессознательное выражение его непокорства, стихийный бунт Прометея против слепой силы, повелевшей, чтобы каждый возврат зимы приносил непогоду, холодный мрак, страдания и смерть. Надвигается черный хаос, и скованные боги земли возглашают: "Да будет свет!"

Яркие блики и черные как сажа тени, падая на лица и одежду стоявших вокруг людей, придавали всей этой сцене чисто дюреровскую резкую выразительность. Но уловить подлинный склад каждого лица, так сказать, его постоянный нравственный облик, было невозможно, - быстрые языки пламени взвивались, кивали, разлетались в воздухе, пятна теней и хлопья света беспрестанно меняли место и форму. Все было неустойчиво - трепетно, как листва, и мимолетно, как молния. Впадины глазниц, только что глубокие и пустые, как в голом черепе, вдруг до краев наливались блеском; худая щека миг назад была темным провалом, теперь она сияла, изменчивый луч то углублял морщины, то совершенно их сглаживал. Ноздри казались черными колодцами, жилы на старческой шее - позолоченным лепным орнаментом, то, что по природе своей было лишено лоска, вдруг покрывалось глазурью, а блестящие предметы, например, серп для резки дрека в руках у одного из поселян, становились прозрачны, как стекло; глаза вспыхивали, словно фонарики. Те,

кого природа наделила сколько-нибудь необычной внешностью, превращались в уродов, уроды в чудовищ, ибо все было доведено до крайности.

Возможно поэтому, что лицо старика, которого веселый огонь тоже выманил на вершину, вовсе не состояло из одного только носа и подбородка, как это казалось. Он стоял у самого костра, нежась в тепле, словно у печки, и длинным пастушеским посохом подгребал в огонь разбросанные вокруг остатки хвороста. Иногда он поднимал глаза, измеряя высоту пламени и следя за полетом искр, которые тоже взвивались вверх в токе горячего воздуха и уплывали в темноту. Яркий свет и оживляющее тепло мало-помалу привели его в веселое настроение, а потом и в восторг. С посохом в руке он принялся в одиночку выплясывать жигу, отчего гроздь медных печаток на цепочке, свисавшей из-под его жилета, сверкала и раскачивалась, как маятник. Он даже затянул песню - хлипким тоненьким голоском, похожим на жужжание пчелы в дымоходе.

Пойду я к королеве, граф,
Войду в ее покои
И исповедую ее,
И ты пойдешь со мною.
Надень монашеский наряд,
И я надену тоже,
И к королеве мы с тобой
Войдем, как люди божьи.

Но на втором куплете он задохнулся, и песня оборвалась. Это привлекло внимание плотного мужчины средних лет, который стоял у костра, прочно утвердившись на толстых ногах и крепко вжав, в щеки опущенные книзу углы рта, словно желая отвести от себя малейшее подозрение в склонности к подобному же легкомыслию.

- Славная песня, дедушка Кентл, - проговорил он, обращаясь к морщинистому весельчаку, - да только не под силу твоим стариковским легким. Что, дед, небось хочется, чтоб тебе опять было три раза по шесть, как тогда, когда ты только учил эту песню?

- А? Чего? - отозвался дедушка Кентл, прекращая пляску.

- Я говорю, хотел бы ты снова стать молодым? А то нынче, похоже, в мехах у тебя дырка. Голосу-то уж нету!

- Зато умение есть. Вот кабы не умел я спеть да сплясать, ну, тогда был бы я не моложе самого старого старика. А так я еще молодцом, а, Тимоти?

- Ну, а как наши новобрачные - там, в гостинице "Молчаливая женщина"? осведомился его собеседник, указывая на тусклый огонек, светившийся в низине за большой дорогой, но на порядочном расстоянии от того места, где сейчас отдыхал охряник. - Правда ли, нет ли, что у них что-то не заладилось? Ты бы должен знать, ты же человек толковый.

- Хоть малость и гуляка? Есть такой грешок, всегда за мной водился. Да это беда небольшая, сосед Фейруэй, с годами пройдет.

- Я слышал, они хотели сегодня вернуться. Сейчас уж, наверно, дома. А дальше ничего не знаю.

- Так надо бы пойти их поздравить!

- И совсем это ни к чему.

- Да отчего же, пойдём! Я-то уж непременно пойду. Где веселье, там я первый!

Твоим приказам, мой король,

Я повинуюсь свято,

Но королева пред тобой

Ни в чем не виновата.

- Я вчера встретил миссис Ибрайт, невестину тетку, и она мне сказала, что ее сын, Клайм, приезжает домой на рождество. Ох, и дошлый парень этот Клайм!

Ученый! Мне бы столько всего знать, сколько у него в голове припрятано! Ну, я поболтал с ней, шуточку отпустил одну-другую, как водится, а она посмотрела на меня и говорит: "Господи, говорит, на вид-то какой почтенный, а послушать - дурень!" Да мне-то что, я ей так и сказал, я, мол, твои слова ни во что не ставлю, вот тебе! Ловко я ее отбрил, а?

- По-моему, это она тебя отбрила, - сказал Фейруэй.

- Да что ты! - испуганно откликнулся дедушка Кентл, сразу потеряв весь свой апломб. - Это что ж, по-твоему, выходит, я такой и есть, как она сказала?..

- Выходит, что так. А Клайм, стало быть, из-за этой свадьбы и приезжает? Чтобы мать не оставалась одна в доме?

- Ну да, ну да, из-за этого. Нет, а ты послушай, Тимоти! Я, правда, шутник, все знают, да ведь могу и по-серьезному разговаривать. Хочешь, все тебе расскажу про эту парочку? Вот послушай. Они, точно, сегодня утром в шесть часов в город поехали венчаться, и больше уж их никто не видал, да небось к вечеру воротились, и теперь уже мужчина и женщина, - то есть, тьфу! - муж и жена. Что, разве плохо я рассказал? И разве не видишь теперь, что миссис Ибрайт ошиблась?

- Да ладно уж, хорош! А я и не знал, что они опять за прежнее взялись даром что мать ей запретила... И давно это у них сызнова пошло? Ты не знаешь, Хемфри?

- Да! Давно ли? - с важностью спросил дедушка Кентл, тоже поворачиваясь к Хемфри. - Отвечай-ка!

- А с тех самых пор, как ее мать, то бишь тетка, передумала и сказала, пусть, мол, уже выходит за него, коли ей охота, - отвечал Хемфри, не отрывая глаз от огня. Это был несколько мрачный молодой человек, очевидна промышлявший резкой дрока, потому что под мышкой у него был серп, на руках кожаные перчатки, а на ногах толстые краги, твердые, как медные поножи

филистимлянина. - Оттого, наверно, они и решили обвенчаться в другом приходе. А то миссис Ибрайт столько тогда шуму наделала, в церкви-то во время оглашения, смешно было бы после этого тут же у нас свадьбу устраивать.

- А конечно, смешно, да и тем-то бедняжкам вроде как стыдно, - это я, впрочем, так, догадываюсь, а там кто их знает, - рассудительно заметил дедушка Кентл, все еще стараясь сохранить солидный вид и осанку.

- Да, я сам был в тот день в церкви, - сказал Фейруэй. - Чудно, а? Я ведь нечасто туда хожу.

- Где уж нам часто ходить, - с жаром подхватил дедушка Кентл. - Я все лето собирался, а теперь зима на носу, так уж вряд ли соберусь.

- Я три года не бывал, - сказал Хемфри. - По воскресеньям больно спать хочется, а идти далеко, да еще раздумаешься - ну, положим, я потружусь, схожу, так неужто за это меня допустят в царствие небесное, когда столько не допускают, ну и останешься дома и никуда не пойдешь.

- А я вот был, - с твердостью заявил Фейруэй, - и не только был, а еще и сидел на одной скамье с миссис Ибрайт. И хотите - верьте, хотите - нет, а у меня кровь застыла в жилах, когда я услышал, что она говорит. Да, прямо кровь застыла, вот как! Я же сидел с ней рядом. - Рассказчик оглядел присутствующих, теперь подошедших ближе, чтобы послушать, и еще плотнее, чем всегда, сжал губы, как бы подчеркивая этим строгую точность своего описания.

- Ах, страсти!.. - вздохнула какая-то женщина сзади.

- Только что пастор сказал: "Если есть возражения против этого брака, заявите", - продолжал Фейруэй, - как вдруг встает женщина рядом со мной, у самого моего локтя. "Будь я проклят, коли это не миссис Ибрайт", - говорю я себе. Да, соседи, даром что в храме божьем, а именно так я сказал. Сами знаете, нет у меня

такой повадки, чтобы клясться и ругаться, и которые тут есть женщины, пусть сейчас на меня не обижаются. Но что я сказал, то сказал, скрывать не хочу, - ведь если б я скрыл, это была бы ложь.

- Верно, верно, сосед Фейруэй.

- "Будь я проклят, коли это не миссис Ибрайт", - говорю я себе, повторил рассказчик, непреклонной строгостью лица и тона показывая, что повторение вызвано исключительно необходимостью, а отнюдь не желанием посмаковать кощунственные слова. - И вдруг слышу, она говорит: "Я запрещаю этот брак!" - "Хорошо, мы с вами поговорим после службы", - отвечает пастор, да так спокойно, совсем по-домашнему, будто и не священник, а простой человек, и святости в нем не больше, чем во мне или в вас. А она стоит, - ни кровинки в лице. Может, помните, в Уэзербери в церкви есть памятник - солдат сидит, ногу на ногу положил? Еще мальчишки у него нос отбили? Вот и она такая же была белая, когда сказала: "Я запрещаю этот брак!"

Слушатели прокашлялись и подбросили хворостинок в огонь, - не потому, что в том была надобность, но чтобы дать себе время извлечь мораль из этого рассказа.

- А я, как узнала, что им нельзя пожениться, так-то обрадовалась, словно мне шестипенсовик подарили, - слышался робкий голос. Это говорила Олли Дауден, бедная женщина, кормившаяся тем, что вязала на продажу веники и метлы из вереска. Она всегда была вежлива и с друзьями и с недругами, признательная всему миру уже за одно то, что ей позволяли оставаться в живых.

- А теперь она все равно за него вышла, - сказал Хемфри.

- После того, как миссис Ибрайт передумала и дала согласие, - закончил Фейруэй с независимым видом, как будто его слова были не просто повторением того, что

еще раньше сказал Хемфри, но плодом его собственных размышлений.

- Ну, пусть даже им стыдно, а я все ж таки не понимаю, почему было не сыграть свадьбу здесь, у нас, - сказала дебелая женщина, у которой корсет скрипел, словно высохшие ботинки, всякий раз, как она поворачивалась или наклонялась. - Плохое ли дело - собрать соседей да повеселиться, хоть об рождество, хоть на свадьбе. Другой бы рад был угождение людям сделать, а эти на-ка, все тайком да втихомолку. Не люблю этаких скрытных.

- А я, хотите верьте, хотите нет, не люблю веселых свадеб, - веско заявил Тимоти Фейруэй, снова обводя строгим взглядом присутствующих. - И, признаться, не осуждаю Томазин Ибрайт и соседа Уайлдива за то, что они все тишком проделали. Ведь свадьба это что значит? То тебе жига, то рил, хочешь не хочешь, а становись в круг. А ногам-то оно накладно, когда тебе уже за сорок.

- Да уж на свадьбе не откажешься, надо же отплатить хозяевам за угощение!

- На святках пляши, потому что раз в году, на свадьбах пляши, потому что раз в жизни. Даже на крестинах, ежели по первому либо по второму ребенку, так и то норвят один-два рила всунуть. А сколько еще петь приходится!.. Нет, по мне, всего лучше хорошие похороны. Угощенье не бедное, чем на свадьбе, а то и побогаче. А ногам покойнее. Посидеть за столом да потолковать об усопшем - это же не то что хорнпайп отхватывать!

- А потанцевать на похоронах, значит, никак нельзя? Пожалуй, люди скажут, это, мол, уж, значит, чуток перестараться, как ты считаешь, Тимоти? - любознательно осведомился дедушка Кентл.

- Да, только там может степенный человек без опаски смотреть, как кувшин ходит вкруговую.

- Не понимаю все-таки, как Томазин Ибрайт на такую скарედность согласилась, - начала снова Сьюзен Нонсеч, дебелая толстуха, возвращаясь к своей прежней теме. - Ведь какая девушка хорошая, совсем как барышня, а свадьба - ну хуже, чем у голытьбы последней! Да и жених-то - разве бы ей такого надо? Только и есть в нем, что из себя пригляден.

- Э, нет, не скажи, он парень ловкий, а по учености, пожалуй, самому Клайму Ибрайту не уступит. Не к тому его готовили, чтоб в трактире стоять за стойкой. Вы же знаете, он инженером был, да сбился с пути, так, чтобы с голоду не пропасть, а взял за себя эту гостиницу. Ученье впрок не пошло!

- Ох, это часто бывает, - вздохнула Олли, та смиренница, что вязала метлы. - А все ж таки учатся все, да и выучиваются. Посмотришь на иного, раньше, хоть ты его режь, не сумел бы кружочка на бумаге вывести, а теперь, гляди-ка, уже фамилию свою подписывает, и перо у него не брызнет, даже, бывает, кляксы ни одной не посадит. Да что - стол даже ему не надобен, чтобы локти разложить и животом упереться, - так, стоя, и пишет!

- Это верно, - сказал Хемфри. - До чего народ стал полированный!

- Да хоть меня взять, - подхватил дедушка Кентл. - Пока не пошел я в ополчение в восемьсот четвертом году, не послужил в солдатах, так такой же был телепень, как вы все. А теперь меня хоть куда поверни, нигде не оплошаю!

- Да, кабы ты годился еще в женихи, - сказал Фейруэй, - так теперь-то сумел бы расписаться в церковной книге. Не то что наш Хемфри, он-то насчет грамоты по отцу пошел. Помню, Хем, когда я женился, только взял я перо, гляжу, строчкой выше крест наляпан - зда-аровый, руки в стороны, как у чучела, это твои родители как раз перед нами венчались, и отец,

стало быть, свой знак поставил. Ох, и страшный был крест, черный, голенастый, ни дать ни взять твой батюшка. Не выдержал я, прыснул со смеху, хоть еле дышал от жары, - запарился я с этой свадьбой, а тут еще жена на руке виснет, а Джек Чангли с ребятами в окошко на нас таращатся, зубы скалят. Да тут же подумал я, что вот ведь они и недавно женились, а уже чуть не каждый день ругаются, а теперь я, дурак, в такую же кашу лезу, так, верите ли, в озноб кинуло!.. Да-а, это был денек!

- Уайлдив и годами постарше Томазин Ибрайт. А она к тому ж и собой хороша. Молодой девушке такому человеку на шею бросаться - это уж надо совсем дурой быть.

Эту тираду произнес недавно подошедший к костру торфяник; он держал на плече широкую сердцевидную лопату - обычное орудие торфореза, - и в отблесках от костра ее наостренный край сверкал, как серебряный лук.

- Сотня к нему прибежит, только бы кликнул, - проворчала толстуха.

- А ты, сосед, видал когда-нибудь мужчину, за которого бы ни одна женщина не пошла? - спросил Хемфри.

- Я? Нет, не видал, - ответил торфяник.

- Ни я, - сказал кто-то.

- Ни я, - сказал дедушка Кентл.

- А я вот видал, - изрек Тимоти Фейруэй, еще тверже упираясь ногой в землю. - Знавал я такого. Но только одного, заметьте. - Он громогласно прокашлялся, как будто опасался, что слова его могут не дойти до слушателей из-за неясности произношения. - Да, я знавал такого человека, - повторил он.

- И что же это было за чучело такое несчастное? Урод, что ли, какой или калека? - спросил торфяник,

- Зачем калека? Не слепой он был и не глухой или там немой. А кто таков, не скажу.

- У нас его знают? - спросила Олли.

- Наверяд ли, - сказал Тимоти. - Да я имен не называю... Эй, там, ребятки! Подбросьте-ка еще сучьев в огонь!

- А чего это у Христиана Кентла зубы стучат? - спросил молодой паренек из дыма и колыхающихся теней по ту сторону костра. - Прозяб, Христиан?

Тонкий невнятный голос ответил:

- Да нет, я ничего.

- Иди сюда, Христиан, покажись. Я не знал, что ты здесь, - милостиво сказал Фейруэй, обращая сострадательный взгляд в ту сторону, откуда был слышен голос.

В ответ на это приглашение из дыма возник тощий, узкоплечий парень, с жидкими, бесцветными волосами, одетый словно бы не по росту, - из рукавов торчали длинные костлявые руки, из штанин такие же длинные и костлявые лодыжки. Он нерешительно сделал два шага вперед, потом - очень быстро - еще пять-шесть шагов, уже не по своей воле, а подтолкнутый кем-то сзади. Это был младший сын дедушки Кентла.

- Чего ты дрожишь, Христиан? - добродушно спросил торфяник.

- Я - этот человек.

- Какой?

- За которого ни одна женщина идти не хочет.

- Вот те на! - сказал Тимоти Фейруэй, выкатывая глаза, чтобы лучше обозреть всю длинную фигуру Христиана. Дедушка Кентл тоже уставился на сына, как курица на высиженного ею утенка.

- Да, это я. И я очень боюсь, - пролепетал Христиан. - Не повредит это мне, а? Я всегда говорю, что мне наплевать, божусь даже, а на самом деле совсем мне не

наплевать, иной раз такой страх нападет, не знаешь куда деваться.

- Ах, чтоб тебе, вот ведь чудно! - сказал Фейруэй. - Я же совсем не про тебя думал. Выходит, в наших краях еще один есть! Да зачем тебе было признаваться, Христиан?

- А что ж делать, коли оно так? Я же не виноват? - Он обратил к ним свои неестественно круглые глаза, обведенные, как на мишени, концентрическими кругами морщинок.

- Это-то конечно. А все ж таки радости мало, меня прямо мороз подрал по коже, когда ты про это сказал, - я думал, только один есть такой горемыка, а оказывается, двое! Плохо твое дело, Христиан. Да ты почему знаешь, что они бы за тебя не пошли?

- А я к ним сватался.

- Ишь ты! Вот бы уж не подумал, что у тебя хватит смелости. И что же последняя тебе сказала? Может, не так страшно, удастся еще ее уломать?

- "Убирайся прочь с глаз моих, дурак трухлявый", - вот какие были ее слова.

- М-да! Не обнадежила! "Убирайся прочь с глаз моих, дурак трухлявый", это, брат, крепко сказано. Но и то еще ничего, тут только терпенье нужно, подождать, пока у нахалки у этой седой волос пробьется, тогда небось добрей станет. Сколько тебе лет. Христиан?

- Об осень, как картошку копали, тридцать один стукнуло.

- Не так чтобы очень молод. Но время еще есть.

- Это я с того дня считаю, когда меня крестили - там у них записано в большой книге, что в ризнице лежит. Но мать мне говорила, что от родов до крестин еще сколько-то времени прошло.

- А-а!

- А сколько, хоть убей, не помнит. Знает только, что в ту ночь луны не было.

- Луны не было - э, брат, это плохо! Слушайте, соседи, ведь плохо это для него, а?

- Плохо, - подтвердил дедушка Кеитл, качая головой.

- Мать точно знает, что луны не было, нарочно справлялась у одной женщины, у которой календарь был. Всякий раз ее спрашивала, когда мальчика рожала, потому, слыхала, люди говорят: "Нет луны - нет жены", - так хотела знать, какая доля мальцу выпадет. А что, мистер Фейруэй, как вы считаете, это верно, насчет луны-то?

- Да. "Нет луны - нет жены", - это старая поговорка, мудрая. Кто родился в новолуние, тот, значит, к супружеству не сроден, так бобылем и помрет. Эх, Христиан, надо ж было тебе изо всего месяца в такой день нос наружу высунуть!

- А когда вы родились, луна, наверно, всю светила? - сказал Христиан, с завистливым восхищением глядя на Фейруэя.

- Да, уже не в первой была четверти, - небрежно уронил мистер Фейруэй.

- Я бы готов капли в рот не брать, на празднике урожая трезвым ходить, только бы не эта беда - что без луны родился, - продолжал Христиан тем же жалобным речитативом. - Люди надо мной смеются: "Какой, говорят, ты мужчина, роду своему без пользы", - а оно вон ведь откуда идет!

- Да, - вздохнул присмиривший дедушка Кентл. - А все-таки его мать, когда он мальчишкой был, иной раз по целым часам плакала, глаз не осушала, все боялась, вдруг он выправится с годами и в солдаты пойдет.

- Э, да не помирают же от этого, - сказал Фейруэй. - Валухи тоже живут, сколько им положено, не одни бараны.

- Так, может, и я еще поживу? А по ночам, Тимоти, по ночам-то мне не опасно?

- Ты всю жизнь будешь один в постели лежать. А привиденья, известно, не тем являются, кто с женой в обнимку спит. У нас, кстати сказать, будто бы недавно одно видели, очень странное!

- Ой, нет, нет, не надо, не говорите! А то я ночью вспомню, умру со страху! Да вы меня не послушаетесь, я знаю, расскажете, а мне потом спиться будет... А чем оно странное, Тимоти?.. Ой, нет, не говорите!

- Я сам не очень-то верю в привиденья. Но это, говорят, настоящее, без обману. Его мальчонка один видел.

- А какое же оно?.. Ой, нет, не надо...

- Красное. Призраки, они все больше белые, а этот словно в крови выкупался.

Христиан с шумом вдохнул воздух, отчего, впрочем, ничуть не расширилась его впалая грудь, а Хемфри спросил:

- Где его видели?

- Да тут же, на пустоши, только не где мы сейчас, а подальше. Да не стоит к ночи про это поминать. А что вы скажете, соседи, - продолжал Фейруэй более веселым тоном, - насчет того, чтобы нам всем пойти сейчас поздравить молодоженов? - Он с важностью оглядел слушателей, как будто эта идея принадлежала ему самому, а не дедушке Кентлу. - Уж раз люди поженились, надо радоваться, потому, ежели плакать, они все равно не разженятся. Песню им споем, как полагается. А потом, как ребята и женщины домой уйдут, можно и в трактир заглянуть - выпить за новобрачных и сплясать малость перед ихней дверью. Мне-то без надобности, я, сами знаете, непьющий, да хотелось бы молодую потешить, славная девушка, сколько раз мне из своих рук стаканчик подносила, еще когда с теткой жила в Блумс-Энде.

- А что ж! И заглянем! - вскричал дедушка Кентл, повернувшись с такой живостью, что медные его

печатки взлетели в воздух. - У меня и то уж в горле пересохло, с утра капли во рту не было. А в "Молчаливой женщине" пивцо есть знатное, на прошлой педеле варили. Эх, погуляем, соседи, хоть бы и всю ночь напролет, завтра воскресенье, выспимся.

- Экой ты верченый, дедушка Кентл, - сказала толстуха, - старику вроде бы и не пристало!

- Ну и верченый, ну и что, а тебе завидно? Ты бы рада меня за печку загнать, чтобы сидел да охал! А я вот лучше им песню спою, "Веселых матросов" либо еще какую, - я, слава те господи, все могу, как есть молодец на все руки!

Король его через плечо

Окинул грозным взглядом:

"Не вышло бы тебе висеть

С разбойниками рядом".

- Да, так вот и сделаем, - сказал Фейруэй. - Споем им свадебную, и пусть себе живут-поживают! А про Клайма Ибрайта одно скажу - поздно спохватился. Коли не хотел, чтоб она за Уайлдива выходила, так приезжал бы пораньше да сам на ней и женился.

- Да, может, он просто хочет у матери немножко пожить, чтобы не страшно ей было одной?

- А мне вот никогда страшно не бывает, даже самому чудно. - сказал дедушка Кентл. - Ночью я такой храбрый - что твой адмирал!

К этому времени костер уже начал гаснуть, топливо было не такое, чтобы долго поддерживать огонь. Остальные костры на всем обозримом с холма пространстве тоже заметно потускнели. По яркости, окраске и стойкости того или другого костра можно было судить о том, какой материал для него использован, а отсюда до некоторой степени и о характере растительности в тех местах. Светлое лучистое пламя, такое же, как на кургане, говорило о зарослях вереска и дрока, которые действительно и

простирались на много миль в одну сторону. По другим направлениям пламя вспыхивало быстро и столь же быстро гасло, что служило указанием на самое легкое топливо - солому, сухую ботву, обычные отходы пашни и огорода. Самые стойкие огни, светившиеся ровно и спокойно, словно планета или круглый немигающий глаз, означали дерево ореховые сучья, вязанки терна, а может быть, даже и толстые чурбаки. Эти были редки, и хотя сравнительно небольшие и не столь яркие, как трепетное и преходящее сияние вереска и соломы, теперь именно они побеждали в силу своей долговечности. Те уже гасли один за другим, эти оставались. Все такие костры горели далеко к северу на врезавшихся в небо вершинах, в краю густых рощ и сажёных лесов, где почва была иной, а вереск необычным и чуждым явлением.

Все, кроме одного: этот горел ближе всех и светлее всех, как луна среди звезд. Не с той стороны, где в долине тускло светилось маленькое окно, а в прямо противоположном направлении. Он горел так близко, что, несмотря на малую величину, яркостью превосходил все остальные.

Этот неподвижный огненный глаз давно уже привлекал внимание стоявших на кургане. А когда их собственный костер осел и померк, они еще чаще стали туда поглядывать. Уже и многие дровяные костры отгорели и растаяли в темной дали, а этот пылал по-прежнему.

- До чего же он близко, этот костер, - сказал Фейруэй. - Даже видно, как мальчишка кругом ходит.

- Я могу камень туда добросить, - сказал один из мальчиков.

- И я могу, - тотчас откликнулся дедушка Кентл.

- Э, нет, дети мои, не добросите. Оно только кажется близко, а на самом деле туда мили полторы, - сказал торфяник.

- Это у нас на пустоши, а все-таки не дрок горит. - добавил он.

- Колотые дрова, вот это что, - решил Тимоти Фейруэй. - Только чистая лесина такое пламя дает. И горит это в Мистовере, на горушке, что перед домом старого капитана. Чудак человек! У себя на усадьбе костер зажег, за своей насыпью и канавой, чтоб никто другой не попользовался, даже близко бы подойти не мог! А на что ему, старому, костер? Когда и ребятонка-то в доме нет, кого бы потешить?

- Капитан Вэй нынче куда-то далеко ходил, страх как уморился, - сказал дедушка Кентл, - вряд ли это он зажег.

- Да он бы и хороших дров пожалел, - вставила толстуха.

- Ну так, наверно, ото его внука, - сказал Фейруэй. - Хотя и ей-то зачем - не маленькая.

- А может, ей нравится, - сказала Сьюзен. - Она тоже этакая, с причудами. Живет одна, ни с кем по знается.

- А красивая девушка, - заметил Хемфри, - особенно когда одно из своих городских платьев наденет.

- Это верно, - сказал Фейруэй. - Ну пускай себе палит свой костер, бог с ней. Наш-то, гляжу, совсем прогорел.

- И как сразу темно стало, - пролепетал Христиан, оглядываясь назад и еще больше округляя свои заячьи глаза. - Не пойти ли уж нам домой, а, соседи? На пустоши, я знаю, худого еще не случилось, а все-таки лучше бы домой... Аи, что это?

- Ничего больше, как ветер, - успокоил его торфяник.

-- Я считаю, пятое ноября в городах еще можно вечером праздновать. А в такой глуши, как у нас, только бы днем.

- Да полно тебе, Христиан, подбодрись, будь мужчиной! Сьюзи, голубка, вот мы сейчас жигу с тобой

спляшем, а, лапушка? Пока еще видно, какая ты у нас красотка, - даром что уж двадцать с лишком лет минуло с той поры, как твой муж, разбойник этакий, утащил тебя из-под самого моего носа.

Это было адресовано толстухе Сьюзен Нонсеч, и почти в то же мгновение перед глазами присутствующих промелькнула ее пышная фигура, увлекаемая словно вихрем, туда, где среди золы и пепла еще тлели угольки отгоревшего костра. Рука мистера Фейруэя обвила ее стан, прежде чем она успела понять его намерения, ноги ее оторвались от земли, и вот уже она кружилась по площадке в его мощных объятьях. Сьюзен была специально оснащена для производства шума, так как, помимо облекавшей ее скрипучей брони из китового уса, она зиму и лето, в дурную погоду и в хорошую, постоянно носила поверх башмаков деревянные патенки, чтобы не изнашивать обувь; и когда Фейруэй, вырвавшись на середину, завертел ее в танце, щелканье патенок, скрип корсета и ее собственные визгливые возгласы составили в целом весьма заметный для слуха концерт.

- Тресну вот тебя, непутевого, по башке! - восклицала она, в то время как ее патенки выбивали барабанную дробь по обгорелой земле, взметая искры. - И то уж я все ноги себе о колючки изодрала, а ты меня еще огнем по живому!

Внезапная веселость Тимоти Фейруэя оказалась заразной. Торфяник подхватил старушку Олли Дауден и хотя с меньшим азартом, но тоже заскакал с ней по площадке. Молодые парни не замедлили последовать примеру старших и расхватили девушек; старик Кентл со своей палкой, словно оживленный треножник, сновал туда-сюда среди остальных, и через полминуты на Дождевом кургане только и видно было, что мельканье темных фигур в кипящем облаке искр, взлетающих чуть не до пояса танцоров, только и

слышно, что пронзительные крики женщин, хохот мужчин, скрип корсета и стукотня патенок Сьюзен, одышливое "ху-ху-ху!" Олли Дауден да треньканье ветра по кустам дрока, составлявшее как бы припев к демоническому ритму, отбиваемому ногами танцующих. Один только Христиан стоял поодаль, беспокойно переминаясь с ноги на ногу и бормоча:

- Ох, не надо бы!.. Искры-то как летят! Ведь это же значит беса тешить!..

- Что это? - спросил вдруг один паренек, останавливаясь. - Ой, где?.. вскричал Христиан, поспешно присоединяясь

к остальным.

Все танцоры замедлили темп.

- Да вот за тобой - там, внизу.

- За мной! - трепетно повторил Христиан и забормотал: - Матфей, Марк, Лука, Иоанн, да хранят меня от болестей и ран, ангельский покров от сатанинских ков...

- Помолчи-ка. Что там такое? - сказал Фейруэй.

- Э-эй! - раздался оклик из темноты.

- Гей-гей! - отозвался Тимоти.

- Есть тут прямая дорога к миссис Ибрайт в Блумс-Энд? - донесся до них тот же голос, и, смутно видимая в полутьме, длинная тонкая фигура приблизилась к кургану.

- Может, нам бы домой побежать, соседи? - сказал Христиан. - Только не порознь, а всем вместе? А?

- Наберите там дроку, - сказал Фейруэй, - да зажгите - посмотреть, кто это.

Когда пламя вспыхнуло, из темноты выступил молодой человек в облегающем костюме и красный с головы до пят. - Есть тут прямая дорога к дому миссис Ибрайт? - повторил он.

- Да вон та тропка, где ты стоишь.

- Нет, такая, чтобы фургон и пара лошадей могли пройти.

- Проедешь и парой. Дорога, правда, плоха, да и круто, но ежели у тебя есть фонарь, так лошади найдут, куда копыто поставить. А где твоя повозка, сосед охряник? Высоко ли уже взобрались?

- Я оставил ее внизу, с полмили отсюда, а сам пошел проверить дорогу. Давно здесь не бывал, боялся в темноте заплутаться.

- Ничего, валяй, проберетесь, - сказал Фейруэй. - Ох, и страх же меня взял, когда я его увидел! - продолжал он, обращаясь ко всем вместе, в том числе и к охрянику. - Господи, думаю, что это за пугало такое огненное? Ты, друг, не обижайся, я же не говорю, что ты и впрямь пугало, основа-то у тебя, всякому видать, хорошая, отделкой вот малость не вышел. Я к тому, что спервоначала больно уж мне чудно показалось - вроде как черта вдруг увидел либо красный этот призрак, про которого мальчишка рассказывал.

- А я еще хуже перепугалась, - сказала Сьюзен Нонсеч, - потому прошлой ночью я во сне мертвую голову видела.

- Ох, да уж и не говорите, - сказал Христиан. - Ему бы еще платок на голову, совсем бы дьявол с картинки про искушение.

- Ну что ж, спасибо, что показали дорогу, - проговорил, слегка улыбаясь, молодой охряник. - И спокойной ночи вам всем.

Он сошел с кургана и исчез в темноте.

- Где-то я встречал этого парня, - заметил Хемфри. - Но где, и когда, и как его звать, не помню.

Не прошло и пяти минут после ухода охряника, как новый путник приблизился к частично ожившему костру. То была всем известная и всеми уважаемая вдова, тоже местная жительница, но по манере держать себя отличавшаяся от простых поселян. На

черном фоне убежавшего вдаль вереска лицо ее светилось ровной белизной без теней и полутонов, как античная камея.

Это была женщина средних лет, с правильными и несколько жесткими чертами лица, какие часто встречаются у тех, в ком острый, пронизательный ум преобладающее качество. Временами казалось, что она смотрит на все с высоты -как бы с некоей горы Нево, недоступной для окружающих. В ней была отчужденность, как будто одиночество, источаемое вересковой степью, все сосредоточилось в этом лице, так нежданно возникшем из темных ее пределов. На поселян, столпившихся у костра, она смотрела с таким видом, словно очень мало считалась и с их присутствием, и с тем, что они могут подумать о ней, блуждающей в такой поздний час и по таким глухим местам; в этом беглом взгляде было косвенное признание, что в каком-то смысле они ей не ровня. Объяснялось это, вероятно, тем, что, хотя муж ее был мелким фермером, сама она родилась в семье священника и когда-то мечтала для себя не о таком будущем.

Люди с сильным характером, подобно планетам, движутся по орбитам, окруженные собственной атмосферой. И эта немолодая женщина, появившаяся теперь на сцене, умела в любом обществе задавать тон. С поселянами она обычно бывала сдержанной и немногословной, может быть, именно от сознания своего превосходства. Но сейчас, попав на свет, к людям, после одиноких блужданий в темноте, она склонна была к большей, чем всегда, общительности, что проявлялось не столько в ее словах, сколько в выражении лица.

- Ба, да это миссис Ибрайт, - сказал Фейруэй. - Миссис Ибрайт, всего десять минут назад тут один человек спрашивал, как к вам проехать. Охряник.

- Что ему нужно? - спросила она.

- Не сказал.

- Продать, вероятно, что-нибудь хочет. Только что - не могу себе представить.

- А мы тут порадовались за вас, мэм, - сказал торфяник Сэмгоэл. Слыхать, ваш сын Клайм на рождество приезжает? Вот он страх как любил костры разжигать!

- Да, кажется, приедет, - сказала она.

- Красивый небось парень теперь стал, - заметил Фейруэй.

- Он теперь взрослый мужчина, - спокойно ответила она.

- И не боязно вам, миссис, одной по пустоши ходить? - проговорил, выдвигаясь вперед, Христиан; до сих пор он держался поодаль. - Смотрите, не заблудитесь! Нехорошо ночью на Эгдоне, а сегодня еще и ветер как-то по-особому воет, ровно живой... Даже кто Эгдон хорошо знает, и то, бывало, вражья сила невесть куда заведет!

- Это ты, Христиан? - сказала миссис Ибрайт. - Что это ты вздумал от меня прятаться?

- Да я сразу-то вас не признал - темно, ну и оробел малость. Я же отроду этаким горюн - все чего-то худого жду, все беспокоюсь... Кабы знали вы, какая меня иной раз тоска берет, так подивились бы, что я до сих пор еще руки на себя не наложил.

- Ты, значит, не в отца пошел, - сказала миссис Ибрайт, поглядывая в сторону костра, где дедушка Кентл все еще выплясывал в одиночку среди искр.

- Эй, дед! - сказал Тимоти Фейруэй. - Не срами ты нас! Этаким старец почтенный - на восьмой десяток уже перевалило, а скачешь один, как маленький!

- Блажной старик, - удрученно сказал Христиан. - Все бы ему озоровать! Я б с ним, непутевым, и недели одной не прожил, было б только куда уйти!..

- Ты бы, дедушка, должен гостью нашу встретить, поприветствовать, как положено, ты же здесь всех старше, - укорила и метельщица Олли Дауден. Этак бы куда пристойней!

- А и верно, конечно бы, должен, - покаянно вскричал дряхлый весельчак, останавливаясь. - Памяти у меня совсем нет, миссис Ибрайт, забываю, как все они на меня смотрят. Думаете, у меня веселье одно на уме? Э, нет, не всегда. Это тоже бремя не малое, когда все тебя вроде как за начальника почитают, я же чувствую.

- Мне очень жаль прерывать нашу беседу, - сказала миссис Ибрайт, - но я должна вас покинуть. Я шла через пустошь к своей племяннице, они с мужем хотели сегодня вернуться, но услышала голос Олли и поднялась сюда спросить, не собирается ли она домой. Тогда мы могли бы пойти вместе, нам по дороге.

- Да, да, мэм, я как раз хотела идти, - с готовностью откликнулась Олли.

- Так вы, наверно, встретите этого охряника, про которого я говорил, сказал Фейруэй. - Он только пошел за своим фургоном. И мы слышали, что ваша племянница с мужем, как поженятся, так сейчас и вернуться, и тоже вскорости пойдем туда спеть им песню на счастье.

- Очень вам благодарна, - сказала миссис Ибрайт.

- Но мы пойдем напрямик, через заросли, а вам в длинном платье нельзя, так вы уж нас не ждите.

- Хорошо. Ты готова, Олли?

- Да, мэм. А вон, глядите, и окошечко светится. Это у вашей племянницы. Вот так пойдем на огонек и с дороги не собьемся.

Она указала на тусклое пятнышко света в низине, на которое еще раньше указывал Фейруэй, и обе женщины стали спускаться с кургана.

ГЛАВА IV

ОСТАНОВКА НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

Вниз, вниз и опять вниз спускались они, с каждым шагом продвигаясь не столько вперед, сколько все ниже и ниже. Колючки дрока с шумом цеплялись за их юбки, папоротники задевали за шею, так как, хотя мертвые и усохшие, они все еще стояли выпрямившись, словно живые, - зимняя непогода еще не успела сломать их и прибить к земле. Многие, пожалуй, сочли бы, что неблагоприятно двум женщинам одним совершать этот ночной спуск в преисподнюю, но для Олли и миссис Ибрайт глухие тропы и лохматые заросли Эгдона были во все времена года привычным окружением; а что сейчас было темно, так ведь лицо друга и в темноте не внушает страха.

- Стало быть, Томазип вышла за него наконец, - сказала Олли, когда спуск стал менее крут и не приходилось уже думать о каждом шаге.

- Да, - медленно проговорила миссис Ибрайт. - Наконец.

- Скучать будете по ней, мэм, она же у вас как дочка родная жила.

- И то уж скучаю.

Олли не обладала тактом, который подсказал бы ей неуместность иных вопросов, но ее простодушие делало их безобидными. Ей невольно прощали то, чего не стерпели бы от другого. И миссис Ибрайт спокойно приняла эту попытку вновь коснуться наболевшего места.

- Подивилась же я, как услышала, что вы согласились, - продолжала Олли. - Прямо ушам своим не поверила.

- Я бы сама не поверила, если бы год назад мне кто-нибудь это сказал. Но видишь ли, Олли, тут есть многое и за и против. Я не сумела бы тебе объяснить, хоть бы и постаралась.

- Да я понимаю, обстоятельный он человек, вашей семье не под пару. Теперь вот трактир держит, разве

это настоящее дело? Ну, правда, ученый, инженером, говорят, был, да сгубило его веселое житье.

- В общем, я решила, что лучше уж ей выйти, за кого она хочет.

- Ну да, влюбилась, бедняжка, что делать, сердцу не прикажешь. Все-то мы так. А он, что про него не говори, а все ж таки он и гостиницу содержит, и пустоши порядочный кусок распахал, и сборщики вереска на него работают, и обходенье у него, как у джентльмена. Да и что уж теперь-то - сделано, так сделано, назад не воротишь.

- Не воротишь, - подтвердила миссис Ибрайт. - А, вот и проселок. Теперь идти будет легче.

Больше они не говорили о замужестве Томазин и вскоре дошли до того места, где от проселка отделялась узкая тропа и где им предстояло расстаться. Олли на прощанье попросила свою спутницу напомнить Уайлдиву, что он обещал прислать ее больному мужу бутылку вина по случаю своей свадьбы, да так и не прислал, и повернула налево к своему дому, скрытому за отрогом холма, а миссис Ибрайт пошла проселком, который немного подалее впадал в большую дорогу возле гостиницы "Молчаливая женщина". Туда она и держала путь, рассчитывая найти там свою племянницу, уже вернувшуюся с мужем из Энглбери после венчанья.

Сперва она прошла мимо "Пашни Уайлдива" - так местные жители называли участок земли, некогда отвоеванный у вереска и ценой многолетних усилий подготовленный для посева. Тот, кто первый возымел эту идею, умер от непосильных трудов по расчистке, его преемник разорился на удобрения. Уайлдив пришел следом за ними, как Америго Веспуччи, и снискал славу, по праву принадлежащую тем, кто трудился здесь до него.

Когда миссис Ибрайт поравнялась с гостиницей и хотела уже войти, она вдруг заметила впереди на дороге - ярдов за двести - пару лошадей, фургон и шагающего рядом человека с фонарем в руке. Они двигались ей навстречу, и нетрудно было догадаться, что это и есть тот охряник, который ее разыскивал. Тогда, вместо того чтобы свернуть к гостинице, она пошла дальше по дороге.

Фургон приблизился, и человек с фонарем прошел бы мимо, не обратив на нее внимания, но она повернулась к нему и сказала:

- Не вы ли это недавно про меня спрашивали? Я миссис Ибрайт из Блумс-Энда.

Охряник вздрогнул и поднял палец. Он остановил лошадей и жестом показал, что просит ее отойти с ним в сторонку, что она и сделала, несколько удивленная.

- Вы, наверное, меня не знаете, мэм? - сказал он.

- Не знаю, - сказала она. - Ах нет, знаю! Вы молодой Венн - ваш отец держал где-то здесь молочную ферму?

- Да. А я немножко знаю вашу племянницу - мисс Тамзин. У меня есть для вас дурные вести.

- О ней?.. Но ведь она, как я понимаю, сейчас у себя дома с мужем? Они рассчитывали к вечеру вернуться - вон туда, в гостиницу?

- Там ее нет.

- Почему вы знаете?

- Потому что она здесь. В моем фургоне, - добавил он с запинкой.

- Господи! Какая еще новая беда стряслась? - проговорила миссис Ибрайт, закрывая глаза рукой.

- Не могу вам в точности объяснить, мэм. Знаю только, что когда я утром ехал по дороге - этак с милю от Энглбери, - слышу вдруг, бежит кто-то за мной, стукотит каблучками, как лань копытцами. Оглянулся - а это она, как смерть бледная. "Ах, говорит, Диггори

Венн! Я так и думала, что это ты. Ты мне поможешь? У меня горе".

- Откуда она знает ваше имя? - недоверчиво спросила миссис Ибрайт.

- Да мы еще раньше встречались, когда я мальчишкой у отца жил, после-то я взялся за это ремесло и уехал. Ну, она попросила ее подвезти - и вдруг упала без чувств. Я ее поднял и уложил в фургоне, там она и сейчас. Очень плакала, но ничего не сказала, только - что сегодня утром должна была венчаться. Я ее уговаривал поехать, да она не могла и под конец уснула.

- Я хочу сейчас же ее видеть, - воскликнула миссис Ибрайт, устремляясь к фургону.

Охряник поспешил вперед с фонарем и, войдя первым, помог миссис Ибрайт подняться. Сквозь растворенную дверцу она увидела в дальнем конце фургона импровизированное ложе, вокруг которого было развешено все, что в хозяйстве охряника могло служить занавесью, - очевидно, для того, чтобы предохранить от соприкосновения с краской. На узенькой койке лежала девушка, укрытая плащом. Она спала. Свет от фонаря упал на ее лицо.

Светлое, милое лицо - кроткое лицо деревенской девушки - покоилось в гнездышке из вьющихся каштановых волос. Не красавица в обычном смысле слова, но и не просто хорошенькая, она была где-то на полпути между той и другой. И хотя глаза ее были закрыты, легко было себе представить, как они просияют, открывшись, и станут средоточием всех разбросанных кругом отблесков. Основным тоном лица была радостная надежда, но сейчас поверх этой основы, как некое чужеродное вещество, лежал налет тревоги и печали. Печаль была столь недавней, что не успела отнять у этого лица юную свежесть и пока лишь облагораживала то, что в дальнейшем могла

уничтожить. Алость губ не успела поблекнуть, наоборот, казалась еще ярче от отсутствия обычно соседствующего с ней, но менее прочного румянца щек. Временами губы ее приоткрывались с тихим ропотом невнятных слов. В ее прелести было что-то родственное мадригалу, - казалось, представлять людям она должна всегда в ореоле рифм и гармонии.

Одно, во всяком случае, было ясно - нескромно было бы разглядывать ее такую, как сейчас. Охряник, должно быть, это почувствовал, потому что, когда миссис Ибрайт склонилась над ней, он отвел глаза с деликатностью, очень его красивой. И спящая, наверно, это ощутила, потому что в следующий миг открыла глаза.

Губы ее дрогнули, в лице мелькнула радость, потом сомнение. Все ее мысли и обрывки мыслей обозначались с предельной четкостью в этой бегущей смене выражений; казалось, вся ее наивная, бесхитростная жизнь струится сквозь нее, открытая взгляду, как прозрачный до дна ручей. Она мгновенно поняла, что произошло.

- Да, тетя, это я, - воскликнула она. - Я понимаю, вы испугались, вы не можете поверить... А все-таки это я, и вот как я вернулась домой!

- Тамзин, Тамзин! - вскричала миссис Ибрайт, нагибаясь и целуя ее. Голубка моя!

Рыданья подступили к горлу девушки, но с неожиданной силой воли она их подавила. Прерывисто дыша, она приподнялась и села на койке.

- Я тоже не ожидала увидеть вас здесь... Где я сейчас, тетя? - Почти уже дома, детка. В Эгдонской низине. Что с тобой случилось?

- Сейчас расскажу. Значит, так близко, да? Ну так я выйду и пойду пешком. Пойдем домой по тропинке.

- Но этот добрый человек, который уже столько для тебя сделал, наверно, не откажется довезти тебя до

самого дома? - сказала миссис Ибрайт, оглядываясь на охряника. Он, когда девушка очнулась, спрыгнул с фургона и стоял теперь на дороге.

- Зачем спрашивать? Конечно, довезу, - сказал он. - Он правда добрый, тихо проговорила Томазин. - Мы когда-то были знакомы, а сегодня я увидела его и подумала, лучше уж поехать в его фургоне, чем с кем-нибудь чужим. Но теперь я хочу пешком. Диггори, останови, пожалуйста, лошадей.

Он посмотрел на нее с нежностью и грустью и, хотя неохотно, но все же взял лошадей под уздцы.

Тетка с племянницей вышли из фургона, и миссис Ибрайт сказала его владельцу:

- Теперь я вас вспомнила. Отчего вы бросили ферму, что отец вам оставил? Разве стоило менять занятие?

- Да уж так вышло, - ответил он и покосился на Томазин; та слегка покраснела. - Значит, сегодня я вам больше не нужен, мэм?

Миссис Ибрайт поглядела на темное небо, на холмы, на гаснущие костры, на освещенное окно в гостинице, к которой они тем временем приблизились.

- Очевидно, нет, - сказала она, - раз Томазин хочет идти пешком. Поднимемся по тропинке, а там уже и дом. Дорогу мы хорошо знаем.

Обменявшись еще несколькими словами, они расстались. Охряник двинулся дальше со своим фургоном, обе женщины смотрели ему вслед, стоя на дороге. Как только фургон отъехал так далеко, что голоса уже не могли его достигнуть, миссис Ибрайт повернулась к своей племяннице.

- Ну, Томазин, - сказала она строго, - что означает вся эта неприличная комедия?

ГЛАВА V

СЛОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Томазин, казалось, была потрясена такой внезапной переменной тона.

- Это значит... - чуть слышно пролепетала она, - да то самое и значит, о чем вы, наверно, уже догадались. Я... я не замужем. Простите, ради бога, тетя, что я так вас осрамила, но что я могла?..

- Меня? Ты лучше о себе подумай.

- Тут никто не виноват. Когда мы приехали, пастор отказался нас венчать, потому что в разрешении была неправильность.

- Какая неправильность?

- Не знаю. Мистер Уайлдив вам объяснит. Не думала я, когда уезжала, что так вернусь!.. - Под покровом темноты она перестала наконец сдерживаться, и ее волнение нашло исход в безмолвных слезах: неслышимые и незримые, они покатались по ее щекам.

- Я бы сказала - поделом тебе, но, кажется, ты и правда не виновата. продолжала миссис Ибрайт уже опять другим тоном: два противоположных чувства - жалость и гнев - лежали бок о бок в ее душе, и она отдавалась то одному, то другому без всякого перехода. - Вспомни, Томазин, не я затеяла этот брак. С самых первых дней, когда ты еще только начала увлекаться этим человеком, я предостерегала тебя, я говорила, что с ним ты не будешь счастлива. Я даже сделала то, на что не считала себя способной, - встала тогда в церкви и надолго дала кумушкам пищу для пересудов. Но раз уж я согласилась, то больше не намерена потворствовать твоим фантазиям. После сегодняшнего ты непременно должна выйти за него замуж.

- Да разве я не хочу? - сказала Томазин с тяжелым вздохом. - Даже ни минуточки так не думала. Ах, тетя, я понимаю, как это дурно, что я его полюбила, но не браните меня, не огорчайте меня еще больше! Ведь не могла же я у него остаться, правда? А куда мне было идти? У меня нет родного дома, кроме вашего. Он

говорит, что через день либо два нам можно будет обвенчаться.

- Лучше бы он никогда тебя не видал!

- Хорошо! Пусть! Буду самая несчастная на свете, не стану с ним больше видеться! Не пойду за него, и все.

- Теперь уж поздно так рассуждать. Идем-ка со мной. Я зайду в гостиницу, посмотрю, не вернулся ли он. Уж я-то докопаюсь до истины! Пусть мистер Уайлдив не воображает, что можно играть такие шутки со мной или с кем-нибудь из моих близких!

- Да это совсем не то. Разрешение было неправильное, а другого в тот же день он не мог получить. Он сейчас же вам объяснит, только бы застать его дома.

- Почему он сам тебя не привез?

- Ах, это уж моя вина! - всхлипнула Томазин. - Когда я узнала, что нам нельзя пожениться, я не захотела с ним ехать. И мне стало совсем худо... А потом я увидела Диггори Венна и очень обрадовалась - пусть, думаю, он меня отвезет. Сердитесь, тетя, сколько хотите, а лучше я не умею рассказать.

- Вот я сама во всем разберусь, - сказала миссис Ибрайт, и они свернули к гостинице, широко известной во всей округе под названием "Молчаливая женщина"; на вывеске над входом была намалевана дородная матрона, держащая собственную голову под мышкой, а под этим жутковатым изображением - надпись, хорошо знакомая посетителям гостиницы:

Коли жены молчат,

Пусть мужья не кричат.

Фасадом гостиница была обращена к пустоши и Дождевому кургану, чей темный массив, казалось, угрожал ей с неба. На двери красовалась потускневшая медная дощечка с несколько неожиданной надписью: "Мистер Уайлдив, инженер" - бесполезная, но свято хранимая реликвия тех времен, когда он начинал свою

карьеру в технической конторе в Бедмуте, куда его устроили те, кто возлагал на него столько надежд и потерпел такое горькое разочарование. За домом был сад, а дальше тихая, но глубокая речка, составлявшая с этой стороны границу вересковой пустоши; за рекой простирались уже луга.

Но сейчас в густой тьме различить можно было только то, что вырисовывалось на небе. Речка выдавала себя лишь тихим плеском воды в ленивых водоворотах, которые она завивала там и сям на своем пути, пробираясь меж сухих и увенчанных султанами камышей, частоколом высившихся вдоль ее берегов. А об их присутствии можно было догадаться по шуршанью, похожему на молитвенный шепот, которое они издавали, когда терлись друг о друга на слабом ветру.

В гостинице светилося окно - то самое, на которое указывали собравшиеся на кургане поселяне; оно не было занавешено, но высокий подоконник мешал заглянуть в комнату. Видна была только огромная тень на потолке, в которой смутно угадывались очертания мужской фигуры.

- Похоже, он дома, - сказала миссис Ибрайт.

- Мне тоже идти с вами, тетя? - слабым голосом проговорила Томазин. - Я бы не хотела... Неудобно...

- Конечно, ты тоже должна зайти, пусть он тебя видит, тогда не посмеет придумывать ложные объяснения. Зайдем на минутку, а потом - домой.

Войдя в незапертый коридор, она постучала в ближнюю от входа дверь, растворила ее и заглянула внутрь.

Пламя свечи было заслонено от взгляда миссис Ибрайт спиной и плечами сидевшего у стола мужчины. Уайлдив - это был он - тотчас обернулся, встал и шагнул навстречу посетительницам.

Это был совсем еще молодой человек, и если можно сказать, что человеческая внешность слагается из двух начал - формы и движения, то в нем именно второе прежде всего бросалось в глаза. Все его жесты отличались необычайным изяществом - то было пантомимическое выражение карьеры покорителя сердец. Потом уже вы замечали его более материальные черты: буйную шевелюру, низко нависшую надо лбом, отчего лоб приобретал те контуры - вытянутые кверху углы с выемкой между ними, - какие мы видим у ранних готических щитов, и гладкую, круглую, как колонна, шею. Нижняя часть его лица была более мягкого склада. Мужчина не нашел бы в его внешности ничего примечательного, женщина - ничего такого, что могло бы ее оттолкнуть.

Он разглядел силуэт девушки в коридоре и сказал:

- А, Томазин вернулась наконец домой! Как ты могла так бросить меня, милочка? - Потом добавил, повернувшись к миссис Ибрайт: - Никаких уговоров не хотела слушать. Заладила - уеду сейчас же, и уеду одна!

- Но что все это значит? - надменно спросила миссис Ибрайт.

- Садитесь, - сказал Уайлдив, подвигая женщинам стулья. - Глупая, конечно, ошибка, да ведь с кем не случалось. Разрешение было недействительным для Энглбери, оно годилось только для Бедмута, а я его не прочитал и не знал.

- Но разве вы не прожили, сколько полагается, в Энглбери?

- Нет, я жил в Бедмуте, только третьего дня вернулся, - я туда и собирался ее везти, но когда я за ней приехал, мы передумали и отправились в Энглбери, позабыв, что там нужно новое разрешение. А потом уже поздно было ехать в Бедмут.

- Я считаю, вы очень перед ней виноваты, - сказала миссис Ибрайт.

- Ах, нет, ведь это все из-за меня, - вступилась Томазин. - Я выбрала Энглбери, потому что там меня никто не знает.

- Я слишком хорошо понимаю, что я виноват, незачем напоминать мне об этом, - сухо сказал Уайлдвиг.

- Такие вещи даром не проходят, - снова заговорила миссис Ибрайт. - Это позор для меня и для моей семьи, и, когда это узнается, нам будет очень несладко. Как она завтра посмотрит в глаза своим подругам? Вы причинили нам большое зло, мне нелегко будет это простить. Это даже может повредить ее репутации.

- Чепуха, - сказал Уайлдвиг.

Пока они спорили, Томазин переводила глаза то на одного, то на другого. Теперь она сказала умоляюще:

- Тетя, позвольте мне пять минут поговорить с Дэймоном наедине. Ты согласен, Дэймон?

- Конечно, милочка, - сказал он, - если твоя тетя нас извинит. - Он провел ее в заднюю комнатушку, оставив миссис Ибрайт у камина.

Как только дверь затворилась, Томазин сказала, обратив к нему бледное, заплаканное лицо:

- Дэймон, у меня сердце разрывается! Я совсем не хотела так расставаться с тобой в Эиглбери - в гневе, с недобрыми словами, но я напугалась и сама не знала, что говорю. Я всеми силами старалась не показывать тете, как я сегодня намучилась - а ведь так трудно следить за своим лицом и голосом и улыбаться, как будто для меня это все пустяки, - но я старалась, а то она бы еще сильнее разгневалась. Я-то знаю, что ты не виноват, что бы там ни говорили.

- Она очень нелюбезна.

- Да, - пролепетала Томазин, - а теперь ты, может быть, и про меня это думаешь... Дэймон, что будет со мной?

- С тобой?

- Да. Те, кто тебя не любит, такое про тебя нашептывают, что и я минутами сомневаюсь... Мы ведь все-таки поженимся, да?

- Конечно. Надо только в понедельник поехать в Бедмут, и нас тотчас же обвенчают.

- Так поедem, ради бога!.. Ах, Дэймон, что я говорю... До чего ты меня довел! - Она закрыла лицо платочком. - Подумай, я сама прошу, чтобы ты на мне женился. А ведь по-настоящему это ты должен бы стоять передо мной на коленях и умолять меня, твою жестокую возлюбленную, не отвергать тебя, не разбивать тебе сердце... Мне часто мечталось что-то в этом роде - такое красивое и радостное, а как получилось непохоже!

- Да. Действительность никогда не бывает на это похожа.

- Мне-то, в конце концов, все равно, даже если мы и совсем не женимся, - добавила она с некоторым достоинством. - Да. Я и без тебя проживу. Но я беспокоюсь о тете. Она такая гордая, так дорожит честью семьи, она не вынесет, если все это огласится раньше... раньше, чем будет исправлено. И мой двоюродный брат Клайм - он тоже будет жестоко обижен.

- Значит, он очень неразумный человек. Правду сказать, вы все довольно-таки неразумная публика.

Щеки Томазин вспыхнули - и то не был румянец любви. Но каким бы мимолетным чувством ни была вызвана эта вспышка, она тут же угасла, и Томазин смиренно сказала:

- Я всегда стараюсь быть разумной, насколько могу. Меня только тревожит, что ты как будто получил наконец какую-то власть над тетей.

- По справедливости так и быть должно, - ответил Уайлдив. - Вспомни, чего я только но натерпелся, пока

она не дала согласия. Взять хоть ее выходку в церкви - ведь это кровная обида для мужчины, когда девушке публично запрещают вступать с ним в брак! И двойная обида, если он, как я, слишком уж чувствителен и подвержен унынию и мрачным мыслям и еще невесть какой чертовщине. Этого я ей никогда не забуду. Был бы на моем месте другой человек - пожестче характером, - он бы, пожалуй, обрадовался случаю расквитаться с твоею теткой - взял бы вот сейчас да и оставил все, как есть!

Он говорил, а она задумчиво смотрела на него полными грусти глазами, и весь ее вид показывал, что не один только человек в этой комнате мог бы пожаловаться на излишек чувствительности. Он заметил это и как будто смутился.

- Ну, это я так, к слову, - поспешил он добавить. - Разве я могу порвать с тобой, Тамзи, милочка, я бы этого не перенес!

- Ну конечно! - воскликнула девушка, светлея. - Ты не выносишь, когда кого-нибудь мучают, даже насекомое, даже неприятных звуков не выносишь, даже дурных запахов, ты не мог бы долго причинять боль мне и моим близким!

- И не буду, поскольку от меня зависит.

- Дай мне руку на этом, Дэймон.

Он небрежно протянул ей руку.

- Черт! Это еще что? - вдруг воскликнул он.

До их слуха в этот миг донеслось многоголосное и не слишком стройное пенье - пели где-то близко, должно быть, перед домом. Два голоса особенно выделялись в силу своей необычности - очень низкий густой бас и хриплый дрожащий фальцет. Томазин узнала в этих певцах Тимоти Фейруэя и дедушку Кентла.

- Боже мой, что это? - сказала она, испуганно глядя на Уайлдива. Неужели это они нам кошачий концерт

устроили?..

- Да нет! Поздравлять пришли... Вот еще не было печали! Он в раздражении заходил по комнате. А снаружи весело пели:

Сказал он: "Я счастлив, когда ты со мной.

Ответь, ты согласна ли быть мне женой?"

И вот уже слышен веселый трезвон,

И в церковь с невестой торопится Джон.

А после ее целовал, миловал,

"Нет лучше на свете, чем ты", - он сказал.

В комнату ворвалась миссис Ибрайт.

- Томазин, Томазин! - вскричала она, с негодованием глядя на Уайлдива. - Какой позор! Надо скорей уходить. Бежим!

Но путь через коридор был отрезан. В дверь соседней комнаты уже громко стучали. Уаплдив, подошедший было к окну, вернулся.

- Стойте! - повелительно сказал он, кладя руку на плечо миссис Ибрайт. - Мы в осаде. Их там полсотни, когда не больше. Вы с Томазин оставайтесь здесь, а я пойду их встречу. Придется вам, хотя бы ради меня, подождать, пока они уйдут, чтоб казалось, что все в порядке. Ну, Тамзи, милочка, не устраивай сцен! Ты, я думаю, сама понимаешь, что после этого мы хочешь не хочешь, а должны жениться. Сидите спокойно, вот и все, поменьше разговаривайте. А уж я с ними управлюсь. Ах, дураки проклятые!

Он усадил взволнованную девушку в кресло, прошел в переднюю комнату и распахнул дверь.

Тотчас из коридора ступил на порог дедушка Кентл, продолжая петь во весь голос, сообщая с теми, кто еще стоял перед домом.

Он вошел, рассеянно кивнул Уайлдиву - рот у него был разинут, лицо сморщено от усилий вывести финальную ноту - и, дотянув ее до конца, сказал с чувством:

- Привет новобрачным, и да благословит вас бог!

- Спасибо, - сухо ответил мрачный как туча У айл див.

По пятам за дедушкой вошли остальные - Фейруэй, Христиан, торфяник Сэм, Хемфри и еще с десятков других. Все улыбались Уайлдиву, а также его столам и стульям, распространяя на них свое доброжелательство к хозяину.

- Эге, миссис Ибрайт раньше нас поспела, - сказал Фейруэй, разглядев ее шляпу сквозь стеклянную перегородку, отделявшую зальцу, куда они все вошли, от задней комнаты, где сидели женщины. - Мы-то, мистер Уайлдив, прямиком пошли, а она по кружной тропке.

- А я и молодой женушки головку вижу, - подхватил дедушка Кентл, поглядев в том же направлении и узнав Томазин, сидевшую рядом с теткой в натянутой и неловкой позе. - Не обykle еще на новом месте - ну ничего, времени впереди много!

Уайлдив ничего не ответил и, видимо сообразив, что чем раньше приступить к угощению, тем скорее они уйдут, достал глиняную бутылку, отчего все тотчас повеселели.

- А, вот это, наверно, питье так питье, первый сорт, сразу видно, - с растяжкой вымолвил дедушка Кентл как человек слишком благовоспитанный, чтобы выказывать нетерпение.

- Да, - отвечал Уайлдив. - Это старый мед. Надеюсь, вам понравится.

- Еще бы! - откликнулись гости с той радостной готовностью, которая появляется, когда требования вежливости совпадают с велением сердца. - Лучше старого меда на свете ничего нет.

- А, побей меня бог, конечно, нету, - подтвердил дедушка Кентл. - Одно в нем неладно - больно уж

хмельной, нескоро прочухаешься. Ну да завтра воскресенье.

- Я раз выпил, - сказал Христиан, - так такой стал молодец, как солдат бравый!

- И теперь такой же будешь, - снисходительно заметил Уайлдив. - Как, джентльмены, в чарки вам наливать или в стаканы?

- Да коли вы не против, сэр, так лучше бы в кружку, а мы станем друг другу передавать. А то что его по каплям разбрызгивать!

- Ну их, стаканы, - сказал дедушка Кентл. - Скользкие, в руке не удержишь, и на угли нельзя поставить погреть... А без этого какой же вкус, а, верно я говорю, соседи?

- Верно, дедушка, - сказал Сэм, и мед пошел вкруговую.

- Так вот, значит, как, - начал Тимоти Фейруэй, чувствуя обязанность произнести нечто вроде похвального слова. - Теперь, стало быть, вы женатый человек, мистер Уайлдив. Хорошее дело! А уж супруга вам досталась, - прямо скажу, бральянт! Да, - продолжал он, обращаясь к дедушке Кентлу и возвышая голос, чтобы слышно было за перегородкой, - и покойный ее родитель, - тут Тимоти слегка наклонил голову в сторону задней комнаты, где сидели женщины, - честнейший был человек! Чуть услышит про какую-нибудь подлость, так, бывало, вскипит - беда!

- А это очень опасно? - спросил Христиан.

- А музыкант какой! - сказал Сэм. - С ним никто и тягаться не мог. Бывало, идет приходский оркестр в церковь, он впереди всех с кларнетом, и так дудит, словно во всю жизнь ни на чем другом не игрывал. А подойдут к церковным дверям, он сейчас бросит кларнет - и на хоры; ухватит виолончель и давай наяривать, словно век свой ни к чему, кроме виолончели, не притрагивался. Люди, кто в музыке толк

знал, даже не верили: "Неужто, говорят, это тот самый, который только что так мастерски на кларнете играл? Быть этого не может!"

- Это и я помню, - сказал торфяник. - Сам дивился, как это один человек, а столько разного в голове держит и даже пальцев никогда не перепутает!

- А еще был случай в Кингсбери... - начал опять Фейруэй, как рудокоп, который готовился вскрыть новое ответвление все той же богатой залежи.

Уайлдив испустил вздох нестерпимой скуки и посмотрел на перегородку.

- Он туда часто хаживал по воскресеньям после обеда, дружок у него там был, Эндри Браун, тамошний кларнетист, тоже хороший человек, а музыкант так себе, пискляво как-то у него получалось...

- Бывало!

- И сосед Ибрайт частенько заменял его во время вечерней службы, чтоб тому можно было малость вздремнуть, - помогал, значит, ему по силе возможности, как всякий бы друг сделал...

- Ну да, как всякий бы сделал. - сказал дедушка Кентл; остальные более коротко, кивками, выразили согласие.

- И только, бывало, Эндрн заснет, а сосед Ибрайт в его кларнет дунет, как, глядишь, уж все головы к хорам поворачиваются, - слышат, значит, люди, что великая душа среди них проявилась. "Ага, говорят, это он, так я и думал!" А раз, помню, - в то воскресенье надумали они исполнять Сто тридцать третью кантату "К Лидии", - она с виолончелью, и сосед Ибрайт свою принес и когда дошли до этого стиха: "И влага дивная по бороде бежит и на одежды каплет", сосед Ибрайт до того разгорячился - как дернет по струнам, мало виолончель надвое не перепилил, аж все стекла в церкви задребезжали, точно в грозу. А пастор ихний, старик Уильямс, только руки воздел, этак с размаху, словно на

нем не стихарь был кружевной ради торжества, а просто рубашка, как будто хотел сказать: "Ах, мне бы такого прихожанина!" Да куда там, в Кингсбери никто ему и в подметки не годился.

- И не страшно было, когда стекла задрезжали? - осведомился Христиан.

Никто ему не ответил - все сидели молча, в восхищенье от только что описанного кунштютюка. И как уже не раз бывало с блестящими выступлениями, потрясавшими очевидцев, но нам известными лишь по рассказам - с пением Фаринелли перед принцессами, с знаменитой речью Шеридана в парламенте и многими другими, - то обстоятельство, что *tour de force* {Здесь: изощренное мастерство (Фр.).} покойного мистера Ибрайта был навсегда потерян для потомства, одевало его еще большей славой, которая, будь возможно сравненье, пожалуй, значительно бы уменьшилась.

- Кто бы подумал, что такой человек в цвете лет помрет - нежданно, негаданно! - сказал Хемфри.

- Да не так уж нежданно - он месяца за два до того уже в гроб глядел. В те времена на Гринхиллской ярмарке женские бега устраивали, призы им выдавали - полотна на сорочку либо отрез на платье. И нынешняя моя супруга, - тогда она еще девчонка была, длинноногая да шустрая, только еще в года входила, - она тоже пошла. Потом вернулась, я и спрашиваю, - мы уже тогда начинали вместе гулять, - "Что, мол, ты выиграла, моя душенька?" А она говорит: "Я выиграла... платье", - и покраснелась вся. Ну да, думаю, платье! Рубашонку небось ценой в одну крону, - так оно и оказалось. Теперь-то, как подумаю, чего только она мне иной раз не наговорит без единой краснинки в лице, так чудно даже, что тогда из-за этакой малости застыдилась! Ну, а потом стала дальше рассказывать - я потому сейчас про это и вспомнил: "Ну, говорит, что я там ни выиграла - белое или с узорами, такое, чтоб всем

на него глядеть или чтобы никому", - вот как она тогда тонко со мной разговаривала, по всей деликатности! - "а лучше бы мне, говорит, ничего не выиграть, чем то увидеть, что я видела. Бедному мистеру Ибрайту так вдруг худо стало на ярмарке - страсть! Пришлось ему домой ворочаться". И это уж он в последний раз из дому выходил.

- Да, все, говорят, хворал, день ото дня хуже, а потом, слышим, помер.

- Очень он мучился, когда умирал? - спросил Христиан.

- Нет, тихо умер, как заснул. Он духом был спокоен. И господь ему даровал мирную кончину.

- А другие очень мучаются?.. Как вы считаете, мистер Фейруэй?

- Кто смерти не боится, тот не мучится.

- Я-то, слава богу, не боюсь, - с дрожью в голосе выговорил Христиан. Вот не боюсь, и все, и очень хорошо, значит, и мучиться не буду... А если чуточку и забоюсь, так ведь невольно, за что ж мне мучиться? Ох, дал бы мне бог совсем не бояться!

Все сокрушенно помолчали, после чего Фейруэй, поглядев в не закрытое ставнями и незанавешенное окно, сказал:

- А ведь жив еще этот костерчик - у капитана Вэя! Горит и горит, хоть бы что!

Все глаза обратились к окну, и никто не заметил, что Уайлдив тоже бросил туда украдкой быстрый виноватый взгляд. Далеко над погруженной во мрак долиной, справа от Дождевого кургана, действительно светился огонь, небольшой, но такой же ровный и стойкий, как и раньше.

- Его еще до нашего зажгли, - продолжал Фейруэй, - а теперь, смотрите, уж все костры погасли, а этому ничего не делается.

- Может, это неспроста, - пробормотал Христиан.

- Что значит - неспроста? - резко сказал Уайлдв.

Но Христиан, будучи в расстройстве чувств, не сумел ответить, и Тимоти пришел ему на помощь.

- Это он, сэр, про ту темноглазку, что там наверху живет, - говорят, она колдунья, только стыдно, по моему, такую красивую молодую женщину зря порочить, ну, а причудница она, это верно, постоянно что-нибудь этакое чудное выдумывает, вот ему и взбрело в голову, что это она там колдует.

- А я бы с радостью взял ее в жены, кабы согласилась - пусть бы она своими глазищами надо мной колдовала, - отважно заявил дедушка Кентл.

- Ох, не надо так говорить, отец! - взмолился Христиан.

- Одно могу сказать, - кто на ней женится, у того будет в доме картинка, на что полюбоваться, - благодушно заметил Фейруэй, всласть отхлебнув из кружки и отставляя ее на стол.

- Да, и подруга жизни уж больно мудреная, вроде как омут глубокий, добавил Сэм, берясь, в свою очередь, за кружку и допивая то малое, что в ней осталось.

- Ну, соседи, пожалуй, пора и по домам, - сказал Хемфри, обнаружив, что в кружке пусто.

- Ну еще одну песню-то им споем? - сказал дедушка Кентл. - У меня запевок в горле, что у соловушки, так и рвутся наружу!

- Спасибо, дедушка, - сказал Уайлдв. - Но сейчас мы уж не будем вас утруждать. Как-нибудь в другой раз, - когда я созову гостей.

- Э, так я десять новых песен разучу для такого случая! - вскричал дедушка Кентл. - И будьте покойны, мистер Уайлдв, я вам такой невежливости не сделаю, чтобы не прийти!

- Охотно верю, - отвечивал этот джентльмен.

Гости распрощались, пожелав напоследок хозяину долгой жизни и счастья в браке - со многими повторениями, занявшими порядочно времени. Уайлдив проводил их до двери, за которой их поджидал непроглядно-черный, уходящий вдаль и ввысь простор вересковой степи - огромноеместилище мрака, простиравшееся от самых их ног почти до зенита, где глаз впервые улавливал сколько-нибудь отчетливую форму - насупленное чело Дождевого кургана. Они нырнули в эту густую темь и гуськом, следом за торфяником Сэмом, потянулись по своему бездорожному пути домой.

Когда царапанье дрока об их поножи перестало быть слышным, Уайлдив вернулся в комнату, где оставил Томазин и ее тетку. Но женщин там не было.

Они могли покинуть дом только одним способом - через заднее окно; и это окно было распахнуто настежь.

Уайлдив усмехнулся про себя, постоял минуту в раздумье и лениво побрел в переднюю комнату. Здесь его взгляд упал на бутылку вина, стоявшую на камине.

- А! Старик Дауден! - пробормотал он и, подойдя к двери в кухню, крикнул: - Эй, кто там есть! Надо кое-что отнести старику Даудену.

Никто ему не ответил. Кухня была пуста, паренек, служивший у него в помощниках, давно ушел спать. Уайлдив вернулся в зальцу, взял бутылку и вышел из дому, заперев наружную дверь на ключ, так как в ту ночь в гостинице не было постояльцев. Едва он ступил на дорогу, как в глаза ему снова бросился маленький костер на Мистоверском холме.

- Все ждете, миледи? - пробормотал он.

Однако он не сразу направился туда; оставив холм слева, он, спотыкаясь, стал пробираться по изрезанному колеями проселку, который вскоре привел его к одинокому домику под откосом, различимому в темноте, как и все остальные жилища на Эгдоне в этот

час, только по тусклому свету в верхнем окне, очевидно, окне спальни. Это был дом Олли Дауден, вязальщицы метел, и Уайлдив вошел.

В нижней горнице было темным-темно: Уайлдив ощупью отыскал стол, поставил на него бутылку и минуту спустя уже снова был на пустоши. Повернувшись к северо-востоку, он стоял и смотрел на немеркнущий маленький огонь, видневшийся где-то высоко над ним, хотя и не так высоко, как Дождевой курган.

Мы все слышали, что происходит, когда женщина размышляет, - и пословица эта приложима не к одним только женщинам, особенно когда в деле все-таки замешана женщина, да притом красивая. Уайлдив все стоял и стоял, вздыхая по временам в нерешимости, и наконец сказал про себя:

- Да, уж видно, не миновать к ней пойти!

И вместо того, чтобы повернуть к дому, он быстро зашагал по тропке, огибавшей Дождевой курган и поднимавшейся и гору - туда, где горел этот, очевидно, что-то означавший для него, - огонь.

ГЛАВА VI

ФИГУРА НА ФОНЕ НЕБА

Когда все эгдонское сборище покинуло наконец свой отгоревший костер и на вершине вновь водворилась привычная для нее пустынность, с той стороны, где светился маленький костер, к кургану приблизилась укутанная женская фигура. Если бы охряник все еще следил за событиями на кургане, он узнал бы в ней ту женщину, которая раньше так странно стояла там и исчезла при появлении новых пришельцев. Она опять поднялась на самый взлобок, где красные угли угасшего костра блеснули ей навстречу, словно живые глаза в мертвом теле дня. И теперь она опять стояла неподвижно, объята со всех сторон огромным простором ночного неба, чья

полупрозрачная тьма примерно так же относилась к густой черноте лежащей внизу пустоши, как грех прощительный к греху смертному.

Что мог бы сказать о ней тот, кто сейчас бы ее увидел? Что она высока ростом и стройна, что ее движенья изящны, как у воспитанной женщины, но и только, так как плечи ее и грудь утопали в складках шали, повязанной по старинке крест-накрест, а голова была окутана большим платком, предосторожность далеко не лишняя в этот час и на этом месте. Она стояла, повернувшись спиной к северо-западу, но потому ли, что хотела защититься от ветра, дувшего с этой стороны и особенно резкого на вершине, или потому, что ее интересовало что-то на юго-востоке, это пока оставалось неясным.

Столь же непонятна была и причина, в силу которой она стояла там так долго и так неподвижно, словно центральный стержень всего этого обведенного горизонтом круга. Ее необычайное упорство, явное одиночество и очевидное равнодушие ко всем, может быть, скрытым в темноте опасностям, говорило о полном отсутствии страха. А меж тем мрачность этих мест, ничуть не изменившихся с той давней поры, когда Цезарь, как говорят, каждый год спешил их покинуть до наступления осеннего равноденствия, суровость ландшафта и погоды, заставлявшая путешественников с юга описывать наш остров как гомеровскую Киммерию, - все это, казалось бы, не должно было привлекать женщину.

Может быть, она прислушивалась к ветру? Он, правда, чем дальше в ночь, тем все больше набирал силу и все настойчивее вторгался в сознание. Он был как бы нарочно создан для этих мест, так же как эти места были как бы нарочно созданы для ночи. И в шуме ветра здесь, на вересковых склонах, было нечто особенное, чего больше нигде нельзя услышать.

Порывы ветра налетали с северо-запада бесчисленными волнами, и когда такая ветровая волна проносилась мимо, в общем ее звучании ясно выделялись три тона: дискант, тенор и бас слышались в ней. Ударяясь о выступы и впадины бугристой почвы и отскакивая рикошетом, она рождала самые низкие поты этого трехголосия. Одновременно возникал баритональный жужжащий гул в листве падубов. И, наконец, меньший по силе, более высокий по тону, трепетный подголосок силился вывести свою собственную приглушенную мелодию - это и был тот особый местный звук, о котором мы говорили. Жидкий и не столь заметный, как первых два, он, однако, производил наибольшее впечатление. В нем заключалось то, что можно назвать языковым своеобразием вересковой пустоши, так как нигде, кроме как здесь, нельзя было его услышать; этим, возможно, и объяснялась напряженная и неослабевающая внимательность стоявшей на холме женщины.

В жалобных напевах ноябрьских ветров этот звук больше всего был похож на полуиссякший человеческий голос, каким он еще сохраняется в горле девяностолетнего старца. Это был усталый шепот, сухой, как шелест бумаги, но так отчетливо касавшийся слуха, что привычный человек мог не хуже, чем осязанием, распознать, какая материальная мелочь его производит. То был совокупный результат игры ветра с какими-то бесконечно малыми элементами растений, но не со стеблями, былинками, плодами, колючками или листьями, не с лишайниками или мхами.

Этот шелест рождался в мумифицированных колокольчиках вереска, оставшихся от прошлого лета, когда-то пурпурных и нежных, но теперь отмытых до полной бесцветности сентябрьскими дождями и высушенных, как мертвая кожа, октябрьским солнцем. Каждый отдельный звук был так слаб, что только

сочетание сотен таких звуков едва-едва нарушало молчание, а мириады их, приносимые ветром со всех окрестных склонов, достигали ушей женщины, как прерывистый чуть слышный лепет. И все же ни один из многих ночных голосов не обладал такой властью приковывать внимание, не будил столько мыслей о его источнике. Слушатель словно охватывал внутренним зрением все эти неисчислимыя множества - и так ясно видел, как ветер накидывается на каждую из этих крошечных труб, врывается внутрь, обшаривает ее всю и снова вылетает наружу, как будто любой колокольчик был размером в кратер вулкана.

"Дух носился над ними". Эти слова невольно вставляли в памяти чуткого слушателя, переводя его первое, фетишистское восприятие на более высокую ступень. Ибо чем пристальнее он вслушивался, тем чаще ему начинало казаться, что не голоса мертвых цветов доносятся с правого склона, или с левого, или с того, что впереди, но какой-то один голос, голос чего-то другого, звучит сразу со всех сторон, говоря что-то свое всеми этими крошечными языками.

Внезапно в эту стихийную ораторию ночи влился с кургана еще один звук, так естественно сочетавшийся со всеми остальными, что трудно было уловить, когда он возник и когда замер. Кручи, кусты, колокольчики вереска уже раньше нарушили молчание, а теперь наконец отозвалась и женщина; отклик ее был как бы еще одна фраза в их общей речи. Брошенный ветрам, он перевился с ними и вместе с ними унесся прочь.

Это был всего-навсего протяжный вздох, - может быть, ответ на что-то, творившееся в ее душе и заставившее ее прийти сюда. Этот прерывистый вздох говорил о внезапно наступившей душевной расслабленности, как будто, позволив его себе, она тем самым уже выпустила кормило из рук и покорилаь чему-то, над чем ее сознание больше не имело власти.

И, во всяком случае, он показывал, что до сих пор под ее внешним спокойствием таилось подавленное возбуждение, а не вялость или застой.

Далеко внизу, в долине, все еще тускло светилось окно гостиницы; и через несколько мгновений стало ясно, что вздох женщины был гораздо больше связан с этим окном - или с тем, что за ним скрывалось, - чем со всеми ее предыдущими действиями или с ее непосредственным окружением. Она подняла левую руку; в руке была подзорная труба. Она быстро ее раздвинула, очевидно, это было для нее привычно, - и, подняв к глазам, направила на свет, исходивший из гостиничного окна.

При этом она слегка подняла лицо, и платок, которым была окутана ее голова, немного сдвинулся; на бледно-сером фоне туч обрисовался ее профиль. Если бы тени Сафо и миссис Сиддонс встали из могил и слились воедино, из их сочетания мог бы, пожалуй, возникнуть этот образ, непохожий ни на ту, ни на другую, но напоминавший обеих. Впрочем, это было чисто поверхностное сходство. Характер человека до некоторой степени уловим в лепке его лица, но полностью он раскрывается только в смене выражений. Это настолько справедливо, что почти во всех случаях игра черт, мелкие их движения, одним словом, то, что мы называем мимикой, помогает лучше понять человека, чем самая яркая и выразительная его жестикуляция. Так и здесь - ночь, обнимавшая эту женщину, не выдавала ее тайн, так как мешала разглядеть наиболее подвижные части ее лица.

Наконец она перестала что-то высматривать, сложила подзорную трубу и обратилась к гаснущим углям. Они почти уже не давали света - лишь изредка, когда особенно резкий порыв ветра сдувал с них пепел, вспыхивало и тут же гасло розовое сияние, как мимолетный румянец на девичьем лице. Она нагнулась

над их молчаливым кругом, выбрала головешку с не погасшим еще концом и отнесла ее туда, где раньше стояла.

Держа головешку у самой земли, она стала раздувать рдеющий красный уголь; наконец в слабых его отсветах обнаружился стоящий у ее ног небольшой предмет - песочные часы, которые она, очевидно, зачем-то принесла сюда, хотя у нее и были с собой обыкновенные часики. Она все еще раздувала уголь, пока не разглядела, что весь песок в часах пересыпался.

- О! - сказала она как бы с удивлением.

Мерцающий свет, разбуженный ее дыханием, только на миг озарил ее лицо; безукоризненной формы губы и щека - вот все, что можно было увидеть, так как ее голова была закрыта платком. Она отбросила головешку и, держа песочные часы в руке, а сложенную подзорную трубу под мышкой, пошла прочь.

По гребню холма змеился чуть протоптанный след - по нему-то она теперь и шла. Те, кому он был хорошо известен, называли его тропой. Случайный гость в здешних местах не заметил бы его и днем, но местные жители легко находили его даже глубокой ночью. Секрет этого умения не сбиваться с таких едва намеченных троп, да еще при таком свете, когда и большую дорогу не разглядишь, заключается в чувстве осязания, которое с годами развивается в ногах у человека, привыкшего бродить ночью по нехоженным местам. Разница в прикосновении ноги к девственной траве или к искалеченным стеблям на чуть заметной тропке будет для него ощутима даже сквозь грубый сапог или башмак.

Женщина, одиноко шагавшая по этой тропе, не прислушивалась к мелодиям, которые ветер наигрывал на сухих колокольчиках вереска. Она не повернула головы - посмотреть на темную кучку каких-то

животных, обратившихся в бегство, когда она проходила лощиной, где они паслись. Это были дикие пони, которых здесь называют вересковыми стригунами, - табунок голов в двадцать. Они бродили на свободе по всем долам и взгорьям Эгдона, но их было слишком мало, чтобы нарушить его пустынную.

Одинокая путница сейчас ничего не замечала: о ее рассеянности можно было судить по такому мелкому случаю. Топкая плеть ежевики запуталась в ее подоле; вместо того чтобы отцепить ее и спешить дальше, она безвольно покорилась задержке и долго стояла не шевелясь. Потом начала выпутываться, но тоже как-то странно - поворачиваясь на месте и разматывая захлестнувшую ее ноги колючую плеть. Она была в глубокой задумчивости.

Она направлялась туда, где все еще неугасимо горел маленький костер, в свое время привлечший внимание поселян на кургане и Уайлдива внизу, в долине. Слабые отблески от него уже падали на ее лицо. Вскоре стало видно, что костер горит не на ровном месте, а на чем-то вроде редана - на высоком стыке двух сходящихся под острым углом земляных насыпей, которые, очевидно, служили оградой. Перед насыпями тянулся ров, сухой везде, кроме того места, где горел костер, тут был довольно большой пруд, обросший по краям бородой из вереска и камыша. В гладкой воде отражался в перевернутом виде костер.

По насыпям не было живых изгородей, только кое-где торчали голые стебли дрока с пучком листвы наверху, словно насаженные на колья головы на городском валу. Высокая белая мачта с рангоутными перекладинами и прочим морским такелажем вырисовывалась по временам на темных облаках, когда костер разгорался сильнее и до нее достигали его беглые отблески. Все вместе напоминало укрепление с разложенным на нем сигнальным огнем.

Людей нигде не было видно, но время от времени из-за вала высовывалось что-то белое и тут же исчезало. Это была небольшая человеческая рука, подбрасывавшая топливо в огонь. Но она как будто существовала сама по себе, отдельно от тела, как та рука, что внесла смятение в душу Валтасара. Изредка по насыпи скатывался уголек и с шипением падал в воду.

По одну сторону пруда виднелись сложенные из земляных комьев грубые ступеньки, по которым можно было при желании подняться на насыпь, что женщина и сделала. Дальше, за валом, открывался невозделанный участок земли, вернее, заброшенная пашня; кое-где еще были заметны следы обработки, но вереск и папоротники уже прокрались сюда и постепенно вновь утверждали свое господство. Еще дальше был смутно виден неправильной формы дом, сад, надворные строения и за ними группа елей.

Молодая девушка - по легкому прыжку, которым она взяла насыпь, можно было судить о ее возрасте - не спустилась вниз, а пошла поверху к тому углу, где горел костер. И теперь обнаружилась причина его долговечности: топливом служили крепкие чурки, напиленные из узловатых стволов терновника, которые по два и по три росли на соседних склонах. Кучка таких еще не использованных дров лежала во внутреннем углу меж двух насыпей, и оттуда поднялось к девушке худенькое мальчишеское лицо. Мальчик время от времени лениво подбрасывал колотые чурки в огонь; он, должно быть, уже давно этим занимался, потому что лицо у него было усталое.

- Слава богу, вы пришли, мисс Юстасия, - сказал он со вздохом облегчения. - А то я все один да один.

- Не выдумывай, пожалуйста. Я только пошла немного пройтись. Всего четверть часа отсутствовала.

- А мне показалось долго, - уныло протянул мальчуган. - И вы уже столько раз уходили!

- А я-то думала, тебе будет весело. Ты должен быть благодарен мне за то, что я устроила для тебя костер.

- Да я благодарен, только тут не с кем поиграть.

- Пока меня не было, никто не приходил?

- Только ваш дедушка. Вышел раз из дому, вас искал. Я сказал, вы пошли на холм посмотреть на другие костры.

- Молодец!

- Он, кажется, опять идет, мисс.

Со стороны дома в дальних отсветах костра показался старик - тот самый, который раньше нагнал охрянника на дороге. Он вопросительно поднял глаза к стоящей на валу девушке, и его зубы, все до одного целые, сверкнули, как фарфор, меж приоткрытых губ.

- Что ты домой не идешь, Юстасия? - сказал он. - Спать пора. Я уж два часа сижу, тебя дожидаясь, устал до смерти. И что за ребячество - столько времени баловаться с кострами, да еще такие дрова изводить! Мои драгоценные терновые корни - я нарочно отложил на рождество, а ты чуть не все сожгла!

- Я обещала Джонни костер, и он еще не хочет его тушить, - сказала девушка таким тоном, который ясно показывал, кому в этом доме принадлежит абсолютная власть. - Дедушка, ты иди, ложись. Я тоже скоро приду. Джонни, ты ведь любишь жечь костры, правда?

Мальчик посмотрел на нее исподлобья и нерешительно проговорил:

- Да мне уж что-то больше не хочется.

Старик уже повернул к дому и не слышал, что сказал мальчик. Как только седая голова деда скрылась в темноте, девушка воскликнула с досадой:

- Неблагодарный мальчишка, как ты смеешь мне противоречить! Никогда больше не будет тебе костра,

если не станешь его сейчас поддерживать. Ну! Скажи, что ты рад сделать мне приятное, и не смей спорить!

Получив нагоняй, мальчик покорно сказал:

- Да, мисс, - и опять стал лениво ворошить угли.

- Побудь еще тут немного, и я дам тебе счастливую монетку, - уже мягче сказала Юстасия. - Подбрасывай по одному поленцу, а много сразу не надо. Я еще пойду пройду, но я буду все время к тебе возвращаться. А если ты услышишь, что лягушка прыгнула в пруд - ну, плеснулось, словно камень бросили, - так сейчас же беги и скажи мне. Потому что это предвещает дождь.

- Хорошо, Юстасия.

- Мисс Вэй, сэр!

- Мисс Вэ...стасия.

- Ладно уж. Подбрось-ка еще поленце.

Маленький раб вернулся к исполнению своих обязанностей. Он двигался не как живое существо, а скорее как автомат, гальванизированный капризной волей Юстасии, - словно та медная статуя, в которую, как говорят, Альберт Великий вдохнул ровно столько жизни, что она могла говорить, и ходить, и быть ему слугой.

Прежде чем возобновить свою прогулку, девушка постояла на насыпи, прислушиваясь. Холм, на котором стояла усадьба капитана, был столь же пустынен, как и Дождевой курган, но не так высок и более защищен от ветра еловой рощицей на западе. Вал, окружавший усадьбу и защищавший ее от вторжения внешнего мира, был сложен из толстых земляных глыб, выкопанных из рва и нарезанных квадратами. Наружной стороне вала был придан крутой уклон полезная предосторожность там, где живые изгороди плохо растут из-за постоянных ветров, а камней для сооружения стен неоткуда взять. В остальном же это место было совершенно открытое и позволяло обозревать всю долину, спускавшуюся к реке за домом

Уайлдива. Справа, высоко над долиной и гораздо ближе к усадьбе, чем гостиница "Молчаливая женщина", небо заслонял смутный абрис Дождевого кургана.

Внимательно оглядев голые склоны и пустые лощины, Юстасия сделала нетерпеливое движение. С губ ее по временам срывались какие-то гневные слова, но слова перемежались вздохами, а вздохи внезапным настороженным молчанием. Спустившись со своей дозорной вышки, она опять стала прохаживаться по тропе в сторону Дождевого кургана, но не уходя далеко и то и дело возвращаясь.

За несколько минут она дважды появлялась у костра и каждый раз спрашивала:

- Что, не плеснулось еще в пруду?

- Нет, мисс Юстасия, - отвечал мальчик. - Ну, - сказала она наконец, скоро и я пойду спать и тогда дам тебе счастливую монетку и отпущу домой.

- Спасибо, мисс Юстасия, - вздохнул замученный кочегар. А Юстасия снова отошла от костра, но на этот раз не по направлению к Дождевому кургану. Она обогнула участок по насыпи, спустилась к калитке возле дома и некоторое время стояла там неподвижно, глядя издали на костер.

Прямо перед ней, шагах в пятидесяти, возвышался угол, образованный двумя насыпями, на котором горел костер. Внутри этого угла по-прежнему копошилась над кучей дров фигура мальчика, изредка выпрямляясь и подкладывая поленце в огонь. Девушка безучастно следила за всеми его движениями. Иногда он взбирался на насыпь и стоял возле костра. Налетал порыв ветра и отдувал дым, волосы мальчугана и концы его фартучка - все в одну сторону; потом ветер стихал, волосы и фартук повисали, а дым столбом поднимался к небу.

Вдруг мальчик встрепенулся. Он соскользнул с насыпи и пустился бегом к белой калитке.

- Что? - спросила Юстасия.

- Лягушка прыгнула в пруд - я слышал!

- Значит, сейчас пойдет дождь, и тебе надо бежать домой. Ты не будешь бояться? - Она говорила торопливо и слегка задыхаясь, как будто от слов мальчика сердце у нее перепрыгнуло в горло.

- Нет, если у меня будет с собой счастливая монетка.

- Вот она, держи. Ну беги! Да не туда. Через сад. Ни у одного мальчика во всем Эгдоне не было сегодня такого костра, как у тебя.

Мальчик, явно пресыщенный выпавшим на его долю счастьем, с готовностью устремился в темноту. Когда он скрылся, Юстасия, оставив подозрную трубу и песочные часы у калитки, быстро прошла в угол под насыпью.

Здесь, заслоненная валом, она стала ждать. Через минуту с пруда донесся плеск. Будь мальчик еще здесь, он сказал бы - вот еще одна лягушка прыгнула в пруд; но большинство людей распознали бы в этом звуке плеск от брошенного в воду камня. Юстасия поднялась на вал.

- Да-а? - сказала она и затаила дыхание.

Тотчас по ту сторону пруда на низко спускавшемся к долине небе смутно обозначилась темная мужская фигура. Мужчина обошел пруд и, одним прыжком вскочив на вал, остановился рядом с Юстасией. Она тихо рассмеялась - это был третий звук, вырвавшийся у нее за этот вечер. Первый - когда она стояла на кургане - выражал тревогу; второй - на насыпи - выражал нетерпенье; в этом последнем - было ликующее торжество. Она молча радостными глазами смотрела на пришельца, словно на какое-то чудо, сотворенное ею самой из хаоса.

- Ну вот я пришел, - сказал мужчина; это был Уайлдив. - Чего ты от меня хочешь? Почему не можешь оставить меня в покое? Весь вечер я видел твой костер.

- Он говорил не без волнения, но ровным голосом, как бы тщательно сохраняя равновесие между двумя влекущими его в разные стороны силами.

Встретив в своем возлюбленном такое неожиданное самообладание, девушка, видимо, тоже взяла себя в руки.

- Ну понятно, ты его видел, - проговорила она с нарочито ленивым спокойствием. - Почему бы и мне не разжечь костер на пятое ноября, как все тут делают?

- Я знал, что это для меня.

- Откуда ты мог знать? Мы с тобой словом не перемолвились с тех пор, как ты... как ты выбрал ее и стал ухаживать за ней, а меня бросил, словно и не говорил никогда, что я твоя жизнь и твоя душа - отныне и навеки!

- Юстасия! Разве я мог забыть, что прошлой осенью в этот же день и на этом месте ты зажгла точно такой же костер, как призыв ко мне прийти и повидаться с тобой? И если сегодня у капитана Вэя опять горит костер, так для чего, как не с той же целью?

- Да, да! Признаюсь! - воскликнула она глухо, с той дремотной страстью в голосе и манере, которая была ее отличительной чертой. - Но не разговаривай со мной так, Дэймон, а то ты и меня заставишь сказать что-нибудь, чего я не хочу говорить! Я отреклась от тебя, я дала клятву больше о тебе не думать, но сегодня я узнала эту новость и поняла, что ты мне верен!

- Что ты такое узнала? - с недоумением сказал Уайлдвиг.

- Что ты на ней не женился! - ликуя, вскричала она. - И я поняла, что ты все еще меня любишь и поэтому не мог... Дэймон, ты жестоко поступил со мной, и я сказала, что никогда тебя не прощу, - я даже сейчас не могу вполне тебя простить, - ни одна женщина, у которой есть хоть капля гордости, этого не может.

- Знай я, что ты меня позвала только затем, чтобы упрекать, я бы не пришел.

- Но теперь мне все равно. Ты не женился на ней, ты вернулся ко мне, и я готова тебя простить!

- Кто тебе сказал, что я на ней не женился?

- Дедушка. Он сегодня ходил по своим делам и на обратном пути нагнал одного человека, и тот ему рассказал, что у них там, внизу, какая-то свадьба расстроилась. Дедушка подумал, уж не твоя ли, а я сразу поняла, что твоя.

- Кто-нибудь еще знает?

- Наверно, нет. Дэймон, теперь ты понимаешь, почему я зажгла мой сигнальный огонь? Разве я могла бы, если б думала, что ты уже стал ее мужем? Такое предположение оскорбительно для моей гордости.

Уайлдвиг промолчал: было ясно, что он именно это и предполагал.

- Нет, ты в самом деле думал, что я уже считала тебя женатым? повторила она с жаром. - Вот как ты несправедлив ко мне! Честное слово, мне даже трудно себе представить, что ты мог такое про меня подумать!.. Дэймон, ты не стоишь моей любви - я это понимаю и все-таки люблю... Но все равно, пусть! Видно, и эту обиду придется снести от тебя. - И, видя, что он не пытается оправдаться, она добавила с тревогой: - Скажи - ведь правда ты был не в силах меня покинуть и теперь опять будешь любить меня по-прежнему?

- Ну понятно, а то зачем бы я пришел? - раздраженно ответил он. Только это не большая заслуга с моей стороны - быть верным тебе после твоих любезных речей о моем ничтожестве: это я мог бы сказать сам о себе, а в твоих устах оно не очень-то деликатно. Да что поделаешь, сердце у меня слабое, это мое проклятие, вот и приходится так жить и выслушивать женские попреки. Это и довело меня до

того, что я из инженеров стал трактирщиком, а до чего еще докачусь, не знаю! - Он мрачно смотрел на нее.

Она поймала его взгляд и, откинув шаль, так что свет от костра озарил ее лицо и шею, сказала с улыбкой:

- Во всех твоих путешествиях видал ты что-нибудь лучше?

Юстасия была не из тех, кто идет на риск, не имея уверенности в победе. Все еще глядя на нее, он сказал негромко:

- Нет. Не видал.

- Даже у Томазин Ибрайт?

- Томазин милая и простосердечная девушка.

- Что мне до нее! - воскликнула она, вдруг вспыхнув гневом. - Какое она имеет значение? Сейчас есть только ты и я, и больше ни о ком не надо думать. - И, глядя на него долгим взглядом, она продолжала уже спокойно, но с прежним таинственным жаром в голосе: - Неужели я должна исповедаться тебе в том, что женщины всегда скрывают? Признаться, какой несчастной я чувствовала себя два часа назад, когда думала, что ты женился на ней?

- Прости, что я причинил тебе боль.

- А может, это не только из-за тебя, - сказала она с лукавой усмешкой. - На меня иногда находит. Должно быть, это у меня в крови.

- Ипохондрия,

- Или это оттого, что кругом все так мрачно. Когда я жила в Бедмуте, мне всегда было весело. О, счастливые, счастливые дни в Бедмуте! Но теперь и на Эгдоне станет веселее.

- Надеюсь, - хмуро ответил он. - Ты понимаешь, вечная моя возлюбленная, какие последствия будет иметь твой сегодняшней призыв? Я опять буду приходить к тебе на свиданья на Дождевой курган.

- Конечно.

- А ведь когда я шел сюда, я имел твердое намерение попроситься с тобой раз и навсегда и больше уж никогда не видеться.

- Ты, кажется, считаешь, что я должна еще благодарить тебя за это? сказала она, отворачиваясь; негодование проступило в ее чертах, как подспудное пламя. - Можешь приходить на курган, если тебе угодно, но меня там не будет; можешь звать меня, но я не услышу; и соблазнять меня своей страстью, но я тебе не предамся!

- Ты это и раньше говорила, душенька. Но такие, как ты, редко держат слово. Да и такие, как я, тоже.

-- Вот что я получила за все свои старанья, - прошептала она с горечью. - И зачем только я пыталась тебя вернуть? Знаешь. Дэймон, иногда у меня в душе словно борются два чувства. Бывало, ты меня обидишь, а я потом успокоюсь и думаю: "Да что же это я держала в объятьях - человека или клочок тумана?" Ты хамелеон, Дэймон, и сейчас показываешь мне свою самую дурную окраску. Уходи, или я тебя возненавижу.

Он несколько секунд рассеянно смотрел в сторону Дождевого кургана, потом сказал таким тоном, как будто все это его очень мало трогало:

- Да, пойду уж домой. Так ты хочешь меня видеть?

- Если ты признаешься, что не женился на ней потому, что меня любишь больше.

- Это, пожалуй, была бы плохая политика, - сказал он с улыбкой. - Ты слишком бы ясно увидела пределы своей власти.

- Нет, ты скажи!

- Да ты же сама знаешь. - Где она теперь?

- Не знаю. И вообще не хочу сейчас говорить о ней. Я не женился, я пришел, послушный твоему зову. Довольно с тебя и этого.

- А я зажгла костер просто потому, что мне было скучно и я подумала: все-таки это маленькое

развлечение - восторжествовать над тобой, вызвать тебя из мертвых, как эндорская волшебница вызвала Самуила. Я решила, пусть он придет - и вот ты пришел! Я доказала свою власть. Полторы мили сюда да полторы обратно - три мили в темноте ради меня. Это ли не доказательство власти.

Он покачал головой.

- Я слишком хорошо знаю тебя, моя Юстасия, слишком хорошо! Нет ни одной нотки в твоём голосе, которая не была бы мне знакома. Это горячее сердечко не могло холодно сыграть со мной такую шутку. Я видел в сумерках какую-то женщину на Дождевом кургане. По-моему, я позвал тебя еще раньше, чем ты меня.

Угли былой страсти теперь уже явно разгорались в Уайлдиве. Он наклонился к ней, словно хотел прижаться лицом к ее щеке.

- О нет, - непримиримо сказала она, переходя на другую сторону угасшего костра. - Что это тебе вздумалось?

- Можно поцеловать твою руку?

- Нет.

- А пожать?

- Нет.

- Ну так я обойдусь без того и без другого и просто пожелаю тебе спокойной ночи. Прощай! Прощай!

Она не ответила, и с церемонным поклоном, достойным учителя танцев, он исчез в темноте за прудом - там, откуда и появился.

Юстасия вздохнула; и это не был легкий девичий вздох, он потряс ее всю, как лихорадочная дрожь. Когда луч разума, словно сноп электрического света, выявлял перед ней все несовершенства ее возлюбленного - что иногда бывало, ее всякий раз пронизывала эта неудержимая дрожь. Но через мгновение свет угасал, и она снова любила. Понимала, что он играет с ней, и все же его любила. Она разбросала полуистлевшие

головешки и немедля ушла в дом. Не зажигая света, поднялась к себе в спальню. В темноте, пока она раздевалась, слышен был шелест сбрасываемой одежды и все такие же тяжелые вздохи. И когда она спустя десять минут уже лежала в постели, ее даже во сне по временам сотрясала дрожь.

ГЛАВА VII

ЦАРИЦА НОЧИ

Юстасия Вэй заключала в себе сырой материал божества. После небольшой подготовки она могла бы с честью занять место на Олимпе. В ней жили все страсти и стремления, какие подобают образцовой богине, то есть именно те, которые не вполне подобают образцовой женщине. Если бы можно было на время отдать землю и человечество ей во власть, если бы прялка, веретено и ножницы были вручены ей с правом распоряжаться ими, как она пожелает, мало кто заметил бы эту смену правительства. В мире все осталось бы по-старому: то же неравенство жребия - несчетные милости одному и пренебрежение другому, та же слепая щедрость вместо справедливости, те же вечные противоречья, то же беспричинное чередование ласк и ударов, которые мы и сейчас терпим.

Она была статная, с развитыми и чуть тяжеловатыми формами, с матовым, без румянца, лицом и на ощупь вся нежная, как облако. Волосы у нее были темные; казалось, мрака целой зимы не хватило бы, чтоб создать такую глубокую тень; и когда волосы падали ей на лоб, вспоминалось, как в сумерках ночная тьма скрадывает огни заката.

Нервы ее протягивались дальше, в эти густые пряди, и если она бывала раздражена, поглаживанием по голове ее всегда можно было успокоить. Когда ей расчесывали волосы, она тотчас затихала и сидела в оцепенении, как сфинкс. Если ей случалось идти вдоль одного из эгдонских обрывов и свисавшие ветви Ulex

euroreus {Утесник (лат.)}, своими шипами нередко сходные с гребнем, задевали ее по волосам, она отступала на несколько шагов назад и проходила под кустом вторично.

У нее были языческие глаза, полные ночных тайн, и мерцающий их свет, который то вспыхивал, то угасал, то снова вспыхивал, отчасти заслонялся тяжелыми веками и длинными ресницами, причем нижнее веко стояло гораздо выше, чем обычно у англичанок. Это позволяло ей незаметно для других отдаваться грезам, может быть, даже дремать, не закрывая глаз. Если допустить, что души людей это некая зримая субстанция, имеющая у каждого свою окраску, то душа Юстасии была, конечно, цвета пламени. Искры, всплывавшие по временам в ее темных зрачках, подтверждали это впечатление.

Губы ее, казалось, были созданы не столько для речи, как для трепета и поцелуев, а кое-кто, пожалуй бы, добавил: и для презрительной усмешки. В профиль их изгиб почти с геометрической точностью воспроизводил линию, известную в архитектуре как прямая сима, или гусек. Такой гибкий рисунок рта - явление исключительное на суровом Эгдоне, и, уж конечно, он не был завезен сюда из Шлезвига бандой саксонских пиратов, у которых губы смыкались, как две половинки сдобной булки. В нашем представлении он скорее связывается с югом, где таится иногда под землей на обломках забытых мраморных изваяний. Губы ее, хотя и полные, были так четко вылеплены, что каждый угол рта врезался в щеку, словно острие копья. Этот острый вырез углов рта притуплялся лишь в те минуты, когда на Юстасию вдруг накатывало уныние одно из проявлений той ночной стороны чувств, которая ей, несмотря на ее молодость, была уже слишком хорошо знакома.

Ее облик пробуждал воспоминания о таких вещах, как темно-красные розы, рубины и тропическая полночь; ее настроения приводили на память лотофагов и марш из "Аталии", ее движения - прилив и отлив морских волн, ее голос звуки альта. В сумеречном свете и с несколько иначе уложенными волосами ее вполне можно было принять за одну из старших богинь Олимпа. Дайте ей полумесяц в косы, или старинный шлем на голову, или диадему из дрожащих на волосах капель росы - и перед вами предстанет Артемида, или Афина Паллада, или Гера, - живой образ античности, не менее убедительный, чем те, которые уже снискали наше признание на многих знаменитых полотнах.

Но вся эта небесная повелительность, любовь, гнев, пыл сердца были ни к чему на слишком земном Эгдоне. Ее силам здесь был положен предел, и сознание этого предела извратило ее развитие. Эгдон стал ее Аидом, и с тех пор, как она поселилась здесь, она много впитала от его унылости, хотя в душе никогда с нею не мирилась. Этот затаенный бунт сказывался в ее наружности; темный блеск ее красоты был лишь отражением вовне бесплодного и задушенного внутреннего огня. Какая-то горделивая мрачность, как тень Тартара, осеняла ее лоб - и мрачность эта не была ни насильственной, ни притворной, ибо зрела в ней годами.

Это впечатление почти царственной величавости еще усиливалось оттого, что на голове она носила черную бархатную ленту, чтобы сдержать буйное изобилие темных кудрей, отчасти затенявших ей лоб. "Ничто так не красит прекрасное лицо, как узкая перевязь на лбу", - говорит Рихтер. Другие девушки по соседству носили в волосах цветные ленты и навешивали на себя всевозможные металлические украшения, но когда Юстасии предлагали яркую ленту

и металлические побрякушки, она только смеялась и уходила прочь.

Почему такая женщина жила на Эгдонской пустоши? Ее родиной был Бедмут, в те годы фешенебельный курорт. Отцом ее был капельмейстер одного из расквартированных там полков, родом грек с острова Корфу и отличный музыкант. Со своей будущей женой он познакомился во время ее приезда туда с отцом, морским капитаном и человеком из хорошей семьи. Вряд ли отец одобрял этот брак, ибо средства жениха были столь же несолидны, как и его занятие. Но капельмейстер пошел навстречу всем его желаниям: принял фамилию жены, навсегда поселился в Англии, очень заботился о воспитании ребенка, расходы на которое оплачивал дед, и, в общем, преуспевал, как лучший музыкант города, вплоть до смерти жены, после чего преуспевать перестал, начал пить и вскоре тоже умер. Дочь осталась на попечении дедушки. Капитан к этому времени, сломав себе три ребра при кораблекрушении, уже водворился на своем обдуваемом всеми ветрами насесте на Эгдонской пустоши; место ему понравилось, во-первых, потому, что усадьбу можно было приобрести почти задаром, а во-вторых, потому, что от самых дверей дома в просветах меж холмов виднелась на горизонте голубая полоска, которую по традиции считали Ла-Маншем. Девушка с отвращением отнеслась к этой перемене; на Эгдоне она чувствовала себя изгнанницей, но что делать - приходилось здесь жить.

Вот как получилось, что в мозгу Юстасии сложился самый странный набор впечатлений, почерпнутых из прошлого и из настоящего и налажавшихся друг на друга. В этом мире образов, в котором она жила, отсутствовала перспектива, там не было промежуточных расстояний. Романтические воспоминания о солнечных прогулках по эспланаде, о

военных оркестрах, офицерах и светских щеголях отпечатывались, как золотые буквы, на темных страницах окружавшего ее Эгдона. Самые причудливые идеи, какие могут родиться из беспорядочного переплетения курортного блеска с торжественной печалью вересковой пустоши, жили в ее душе. Не видя людей и жизни вокруг себя, она тем более украшала в воображении то, что видела раньше.

Откуда бралось в ней отличавшее ее горделивое достоинство? Не из тайного ли наследия Алкиноева рода? Отец ее происходил с Феакийского острова... Или от Фиц-Аланов и де Веров? У ее деда по материнской линии был двоюродный брат, пэр Англии... Вернее всего, то был дар небес, счастливое сочетание естественных законов. Да кроме того, за последние годы ей и не представлялось случая уронить свое достоинство, ибо она жила одна. Одиночество на вересковых склонах лучше всякого стража хранит от вульгарности. У нее было не больше шансов стать вульгарной, чем у диких пони, летучих мышей и змей, населявших Эгдон. А жизнь в узком кругу Бедмута могла бы совершенно ее принизить.

Единственный способ выглядеть царицей, когда нет ни царств, ни сердец, коими можно повелевать, это делать вид, что царства тобою утрачены, - и Юстасия делала это в совершенстве. В скромном коттедже капитана она держалась так, что видевшим ее начинали вспоминаться дворцы, в которых сама она никогда не бывала. Может быть, это ей удавалось потому, что она так часто бывала во дворце, более обширном, чем все созданные человеческими руками, - на открытых холмах Эгдона. И точно так же, как Эгдон в летнюю пору, она была живым воплощением парадоксальной формулы: "населенное одиночество". Внешне столь равнодушная, вялая, молчаливая, она на самом деле всегда была занята и полна жизни.

Быть любимой до безумия - таково было ее величайшее желание. В любви она видела единственный возбудитель, способный прогнать снедающую скуку ее одиноких дней. Она жаждала любви, но скорее - той абстракции, которую мы называем страстной любовью, чем какого-либо конкретного возлюбленного.

Иногда в ее глазах можно было прочесть горький упрек, но он был обращен не к людям, а к созданиям ее собственной фантазии и больше всего к Судьбе, чье вмешательство, как ей смутно представлялось, повинно в том, что любовь лишь на миг дается в руки быстротекущей юности и что всякая любовь, которую она, Юстасия, сможет завоевать, неизбежно ускользнет от нее вместе со струйкой песка в песочных часах. Чем чаще она думала об этом, тем больше утверждалось в ней сознание жестокости такого миропорядка, постепенно подготавливая ее к своевольным поступкам и пренебрежению условностями, к решимости урвать год, неделю, даже час любви, где только можно и пока это еще можно! Но случай не приходил ей на помощь, и она пела без веселья, владела без радости и затмевала других, не испытывая торжества. Уединение еще больше разжигало ее мечту. На Эгдоне даже самые холодные и скупые поцелуи доставались дорого, как кусок хлеба в голодный год; а где ей было найти губы, достойные коснуться ее губ?

Верность ради самой верности не имела в ее глазах той цены, какую придает ей большинство женщин, но верность сердца, безраздельно захваченного страстью, она ценила высоко. Пусть будет яркая вспышка и затем мрак, - это лучше, чем тусклый огонек в фонаре, которого хватит на долгие годы. Об этом она догадкой знала много такого, чему большинство женщин научается лишь из опыта, ибо мысленно она уже бродила вокруг любви, пересчитывала ее башни,

заглядывала в ее дворцы и пришла к выводу, что любовь - это весьма горькая радость. И все же она ее жаждала, как блуждающий в пустыне жаждет глотка хотя бы и солоноватой воды.

Она часто молилась - не в положенные для того часы, но, как искренне верующий, тогда, когда ей хотелось. Молитва ее всегда выливалась прямо из сердца и часто звучала так: "О, изгони из моего сердца этот ужасный мрак и одиночество, пошли мне откуда-нибудь великую любовь, иначе я умру!"

Ее героями были Вильгельм Завоеватель, Страффорд и Наполеон Бонапарт, какими они изображены в "Истории для молодых девиц", по которой их учили в пансионе, где она воспитывалась. Будь она матерью семейства, она дала бы сыновьям такие имена, как Саул или Сисара, но не Иаков и не Давид, - те не вызывали у нее восхищения. Изучая в школе Библию, она во многих битвах становилась на сторону филистимлян и задумывалась порой, был ли Понтий Пилат так же красив, как справедлив и честен?

Таким образом, в этой девушке замечалась известная дерзость ума, а если вспомнить, среди каких робких мыслителей она возрастала, то и оригинальность, в основе которой лежало инстинктивное отвращение ко всему шаблонному и общепринятому. К праздникам она тоже относилась довольно своеобразно: подобно тому как лошади, выпущенные на луг, с особым удовольствием поглядывают на своих собратьев, потеющих в упряжи на большой дороге, так и Юстасия собственный отдых был сладок только среди чужих трудов. Поэтому она ненавидела воскресенья, эти дни всеобщего отдыха, и часто говорила, что они загонят ее в гроб. Вид эгдонских жителей, когда они в воскресном своем обличье, то есть в свежесмазанных салом башмаках, не зашнурованных доверху (особый воскресный шик!),

засунув руки в карманы, расхаживали среди куч торфа и вязанок дрока, нарезанных за неделю, и задумчиво поталкивали их ногой, как будто самое назначение этих предметов было им неведомо, несказанно угнетал Юстасию. Чтобы разогнать скуку, она принималась наводить порядок в шкафах, набитых старыми морскими картами капитана и прочим хламом, напевая при этом баллады, которые эгдонцы обычно пели на своих субботних вечеринках. А вечером в субботу она иной раз пела псалмы, и если уж читала Библию, то всегда в будни, чтобы, по крайней мере, быть спокойной, что делает это не по обязанности.

Такие взгляды на жизнь были в какой-то мере естественным результатом воздействия окружения на ее натуру. Жить на вересковой пустоши, не вдумываясь в то, что она может тебе сказать, это почти то же, что выйти замуж за иностранца, не изучив его языка. Тонкие красоты Эгдона оставались непонятны Юстасии; она видела только его туманы. Окрестности, которые счастливую женщину сделали бы поэтом, страдающую женщину - набожной, а набожную - псалмопевцем и даже ветреницу заставили бы задуматься, в этой бунтарке порождали лишь мрачное уныние.

Юстасия давно поняла тщетность своих мечтаний о каком-то блистательном браке; однако, как ни сильны были волновавшие ее чувства, она отвергала более скромные союзы. Поэтому мы застаем ее в столь странном уединении. Потерять богоподобную уверенность в том, что мы можем делать все, что хотим, и не усвоить, взамен ее, мирного стремления делать то, что мы можем, - это признак сильного характера, и вообще-то говоря возражать тут нечего, ибо в этом сказывается гордый ум, который, даже потерпев разочарование, не идет на компромисс. Однако такая настроенность, полезная в философии, будучи претворена в действие, может стать опасной для

общества. А в таком мирке, где для женщины действовать - значит выйти замуж, где самое общество в значительной мере покоится на этих союзах рук и сердец, подобная опасность тем более возрастает.

Таким образом, мы видим нашу Юстасию - ибо не всегда и не во всем она была недостойна сочувствия - достигшей той степени просвещенности, когда человек сознает, что ничто не стоит труда; и с этим сознанием в душе она заполняла досужие свои часы тем, что идеализировала Уайлдива, за отсутствием лучшего предмета. В этом был весь секрет его власти над ней - и она сама это понимала. Иногда ее гордость возмущалась, она даже хотела быть свободной. Но только одно могло свергнуть его с престола - пришествие нового, более достойного властителя.

В остальном же она очень страдала от душевной подавленности и, чтобы ее развеять, предпринимала долгие медленные прогулки, всякий раз беря с собой дедушкину подзорную трубу и бабушкины песочные часы - последние потому, что находила странное удовольствие в том, чтобы постоянно иметь перед глазами это материальное выражение неуклонного бега времени. Она редко строила планы, но если уж случалось, то в ее расчетах бывала скорее широкая стратегия полководца, чем те маленькие хитрости, которые принято называть женственными; впрочем, и она не хуже других женщин умела выражаться с достойной дельфийских оракулов двусмысленностью, когда не хотела сказать прямо. На небесах она, вероятно, заняла бы место между Элоизой и Клеопатрой.

ГЛАВА VIII

КОГО НАХОДИШЬ ТАМ, ГДЕ, ГОВОРЯТ, НИКОГО НЕТ

Как только истомившийся мальчуган отошел от костра, он крепко зажал монету в ладони, словно черпая в том мужество, и пустился бежать. Бояться ему,

в сущности, было нечего; в этой части Эгдона можно было спокойно отпустить ребенка одного домой. До дома его отца было меньше полумили; этот домишко и еще один, несколькими ярдами дальше, составляли часть крохотного поселка на Мистоверском холме; третьим и последним был дом капитана Вэя, стоявший повыше и в стороне. - самое одинокое из всех одиноких жилищ на этих скудно населенных склонах.

Он бежал, пока не задохнулся, потом, успокоившись, побрел шагом, напевая старческим голосом песню о моряке и его милой и о золоте, которое ему в конце концов досталось. Но вдруг мальчуган остановился: впереди из песчаного карьера под обрывом исходил свет, вздымалось облако пыли и доносились шлепающие звуки.

Только неожиданное и необычное пугало мальчика. Сухой голос вереска его не тревожил, так как был для него привычным. Хуже было с кустами терновника, встававшими кое-где на его пути, - очень уж зловеще они посвистывали, да еще был у них скверный обычай прикидываться в темноте то выскочившим из засады буйнопомешанным, то припавшим к земле великаном, то уродливым калекой. Огней в ту ночь много горело кругом, однако этот был не такой, как все. И мальчик, скорее из осторожности, чем от страха, решил вернуться и попросить мисс Юстасию, чтобы она послала служанку проводить его домой.

Снова поднявшись по склону, он увидел, что костер на валу все еще горит, хотя и не так ярко, как раньше. Но у костра вместо одинокой фигуры Юстасии виднелись теперь двое, и второй был мужчина. Мальчик бесшумно прокрался вдоль насыпи к тому месту, где они стояли, не решаясь сразу потревожить такое блистательное существо, как мисс Юстасия, ради своих собственных ничтожных надобностей. Несколько минут он постоял, притаившись во рву и прислушиваясь,

потом в смущении отступил и удалился так же бесшумно, как и пришел, - очевидно, не посмел отрывать Юстасию от разговора с Уайлдивом из страха навлечь на себя ее неудовольствие.

Бедный малыш был теперь, так сказать, между Сциллон и Харибдой возможным гневом Юстасии и теми странными явлениями, которые подстерегали его на пути мимо песчаного карьера. Помедлив еще немного, он решил из двух зол избрать меньшее и с глубоким вздохом снова стал спускаться по склону и дальше по той же тропе, по которой шел раньше.

В овраге уже не было света, пыльное облако тоже исчезло - он надеялся, что навсегда. Он зашагал увереннее, и больше ничто его не тревожило, пока в нескольких шагах от карьера он не услышал впереди легкий шум, заставивший его замереть на месте. Но испуг его был мимолетным, так как в этом звуке он почти тотчас же различил хрупанье двух лошадок, усердно щиплющих траву.

- Ишь ты, два стригуна тут пасутся, - сказал он вслух. - А раньше вроде никогда так близко не подходили.

Лошади стояли прямо на тропе, но это мальчика не смутило, - он с младенчества привык играть у самых лошадиных ног. Но, подойдя ближе, он с удивлением увидел, что эти дикие создания не убегают и что у обоих на ногах путы, а это значило, что они объезжены. Отсюда мальчик уже мог заглянуть внутрь карьера, который был выкопан в откосе холма, так что с другой стороны к нему вела ровная дорога. В глубине он различил темные очертания фургона, обращенного к нему задом. В фургоне горел свет, отбрасывая движущуюся тень на противоположную отвесную стену выемки.

Мальчик подумал, что набрел на заночевавших тут цыган, и хотя он их побаивался, все же это бродячее

племя возбуждало в нем скорее любопытство, чем ужас. Ведь только глиняная стена толщиной в несколько дюймов отделяла его самого и его семью от такого же бродяжнического состояния. Он поднялся по склону, обогнул издали карьер и снова подошел к краю, надеясь сквозь открытую дверь фургона разглядеть того, чья тень так причудливо шевелилась на стене.

То, что он увидел, привело его в смятение. Возле маленькой печурки внутри фургона сидел человек, красный с головы до ног. Он штопал чулок, такой же красный, как и он сам, и, штопая, вдобавок курил трубку, мундштук и чашечка которой тоже были красные.

В этот миг одна из лошадок, пасшихся в темноте, явственно загремела своими путами. Встрепенувшись от этого звука, охряник отложил чулок, зажег фонарь, висевший рядом на стене, и вышел из фургона. Вставляя огарок, он поднял фонарь к лицу, белки его глаз и белые, как слоновая кость, зубы так странно сверкнули среди окружающей красноты, что сердце у мальчика замерло. Теперь он слишком хорошо понимал, на чье логово наткнулся. По Эгдону, случалось, бродили существа пострашнее цыган, и охряник был одним из них.

- Ох, лучше бы уж цыгане! - пробормотал он.

Охряник тем временем, осмотрев лошадей, уже шел обратно. И перепуганный мальчуган в своем стремлении скрыться сам себя выдал. Над краем карьера ковром нависал слой верескового дерна и торфа. Мальчик торопливо шагнул, неверная почва подалась, и он скатился по откосу из серого песка прямо к ногам страшилища.

Красный человек открыл фонарь и направил его на распростертого мальчугана.

- Кто ты такой? - спросил он.

- Джонни Нонсеч, мистер!

- Что ты тут делал?

- Ничего.

- За мной, что ли, подглядывал?

- Да, мистер.

- Что это тебе вздумалось?

- Я шел домой от мисс Вэй... Мы там костер жгли.

- Ушибся?

- Нет.

- Ну как же нет, вон у тебя рука в крови. Идем ко мне под навес, я тебя перевяжу.

- Позвольте, я поищу свою монетку?

- Откуда у тебя монетка?

- Мисс Вэй мне дала за то, что я поддерживал ее костер. Монета быстро отыскалась, и охряник пошел к фургону;

мальчик затаив дыхание плелся сзади.

Из сумки со швейными принадлежностями охряник достал тряпицу, оторвал от нее лоскут, красный, как все остальное, и принялся перевязывать ранку.

- У меня голова закружилась, можно я сяду? - сказал мальчик.

- Садись, садись, бедняжка. Немудрено, что и закружилась, ишь ведь как ободрался. Сядь вон на тот узел.

Охряник кончил перевязку, и мальчик сказал:

- Я уж пойду домой, мистер.

- А что ты меня так боишься? Ты знаешь, кто я?

Мальчик с великим страхом оглядел кроваво-красную фигуру и наконец выговорил:

- Да.

- Ну кто же я, по-твоему?

- Вы... сам охряник! - пролепетал он.

- Верно. Только я ведь не один такой. Вы, малыши, думаете, что есть оиди-едииственная кукушка, одна лисица, один великан, один черт и один охряник, а всего этого куда как много.

- Да-а?.. Так вы не запрячете меня в мешок и не увезете с собой? Говорят, охряник иногда так делает.

- Экой вздор! Охряник продает охру, только и всего. Видишь, вон мешки в задку в фургоне? Думаешь, там мальчишек напихано? Нет, только красной краски.

- А вы и родились таким красным?

- Нет, после стал. А брошу это ремесло и опять стану белым, как ты, ну, не сразу, может, через полгода; раньше не выйдет, потому эта краска в кожу въедается, за один раз не отмоешь. Ну, теперь не будешь больше бояться охряников?

- Не буду. Уилли Ортард говорит, он здесь третьего дня красный призрак видел, - может, это вы были?

- Я был тут третьего дня.

- Это вы делали тут такой пыльный свет?

- Ну да, я выбивал мешки. Значит, это вы с мисс Вэй жгли костер там, на горке? Я видел. Славно горел. А на что ей так костер понадобился, что она тебе за него даже монету дала?

- Не знаю. Я уж уморился, хотел домой, а она не пускала, говорила, подкладывай, а сама все ходила взад-назад к Дождевому кургану.

- И долго она этак прохаживалась? - Пока лягушка не прыгнула в пруд.

Охряник вдруг насторожился.

- Лягушка? - переспросил он. - В эту пору лягушки в пруд не прыгают.

- А вот и прыгнула, я сам слышал.

- Наверняка?

- Да. Она мне еще раньше сказала, что я услышу, и я услышал. Говорят, она очень хитрая и колдовать умеет, так, может, она приколдовала эту лягушку.

- А потом что было?

- Потом я пошел сюда, да испугался и побежал назад. Но ей ничего не сказал, потому что там был

джентльмен, и они разговаривали, и я опять пошел сюда.

- Джентльмен?.. Вот как! И что же она ему говорила?

- Говорила, что он не женился на другой, потому что свою прежнюю любит больше, ну и еще что-то.

- А он ей что сказал?

- Сказал, что верно, он ее любит больше и опять будет приходить к ней по вечерам на Дождевой курган.

- А! - вскричал охряник и так ударил ладонью по стенке, что весь фургон затрясся. - Вот в чем дело-то!

Мальчик от испуга привскочил на своем узле.

- Не бойся, малыш, - ласково сказал охряник, сразу успокоившись. - Я и забыл, что ты здесь. Мы, охряники, чудной народ, иной раз на минуточку сходим с ума, но мы никого не обижаем. А она что ему сказала?

- Не помню, мистер охряник, можно я уже пойду домой?

- Иди, сынок, бог с тобой. Я тебя немножко провожу.

Он вывел мальчика из карьера на тропу, которая шла к его дому. Когда маленькая фигурка растворилась в темноте, охряник вернулся, снова сел у печурки и продолжал штопать чулок.

ГЛАВА IX

ЛЮБОВЬ УЧИТ СТРАТЕГИИ

Охряники старой школы стали теперь редкостью. После введения железных дорог уэссекские фермеры научились обходиться без этих мефистофелеподобных посредников и другими путями добывать яркую краску, которую так широко применяют пастухи, готовя своих овец к ярмарке. Да и те охряники, что еще уцелели, ведут уже не такой поэтический образ жизни, как в прежние времена, когда занятие этим ремеслом означало периодические паломничества к рудникам, где они запасались материалом, ночевки под открытым небом почти круглый год, кроме разве самых холодных

зимних месяцев, и странствия по доброй сотне ферм, где они продавали свой товар; когда, несмотря на эту кочевую жизнь, охряник сохранял респектабельность, которую ему обеспечивал туго набитый кошелек.

Охра сообщает свой яркий колер всему, с чем соприкасается, и отмечает как бы каиновой печатью всякого, кто полчаса с ней возился.

В жизни каждого ребенка первая встреча с охряником была событием. Эта кроваво-красная фигура представляла ему как живое воплощение всех страшных снов, всех ужасов, когда-либо терзавших его юное сознание. "Вот охряник за тобой придет!" - так уэссекские матери много поколений подряд грозили непослушным детям. В начале нынешнего столетия охряника с успехом заменил Бонапарт, но когда с течением времени эта новая угроза выдохлась и потеряла силу, старая вновь обрела могущество. А теперь и охряник, вслед за Бонапартом, ушел в страну забытых пугал, и место их заняли более современные измышления.

Охряник жил, как цыган, но цыган он презирал. Он выручал примерно столько же, как разъезжие продавцы плетеных корзин и циновок, но не вступал с ними в общение. Он обычно происходил из более достаточной семьи и рос в лучших условиях, чем погонщики скота, с которыми постоянно сталкивался во время своих скитаний, но они только кивали ему при встрече. Товар у него был более ценный, чем у коробейников, но сами они так не думали и проходили мимо его фургона, не оглядываясь. Краска придавала ему столь неестественный вид, что владельцы каруселей и паноптикумов выглядели рядом с ним франтами, но он считал их дурным обществом и с ними не знался. Он постоянно находился среди этого оседлого и бродячего населения дорог, но к нему не принадлежал. Его

занятие как бы отъединяло его от людей, и он почти всегда был один.

Многие утверждали, что в охряники идут злодеи, натворившие преступлений, за которые пострадали невинные; укрываясь от закона, они не могут укрыться от собственной совести и берутся за это ремесло во искупление своих грехов. А иначе зачем бы они его выбрали? В данном случае такой вопрос был особенно уместен. Ибо охряник, появившийся в этот вечер на Эгдонской пустоши, представлял собой яркий пример бессмысленной жертвы: тут красота и привлекательность пошли на создание уродства, хотя для этой цели в равной мере годилось бы и безобразие. В сущности, единственной его отталкивающей чертой была окраска. Без нее это был бы очень приятный собой, славный деревенский парень. Наблюдатель, достаточно проницательный, пожалуй, склонился бы к мысли, отчасти справедливой, что он отказался от прежнего своего положения просто потому, что утратил к нему интерес. А приглядевшись внимательнее, вероятно, уяснил бы себе и основные черты его характера добродушие и сметливость, живую и острую, но чуждую лукавства.

Сейчас, штопая чулок, он сидел с посуровевшим от напряженной мысли лицом. Потом это выражение сменилось более мягким, и, наконец, лицо его осветилось грустной нежностью, как тогда, когда он в сумерках шел за своим фургоном по большой дороге. Вскоре игла его остановилась. Он отложил чулок, поднялся и снял с крючка в углу небольшой кожаный мешочек. В этом мешочке, вместе со всякой мелочью, хранился маленький плоский пакет в оберточной бумаге; края его были истертые и слипшиеся, - видно, его часто развертывали и снова бережно складывали. Охряник опять сел на свой трехногий табурет один из тех, что употребляют при дойке коров, и единственное

седалище в его фургоне, - вынул из пакета старое письмо, разгладил его. Когда-то это письмо было написано на белой бумаге, но она давно уже стала бледно-красной, и черные строчки выделялись на ней, как голые веточки зимней изгороди на алом закатном небе. В конце письма стояла дата - два года назад - и подпись: "Томазин Ибрайт". Вот что было в нем написано:

"Дорогой Диггори Венн! Вопрос, который ты мне задал, когда нагнал меня возле пруда, был для меня такой неожиданностью, что, боюсь, я не сумела толком ответить. Если бы тетя меня не встретила, я, конечно, сразу бы все объяснила, но тут уж не было времени. И с тех пор я все беспокоюсь; не хочу тебя огорчать, но, боюсь, придется, потому что сейчас я скажу совсем не то, что тебе тогда показалось. Диггори, я не могу выйти за тебя замуж и не могу позволить, чтобы ты называл меня своей милой. Право же, это нельзя, Диггори. Не сердись на меня и не горюй, мне больно думать, что я тебя огорчаю, потому что я тебя очень люблю и всегда считала тебя наравне с моим братом Клаймом. Причин, почему нам нельзя жениться, так много, что в письме не перечислишь. Когда ты пошел за мной, я никак не ожидала, что ты об этом заговоришь, потому что никогда не думала о тебе как о своем поклоннике. И не обижайся на меня за то, что я тогда засмеялась, не подумай, что я смеялась над тобой, нет, совсем не над тобой, а просто потому, что самая эта мысль - стать твоей женой - показалась мне такой нелепой. Главная причина, почему я не разрешаю тебе за мной ухаживать, это что я не чувствую к тебе того, что должна чувствовать женщина к человеку, за которого соглашается выйти замуж. Ты, может быть, думаешь, что у меня есть другой, но это неверно, никого у меня нет и никогда не было. Вторая причина - это моя тетя. Она бы все равно не согласилась, даже если б я хотела

за тебя выйти. Она очень расположена к тебе, во прочит меня не за мелкого фермера, а за кого-нибудь повыше, учителя или адвоката. Надеюсь, ты не возненавидишь меня за то, что я пишу так откровенно, но иначе ты, пожалуй, опять стал бы искать встречи со мной, а нам лучше не видеться. Я всегда буду думать о тебе как о добром, хорошем человеке и желать тебе всякого благополучия. Посылаю тебе это письмо с дочуркой Дженни Орчард. И остаюсь, Диггори, твой верный друг Томазин Ибрайт. Мистеру Венну, на молочную ферму".

С того давнего осеннего утра, когда пришло это письмо, Диггори и Томазин не виделись. За это время пропасть между ними еще углубилась; если раньше он был ей не ровня, то теперь тем более, хотя его недостатки и сейчас были не так малы. Принимая во внимание, что траты его составляли только четверть доходов, его вполне можно было назвать зажиточным человеком.

Отвергнутых любовников так же тянет вдаль, как роящихся пчел; и новое занятие, которому Венн с горя предался, во многих отношениях пришлось ему по душе. Но бывшая любовь нередко направляла его блуждания в сторону Эгдонской пустоши, хотя он никогда не пытался увидеть ту, которая его туда влекла. Ходить по тому же вереску, что она, быть вблизи от нее было его единственной заветной радостью.

Но происшествия последнего дня и маленькая услуга, которую ему довелось оказать ей в тяжелую для нее минуту, так его взволновали, что он поклялся отныне всеми силами охранять ее и защищать, вместо того чтобы, как до сих пор, вздыхать и держаться в отдалении. После всего случившегося он, конечно, не мог не усомниться в честных намерениях Уайлдива. Но она-то, по-видимому, все свои надежды сосредоточила на нем - так что ж, пусть будет счастлива по-своему, и

он. Диггори, ей в этом поможет. Ему самому это сулило еще горшие страдания, но любовь охряника была великодушной.

Свой первый шаг в защиту интересов Томазин он предпринял на следующий день около семи часов вечера. Услышав от мальчика о тайном свидании Юстасии с Уайлдивом, он тотчас заключил, что она-то и была каким-то образом повинна в расстройстве свадьбы. Ему не пришло в голову, что свой призывный сигнал она зажгла только под влиянием вестей, полученных от дедушки, что это была вспышка прежних чувств в покинутой любовнице. Он видел в ней не препятствие, существовавшее уже заранее, но активную силу, злоумышляющую против счастья Томазин.

Весь день ему очень хотелось узнать, что с Томазин, но он не решился постучать в дом, ставший для него чужим, тем более в такую неприятную для его обитателей минуту. Он занялся тем, что перевел своих пони и фургон на новую стоянку, к востоку от прежней, и выбрал для нее уголок, хорошо защищенный от дождя и ветра, из чего можно было заключить, что он рассчитывает пробыть здесь долго. Затем пошел пешком обратно по той же дороге, по которой приехал, а когда сумерки сгустились, свернул налево и вскоре уже стоял за кустом остролиста, всего шагах в двадцати от Дождевого кургана.

Он ждал, что они снова придут сюда, но ждал напрасно. В этот вечер никто, кроме него, не приближался к Дождевому кургану.

Это его не смутило. Он и раньше бывал в положении Тантала и принимал как закон, что некоторая доля разочарования всегда предшествует удаче; его бы скорее встревожило, если бы все удалось с первого раза.

Назавтра в тот же час он опять стоял на своем посту, но долгожданные Юстасия и Уайлдив не появлялись.

Точно так же он поступал еще четыре ночи подряд, и все безуспешно. Но на пятую ночь, ровно через неделю после первого их свидания, он заметил тень женщины, проскользнувшую по закраине холма, и силуэт мужчины, поднимавшегося снизу, от дороги. Они сошлись в неглубоком ложке, окаймлявшем курган, - той выемке, откуда древние жители брали землю, насыпая свой могильник.

Возбуждаемый подозрением, что здесь куются козни против Томазин, охряник немедленно приступил к действиям. Он покинул свое укрытие и пополз вперед на четвереньках. Но когда он подкрался так близко, как только мог без риска быть обнаруженным, оказалось, что ветер относит голоса и разговора ему все-таки не слышно.

Возле него и всюду по склону валялись нарезанные пласты дерна, которые Тимоти Фейруэй должен был вывезти до снега. Иные были поставлены на ребро, другие перевернуты вверх изнанкой. Не вставая с земли, Диггори навалил на себя два ближайших, так что один прикрыл его плечи и голову, другой - спину и ноги. Теперь его и при дневном свете никто бы не разглядел; лежавшие на нем дернины вереском кверху имели вид обыкновенных кочек. Он снова пополз, и дерн полз вместе с ним. Возможно, в сумерках его и так бы не заметили, но сейчас он словно прокапывал себе ход под землей и подобрался почти вплотную к стоящим возле кургана.

- Хочешь посоветоваться со мной? - донесся до его слуха звучный и властный голос Юстасии. - Со мной?.. Это низость с твоей стороны. Не стану больше это терпеть! - Она заплакала. - Я любила тебя и не скрывала своих чувств, себе на беду, а теперь ты приходишь и

так вот, холодно, говоришь, что хочешь посоветоваться со мной, не лучше ли тебе жениться на Томазин? Ну конечно, лучше. Женись на ней; она куда больше пара тебе, чем я.

- Ну ладно уж, ладно, - нетерпеливо ответил Уайлдвиг. - Надо все-таки посмотреть правде в глаза. Пусть я во всем виноват, но сейчас ее положение гораздо хуже твоего. Я просто говорю тебе, что не знаю, как быть.

- Но ты не смеешь мне это говорить! Неужели ты не видишь, что только мучаешь меня?.. Это не деликатно, Дэймон; ты очень упал в моем мнении. Ты не сумел оцепить мою любезность - любезность женщины, которая снизошла до тебя, хотя мечтала не о таком будущем. Но это вина Томазин. Она сманила тебя, так пусть же и страдает за это. Где она сейчас? И не надейся, что я ее пожалею, когда мне и себя не жаль. Если бы я умерла, сгинула бы совсем, то-то бы она обрадовалась!.. Где она, я спрашиваю?

- Она сейчас у тетки, заперлась в спальне и никого не хочет видеть.

- А по-моему, ты и сейчас ее не любишь! - с внезапным весельем воскликнула Юстасия. - Иначе не говорил бы о ней так равнодушно. А может, ты так же равнодушно говоришь с ней обо мне? Наверно! Но как ты вообще мог меня бросить? Этого я тебе никогда не прощу. Или нет, прощу, но с одним условием: что всякий раз, как ты вздумаешь меня покинуть, ты будешь опять возвращаться ко мне и каяться в своем поступке.

- Я вовсе не хочу тебя покидать.

- Но благодарности за это от меня не ищи. Ненавижу, когда все идет гладко. Даже лучше, если ты будешь время от времени мне изменять. Любовь страшная скука, если любовник всегда верен. Стыдно так говорить, но ведь это правда! - У нее вырвался тихий смешок. - От одной мысли об этом меня уже тоска

берет. Не предлагай мне спокойной любви, а то я тебя прогоню!

- Если б хоть Тамзи была не такой славной девочкой!
- вздохнул Уайлдив. - Тогда я мог бы остаться верным тебе, не обижая хорошего человека. Все-таки я негодяй и мизинца вашего не стою, ни твоего, ни Тамзиного!

- Но ты не должен жертвовать собой из какого-то чувства справедливости, - живо возразила Юстасия. - Если ты не любишь ее, самое милосердное - ее оставить. Для всех будет полезнее. Ну вот я сказала жестокую вещь. Когда ты со мной, всегда такого наговорю, что потом злюсь на себя.

Не отвечая, Уайлдив прошелся взад-вперед по вереску. Наступившее молчание было заполнено свистом ветра в остриженном кусте терна, росшего чуть поодаль, неподатливые ветви которого были как бы решетом. Казалось, ночь поет похоронную песню сквозь сжатые зубы.

- С тех пор как мы виделись, мне уже приходило в голову, что, может быть, ты вовсе не из любви ко мне на ней не женился. Скажи мне, Дэймон; я постараюсь с этим примириться. Я тут была ни при чем?

- Ты требуешь, чтобы я сказал? - Да, мне нужно знать. Я вижу, что слишком верила в свои силы.

- Ну, первой причиной было то, что разрешение на брак оказалось недействительным, а прежде, чем я успел выправить другое, она убежала. Пока что ты была ни при чем. А потом мне не понравилось, как ее тетка со мной разговаривала.

- Да, да! Я ни при чем, я ничто. Ты только играл со мной. Боже мой, да из чего же я сделана, я, Юстасия Вэй, если после этого еще думаю о тебе!

- Ну-ну, не надо так горячиться... Юстасия, помнишь, как мы бродили среди этих кустов прошлым летом, когда спадала жара и тень от холмов заполняла ложбины и укрывала нас от чужого взгляда?

Она помолчала, потом ответила:

- И как я смеялась над тобой за то, что ты осмелился поднять взор на меня. Но ты с лихвой отплатил мне за это.

- Да, ты жестоко обращалась со мной, пока я не нашел другую, получше. Это было моим спасеньем, Юстасия.

- Ты и сейчас думаешь, что она лучше?

- Как когда. Смотря по настроению. Чашки весов стоят так ровно, что пушинка может склонить либо ту, либо другую.

- И тебе все равно, приду я к кургану или не приду?

- Нет, не все равно, но не настолько, чтобы это нарушило мой покой, лениво ответил Уайлдив. - Нет, дорогая, это все кончено. Я теперь вижу два цветка там, где раньше видел только один, А может, их три, или четыре, или еще больше, и все не хуже первого... Странная у меня судьба. Кто бы подумал, что со мной этакое приключится?

Она перебила его со сдержанной страстностью, которая могла равно вылиться и в любовь и в гнев:

- Но сейчас-то, сейчас ты меня любишь?

- Бог весть!

Юстасия продолжала с оттенком грусти:

- Отвечай, я хочу знать.

- И да и нет, - уже с явной издевкой ответил он. - То есть, опять-таки, как поглянется. Иногда ты мне кажешься слишком высокой, иногда чересчур ленивой, или слишком печальной, или чересчур смуглой, а суть-то одна: ты для меня уже не все на свете, как это было раньше. Но мне, конечно, льстит знакомство с такой благородной дамой, и встречаться с тобой приятно, и миловаться сладко - почти по-прежнему.

Она долго молчала, отвернувшись, потом сказала - и в голосе ее была затаенная сила:

- Я ухожу - и вот моя дорога.

- Что ж, пожалуй, и я пойду с тобой.

- Да, потому что ты не можешь иначе, несмотря на все твои настроения и колебания, - ответила она с вызовом. - Что бы ты ни говорил, что бы ни делал, как бы ни старался порвать со мной, ты меня никогда не забудешь. Всю жизнь будешь меня любить. И с радостью бы на мне женился.

- Верно, - сказал Уайлдвиг. - Ах, Юстасия, какие странные мысли меня порой одолевают! Вот и сейчас тоже. Ты ненавидишь Эгдон, я знаю.

- Да, - глухо отозвалась она. - Это мой крест, моя мука и будет моей погибелью!

- Я тоже его ненавижу, - сказал Уайлдвиг. - Как унывно шумит ветер вокруг нас!

Она не ответила. И в самом деле, вся окрестная тьма была полна угрюмых, таинственных голосов. Сложные звучания доносились со всех сторон; казалось, можно было ухом увидеть все особенности соседних мест. Из темноты возникали слуховые картины; слышно было, где начинается вереск и где он кончается; где еще высятся прямые, жесткие стебли дрока и где они были недавно срезаны; в каком направлении лежит островок елей и далеко ли до лощины, где растут падубы. Ибо каждый элемент ландшафта имел свой голос, так же как свой цвет и форму.

- Боже, какая пустыня! - продолжал Уайлдвиг. - Что нам все эти живописные овраги и туманы, когда мы ничего другого не видели? Зачем мы тут остаемся? Слушай, поедешь со мной в Америку? У меня есть родня в Висконсине. - Это надо обдумать.

- Кто может быть счастлив здесь, кроме диких птиц и пейзажистов? Ну как, поедешь?

- Дай мне время, - мягко сказала она, беря его за руку. - Америка так далеко. Ты проводишь меня немножко?

Говоря это, она отошла от подножья кургана, Уайлдив последовал за ней, и дальнейшего их разговора охряник уже не слышал.

Он сбросил дернины и встал. Над краем холма вычертились на небе две черных фигуры, потом исчезли - как будто Эгдон, словно гигантская улитка, выпустил два рога и снова их втянул.

Когда охряник вслед за тем спускался в долину и дальше, в тесный лог, где он запрятал свой фургон, его походка была далеко не такой бодрой, как можно было ожидать от легкого на ногу двадцатичетырехлетнего парня. Он был растревожен до боли. Ветер, овевавший его лицо, уносил с собой какие-то невнятные угрозы и обещания небесной кары.

Он вошел в фургон, где в печурке еще тлели угли. Не зажигая свечи, он опустил на свою трехногую скамейку и снова стал перебирать в уме все, что только что видел и слышал. Наконец из груди его вырвался звук, который не был ни вздохом, ни рыданием, но еще больше, чем рыдание или вздох, говорил о мучительном беспокойстве.

- Тамзи моя! - горестно прошептал он. - Что тут можно сделать?.. Повидаюсь-ка я все-таки с этой Юстасией Вэй.

ГЛАВА X

БЕЗНАДЕЖНАЯ ПОПЫТКА

На следующее утро, когда солнце, с какой бы точки Эгдона да него ни поглядеть, стояло еще очень низко по сравнению с высотой Дождевого кургана, а все мелкие пригорки, испещрявшие более ровную часть пустоши, казались россыпью островов в Эгейском море тумана, охряник вышел из-под шатра ежевики в разлоге, где устроил себе пристанище, и стал взбираться по склонам Мистоверского холма.

Как ни пустынно на вид были эти косматые взгорья, множество любопытных круглых глаз всегда готовы

были обратиться к путнику, проходившему здесь ясным зимним утром. В зарослях гнездились всевозможные породы пернатых, причем и такие, что где-нибудь в другом месте их появление вызвало бы сенсацию. Здесь жила дрофа, и всего несколько лет назад их, случалось, встречали на пустоши до двадцати сразу. Болотный лушь выглядывал из камышей за домом Уайлдива. Песчаный бегунок ежегодно посещал Мистроверский холм птица столь редкая, что ее не больше десяти раз наблюдали в Англии; но какой-то варвар не знал покоя ни днем ни ночью, пока не застрелил этого африканского бродягу, и с тех пор песчаные бегунки остерегались показываться на Эгдонской пустоши.

Кто наблюдал этих перелетных гостей так близко, как сейчас Диггори, тот как бы вступал в непосредственное общение с неведомыми человеку областями. Прямо перед ним сидела дикая утка, только что прибывшая с родины северного ветра. Эта пичуга несла в себе целую сокровищницу северных былей. Ледовые обвалы, снежные бури, сверкающие сполохи, Полярная звезда в зените, Франклин под ногами, фантастическая картина для нас, - для нее была повседневностью. Но сейчас, поглядывая на Венна, она, казалось, думала, как и многие другие философы, что одна минута мирного довольства в настоящем стоит десяти дней грандиозных воспоминаний.

Венн проходил мимо всех этих тварей, направляясь к дому одинокой красавицы, которая жила среди них и их презирала. День был воскресный, но так как эгдонцы редко хаживали в церковь, кроме как на свадьбу или похороны, то это не составляло разницы. Диггори принял смелое решение повидаться с мисс Вэй и то ли хитростью, то ли с бою поколебать ее положение как соперницы Томазин, в чем и проявил явный недостаток галантности, характерный для подавляющего большинства мужчин, от мужланов до королей.

Фридрих Великий, воюя с очаровательной эрцгерцогиней, или Наполеон, утесняя прекрасную королеву Пруссии, выказывали не большую нечувствительность к разнице полов, чем сейчас Диггори, замышляя ниспровержение Юстасии.

Посещение капитанского дома всегда было целым предприятием для более скромных жителей Эгдона. Сам капитан мог при случае и посмеяться с вами и поболтать, но у него раз на раз не приходился, и нельзя было сказать сегодня, как он встретит вас завтра. Юстасия всегда была замкнутой и держалась особняком. Кроме служанки, дочери одного из поселян, и паренька, который работал в саду и на конюшне, редко кто переступал их порог. Они были единственными аристократами во всей округе, если не считать Ибрайтов, и хотя сами далеко не богатые, не видели надобности выказывать дружелюбие ко всякому человеку, птице и зверю, как это делали их смиренные бедняки-соседи.

Когда охряник вошел в сад, капитан рассматривал в подзорную трубу синюю полосу на горизонте, и якорьки на его пуговицах поблескивали на солнце. Он узнал в Диггори своего вчерашнего попутчика, но, не упоминая об этом, сказал: только:

- А, охряник! Пришел? Выпьешь стаканчик грога?

Венн отклонил эту любезность на том основании, что еще рано, и объяснил, что имеет дело к мисс Вэй. Капитан обмерил его взглядом от картуза до жилета и от жилета до краг и наконец пригласил зайти в дом.

Там ему сказали, что мисс Вэй сейчас видеть нельзя, и он приготовился ждать, усевшись в кухне на скамейке и свесив руки с картузом меж разведенных колен.

- Барышня, наверно, еще не встала? - спросил он погодя служанку.

- Да не совсем еще. В такой час не принято к дамам ходить.

- Ну так я выйду, - сказал Венн. - Если она захочет меня видеть, пусть пошлет сказать, и я сейчас же приду.

Он вышел из дому и стал бродить по прилежащему склону. Время шло, а его все не звали. Он уже было решил, что затея его не удалась, как вдруг увидел Юстасю, неторопливо, как бы гуляючи, идущую к нему. Мысль, что такая курьезная фигура ищет свиданья с ней, показалась ей забавной и выманила ее из дому.

Но с первого же взгляда на Диггори Венна она почувствовала, что и дело у него к ней не совсем обычное, и сам он не так прост, как ей думалось, ибо он не корчился и не переступал с ноги на ногу и не выказывал ни одного из тех мелких признаков смущения, которые невольно проскальзывают у деревенского неotesы в присутствии женщины более высокого круга. Он спросил, можно ли с ней поговорить, она уронила в ответ:

- Хорошо, можете пойти со мной, - и продолжала прогулку.

Но уже через несколько шагов пронизательный охряник сообразил, что не следовало ему держаться так независимо, и решил при первом же случае исправить ошибку.

- Я взял на себя смелость, мисс, прийти к вам, чтоб рассказать, какие до меня дошли слухи об одном человеке.

- Да-а? О каком человеке?

Он показал локтем на северо-восток - в сторону гостиницы.

Юстасия быстро повернулась к нему.

- Вы имеете в виду мистера Уайлдива?

- Да. Тут в одной семье из-за него неприятности, я и надумал вам сказать, потому что вы, я считаю, можете отвести от них беду.

- Я?.. Какую беду?

- Они пока это в секрете держат. Дело в том, что он, того и гляди, совсем откажется жениться на Томазин Ибрайт.

Юстасия, хотя в ней и дрожала каждая жилка, сумела выдержать роль. Она холодно ответила:

- Я не хочу ничего об этом слышать, и вы не должны рассчитывать на мое вмешательство.

- Но одно-то словечко, мисс, еще выслушаете?

- Нет. Мне дела нет до этой свадьбы, а если бы и было, я не могу заставить мистера Уайлдива слушаться моих приказаний.

- А по-моему, вы могли бы, вы же единственная настоящая леди в наших краях, - с мудрой непрямотой ответил Венн. - Вот как сейчас обстоит дело. Мистер Уайлдив немедля бы женился на Томазин и все бы уладил, кабы не замешалась тут другая женщина. Как-то он с ней познакомился, и, кажется, они до сих пор встречаются на пустоши. Он на ней никогда не женится, но из-за нее может не жениться и на той, которая любит его всем сердцем. Ну, а если бы вы, мисс, - вы же имеете такое влияние на нашего брата мужчин, - если бы вы настояли, чтоб он эту другую оставил и поступил бы по-честному с вашей молоденькой соседкой Томазин, он бы, пожалуй, так и сделал, и не пришлось бы ей, бедной, так горевать.

- Ах, боже мой! - воскликнула Юстасия со смехом, приоткрывшим ее губы, так что солнце заглянуло в них, как в чашечку тюльпана, и наполнило таким же пурпуровым огнем. - Право же, охряник, вы преувеличиваете мое влияние на мужчин. Будь у меня такая власть, я бы тотчас обратила ее на пользу кому-нибудь, кто мне друг, чем Томазин Ибрайт, насколько я знаю, никогда не была.

- Неужто вы правда не знаете, что она на вас прямо молится?

- Никогда об этом не слышала. Хотя мы живем всего в двух милях друг от друга, мне не случилось бывать в доме ее тетки.

По ее надменному тону Диггори понял, что его тактика пока что не имела успеха. Он мысленно вздохнул и решил выдвинуть свой второй довод.

- Ну, не будем об этом, но поверьте мне, мисс, есть в вас такая сила, что вы можете много добра сделать другой женщине.

Она потрясла головой.

- Ваша красота - закон для Уайлдива. Она закон для всех мужчин, какие вас видят. Они говорят: "Вот какая приглядная идет, как ее звать-то? До чего хороша!" Куда лучше Томазин Ибрайт! - настаивал он, добавив про себя: "Прости мне, господи, эту ложь!" Она и в самом деле была лучше, но этого Диггори не видел. Красота Юстасии временами словно затаивалась, а у охряника глаз был неискушенный. Сейчас, в зимней одежде, она походила на тигрового жука, который при слабом освещении кажется серым и неприметным, но под сильным лучом света вспыхивает ярчайшими красками.

Юстасия не удержалась от ответа, хотя и сознавала, что роняет этим свое достоинство.

- Есть много женщин красивее Томазин, - сказала она, - так что это не бог знает какой комплимент.

Венн молча стерпел обиду и продолжал:

- А он на женскую красоту зорек, вы его могли бы как лозинку завить, только бы захотели.

- Уж если она не смогла, бывая с ним постоянно, так где же мне, когда я живу здесь и с ним даже не вижу.

Охряник резко повернулся и глянул ей прямо в лицо.

- Мисс Вэй! - сказал он.

- Почему вы так это сказали - словно мне не верите?
- Голос ее упал и дыхание пресеклось. - Еще смеете

говорить со мной в таком тоне! - добавила она, сию минуту надменно усмехнуться. - Что вам пришло в голову?

- Мисс Вэй, почему вы притворяетесь, будто не знаете этого человека? То есть я понимаю почему. Он ниже вас, и вам стыдно.

- Вы ошибаетесь. Что все это значит?

Охряник решил играть в открытую.

- Я вчера был возле Дождевого кургана и все слышал. - сказал он. Женщина, что стала между Уайлдивом и Томазин. - это вы.

Для нее это было, как если бы вдруг развернулся занавес и она оказалась открыта всем взглядам в горьком своем унижении, как выставленная нагою напоказ жена Кандавла. Уже не было сил сдержать трепет губ и подавить возглас изумления.

- Мне поздоровится, - торопливо проговорила она. - Нет, не то... Я не в настроении слушать вас. Оставьте меня.

- Мисс Вэй, я должен говорить, хоть, может, и сделаю вам больно. Я вот что хочу сказать. Кто тут ни виноват - она ли, вы ли, ей все-таки сейчас куда труднее, чем вам. Если вы бросите мистера Уайлдива, это будет для вас только выигрыш, потому что не пойдете же вы за него замуж? А ей так легко не выпутаться, - все ее осудят, если жених от нее сбежит. Вот я и прошу вас не потому, что у нее прав больше, а потому, что ее положение хуже, уступите его ей.

- Нет, нет, ни за что! - пылко вскричала она, совсем позабыв о своих недавних стараниях говорить с охряником, как с низшим. - Какое неслыханное оскорбление! Все шло хорошо - и вдруг мне велют смириться, да еще перед таким ничтожеством! Очень мило, что вы ее защищаете, но разве не сама она виновата в своем несчастье? Выходит, я никому не смею выказать расположения, не спросясь сперва у кучки безграмотных мужиков? Она пыталась отбить его у

меня, а теперь, когда справедливо за это наказана, подсылает вас просить за нее!

- Клянусь вам, - с жаром перебил ее Венн, - она ничего об этом не знает. Я сам, от себя, прошу вас с ним расстаться. Этак лучше будет и для нее и для вас. Люди станут нехорошее говорить, если узнают, что благородная барышня тайком встречается с человеком, который так избидел другую женщину.

- Я ей зла не делала; он был моим, когда о ней еще и не помышлял. А потом вернулся ко мне, потому... потому, что меня любил больше!.. выкрикнула она вне себя. - Но я теряю всякое самолюбие, оправдываясь перед вами... Чего я тут наговорила!..

- Я умею хранить тайны, - мягко сказал Венн. - Не бойтесь. Кроме меня, никто не знает о ваших свиданьях. Еще только одно - и я уйду. Вчера я слышал, вы как будто ему сказали, что вам противно здесь жить, что Эгдон для вас тюрьма?

- Сказала. Эти места довольно красивы, я знаю, есть какое-то обаяние, но я здесь как в тюрьме. И этот человек, о ком вы упоминали, он не спасает меня от этого чувства, хотя живет здесь. Я бы о нем и не думала, найдись тут кто-нибудь получше.

Охряник оживился; после этих слов его третий довод, который он пока что приберегал, уже не казался таким безнадежным.

- Ну вот, мисс, - начал он с запинкой, - мы теперь немножко открылись друг другу, и я скажу, что хотел вам предложить. С тех пор как я стал торговать охрой, мне много приходится разъезжать, как вам известно.

Она слегка наклонила голову и повернулась так, что перед глазами у нее была лежавшая глубоко внизу затопленная туманом долина.

- И во время моих разъездов я часто бываю возле Бедмута. Ну, а Бедмут чудесное место - прямо-таки чудесное, морская ширь блещет на солнце и дугой

вдается в берег, и тысячи нарядных людей гуляют по эспланаде, оркестры играют, и морских офицеров там встретишь и сухопутных, и на каждые десять встречных девять в кого-нибудь влюблены.

- Знаю, - презрительно сказала она. - Я лучше вас знаю Бедмут. Я там родилась. А мой отец приехал из-за границы и был там военным музыкантом. Ах, боже мой! Бедмут!.. О, если б мне сейчас быть там!

Охряника поразила эта неожиданная вспышка скрытого огня.

- И ежели бы вы там очутились, мисс, - сказал он, - вы через неделю даже не думали бы об Уайлдиве - не больше чем об одном из стригунов, что вон там пасутся. Так вот, я могу это устроить.

- Как? - спросила Юстасия с жадным любопытством, вдруг сверкнувшим в ее обычно полусонных глазах.

- Мой дядя двадцать пять лет был доверенным лицом у одной богатой вдовы, у которой есть там отличный дом на самом берегу, окнами на море. Теперь она уже старая и хромая, и ей нужна молодая компаньонка, чтобы могла ей читать и петь, но она еще никого не нашла себе по душе, хотя помещала объявленья в газетах и уже перепробовала с полдесятка. А вам она будет рада-радехонька, и мой дядя все устроит.

- Но там, может быть, работать придется?

- Да нет, настоящей работы никакой - так, почитать, поговорить... И потребуетесь вы ей только после Нового года.

- Я так и знала, что это работа, - сказала она, снова поникнув.

- Ну, иной раз, может, придется немножко похлопотать, сделать что-нибудь для ее развлечения... Бездельник, пожалуй, назовет это работой, но рабочий человек - игрой. Зато подумайте, какая у вас будет жизнь, мисс, сколько интересного увидите и замуж

выйдете за джентльмена. Она велела дяде поискать какую-нибудь достойную барышню из усадьбы, городских она не любит.

- Ну да, это значит из кожи лезть, чтобы ей угодить. Нет, не поеду. О, если бы я могла жить в шумном городе, как прилично даме, быть сама себе госпожой, делать, что хочу, - за это я всю вторую половину жизни бы отдала. Пусть умру молодой, только бы так пожить!

- Помогите мне сделать Томазин счастливой, мисс, и у вас будет шанс, еще раз попытался уговорить ее Венн.

- Шанс!.. Никакой это не шанс, - с презрением бросила она. - Да и что, в самом деле, может мне предложить такой бедняк, как вы? Я иду домой. И больше мне нечего сказать. А вам разве не нужно кормить лошадей, или штопать мешки, или искать покупателей на ваш товар, что вы тут попусту тратите время?

Венн не проронил больше ни слова, только отвернулся, чтобы она не увидела горечи разочарования на его лице, и, заложив руки за спину, пошел прочь. Ясность ума и сила, которые он нашел в этой одинокой девушке, с первых же минут разговора поколебали в нем надежду на успех. Зная, как она молода и в какой глуши до сих пор жила, он ожидал встретить деревенскую простушку, для которой вполне годились бы его приманки. Но то, что могло соблазнить более слабых, только оттолкнуло Юстасию. А меж тем для жителей Эгдона Бедмут всегда был магическим словом. Этот растущий портовый городок и посещаемый королем курорт с минеральными источниками отображался в их уме как некая вершина цивилизации, непостижимым и пленительным образом совмещавшая в себе оживление и пышность Карфагена, неги Тарента, красоты и целительность Байи. Представление Юстасии об этом городе было не намного реальнее. Но она все

же не согласилась пожертвовать своей независимостью ради того, чтобы туда попасть.

Когда Диггори Венн удалился, Юстасия подошла к насыпи и стала смотреть на лежащую внизу дикую и живописную долину - в ту сторону, откуда вставало солнце и где жил Уайлдив. Туман уже немного осел, и вершины деревьев и кустов чуть проглядывали вокруг его дома, как будто постепенно прокапывая себе ход наверх сквозь огромную белую паутину, закрывавшую их от дневного света. Воображение Юстасии явно влеклось туда - неопределенно и прихотливо, то завиваясь вокруг него, то снова развиваясь, но опять и опять возвращаясь к нему, как к единственной точке видимого ей мира, вокруг которой могли кристаллизироваться мечты. Человек, который вначале был для нее забавой и так и остался бы ее минутной прихотью, если бы вовремя ее не покинул, теперь снова стал для нее желанным. Его равнодушие оживило ее любовь. Ленивый ручеек ее чувств к Уайлдиву, запруженный руками Томазин, превратился в бурный поток. Когда-то она смеялась над Уайлдивом, но это было до того, как другая подарила его своей благосклонностью. Часто бывает, что капелька иронии, внесенная в положение, уже ставшее пресным, вновь сообщает ему остроту.

- Никогда его не отдам - никогда! - страстно воскликнула она.

Намек охряника, что о ней может пойти дурная слава, не мог утратить Юстасию. Эта сторона вопроса ее заботила не больше, чем богиню нехватка белья. И это происходило не от врожденного бесстыдства, а просто оттого, что она жила до такой степени вдали от людей, что до нее не достигал натиск общественного мнения. Зеновию в глуши вряд ли интересовало, что говорят о ней в Риме. Во всем, что касалось общественной морали, Юстасия находилась еще в

дикарском состоянии, хотя в области эмоций достигла большой утонченности. Она проникла в самые тайники чувства, но еще не ступала на порог условностей.

ГЛАВА XI

БЕСЧЕСТНОСТЬ ЧЕСТНОЙ ЖЕНЩИНЫ

Охряник ушел от Юстасии, не имея уже почти никаких надежд устроить счастье Томазин, но на обратном пути к своему фургону, завидев издали миссис Ибрайт, медленно идущую по направлению к гостинице "Молчаливая женщина", он стал соображать, что один ход, во всяком случае, оставался еще неиспользованным. Он пошел ей наперерез и, когда они сошлись на дороге, догадался по ее озабоченному лицу, что она направляется к Уайлдиву с тем же намерением, с каким сам он поутру шел к Юстасии.

Она не стала это отрицать.

- Ну, миссис Ибрайт, - сказал охряник, - вряд ли что из этого выйдет.

- Я и сама так думаю, - сказала она. - Но ничего больше не остается, как поставить перед ним вопрос ребром.

- Сперва я хотел бы сказать словечко, - с твердостью проговорил охряник. - Не один мистер Уайлдив сватался к Томазин, - так почему бы и другому сейчас не попытаться счастья? Миссис Ибрайт, я буду счастлив жениться на вашей племяннице, уже два года, как в любой день с радостью бы это сделал. Ну вот я вам и открыл свою тайну, а до сих пор, я, кроме как ей самой, ни одной живой душе не говорил.

Миссис Ибрайт редко проявляла свои чувства вовне, но сейчас ее взгляд невольно приковался к необычной, хотя и складной, фигуре охряника.

- Не судите по виду, - сказал он, заметив ее взгляд. - Ремесло мое не так уж плохо, если говорить о деньгах, и достатки у меня, пожалуй, не меньше, чем у Уайлдива; нет ведь беднее, чем эти ученые неудачники.

А если не нравится вам мой цвет, так я же не отроду таков и за дело это взялся из причуды; могу со временем и чем другим заняться.

- Я очень признательна вам за ваш интерес к моей племяннице, но боюсь, тут будут возражения. И главное - она любит этого человека.

- Это верно. Иначе я не стал бы делать то, что сделал сегодня.

- Да, если бы не это, то и волноваться было бы не из чего и вы не застали бы меня сегодня на пути к его дому. А что ответила Томазин, когда вы сказали ей о своих чувствах?

- Она написала, что вы меня не захотите - и еще разное. - Она в какой-то мере права. Не принимайте это за обиду, просто я говорю то, что есть. Вы были добры к ней, мы это помним. Но раз она сама отказалась быть вашей женой, то это решает дело, независимо от моих желаний.

- Да. Но есть разница между тем, что было тогда и что теперь. Теперь она в горе, и я подумал, что если вы поговорите с ней обо мне и сами будете за меня, так, может, она и передумает и уж не будет тогда зависеть от Уайлдива, который играет то вперед, то назад и сам не знает, хочет он на ней жениться или нет.

Миссис Ибрайт покачала головой.

- Томазин считает - и я тоже, что она должна стать женой Уайлдива, если хочет сохранить доброе имя. Если они сейчас поженятся, все поверят, что свадьба расстроилась случайно. А если нет, это бросит на нее тень, - и, во всяком случае, выставит ее в смешном виде. Одним словом, если есть хоть какая-нибудь возможность, надо их поскорее женить.

- Полчаса назад я сам так думал. Но почему, в конце концов, это должно ей повредить - то, что они съездили в Эиглбери и два-три часа провели там вместе? Всякий, кто знает, как она чиста, скажет, что это

несправедливо. Я сам сегодня утром пытался устроить ее свадьбу с Уайлдивом, - да, мэм, я это сделал, - считал, это мой долг, раз она так его любит. Но, может, я был не прав. Так ли, сяк ли, из этого ничего не вышло. И теперь я предлагаю себя.

Миссис Ибрайт, по-видимому, не склонна была обсуждать этот вопрос.

- Боюсь, я должна идти, - сказала она. - Не вижу, что другое тут можно сделать.

И она пошла своим путем. Но хотя встреча с охряником не повлияла на решение миссис Ибрайт поговорить с Уайлдивом, она очень повлияла на ход этого разговора. Миссис Ибрайт благодарила бога за то, что охряник вложил ей в руки такое оружие.

Уайлдив был дома, когда она пришла. Он молча провел ее в гостиную и затворил дверь. Миссис Ибрайт начала так:

- Я сочла своим долгом сегодня побывать у вас. Мне сделано предложение, которое меня несколько удивило. Оно, конечно, очень взволнует Томазин, и я решила, что вам, во всяком случае, надо об этом сообщить.

- Да? Какое? - вежливо осведомился он.

- Это касается ее будущего. Вам, может быть, неизвестно, что есть еще другой человек, который давно уже выражал желание жениться на Томазин. До сих пор я его не поощряла, но по совести не могу дольше утаивать это от нее. Не хотелось бы поступать вам наперекор, но я должна быть честной по отношению к нему и к ней.

- Кто он такой? - изумленно спросил Уайлдив. - Это человек, который был дольше влюблен в нее, чем она в вас. В первый раз он сделал ей предложение два года назад. Тогда она ему отказала.

- Так в чем же дело?

- Недавно он опять ее видел и теперь просит у меня позволения вновь обратиться к ней. Он думает, что во второй раз она ему не откажет.

- Как его имя?

Миссис Ибрайт отказалась удовлетворить его любопытство.

- Она к нему расположена, - добавила она, - и, во всяком случае, уважает его за постоянство. Мне кажется, сейчас она рада будет получить то, что раньше отвергала. Ее очень тяготит ее ложное положение.

- Она никогда не говорила мне об этом прежнем поклоннике.

- Самая кроткая женщина не так глупа, чтобы открыть все свои карты.

- Ну, если он ей нужен, так пускай его и берет.

- Это легко сказать, но вы не понимаете, в чем тут трудность. Он гораздо больше заинтересован в ней, чем она в нем, и прежде чем дать ему согласие, я хотела бы твердо договориться с вами, что вы не станете мешать этому браку, который, я считаю, для нее самое лучшее. Допустим, они будут обручены и все уже готово к свадьбе, а вы вдруг вздумаете возобновить свои искательства? Вряд ли вы снова ее завоюете, но горя ей причините немало.

- Ну конечно, я ничего подобного делать не стану, - ответил Уайлдив. Но ведь они еще не обручены? Почему вы знаете, что Томазйн примет его предложение?

- Этот вопрос я уже обдумала, и, по-моему, больше вероятней, что она его примет, если не сразу, то со временем. Я все-таки имею на нее кое-какое влияние. Характер у нее податливый, а я могу многое сказать в его пользу.

- А также мне во вред.

- Да уж можете быть уверены, что хвалить вас я не стану, - сухо ответила она. - А если это похоже на

интриганство, то вспомните, в каком она сейчас положении и как дурно с ней обошлись. Устроить этот брак мне будет нетрудно - тут поможет ее собственное желание поскорее забыть нанесенную ей обиду; женская гордость в таких случаях может завести очень далеко. Может быть, придется немножко нажать, но я это сумею, лишь бы вы согласились сделать то единственное, что от вас требуется, а именно: сказать напрямик, что ей больше нечего мечтать о вас как о возможном супруге. Тогда в пику вам она пойдет за него.

- Миссис Ибрайт, я, право же, не могу сейчас ответить. Это так неожиданно!

- Ну, вот и выходит, что вы срываете все мои планы! Как это, однако, неудобно, что вы даже такой малостью не хотите помочь нашей семье - сказать откровенно, что вы не желаете иметь с нами ничего общего.

С минуту Уайлдив раздумывал.

- Признаться, я этого не ожидал, - проговорил он. - Конечно, я откажусь от нее, если вы этого хотите, если это необходимо. Но я надеялся быть ее мужем.

- Это мы уже слышали.

- Миссис Ибрайт, не будем ссориться. Дайте мне время. Я не хочу мешать ее счастью, если она может найти его в этом браке, но жаль, что вы мне не сказали раньше. Я напишу вам или зайду через день либо два. Это вас устроит?

- Да, - ответила она, - при условии, что вы пообещаете не встречаться с Томазин без моего ведома.

- Обещаю, - сказал он. На том кончилось их свиданье, и миссис Ибрайт отправилась домой как будто с тем же, с чем пришла.

Однако ее нехитрая стратегия возымела действие, хотя, как это часто бывает, в направлении совсем неожиданном и не предусмотренном в ее расчетах. Первым результатом было то, что в тот же вечер с

наступлением темноты Уайлдив оказался на Мистоверском холме перед домом Юстасии.

В такой поздний час это одинокое жилище было плотно укрыто от холода и окружающей тьмы, - все шторы задернуты и ставни заперты. Как обычно, Уайлдив подал ей тайный знак, состоявший в том, что, взяв в руку немного гравия, он держал ее над щелью сверху ставня: песок с тихим шорохом, как от скребущейся мыши, просыпался между стеклом и ставнем. Так он давал ей знать о себе, не вызывая подозрений ее бабушки.

- Слышу; подожди меня, - ответил изнутри тихий голос Юстасии, из чего Уайлдив заключил, что сейчас она одна.

Он стал ждать, прохаживаясь, по своему обыкновению, вдоль насыпи и задерживаясь у пруда, ибо его гордая, хотя и податливая возлюбленная никогда не приглашала его в дом. Она не торопилась. Время шло, он уже начинал терять терпение. Минут через двадцать она показалась из-за угла дома и направилась к нему ленивой походкой, словно вышла только затем, чтобы подышать воздухом.

- Ты не стала бы так медлить, если б знала, зачем я пришел, - ворчливо сказал он. - Ну да уж ладно, ради тебя можно и подождать.

- А что такое? - спросила Юстасия. - Я не знала, что у тебя неприятности. Мне и самой не очень-то весело.

- Никаких неприятностей нет. Просто все так сошлось, что надо принимать решение.

- Какое решение? - переспросила она, насторожившись.

- А ты уже забыла, что я предлагал тебе в прошлый раз? Забрать тебя отсюда и вместе уехать за границу.

- Я не забыла. Но почему ты вдруг опять являешься с этим вопросом, когда обещал прийти только в субботу? Я считала, у меня будет время подумать.

- Да, но обстоятельства изменились.
- Объясни.
- Не хотелось бы объяснять, ты еще расстроишься.
- Но я должна знать, почему такая спешка.
- Это я от горячности чувств, дорогая Юстасия.
Теперь для нас больше нет препятствий.

- Отчего же ты такой сердитый?
- Нисколько. Наоборот, я очень доволен. Все идет как нельзя лучше. Миссис Ибрайт... Но что нам до нее!

- А, я так и знала, что дело в ней! Говори, я не люблю скрытных.

- Вовсе не в ней. Она только просила меня отказаться от Томазин, потому что кто-то другой к ней присватался. Наглая особа; чуть я стал ей не нужен, сейчас же задрала нос! - Вся затаенная досада Уайлдива прорвалась в этом восклицании.

Юстасия долго молчала.

- Ты сейчас как чиновник, которого вдруг взяли да и уволили за ненадобностью, - проговорила она наконец изменившимся голосом.

- Вроде того. Но я еще не видал Томазин.

- Вот ты и злишься. Не отрицай, Дэймон. Ты вне себя от этого нежданного афронта.

- Ну и что?

- И теперь прибежал ко мне, потому что не можешь получить ее. Да, это, конечно, меняет положение. Я, значит, буду затычкой.

- Вспомни, пожалуйста, что это же самое я предлагал тебе еще в прошлый раз.

Юстасия снова погрузилась в какое-то оцепенелое молчание. Странное чувство все больше овладевало ею. Неужели правда, неужели так и есть, что весь ее интерес к Уайлдиву был порожден соперничеством - и ореол померк, и мечты погасли, едва стало известно, что соперница больше его не домогается? Вот наконец он принадлежит ей безраздельно, никто его не

отнимет, Томазин он больше не нужен. Какая унижительная победа! Нет, нет, он вернулся, потому что ее любит больше, а все же - она даже про себя, даже неслышно не смела выговорить такое предательское суждение - все же какая цепа этому человеку, если женщина, стоящая ниже ее, им не дорожит? Инстинкт, более или менее присущий всей одушевленной природе, - не желать того, что нежеланно другим, - достигал силы страсти в переутонченном эпикурейском сердце Юстасии. Неравенство их общественного положения, раньше никогда ее не трогавшее, вдруг стало ей до неприглядности очевидно - и впервые она почувствовала, что уронила себя, полюбив Уайлдива.

- Ну же, милая, ты согласна? - сказал Уайлдив.

- Будь еще это Лондон или хоть Бедмут, а то Америка, - вяло протянула она. - Ну, хорошо, я подумаю. Это слишком важно для меня, чтобы решать так, сразу... Ах, если бы я меньше ненавидела Эгдон - или тебя любила больше!..

- Спасибо за откровенность. Месяц назад ты любила меня так горячо, что всюду бы со мной поехала.

- А ты тогда любил Томазин.

- Да-а, пожалуй, в этом все дело, - сказал он почти с насмешкой. - Она и сейчас мне не противна.

- Вот именно. Только получить ее уже нельзя.

- Ну-ну, Юстасия, не надо шпилек, а то мы поссоримся. Если ты не согласишься ехать со мной и не решишь это очень быстро, я уеду один.

- Или еще попробуешь, не выйдет ли с Томазин. Дэймон, как странно, что ты одинаково мог жениться либо на мне, либо на ней. и теперь пришел ко мне только потому, что я... дешевле! Да, да, это правда. Было время, когда я возмутилась бы против такого человека, не помнила бы себя от гнева - но это все уже в прошлом.

- Дорогая, ну скажи, ты согласна! Уедем тайком в Бристоль, обвенчаемся и покинем навсегда эту поганую дыру, эту несчастную Англию. Скажи "да"!

- Я, кажется, на все готова, лишь бы отсюда уехать, - устало проговорила она, - но с тобой мне ехать не хочется. Дай мне еще время на размышление.

- Я тебе уже давал, - сказал Уайлдив. - Ну хорошо, еще неделю.

- Немножко больше, чтоб я уж могла сказать твердо. Тут так много надо принять в расчет. Нет, подумать только, Томазин хочет от тебя избавиться! Не могу это забыть.

- Брось, не думай об этом. Скажем, до следующего понедельника. Хорошо? Вечером в это же время я приду сюда.

- Лучше к Дождевому кургану. Тут слишком близко, бабушка может выйти.

- Спасибо, дорогая. В следующий понедельник точно в этот час буду у Дождевого кургана. А пока прощай.

- Прощай. Нет, нет, не трогай меня. Пока я не решила, довольно рукопожатия.

Юстасия смотрела ему вслед, пока темная фигура не скрылась из виду. Потом прижала руку ко лбу и тяжело вздохнула; а затем ее пышные романтические губы приоткрылись, повинувшись вполне прозаическому побуждению, - она зевнула. И тотчас рассердилась на себя за это свидетельство угасания страсти. Она не соглашалась сразу признать, что переоценивала Уайлдива, ибо увидеть сейчас его ничтожество значило исповедаться в прежней своей слепоте. Да и открытие, что до сих пор она была не чем иным, как собакой на сене, имело столь неприятный привкус, что в первый раз за все время ей стало стыдно.

Таким образом, дипломатия миссис Ибрайт принесла плоды, хотя и не совсем такие, как она ожидала. Ее хитрость повлияла на Уайлдива, но еще больше на

Юстасию. Для этой гордой девушки ее возлюбленный теперь уже не был тем завлекательным мужчиной, из-за которого боролись многие женщины и которого сама она могла удержать, только борясь с ними. Он был излишком.

Она ушла домой с той особой печалью в душе, которой обычно сопровождается пробуждение рассудка в последние дни переоцененной и уже угасающей любви. Это не было горем в точном смысле слова, а все же сознание близкого, хотя еще не наступившего крушения мечты принадлежит к числу наиболее тягостных и вместе с тем наиболее любопытных этапов в развитии страсти между началом ее и концом.

Капитан уже вернулся и занят был тем, что переливал несколько галлонов принесенного с собой рома в квадратные бутылки, уставленные в его квадратном погребе. Когда эти домашние запасы истощались, капитан отправлялся в гостиницу "Молчаливая женщина" и там, стоя спиной к камину, со стаканом грога в руке, рассказывал местным жителям изумительные истории о том, как он целых семь лет прожил ниже ватерлинии своего корабля, и о прочих морских чудесах, а слушатели подобострастно внимали ему, одушевленные надеждой на кружку эля от рассказчика и потому не склонные выражать какие-либо сомнения в правдивости его рассказов.

Сейчас он только что пришел оттуда.

- Слыхала ты последнюю эгдонскую новость, Юстасия? - спросил он, не поднимая глаз от бутылок. - В гостинице об этом говорили как о деле государственной важности.

- Ничего не слышала, - ответила она.

- Молодой Клайм Ибрайт, как они его зовут, на будущей неделе вернется домой, хочет провести святки с матерью. Видный, наверно, парень теперь стал. Ты его помнишь?

- Никогда в глаза не видала.
- Да, верно. Ты перебралась сюда уже после его отъезда. Помню, способный был мальчик.
- Где же он жил все это время?
- Да, кажется, в этом вертепе суеты и тщеславия - в Париже.

КНИГА ВТОРАЯ

ПРИБЫТИЕ

ГЛАВА I

ПЕРВЫЕ ВЕСТИ О ПРИЕЗЖАЮЩЕМ

В это время года и несколько раньше, в ясные дни, на Мистовверских склонах замечалось порой какое-то слабое движение, мимолетно нарушавшее величавый покой Эгдонской пустоши. Если сравнивать его с тем, что бывает в городе, в деревне или даже на ферме, оно показалось бы ничтожным - чем-то вроде всплывания пузырьков в стоячей воде или подрагивания мышц у крепко спящего человека. Но здесь, вдали от всяких сравнений, в этом уголке, обведенном грядой непоколебимых холмов, где даже случайный прохожий был уже редкостным зрелищем, где всякий мог без труда вообразить себя Адамом на первозданной земле, эти действия привлекали внимание каждой птицы в пределах видимости, каждого пресмыкающегося, еще не погруженного в зимнюю спячку, и заставляли всех окрестных кроликов привставать на бугорках и с безопасного расстояния любопытно поглядывать в ту сторону.

Действия эти состояли в том, что двое или трое поселян сносили в одно место и укладывали в поленницу те вязанки дрока, которые Хемфри успевал в предшествующие сухие дни заготовить для капитана. Поленница обычно воздвигалась за углом дома; сейчас Хемфри и Сэм ее выкладывали, а капитан надзирал, стоя возле.

Был теплый и тихий день, около трех часов, но казалось, что позже, так как солнце уже стояло низко; в этом году зимний солнцеворот подкрался так незаметно, что эгдонцы не отучились еще читать небесный циферблат по тем приметам, какие усвоили за лето. В течение многих дней и недель восход солнца все больше перемещался с северо-востока на юго-восток, а закат солнца сдвигался с северо-запада к юго-западу, но Эгдон почти не замечал этих перемен.

Юстасия была дома, в столовой, более похожей на кухню с каменным полом и огромным зияющим камином в углу. Воздух снаружи был неподвижен, и пока она, подойдя зачем-то к камину, рассеянно медлила там в одиночестве, ей вдруг послышался, словно бы прямо из камина, звук переговаривающихся голосов. Она вошла в каминную нишу и, прислушиваясь, заглянула в неровный ствол старинного дымохода с его пещеристыми боковыми отводами, по которым долго слонялся дым на своем пути к квадратному кусочку неба на самом верху; бледный свет падал оттуда, чуть озаряя длинные лохмы сажи, драпировавшие дымоход, как водоросли драпируют подводную щель в утесе.

Она вспомнила: поленница находилась недалеко от печной трубы, и, стало быть, это были голоса рабочих.

Затем в разговор вступил ее дедушка.

- Совсем бы не надо ему уезжать из дому. Отец его ферму держал, и для него бы самое подходящее занятие. Не одобряю я этих новшеств. Мой отец был моряк, и я вот моряк, а будь у меня сын, и он бы моряком был.

- Этот город, где он живет, Париж называется, - раздался голос Хемфри, - и, говорят, это то самое место, где они когда-то королю своему голову оттяпали. Моя покойная матушка часто про это рассказывала. "Хемми, - начнет, бывало, - я тогда еще девушкой была и помню, гладила раз материны чепчики, как вдруг входит

пастор и говорит: "Ну, Джейн, они отрубили голову своему королю, и что дальше будет, один бог знает".

- Многие из нас тоже скоро узнали, - усмехнулся капитан. - Я из-за этого, когда еще юнцом был, семь лет под водой прожил, в этом клятом лазарете на "Тирумфе", видел, как приносили к нам в кубрик людей с оторванными руками и ногами... Так, значит, молодой человек в Париже устроился? Заведующий в ювелирном магазине или что-то в этом роде?

- Да, сэр, в точности. Богатеющее дело, матушка говорила, - будто бы брильянтов у них там, как в королевском дворце.

- Я помню, как он уезжал, - сказал Сэм.

- Так разве плохое для парня занятие? - продолжал Хемфри. - Небось лучше брильянты продавать, чем тут у нас в земле копать.

- В этакый магазин, пожалуй, с тощим кошельком не зайдешь, - сказал Сэм.

- Еще бы, - откликнулся капитан. - Там, милый мой, можно ой-ой сколько денежек просадить, не будучи ни пьяницей, ни обжорой.

- Говорят тоже, Клайм Ибрайт до того книжки читать наострился, прямо дока по этой части стал, и пречудных, говорят, мыслей обо всем набрался. А все оттого, что рано в школу начал ходить, хоть и не ахти какая у нас была школа.

- Ага, чудных мыслей набрался! - подхватил капитан. - То-то и есть! Я всегда говорил, что от этого хождения в школу один вред. Учат всех мальчишек подряд, а потом озорники эти на каждых воротах, на каждой двери в амбар разные скверные слова мелом пишут, женщине иной раз от стыда мимо пройти нельзя. А не выучили бы их писать, так и не могли бы они всюду этакую пакость царапать. Их отцы не умели, и, слава богу, гораздо лучше тогда жилось.

- Так-то оно так, капитан, а ведь вот мисс Юстасия - у нее тоже небось в голове много такого, что она из книжек вычитала, больше, думаю, чем у кого другого в наших краях?

- Если б у мисс Юстасии было поменьше романтической чепухи в голове, так, может, тоже было бы лучше для нее, - коротко отвечал капитан и, повернувшись, отошел прочь.

- Слушай-ка, Сэм, - сказал Хемфри, когда старик удалился, - а ведь славная бы из них вышла парочка, из нее с Клаймом Ибрайт, а? Оба насчет всяких тонкостей понимают, и в книжках начитанны, и все об этом возвышенном думают - нарочно двух таких не подберешь. А Клайм Ибрайт и сам из хорошей семьи, не хуже капитанской. Отец его, правда, фермером был, зато мать, мы же все знаем, вроде как из благородных. Вот бы полюбовался я на них, когда бы они под венец шли!

- Да, прошлись бы под ручку, оба статные да складные, в самых своих лучших платьях, - красота! Клайм Ибрайт тоже, помню, хоть куда парень был.

- Да, очень мне хочется на него поглядеть после стольких лет. Кабы знать точно, когда он приедет, я бы не поленился три-четыре мили пройти встретил бы его, помог бы чего нести. Только, боюсь, загордел он теперь. Говорят, он по-французски так и шпарит, быстрее, чем девчонка чернику ест. Ну, и, конечно, на нас, на здешних, пожалуй, и смотреть не захочет.

- В Бедмут он пароходом, что ли, приедет?

- В Бедмут пароходом, а как из Бедмута сюда - не знаю.

- И надо же, чтобы у них как раз сейчас беда эта приключилась - с сестрой его двоюродной, Томазии. Клайму Ибрайту это обидно будет. А мы-то еще какого дурака сваяли - вздумали им в тот вечер свадебную

петь! Ух, не хотел бы я, чтоб кого из моей родни этак на смех выставили. Для всей семьи срам.

- Да. У нее, бедняжки, небось и то уж все сердце изныло. Говорят, расхворалась даже, никуда не выходит. Теперь уж не увидишь ее, как она, бывало, бежит по вереску, щечки, как розы, красные.

- Я слышал, она сказала, что теперь уж ни за что не пойдет за Уайлдива, хоть бы он ее на коленях просил.

- Да-а? Это для меня новость.

Пока сборщики дрова так переговаривались, Юстасия все ниже склонялась лицом к очагу в глубокой задумчивости, бессознательно постукивая носком туфли по сухому торфу, тлеющему у ее ног.

Тема их разговора живо ее заинтересовала. Молодой и блестящий мужчина прибывал на Эгдонскую пустошь, - и откуда? - из самого несхожего с здешним мирком места, из Парижа! Все равно как если бы он спустился с неба. А еще удивительнее, что эти простые люди в мыслях уже сочетали ее с ним, как созданных друг для друга.

Эти пять минут подслушивания снабдили ее видениями на весь остаток дня. Такие внезапные перепады от душевной пустоты к яркой наполненности нередко свершаются именно так - неслышно и незаметно. Утром она бы сама не поверила, что еще до прихода ночи ее бесцветный внутренний мир может стать столь насыщенным жизнью, как капля воды под микроскопом, и это даже без появления хотя бы единого посетителя. Слова Сэма и Хемфри о гармонии между нею и прибывающим незнакомцем подействовали на ее воображение, как в "Замке праздности" магическая песнь барда, от которой мириады пленных образов восстали вдруг там, где раньше было немо и пусто.

Ушедшая в мечты, она забыла о времени. Когда внешний мир снова стал для нее ощутим, были уже

сумерки. Все вязанки дрока были сложены в высокую поленницу; рабочие ушли. Юстасия поднялась к себе в спальню, намереваясь, как всегда в этот час, выйти на прогулку и уже решив про себя, что сегодня пойдет в сторону Блумс-Энда - усадьбы, где родился молодой Ибрайт и где сейчас жила его мать. Не все ли равно, где гулять, так почему бы ей не пойти туда? В девятнадцать лет место, которое так или иначе вплелось в твои грезы, кажется достойным паломничества. Поглядеть на палисад перед домом миссис Ибрайт уже представлялось Юстасии частью необходимого ритуала. Странно, что эта выдумка от безделья внезапно стала для нее каким-то многозначительным поступком.

Она надела шляпу и, выйдя из дому, спустилась с холма по склону, обращенному к Бдумс-Энду; затем мили полторы шла по долине до того места, где зеленое ее дно начало расширяться и заросли дрока отступать все дальше в обе стороны от тропы, оттесняемые возрастающим плодородием почвы, пока от них не остались только маячившие кое-где одинокие кустики. Дальше, за неровным ковром зеленой травы, виднелись белые колья тына; они отмечали здесь границу вереска и на тусклой земле, которую окаймляли, выделялись столь же отчетливо, как белое кружево на черном бархате. За белым тыном был маленький сад, а за садом старый, неправильной формы, крытый соломой дом, фасадом обращенный к вересковой пустоши; из окон его просматривалась вся долина. Это и был тот безвестный глухой уголок, куда предстояло вернуться человеку, проведшему последние годы в столице Франции - этом центре и водовороте светской жизни.

ГЛАВА II

В БЛУМС-ЭНДЕ ГОТОВЯТСЯ

Весь этот день в Блумс-Энде была суета - там готовились к встрече того человека, который так неожиданно стал предметом размышлений Юстасии. Уговоры тетки, а также чувство глубокой привязанности по отношению к двоюродному брату побудили Томазин принять участие в хлопотах с жаром, необычным для нее в эти самые печальные дни ее жизни. В тот час, когда Юстасия прислушивалась к разговору рабочих у поленницы. Томазин поднималась по стремянке на чердак над дровяным сараем, где хранились зимние яблоки, чтобы выбрать самые крупные и красивые для предстоящего праздника.

Чердак освещался полукруглым слуховым оконцем, через которое голуби пробирались к своим насиженным местечкам в этой наиболее высокой части надворных строений; и через то же окошко солнце бросало яркий желтый блик на фигуру девушки, когда она, стоя на коленях, погружала обнаженные по локоть руки в вороха мягкого коричневого папоротника, употребляемого эгдонцами, ввиду его изобилия на пустоши, для упаковки всякого рода припасов. Голуби без малейшего страха летали у нее над головой, а поодаль, над краем пола, виднелось освещенное случайными отблесками лицо ее тетки, стоявшей на лесенке, заглядывая на чердак, куда сама не решалась подняться.

- Теперь еще немного коричных, Тамзин. Он когда-то очень их любил, не меньше, чем пепин.

Томазин повернулась и отгребла папоротник из другого угла, где хранились более нежные сорта и откуда ее обдало их густым ароматом. Прежде чем выбирать яблоки, она остановилась на минуту.

- Милый Клайм, как-то он теперь выглядит? - проговорила она, подняв голову к слуховому окну, и в прямом луче света так засияли ее каштановые волосы и

прозрачная кожа, как будто солнце пронизывало ее насквозь.

- Будь он тебе по-другому мил, - отозвалась миссис Ибрайт со своей лесенки, - вот тогда это была бы действительно радостная встреча.

- Какая польза, тетя, говорить о том, чего уж не изменишь?

- Есть польза, - уже с сердцем ответила ее тетка. - Не говорить кричать надо о своих прошлых ошибках, чтобы другие девушки знали и остерегались.

Томазин снова склонилась над яблоками.

- Я, значит, должна служить острасткою для других, как воры, пьяницы и игроки, - тихо проговорила она. - Вот в какой компании я оказалась! А разве я на самом деле такая? Это же нелепость! Но почему, тетя, все так держат себя со мной, словно хотят, чтобы я в это поверила? Почему не судят обо мне по моим поступкам? Ну посмотрите на меня сейчас, когда я тут стою на коленях и собираю яблоки, - похожа я на потерянную женщину?.. Дай бог, чтобы все честные девушки были так честны, как я! - добавила она с горячностью.

- Чужие не видят тебя, как я сейчас тебя вижу, - сказала миссис Ибрайт, - они судят по ложным слухам. Ах, глупая вся эта история, и моя тоже тут есть вина.

- Да, как легко сделать ошибку! - ответила Томазин. Губы у нее дрожали и глаза были так полны слез, что она еле могла различить яблоки среди папоротника, который продолжала усердно ворошить, чтобы скрыть волнение.

- Когда кончишь с яблоками, - сказала ее тетка, спускаясь с лесенки, сходи вниз, и мы пойдем нарвем остролиста. Сейчас на пустоши никого нет, никто на тебя глазеть не будет. Надо достать веток с ягодками, а то Клайм не поверит, что мы готовились к его встрече.

Собрав яблоки, Томазин спустилась с чердака, и вдвоем с теткой они прошли сквозь белый тын на

пустошь. Справа ясно и четко вырисовывались холмы, и, как часто бывает в солнечный зимний день, все видимое вглубь пространство игрою света делилось на несколько планов; самый воздух на разных расстояниях казался окрашенным по-разному; лучи, озарявшие ближний план, явственно струились поверх более дальних, шафрановый слой света накладывался на густо-синий, а за ними у самого края земли лежала укутанная в холодный серый свет даль.

Они дошли до того места, где росли остролисты; это была коническая впадина, так что верхушки деревьев еле возвышались над общим уровнем почвы. Томазин ступила в развилину одного куста, как уже не раз делала с той же целью в более счастливые дни, и принесенным с собой топориком стала обрубать густо усеянные ягодками ветви.

- Не поцарапай себе лицо, - сказала ее тетка; она стояла на краю впадины, глядя на девушку, угнездившуюся среди массы блестяще-зеленых и алых веток. - Пойдешь со мной вечером встречать его?

- Мне бы очень хотелось. А то выйдет, как будто я его забыла, ответила Томазин, сбрасывая ветку наземь. - Правда, не так уж это важно; я принадлежу другому, этого уж ничем не искупишь. И я должна выйти за него, хотя бы из гордости.

- Боюсь... - начала миссис Ибрайт.

- Ну да, вы думаете: "Такая слабая девчонка, как она заставит мужчину жениться на ней, если он не хочет?" Но я вам одно скажу, тетя: мистер Уайлдив не распутник, как и я не потерянная женщина. Просто он такой... ну, резкий, что ли, и не хочет подольщаться к тем, кто его не любит.

- Томазин, - сдержанно сказала миссис Ибрайт, пристально глядя на племянницу, - ты что, думаешь обмануть меня этой защитой мистера Уайлдива?

- То есть как?

- Я давно подозреваю, что твоя любовь к нему сильно поблекла после того, как ты обнаружила, что он не такой святой, каким тебе казался. И сейчас ты разыгрываешь передо мной роль.

- Он хотел жениться на мне, и я хочу выйти за него замуж.

- Нет, ты скажи прямо: согласилась бы ты сейчас стать его женой, если бы не была уже связана с ним?

Томазин смотрела куда-то в гущу листвы, и вид у нее был смущенный.

- Тетя, - сказала она наконец, - мне кажется, я имею право не отвечать на этот вопрос.

- Имеешь.

- Можете думать, что хотите. Но я ничем не показала вам, что мои чувства к нему изменились, и впредь не покажу. И я выйду за него и ни за кого другого.

- Подождать еще надо, чтобы он повторил предложение. Думаю, он это сделает, потому что теперь кое-что узнал... то, что я ему сказала. Я не спорю, тебе, конечно, всего пристойнее выйти за Уайлдива. Как я ни возражала против него раньше, теперь я с тобой согласна. Это единственный выход из ложного и крайне неприятного положения.

- Что вы ему сказали?

- Что он перебивает дорогу другому твоему поклоннику.

- Тетя, - проговорила Томазин, и глаза у нее округлились. - Что это значит?

- Не волнуйся, я сделала, как мне велел долг. Пока больше ничего не могу добавить, но когда все кончится, я тебе точно объясню, что я ему сказала и почему.

Томазин поневоле пришлось этим удовлетвориться.

- И вы пока сохраните все это в тайне от Клайма? - спросила она погодя.

- Я же дала тебе слово. Да что толку! Он все равно узнает. Посмотрит на тебя и сразу поймет, что что-то неладно.

Томазин повернулась и посмотрела с дерева на тетку.

- Послушайте теперь вы меня, - сказала она, и ее нежный голос обрел вдруг твердость и силу, почерпнутую не из телесного источника. - Не надо ничего ему говорить. Если он там узнает и решит, что я недостойна быть его сестрой, - пусть. Но когда-то он любил меня, и мы не станем огорчать его раньше времени рассказами о моей беде. Я знаю, все об этом кричат, по нему сказать не посмеют, по крайней мере, в первые дни. То, что мы родия, как раз и помешает слухам сразу дойти до него. А если через неделю-другую я не буду уже в безопасности от насмешек - тогда и сама ему расскажу.

Она говорила так твердо, что тетка не стала больше возражать. Она сказала только:

- По-настоящему надо было ему написать, еще когда ты собиралась замуж. Он не простит тебе такой скрытности.

- Простит, когда узнает, что я медлила потому, что боялась его огорчить, и, кроме того, я не знала, что он так скоро приедет. И, главное, тетя, я не хочу, чтобы из-за меня расстроился ваш праздник; вы хотели на рождество созвать гостей, пусть так и будет. Откладывать только хуже.

- Я и не собираюсь откладывать. Неужели ж мне признаться перед всем Эгдоном, что я потерпела поражение и стала игрушкой такого человека, как Уайлдив? Ну, кажется, у нас уже довольно ягод, отнесем-ка все это домой. Пока украсим дом да повесим омелу, пора уж будет идти его встречать.

Томазин слезла с дерева, стряхнула с волос и платья осыпавшиеся ягодки, и они с теткой пошли вниз по

склону; каждая несла половину собранных веток. Было уже почти четыре часа, солнце покидало долину. Когда небо на западе стало красным, обе родственницы снова вышли из дому и углубились в вересковую пустошь, но уже в другом направлении, чем утром, держа путь к определенному месту на далекой большой дороге, по которой должен был возвращаться тот, кого они ждали.

ГЛАВА III

КАК МАЛЫЙ ЗВУК ПОРОДИЛ БОЛЬШУЮ МЕЧТУ

Юстасия стояла на пустоши у самого ее края и глядела в ту сторону, где находилась усадьба миссис Ибрайт. Ни звука, ни света, ни движения не исходило оттуда. Вечер был холодный, кругом темно и пусто. Она решила, что гость еще не прибыл, и, подождав минут десять - пятнадцать, повернула обратно.

Она не так еще далеко отошла, как вдруг впереди слышались голоса: по той же тропе ей навстречу шли люди и разговаривали. Вскоре на фоне неба стали видимы их головы. Встречные шли медленно, ни лиц, ни одежды нельзя было разглядеть в темноте, но судя по походке это не были поселяне. Она сошла с тропы, чтобы их пропустить. Трое: две женщины и мужчина; женские голоса она узнала: Томазин и миссис Ибрайт.

Они прошли мимо, но в ту минуту, когда поравнялись с ней, должно быть, заметили ее темный силуэт. Ибо мужской голос сказал:

- Доброй ночи!

Она пролепетала что-то в ответ, скользнула мимо них, потом обернулась. Секунду она не могла поверить, что случай нежданно-негаданно пошел навстречу ее тайным помыслам - дал ей на миг соприкоснуться с душой того дома, который она ходила осматривать, с тем человеком, не будь которого ей и в голову бы не впало идти смотреть на этот дом.

Она сощурилась, сясь их разглядеть, но не смогла. Однако душевная ее напряженность была столь

велика, что слух как бы заменил ей зрение, казалось, она стала видеть ушами. В иные минуты такое расширение способностей кажется возможным. Глухой доктор Китто, вероятно, был во власти подобной же иллюзии, когда утверждал, что сделал путем долгой тренировки свое тело настолько чувствительным к звуковым колебаниям, что уже воспринимал их всем телом не хуже, чем другие - ушами.

Она впивала каждое слово, произнесенное собеседниками. Они говорили не о каких-нибудь секретах. То была обыкновенная живая болтовня родственников, долгое время бывших в разлуке - телом, если не душой. Но Юстасия слушала не слова; через минуту она уже не могла вспомнить, что было сказано. Она прислушивалась к одному-единственному голосу, мало принимавшему участия в разговоре, всего, может быть, на одну десятую по сравнению с другими, голосу, пожелавшему ей "доброй ночи"! Он иногда говорил "да", иногда "нет", иногда спрашивал о каком-нибудь давнем жителе Эгдона. И однажды поразил ее замечанием о том, как приветливо и дружелюбно смотрят окрестные холмы.

Голоса отдалились, ослабели, угасли. Только это и было ей дано, а все остальное скрыто. Но никакое другое событие не могло бы так ее взволновать. Долгие предвечерние часы она провела в грезах, стараясь представить себе, каким обаятельным должен быть человек, прибывший сюда прямо из Парижа, проникнутый его духом, знакомый со всеми его красотами. И этот человек только что приветствовал ее.

Как только смутные фигуры встречных растаяли вдали, оба женских голоса изгладились из памяти Юстасии; но мужской сохранился. Почему? Было ли в голосе сына миссис Ибрайт - потому что, конечно же, это был Клайм! - было ли в нем что-то необычайное по звуку? Нет, просто он был всеобъемлющим. Весь мир

эмоций был доступен тому, кто произнес это "доброй ночи". Эту его особенность она уловила сразу; остальное дополнило воображение. Только одну загадку оно не помогло ей разгадать: каковы же должны быть вкусы и склонности человека, который в косматых взгорьях Эгдона увидел приветливость и дружелюбие?

В таких случаях, как этот, тысяча мыслей проносится в разгоряченной голове женщины; их можно проследить на ее лице, но эти изменения облика, хотя явные, очень невелики. Она просияла; вспомнив о лживости воображения, поникла; приободрилась; вспыхнула; опять охладела. Круговорот обличий, порожденный круговоротом видений, встававших перед ней.

Юстасия вошла к себе в дом; она была в приподнятом настроении. Капитан блаженствовал у камина; он разгребал кочережкой пепел, обнажая докрасна накаленную поверхность торфа, и багровое пламя озаряло каминную нишу, словно отблесками от кузнечного горна.

- Почему мы не знакомы с Ибрайтами? - сказала она, подходя и протягивая к теплу свои нежные руки. - Жалко. Они как будто вполне приличные люди.

- А шут его знает почему, - отвечал капитан. - Сам-то старик мне даже правился, хоть и был колючий, как терновая изгородь. Да ты не стала бы к ним ходить, будь мы даже знакомы.

- Почему?

- На твой городской вкус, они чересчур деревенщина. Едят на кухне, пьют мед и бузинную наливку и пол для чистоты песком посыпают. Вполне разумный образ жизни, по-моему, но как бы ты на это посмотрела?

- Но ведь миссис Ибрайт, кажется, благовоспитанная особа? Говорят, дочь священника?

- Да. Но уж ей пришлось жить, как у мужа было заведено. А потом небось и сама привыкла. Ах да, помню, я чем-то ее оскорбил, сам того не желая, и с тех пор мы не виделись.

Ночь, которая за этим последовала, была для Юстасии так богата впечатлениями, что навсегда ей запомнилась. Ей привиделся сон - и вряд ли кого из известных в истории сновидцев, от Навуходоносора до Свофгэмского лудильщика, посещал когда-либо сон более многозначительный; а уж обыкновенной девушке, вроде Юстасии, наверняка никогда не доводилось увидеть такой сложный, загадочный и волнующий сон. В нем было столько же разветвлений, как в Критском лабиринте, такая же переменчивость, как в северном сиянии, буйство красок, как в июньских цветниках, и многолюдье, как на коронации. Для царицы Шехеразады такой сон, пожалуй, немногим бы отличался от действительности; девушка, побывавшая при всех дворах Европы, возможно, сочла бы его только занятым; но для Юстасии в ее скромной доле он был ослепительным и волшебным.

Однако постепенно в этой смене образов выделилась одна сцена, более связная, где знакомые черты Эгдонской пустоши смутно проступали, как фон, за блеском и оживлением действия. Юстасия танцевала под чудную музыку рука об руку с рыцарем в серебряных латах, который сопровождал ей и во всех предыдущих фантастических превращениях; забрало на его шлеме было опущено. Извивы танца приводили ее в восторг. Ласковый шепот касался ее слуха, ей было сладко, как в раю.

Внезапно они вдвоем выскользнули из круга танцующих, нырнули в одно из маленьких озер, разбросанных на пустоши, и, вынырнув где-то на глубине, очутились в высоком, переливчато сияющем гроте под арками из радуг.

- Это будет здесь, - сказал голос рядом с ней, и, когда она, краснея, подняла глаза, она увидела, что рыцарь снимает шлем, чтобы ее поцеловать. В тот же миг раздался оглушительный треск, и фигура в серебряных латах рассыпалась, как колода карт.

- Ах, я так и не видела его лица! - вскрикнула она.

Юстасия проснулась. Треск происходил оттого, что внизу служанка распахнула ставни и впустила дневной свет, сейчас уже почти достигший всей силы, какую ему отпускало это скряжливое время года.

- Ах, я так и не видела его лица! - повторила Юстасия. - А ведь это, конечно, был мистер Ибрайт!

Когда она немного успокоилась, ей стало ясно, что многие перипетии этого сна естественным образом возникли из ее собственных дум и мечтаний за прошлый день. Но самый сон от этого не утратил интереса, ибо послужил отличным топливом для зарождавшегося в ней огня. Она была сейчас в том переходном состоянии от равнодушия к любви, когда о женщине говорят, что она "начинает увлекаться". Такой момент бывает в истории всех великих страстей, и в то время они еще подвластны даже самой слабой воле.

Юстасия, столь пылкая по натуре, была уже наполовину влюблена в создание своей фантазии. И этот фантастический характер ее увлечения, хотя не свидетельствовал о высоком интеллекте, говорил все же о ее духовных силах. Будь у нее чуточку больше привычки владеть собой, она стала бы разбираться в своем чувстве и тем ослабила его и в конце концов свела на нет; будь в ней чуточку меньше гордости, возможно, она, жертвуя девической скромностью, стала бы скитаться вокруг Блумс-Энда, пока не увидела бы Клайма. Но Юстасия не сделала ни того, ни другого. Она поступила, как самая примерная девица в ее положении: стала дважды и трижды в день

прогуливаться по эгдонским холмам и зорко поглядывать кругом, поджидая счастливого случая.

В первый раз ей не повезло - ее героя нигде не было видно.

Она пошла вторично и опять была единственным человеческим существом на холмах.

В третий раз был густой туман; она поглядывала по сторонам, но почти без надежды: если бы даже он прошел в двадцати шагах, она бы его не заметила.

В четвертый раз, едва она вышла, полил дождь, и она вернулась.

В пятый раз она вышла под вечер; погода была прекрасная, и она долго гуляла, подошла даже к самому склону долины, в которой лежал Блумс-Энд. Внизу в полумиле расстояния она видела белые колья ограды, но он не показался. Она вернулась домой, совсем упав духом и стыдясь своей слабости. И твердо решила больше не искать встречи с парижским гостем.

Но судьба, как известно, своенравна. И едва Юстасия приняла это решение, как ей подвернулся тот счастливый случай, в котором ей отказывали, пока она его искала.

ГЛАВА IV

ЮСТАСИЯ ПУСКАЕТСЯ НА АВАНТЮРУ

Вечером этого последнего дня, двадцать третьего декабря, Юстасия была дома одна. Предыдущий час она провела в большой горести, оплакивая только что дошедший до нее слух, что Клайм Ибрайт недолго прогостит у матери и на будущей неделе уедет. "Ну конечно, - говорила она себе, - человек привык к веселью столичного города, у него там большое дело на руках, так станет ли он надолго задерживаться в нашей глухомани?" Возможность за такой короткий срок повидаться лицом к лицу с обладателем столь взволновавшего ее голоса была маловероятной, разве

что она стала бы, как малиновка, кружить возле дома его матери, что было бы и трудно и неприлично.

В таких случаях провинциальные девушки и парни прибегают к испытанному средству - посещению церкви. В обыкновенной деревне или маленьком городке всегда можно рассчитывать, что либо в первый день рождества, либо в ближайшее воскресенье любой местный уроженец, приехавший домой на праздники или утративший еще, по старости или от скуки, желания и людей посмотреть, и себя показать, непременно появится где-нибудь на церковной скамье, сияя надеждой, смущением и новеньким костюмом. Так что собрание молящихся в рождественское утро представляет собой нечто вроде паноптикума мадам Тюссо коллекцию всех знаменитостей, родившихся по соседству. Сюда может прокрасться покинутая любовница и тайком высмотреть, какие перемены произошли за год разлуки в забывшем ее возлюбленном; и украдкой бросая на него взгляды поверх молитвенника, мечтать, что былая верность вновь возродится в нем, когда новизна успеет ему надоесть. И сравнительно недавняя местная жительница, вроде Юстасии, может прийти сюда и в досталь разглядывать сына земли, покинувшего родные края до ее появления на сцене, и соображать, стоит ли завязать дружбу с его родителями, чтобы побольше узнать о нем к следующему его приезду.

Но эти любовные хитрости были неосуществимы на Эгдоне. Здесь люди жили так разбросанно, что хотя и считались прихожанами местной церкви, но, в сущности, не принадлежали ни к одному приходу. Да и те, что наезжали сюда провести праздник со своими близкими, раз добравшись до этих одиноких жилищ, так уж и оставались там до самого отъезда, посиживая с друзьями у очага и попивая мед и другие подкрепительные напитки. Всюду кругом был дождь,

снег, гололед, слякоть, - не было охоты тащиться за две-три мили в церковь и потом сидеть с мокрыми ногами, и в грязи от головы до пят рядом с другими, которые тоже были в какой-то мере соседями, но жили неподалеку от церкви и приходили туда чистенькие и сухие. Юстасия понимала, что вряд ли Клайм Ибрайт хоть раз выберется в церковь за немногие дни своего отпуска, и было бы напрасной тратой сил гнать лошадь и кабриолет по отвратительной зимней дороге в надежде его увидеть.

Уже сгущались сумерки, и Юстасия сидела у огня в столовой или холле, как, может быть, правильнее было бы ее назвать; в это время года они обычно сживали здесь, а не в гостиной, так как тут был огромный камин, в котором можно было жечь торф, а капитан предпочитал зимой именно этот вид топлива. Из всех предметов в комнате видимы были только те, что стояли на подоконнике, вырисовываясь на тусклом небе; это были: посередине - старинные песочные часы, а по бокам - две древние британские урны, откопанные в одном из соседних курганов и служившие цветочными горшками для двух кактусов с острыми, как бритва, листьями. В наружную дверь постучали. Служанки не было дома, равно как и дедушки. Пришелец подождал минуту, затем вошел и постучал уже в дверь столовой.

- Кто там? - спросила Юстасия.

- Простите, капитан Вэй, вы не позволите ли нам... Юстасия встала и подошла к дверям.

- Почему вы так бесцеремонно входите! Надо было подождать.

- Капитан сказал, чтобы я входил, не спрашиваясь, - ответил приятный юношеский голос.

- Ах, так, - сказала Юстасия уже мягче. - А что тебе надо, Чарли?

- Да вот, не позволит ли ваш дедушка нам сегодня вечером в семь часов собраться у него в сарае -

прорепетировать роли?

- О, значит, в этом году ты тоже участвуешь в святочном представлении?

- Да, мисс. Прежним-то капитан всегда разрешал...

- Я знаю. Ну что ж, можете воспользоваться нашим сараем, если хотите, лениво согласилась Юстасия.

Выбор капитанского сарая для репетиции подсказывался прежде всего тем, что усадьба капитана находилась почти на самой середине пустоши. Молодые парни, составлявшие труппу, жили в разбросанных кругом домишках и ото всех до Мистовера было примерно одинаковое расстояние. Да и самый сарай, просторный, как амбар, отлично подходил для их целей.

К святочным лицедействам и их участникам Юстасия относилась с величайшим презрением. Сами исполнители, хотя и не ставили свое искусство столь низко, однако большого энтузиазма не проявляли. Традиционное зрелище тем и разнится от всякого рода театральных "возрождений", что во втором случае все построено на увлеченности и энтузиазме участников, тогда как традиционное представление разыгрывается бесстрастно, почти механически, так что невольно задаешься вопросом, зачем же поддерживать этот обычай, если выполнять его так поверхностно? Подобно Валааму и другим невольным пророкам, актеры произносят слова и делают жесты, какие полагаются им по роли, как бы под действием внутреннего принуждения, без участия собственной воли. Это отсутствие живого звука, пожалуй, и есть тот признак, по которому в наш век всяческого реставраторства можно отличить окаменелый остаток подлинной старины от усердного ей подражания.

Исполнять должны были хорошо известную "Игру о святом Георгии", и все, кто не выступал сам, помогали в постановке, включая и женскую часть семьи. Без помощи сестер и возлюбленных как сшить костюмы? Но,

с другой стороны, их участие имело и свои неудобства. Девушек нельзя было заставить уважать традицию в оформлении и украшении рыцарских доспехов, и они налепливали бархатные и шелковые петли и банты всюду, где им нравилось. Латный воротник, кольчужный нагрудник, шлем, кираса, перчатки, рукав - все это их женский глаз воспринимал лишь как некую поверхность, на которой можно укрепить развевающийся пучок ярких лоскутьев.

Допустим, у Джо, которому предстояло сражаться на стороне христиан, есть возлюбленная; у Джима, выступающего на стороне мусульман, тоже таковая имеется. И пока готовили костюмы, до подружки Джо доходил слух, что подружка Джима обшивает атласом подол его плаща, в дополнение к шелковым лентам забрала - его всегда делали из цветных полосок шириной в полдюйма, которые и свисали перед лицом рыцаря. Тогда подружка Джо немедленно принималась украшать атласными фестонами подол того плаща, который был у нее в руках, и, кроме того, прилаживала пучок лент к наплечнику. А подружка Джима, известясь об этом и чтобы не отставать, нашивала банты и розетки всюду, где только возможно.

В результате Храбрый солдат христианской армии ничем не отличался по снаряжению от Турецкого рыцаря, и, что еще хуже, самого святого Георгия легко было спутать с его смертельным врагом - Сарацином. Сами же актеры, хотя втайне и огорчались таким смешением лиц, не смели, однако, обижать столь необходимых им помощниц, и все эти нововведения оставались в силе.

Был, правда, и предел этому стремлению к единообразию. Знахарь, или Доктор, сохранял свой облик в неприкосновенности: темная одежда, особой формы шляпа, бутылка микстуры, повешенная через плечо, - этого уж ни с кем не спутаешь. И то же можно

сказать о традиционной фигуре Рождественского Деда с его огромной дубинкой; на эту роль избирали пожилого мужчину, который и сопровождал труппу как ее защитник и покровитель во время долгих ночных путешествий из одного прихода в другой, а также был ее казначеем.

Пробило семь часов - время, назначенное для репетиции - и вскоре Юстасия услышала голоса в деревянном сарае. Стремясь хоть немного развеять угнетавшее ее чувство безотрадности человеческой жизни, она зашла под навес, примыкавший к сараю; эта пристройка служила складом овощей, и здесь в глиняной стене было проделано для голубей небольшое отверстие, через которое можно было видеть внутренность сарая. Сейчас оттуда шел свет, и Юстасия, став на табуретку, заглянула внутрь.

На выступе степы горели три высокие свечи с фитилями из сердцевины камыша, и при их свете семь или восемь молодых парией расхаживали взад и вперед по сараю, декламируя роли и путая друг друга в усилиях навести порядок. Хемфри и Сэм, резчики дрека и торфа, присутствовали в качестве зрителей, равно как и Тимоти Фейруэй, который стоял, прислонившись к степе, и суфлировал актерам по памяти, пересыпая слова из роли критическими замечаниями и рассказами о тех славных днях, когда он и его сверстники сами были членами отборной Эгдонской труппы.

- Ладно уж, лучше все равно не сделаете, - сказал он наконец. Конечно, в наше время такую бы игру не приняли. Гарри, Сарацину, надо бы больше важности, и Джону незачем орать, так что аж глаза на лоб лезут. Ну, а в остальном ничего, сойдет. Костюмы-то у вас готовы?

- К понедельнику поспеют.

- Значит, в первый раз играть будете вечером в понедельник?

- Да. У миссис Ибрайт.

- У миссис Ибрайт? Что это ей вздумалось? Немолодая женщина, ей уж небось и надоест успело.

- А она у себя вечеринку устраивает. В честь того, что ее сын Клайм после стольких лет на праздники домой приехал.

- Ах, да ведь и верно же, верно! Гостей созвала, я и сам к ней иду. Чуть не забыл, честное слово.

У Юстасии вытянулось лицо. Так. Вечеринка будет у Ибрайтов, а она, разумеется, в стороне. Она никогда не ходила на эти местные сборища, даже считала это низким для себя. Но если б ходила, вот был бы случай повидаться лицом к лицу с человеком, чье влияние пронизывало ее всю, словно летнее солнечное тепло. Усилить это влияние значило бы вновь испытать тревоги, которых она жаждала; отринуть его навсегда - это, пожалуй, помогло бы ей вернуть себе спокойствие; оставить все, как есть, было мученьем.

В сарае уже собирались уходить, и Юстасия вернулась к своему креслу у огня. Она погрузилась в задумчивость, но не надолго. Через несколько минут Чарли, тот юноша, что просил у нее разрешения воспользоваться сараем, прошел в кухню, чтобы повесить ключ на место. Юстасия услышала его шаги и, растворив дверь в коридор, сказала:

- Чарли, зайди сюда на минутку.

Это его удивило. Он вошел, смущаясь и краснея, ибо, как и многие другие, не был равнодушен к ее прелестям.

Она указала ему на стул у камина и сама села с другой стороны. По ее лицу было видно, что причина, побудившая ее позвать юношу в дом, сейчас разъяснится.

- Какую роль ты исполняешь, Чарли? Кажется, Турецкого рыцаря? спросила красавица, глядя на него поверх дыма, клубившегося над огнем.

- Да, мисс, Турецкого рыцаря, - робко ответил он.

- Большая это роль?
- Порядочная. Этак раз девять надо стихи читать.
- Можешь ты мне их сейчас прочесть? Я бы хотела послушать.

Глядя с улыбкой в огонь, юноша начал:
Вот я, Рыцарь турецкий, стою пред тобою,
В Турции выучен ратному бою,
и продолжал читать реплику за репликой вплоть до последней сцены, в которой ему должно было пасть от руки святого Георгия.

Юстасия уже и до того раз или два слышала, как читали эту роль. Когда Чарли кончил, она начала точно теми же словами и продекламировала все от начала и до конца без единой запинки или искажения. Это было то же самое, и, однако, какая разница! В ее декламации была та законченность и мягкость, которая так поражает в картинах Рафаэля, когда видишь их после Перуджино, и, при одинаковости сюжета у обоих художников, более позднего мастера ставит неизмеримо выше его предшественников.

У Чарли глаза округлились от удивления.

- Ну и память же у вас! - сказал он восхищенно. - Я три недели зубрил!

- Я эти стихи раньше слышала, - скромно заметила она. - Так вот что, Чарли: хочешь сделать мне приятное?

- Все, что велите, мисс.

- Позволь мне один раз сыграть вместо тебя.

- Ой, мисс! Да как же вы?.. В женском платье?..

- Я могу достать мужское, - по крайней мере, все, что понадобится вдобавок к театральному костюму. Что я должна подарить тебе, чтобы ты одолжил мне костюм и позволил занять твое место на час или два в понедельник вечером - и никому никогда и словом не обмолвился о том, кто я и что я? Тебе, конечно, придется объяснить им, что ты не можешь играть в этот вечер и что кто-то другой - ну, скажем, двоюродный

брат мисс Вэй - будет играть вместо тебя. Остальные никогда со мной не разговаривали, так что они меня не узнают, а если и узнают, мне все равно. Ну так что же тебе дать, чтобы ты согласился? Полкроны?

Юноша покачал головой.

- Шесть шиллингов?

Он опять покачал головой.

- Денег мне не надо, - сказал он, поглаживая ладонью набалдашник железной подставки для дров.

- А что же тебе надо, Чарли? - огорченно спросила Юстасия.

- Помните, мисс, что вы мне запретили в прошлый раз возле майского дерева? - тихо проговорил юноша, не поднимая глаз и все еще поглаживая набалдашник.

- Да, - уже с ноткой надменности отвечала Юстасия.

- Ты хотел держать меня за руку, когда мы стояли в кругу, так, что ли?

- Полчаса этого самого, мисс, и я согласен.

Юстасия пристально поглядела на него. Он был тремя годами моложе ее, но, очевидно, из молодых, да ранний.

- Полчаса чего? - спросила она, хотя и сама уже догадалась.

- Поддержать вашу руку в моей. Она помолчала.

- А если четверть часа? - сказала она.

- Хорошо, мисс Юстасия, только чтобы мне можно было потом ее поцеловать. Пусть четверть часа. И клянусь, я все сделаю, чтобы вы могли занять мое место и никто бы не узнал. Вы не бойтесь, что кто-нибудь вас по голосу признает?

- Это возможно. Но я возьму камешек в рот, будет не так похоже. Хорошо; когда принесешь костюм, меч и жезл, я позволю тебе поддержать мою руку. А теперь иди, сейчас ты мне больше не нужен.

Чарли ушел, и Юстасия почувствовала, что в ней снова пробуждается интерес к жизни. Было чего ждать,

чего добиваться; была надежда его увидеть, да еще таким заманчиво дерзким способом.

- Ах, - сказала она себе, - цель, ради которой стоило бы жить, вот чего мне недостает!

В манерах Юстасии всегда была медлительность и даже как бы дремотность; ее страсти таились в глубине и отличались скорее силой, чем живостью. Но когда она наконец пробуждалась, она иной раз бывала способна на внезапные и стремительные поступки, которые на это краткое время придавали ей сходство с людьми, порывистыми по натуре.

К риску быть узнанной она относилась довольно равнодушно. Молодые парни, исполнители ролей, вряд ли хорошо ее знают. Насчет гостей, которые соберутся, у нее не было такой уверенности. Но, в конце концов, даже если узнают, тоже не страшно. Обнаружится самый факт, но не ее тайные побуждения. Решат, что это мимолетная прихоть девицы, о которой и без того известно, что она со странностями. А что она по глубоким причинам сделала то, что естественно делать в шутку, это никому и в голову не придет.

На другой день, чуть стало смеркаться, она уже караулила возле сарая. Дедушка был дома, и ей нельзя было звать своего сообщника в комнаты.

Он возник на темном челе пустоши, словно муха на лице негра. Он нес узел с вещами и подошел, слегка запыхавшись от быстрой ходьбы.

- Я принес все, что нужно, - прошептал он, кладя свою ношу на порог. А теперь, мисс Юстасия...

- ...ты хочешь получить плату. Она готова. Я от своих слов не отрекаюсь.

Она прислонилась к дверному косяку и протянула ему руку. Он взял эту руку в свои с бесконечной нежностью - так ребенок держит в ладонях пойманного воробышка.

- На ней перчатка!.. - сказал он укоризненно.

- Ну да, я гуляла, - откликнулась она.

- Но, мисс!..

- Да. Это, пожалуй, нечестно. - она сняла перчатку и снова протянула ему руку.

Они стояли молча, минуту за минутой, глядя на темнеющие деревья, думая каждый о своем.

- Я бы не хотел все сразу, - благоговейно сказал Чарли после того, как шесть или восемь минут ласкал ее руку. - Можно, я остатние минутки как-нибудь в другой раз?..

- Как хочешь, - равнодушно ответила Юстасия. - Только не позже, чем на этой неделе. А сейчас мне еще одно от тебя нужно: подожди, пока я переоденусь, и посмотри, правильно ли я все буду делать. Но сперва я должна заглянуть домой.

Она исчезла на минуту. Зайдя в дом, она увидела, что дедушка мирно дремлет в кресле.

- Ну, - сказала она, вернувшись, - погуляй в саду, а я тебя позову, когда буду готова.

Чарли бродил по дорожкам и ждал и вскоре услышал тихий свист. Он вернулся к дверям сарая.

- Это вы свистели, мисс Вэй?

- Да. Заходи, - донесся из темноты голос Юстасии. - Я не могу зажигать свет, пока дверь открыта, а то еще увидят. И заткни шапкой оконце в прачечную, если сумеешь найти его на ощупь.

Он сделал, как ему было велено, Юстасия зажгла свечи и предстала перед ним в мужском обличье, блистая яркой одеждой и вооруженная с головы до ног. Может быть, она и смутилась на миг под его жадным взглядом, но краска стыда, если таковая появилась на ее лице, не была видна за свисавшими со шлема цветными лентами, которые в этих костюмах имитировали рыцарское забрало.

- Все почти впору, - сказала она, глядя вниз, на свои ноги в белых брюках. - Только рукава камзола - или как

там он у вас называется - чуточку длинны. А штанины я могу подвернуть. Ну теперь смотри внимательно.

И Юстасия принялась декламировать свою роль, сопровождая наиболее воинственные фразы ударами меча по жезлу или копьё в традиционной манере этих представлений и с важностью расхаживая взад и вперед. Чарли был восхищен и добавил только несколько очень мягких критических замечаний, ибо прикосновение руки Юстасии еще не отвеялось от его ладоней.

- Теперь насчет того, как объяснить твое отсутствие, - сказала она. Где вы встречаетесь завтра, перед тем как идти к миссис Ибрайт?

- Мы хотели встретиться здесь, мисс, если вам удобно. Ровно в восемь, чтобы попасть туда к девяти.

- Хорошо. Ты, конечно, совсем не должен показываться. Я войду с опозданием на пять минут, уже одетая, и скажу им, что ты не можешь прийти. Я решила, что лучше всего будет, если я тебя куда-нибудь вечером пошлю, чтобы у тебя была настоящая причина. Оба наших пони часто убегают в луга - вот ты и пойдешь завтра вечером посмотри, не удрали ли они опять. Остальное я все улажу. А теперь можешь уходить.

- Хорошо, мисс. Но мне хотелось бы еще одну минутку того, что мне следует, если вы не против.

Юстасия, как и раньше, протянула ему руку.

- Одна минута, - отсчитала она и продолжала считать, пока их не набралось семь или восемь. Тогда она отняла руку и отступила на несколько шагов, вдруг опять став для него чужой и далекой. Выполнив договор, она снова воздвигла между ними преграду, непроницаемую, как стена.

- Как, уже все?.. А я не хотел все сразу, - сказал он со вздохом.

- Ты получил сполна, - возразила она, отворачиваясь.

- Да, мисс. Ну что ж, значит, так. Пойду теперь домой.

ГЛАВА V

В ЛУННОМ СВЕТЕ

На следующий вечер исполнители, собравшись в том же сарае, поджидали Турецкого рыцаря.

- Двадцать минут девятого по "Молчаливой женщине", а Чарли все нет.

- Десять минут по Блумс-Энду.

- Без десяти восемь по часам дедушки Кентла.

- Без пяти по капитанским.

На Эгдоне не существовало единого времени. Час дня там определялся по-разному, в зависимости от того, какого счета придерживался данный хутор или деревушка; некоторые из этих исчислений имели общий корень, но впоследствии раскололись, другие с самого начала были независимы друг от друга: Западный Эгдон считал время по часам Блумс-Энда, восточный - по тем, что висели в гостинице "Молчаливая женщина". Часы дедушки Кентла в былые годы имели много приверженцев, но с тех пор, как он состарился, вера в них поколебалась. Святочные лицедеи пришли из разных мест, каждый со своим представлением о времени; поэтому, в порядке компромисса, решено было еще подождать.

Юстасия наблюдала за собравшимися сквозь дырку для голубей; найдя момент подходящим, она вышла из-под навеса и смело дернула за кольцо на дверях сарая. Дедушка к этому времени уже засел у "Молчаливой женщины".

- А вот и Чарли - наконец-то! Что ты так опаздываешь, Чарли?

- Это не Чарли, - проговорил Турецкий рыцарь из-под своего забрала. - Я двоюродный брат мисс Вэй и решил любопытства ради занять его место. Чарли послали в луга отыскивать наших сбежавших пони, я и

согласился сыграть вместо него, потому что уже ясно было, что он вовремя не успеет. Я знаю роль не хуже его.

Ее легкая походка, стройная фигура и полная достоинства манера держаться внушили актерам мысль, что они, пожалуй, только выиграют от этой замены, если, конечно, новый пришелец способен сыграть как следует.

- Что ж, это ничего, только справишься ли? Уж больно ты молод, - сказал святой Георгий. Голос Юстасии показался ему куда более юным и нежным, чем у Чарли.

- Говорю вам, я знаю все до последнего слова, - решительно отвечала Юстасия. Смелость - это все, что ей было нужно, чтобы выйти победительницей, и она вооружилась смелостью. - Не канительтесь, ребята, давайте репетировать. И посмотрим, найдете ли вы у меня хоть одну ошибку.

Пьесу наскоро прорепетировали, и все пришли в восторг от нового рыцаря. В половине девятого погасили свечи и двинулись через пустошь по направлению к дому миссис Ибрайт в Блумс-Энде.

К вечеру слегка подморозило, на вереске лежал иней, и луна, хотя и неполная, окутывала светлым и таинственным сиянием фантастические фигуры актеров, чьи перья и банты шелестели на ходу, как осенние листья. Путь их на этот раз лежал не мимо Дождевого кургана, а низом, по долине, так что эта древняя возвышенность оставалась немного восточнее. По дну долины тянулась зеленая полоса шириною шагов в десять, и блески инея на стеблях травы, казалось, перебегали вперед вместе с тенями идущих. Справа и слева кучились заросли дрока и вереска, как всегда непроглядно темные, - жалкий полумесяц был бессилён посеребрить такую черноту.

После получаса ходьбы и разговоров они достигли того места в долине, где травяная лента расширялась и подходила к фасаду дома. Завидев его, Юстасия, на которую во время этого ночного перехода в компании молодых парней не раз уже нападали сомнения, вновь ощутила радость от того, что затеянная ею авантюра все же осуществилась. Что ж, она ведь сделала это, чтобы повидать человека, который как будто имел власть освободить ее душу от смертельного гнета. Что такое Уайлдив? Он привлекателен, да, но ей неровня. А сейчас она, может быть, увидит более подходящего для себя героя.

По мере приближения к дому становилось все яснее, что там вовсю идет веселье. Протяжные басовитые звуки серпента, излюбленного духового инструмента тех времен, дальше проникали в пустошь, чем жиденький дискант скрипки, и сперва актеры слышали только их да изредка особенно громкий топот какого-нибудь рьяного танцора. Когда они подошли еще ближе, эти разрозненные звуки объединились в бойкий плясовой мотив - "Капризы Нэнси".

Он там, конечно. Кто та, с кем он сейчас танцует? Быть может, в эту самую минуту какая-то неведомая женщина, гораздо ниже Юстасии по уму и обаянию, решает его судьбу с помощью этого самого тонкого из всех соблазнов. Танцевать с мужчиной - значит за один час сосредоточить на нем обстрел, который по правилам должен бы растянуться на целый год осады. Перейти к ухаживанию, минуя знакомство, и к браку, минуя все этапы ухаживания, - такое сжатие сроков доступно лишь тем, кто идет кратчайшей дорогой. О, она все узнает; она будет зорко следить за всеми и поймет, свободно ли еще его сердце.

Наша предприимчивая девица прошла следом за другими через калитку в белом палисаде и остановилась перед открытой галерейкой, тянувшейся

вдоль дома. Сверху он, словно толстой коркой, был накрыт соломенной крышей, низко свисавшей меж верхних окон; фасад дома, ярко освещенный луной, когда-то был белым, но теперь густые плети разросшегося пираканта затемняли большую его часть.

Тотчас обнаружилось, что танцы происходят прямо за входной дверью, без всяких промежуточных помещений. Слышно было, как шелестят об нее юбки, как танцоры задевают за нее локтями и даже иной раз ударяются об нее плечом. Юстасия, хотя и жила всего в двух милях от дома миссис Ибрайт, никогда не бывала внутри этого причудливого старинного жилища. Знакомство капитана Вэя с Ибрайтами всегда было самое поверхностное, так как капитан впервые появился в здешних краях и купил давно пустовавший дом на Мистоверском холме незадолго до кончины мужа миссис Ибрайт, а после смерти старика и отъезда сына порвалась и та дружба, которая за это короткое время успела завязаться.

- Значит, там за дверью нет коридора? - спросила Юстасия, когда они все уже стояли в галерее.

- Нету, - ответил юноша, который исполнял роль Сарацина. - Дверь открывается прямо в большую комнату, где они сейчас пляшут.

- Так что нельзя отворить, не помешав танцам?

- То-то и оно. Придется нам здесь подождать, пока кончат, потому черный ход они на ночь всегда запирают.

- Теперь уж недолго, - сказал Рождественский Дед.

Но это предположение не оправдалось. Снова музыканты доиграли один танец и тут же без передышки начали другой, да с таким пылом и жаром, как будто только что взялись за свои инструменты. На сей раз это был тот кругообразный мотив без начала, развития и заключения, который из всех танцев, хранимых в памяти вдохновенного скрипача, пожалуй,

лучше всего передаст идею бесконечности - знаменитый "Сон дьявола". О стремительном движении танцоров, увлекаемых бурей звуков, немые свидетели, стоявшие снаружи в лунном свете, могли судить по тому, как часто грохали в дверь носки и каблуки, когда хоровод кружился особенно быстро.

Первые пять минут слушать было довольно занятно, но пять минут превратились в десять, потом в пятнадцать, а никаких предвестий конца не замечалось в этом весьма бодром "Сие". Удары в дверь, смех и топот ничуть не ослабевали, и удовольствие от ожидания под открытым небом значительно уменьшилось.

- Зачем миссис Ибрайт устраивает такие вечеринки?
- спросила Юстасия, несколько удивленная простецким характером веселья.

- Да у нее не всегда так, бывает и по-благородному. А сегодня решила всех соседей созвать без разбора, и простых поселян, и рабочих, - пусть, мол, повеселятся по-своему, а потом она их хорошим ужином угостит. И сама с сыном за всеми ухаживает.

- Понятно, - сказала Юстасия.

- Ну, вроде конец, - сказал святой Георгий, который стоял, приложив ухо к двери. - Сейчас к этому углу парень с девушкой прибились, и, слышу, он ей говорит: "Ах, как жалко, кончено наше блаженство, душенька".

- Слава богу, - отозвался Турецкий рыцарь, топая ногами и снова беря в руки прислоненный к стене жезл. Она была в более топких башмаках, чем ее спутники-мужчины, и ноги у нее отсырели и застыли.

- Он, нет, еще не конец, - сказал Храбрый солдат, глядя в замочную скважину; музыканты уже опять играли новый зажигательный мотив. - Дедушка Кентл стоит в этом углу и ждет своей очереди.

- Ничего, это рил для шести человек, скоро кончат, - утешил Доктор.

- Да почему бы нам не войти, хоть пляшут, хоть нет? Они же сами нас позвали, - сказал Сарацин.

- Ни в коем случае, - властно сказала Юстасия, быстро расхаживая между домом и калиткой, чтобы согреться. - Вломиться во время танца, помешать гостям - это невежливо.

- Вот еще командир выискался, - проворчал Доктор. - Думает, он важная птица, оттого что чуточку больше учился, чем мы.

- Иди ты - знаешь куда! - отрезала Юстасия.

Трое или четверо парней в это время перешептывались, потом один обратился к ней.

- Можно вас спросить? - сказал он мягко. - Ведь вы мисс Вэй? Да? Нам думается, что это так.

- Можете думать, что вам угодно, - с расстановкой проговорила Юстасия. - Но порядочный мужчина не станет распускать сплетни про девушку.

- Мы никому не скажем, мисс. Честное слово.

- Спасибо, - ответила она.

Тут скрипки пронзительно взвизгнули на финальной ноте, а серпент издал напоследок такой густой рев, что крыша едва не взлетела на воздух. Когда по наступившей в доме сравнительной тишине актеры заключили, что танцующие сели отдохнуть, Рождественский Дед выступил вперед, поднял щеколду и просунул голову в дверь.

- А, комедианты, комедианты пришли! - вскричали разом несколько гостей. - Очистить место для комедиантов!

Тогда согбенный Рождественский Дед окончательно протиснулся в комнату; помахивая своей огромной дубинкой и жестами указывая, где быть публике, а где сцене, он в бойких стихах уведомил собравшихся, что вот он, Рождественский Дед, прибыл, - рады не рады, а принимайте, - и закончил свою речь так:

Место нам, место для представленья,

Здесь сейчас будет кровавое сражение,
Нынче на святках, как и в старые года,
О святом Георгии пойдет у нас игра.

Гости тем временем рассаживались в одном конце комнаты, скрипач подтягивал струну, серпентист прочищал амбушюр. Наконец игра началась.

Первым вошел Храбрый солдат, выступающий на стороне святого Георгия:

- Вот я, Храбрый солдат, по прозвищу Рубака, - начал он и закончил свою речь тем, что бросил вызов неверным, после чего полагалось явиться Юстасии в роли Турецкого рыцаря. До сих пор она, вместе с другими еще не занятыми актерами дожидалась в лунном свете, заливавшем галерею. Теперь без промедления и без всяких видимых признаков робости она вошла и заговорила:

Вот я - Рыцарь турецкий - стою пред тобою,
В Турции выучен ратному бою.

Лучше смирись, не то голову с плеч
Срежет тебе мой сверкающий меч!

Декламируя, она высоко держала голову и старалась говорить как можно грубее, - под покровом лат и шлема она чувствовала себя в безопасности. Но необходимость все время следить за собой, чтобы не сделать промаха, новизна обстановки, мерцание свечей, свисающие на глаза лепты забрала - все это мешало ей сколько-нибудь ясно разглядеть присутствующих. По ту сторону стола, на котором стояли свечи, маячили какие-то лица - вот и все, что она увидела.

Меж тем Джим Старкс, он же Храбрый солдат, выступил вперед и, сверкая глазами на Турка, произнес:

Еще увидим, кто из нас двух смирится.

Обнажай-ка меч и давай биться!

И они стали биться: и Храбрый солдат очень эффектно пал от поразительно слабого удара Юстасии - Джим Старкс в своем артистическом рвении грохнулся

со всего роста о каменный пол с такой силой, что только чудом не вывихнул себе плечо. Затем после нескольких и довольно-таки слабо прозвучавших реплик Турецкого рыцаря и его похвальбы, что он точно так же разгромит святого Георгия и всю его рать, на сцену торжественно вступил сам святой Георгий, победоносно размахивая мечом:

Вот я, святой Георгий, великий воитель,
Веры Христовой защитник и покровитель,
Злого дракона, грозу Египта, в бою я сразил
И тем сердце красавицы Сабры, царской дочери,
покорил.

Кто из смертных столь дерзостно мнит о себе,
Что равняться со мною задумал в борьбе?

Это был тот самый юноша, который первым узнал Юстасию, и теперь, когда она, в облике Турка, отвечала ему с надлежащим вызовом и тотчас вступила в бой, он всеми силами старался как можно деликатнее действовать мечом. Будучи ранен, рыцарь упал на одно колено, согласно ремарке. Тотчас появился Доктор и восстановил его силы, дав ему отпить из своей бутылки, и бой возобновился, причем Турок слабел постепенно, пока не испустил дух, - одним словом, его умирание в этой старинной драме было столь же затяжным, как, по слухам, и у его тезки в паши дни.

Это ступенчатое склонение к земле и было отчасти причиной, почему Юстасия решила, что роль Турецкого рыцаря, хотя не самая короткая, будет для нее наиболее подходящей. Внезапный переход из вертикального положения в горизонтальное, как у других участников сражения, которые валились наземь, как бревна, для девушки был бы неизящен и неприличен. Гораздо удобнее было умирать, как полагалось Турку, - мало-помалу и с расстановкой.

Теперь Юстасия была среди убитых, однако не лежала плашмя на полу, как другие, ибо изловчилась

скончаться в полусидячем положении, прислонясь спиной к футляру стоячих часов, так что голова ее достаточно возвышалась над полом. Игра продолжалась с участием святого Георгия, Сарацина, Доктора и Рождественского Деда, и Юстасия, больше не занятая в пьесе, впервые могла спокойно оглядеть комнату и поискать среди зрителей того, кто ее сюда привлек.

ГЛАВА VI

ОНИ ВСТРЕЧАЮТСЯ ЛИЦОМ К ЛИЦУ

В комнате еще раньше все было переставлено для танцев - большой дубовый стол был отодвинут к камину и загораживал его, словно бруствер. По обоим концам стола, позади него и в каминной нише сидели гости, многие еще раскрасневшись и запыхавшись после пляски; среди них Юстасия бегло отметила несколько знакомых лиц - это были зажиточные хозяева из мест за пределами Эгдонской пустоши. Как она и ожидала, Томазин нигде не было видно, и Юстасия вспомнила, что, когда они подходили к дому, в одном из верхних окон горел свет, - очевидно, в комнате Томазин. Со стула в глубине ниши торчал нос, подбородок, руки, колени и носки сапог, а когда она вгляделась, эти разрозненные элементы объединились в фигуру дедушки Кентла; он помогал иногда миссис Ибрайт в саду и поэтому оказался в числе приглашенных. Из торфяной Этны у его ног поднимался дым, вился по дымооборотам, ударялся о ящик с солью и исчезал среди подвешенной для копчения грудинки. Но тут нечто иное приковало к себе взгляд Юстасии. По другую сторону камина стоял служивший вместо дивана большой деревянный ларь с высокой спинкой - необходимое дополнение к этим старинным каминам, где огонь горит так открыто, что только очень сильная тяга может унести дым в трубу. По отношению к огромной пещеристой нише камина он выполнял ту же роль, что восточный заслон из деревьев в открытой

ветрам усадьбе или высокая северная стена в саду. Снаружи от ларя свечи оплывают, пряди волос развеваются, молодые женщины дрожат и старики чихают. Зато внутри - рай. Ни единое дуновение не колеблет воздух, спины так же согреты, как и лица, и в этом благодатном тепле песни и затейливые рассказы о старине рождаются из уст сидящих столь же естественно, как спелые дыни на своих плетях в парнике.

Но не те, кто сидел там, интересовали Юстасию. На исчерна-коричневом мореном дереве спинки с необыкновенной четкостью вырисовывалось лицо. Кто-то стоял, прислонясь к наружному концу ларя, - да, Клемент Ибрайт, или Клайм, как его здесь звали; Юстасия сразу поняла, что это он и никто другой. Эта озаренная отблесками свечей голова на темном фоне была словно небольшая фута в два - картина Рембрандта, выполненная в самой подчеркнутой его манере. И странная притягательность этого лица сказывалась в том, что, хотя вся фигура стоявшего была видна, взгляд ваш невольно обращался только к его лицу.

Для людей пожилых это было лицо молодого человека, но юноше даже странным показалось бы говорить тут о молодости. Ибо это было одно из тех лиц, видя которые меньше думаешь о прожитых человеком годах, чем о накопленном им опыте. Число лет могло служить точной характеристикой Иареда, Малелеила и остальных наших допотопных праотцев, но возраст современного человека измеряется интенсивностью его внутренней истории.

Лицо это было хорошо, даже превосходно, вылеплено. Но сознание уже начало использовать его как памятные таблички, на которых владелец записывает все свои пристрастия, по мере того как они возникают и развиваются. Уже ясно было, что еще

зримая в нем красота вскоре будет безжалостно изглодана ее нахлебником - мыслью, хотя эта разрушительница могла бы с таким же успехом вскармливаться в оболочке более грубой, где нечему было вредить. Если бы небеса охранили Ибрайта от утомительной привычки к размышлению, люди говорили бы о ком - "красавец". Если бы мозг его созревал в окладе черт более жестких, о нем сказали бы - "мыслитель". Но здесь внутренняя напряженность подтачивала внешнее совершенство, и люди говорили, что вид у него какой-то странный.

Те, что вначале любовались им, кончали тем, что вчитывались в него, как в книгу. Ибо на лице его было немало четких записей. Хотя еще не изможденное мыслью, оно уже носило на себе знаки, говорившие о попытках осмыслить окружающее, - знаки, которые мы нередко находим на человеке после четырех или пяти лет его самостоятельных усилий, следующих за мирным периодом ученичества. По нему было видно, что мысль есть недуг тела, он был как бы косвенным доказательством того, что идеальная телесная красота несовместима с утонченностью чувств и полным осознанием заключенных в самой природе противоречий.

Духовный свет в человеке тоже ведь питается маслом жизни, как и физическая наша натура, и печальные следствия двойного спроса на один и тот же запас уже были на нем заметны.

Есть люди, при встрече с которыми философ жалеет, что мыслитель создан из бренной материи, а художник - что этой бренной материи приходится мыслить. Встретясь им Ибрайт, взглядишь они в него попристальнее, оба - и философ и художник, - без сомнения, стали бы, каждый со своей точки зрения, горько оплакивать эту взаимозависимость тела и духа, разрушительную и для того и для другого.

Что же касается выражения его лица, то в нем было видно, как врожденная веселость борется против угнетения извне - и не всегда успешно. Оно выражало одиночество, но и еще нечто большее. Как обычно у даровитых натур, божество, позорно закованное в тюрьму человеческой плоти, сверкало в нем как луч.

Все это как-то странно подействовало на Юстасию. В том взвинченном состоянии, в каком она была уже и до этого, даже человек самой ординарной внешности произвел бы на нее впечатление. Но сейчас, глядя на Ибрайта, она испытывала смущение и робость.

Представление кончилось: Сарацину отрубили голову, святой Георгий одержал победу. Никаких восторгов по этому поводу никто не выказал, как не стали бы их выказывать по поводу того, что осенью в лесу бывают грибы, а весной подснежники. Зрители отнеслись к пьесе с такой же флегмой, как и сами актеры. Это было развлечение, которому полагалось предаваться каждый год на святках, - и говорить тут было не о чем.

Комедианты спели заунывную песнь, которой заканчивается пьеса и во время которой все убитые безмолвно и зловеще встают на ноги, словно призраки наполеоновских солдат на Полночном параде. После чего дверь растворилась, и на пороге появился Фейруэй в сопровождении Христиана и еще одного поселянина. Они дожидались снаружи, пока кончится пьеса, так же как актеры недавно дожидались окончания танцев.

- Заходите, заходите, - сказала миссис Ибрайт, и Клайм поспешил навстречу новым гостям. - Что это вы так поздно? Дедушка Кейтл давно уж здесь, мы думали, вы вместе придете, вы же все там рядом живете.

- Да я бы и раньше пришел. - сказал Фейруэй и остановился, отыскивая на потолочной балке гвоздик, чтобы повесить шляпу, но, обнаружив, что тот, на который он привык ее вешать, уже занят пучком омелы,

а все гвозди на стене ветками остролиста, он в конце концов приладил свой головной убор в неустойчивом равновесии одним краем на ящик из-под свечей, а другим на верхушку стоячих часов.

- Я бы и раньше пришел, сударыня, - успокоившись, продолжал он, - да ведь знаю я, как тесно бывает в доме на вечеринках, ну и подумал, лучше уж погожу, пока у вас малость утрясется.

- И я тоже так подумал, миссис Ибрайт, - с важностью проговорил Христиан, - но отца разве удержишь, убежал из дому еще засветло. Я ему говорил, неприлично, мол, старику так рано приходить, да ему слова что горох об стену.

- А что ж мне - половину пропустить, что ли? Нет уж, где веселье, туда я стрелой лечу! - бодро откликнулся дедушка Кентл из каминной ниши.

Фейруэй тем временем изучающе оглядывал Ибрайта.

- Вот хотите верьте, хотите нет, - произнес он, обращаясь ко всем в комнате, - а я бы в жизнь не узнал этого джентльмена, кабы встретил его где-нибудь не у него в доме, - до чего же он изменился!

- Вы тоже изменились, Тимоти, и притом к лучшему, - ответил Ибрайт, окидывая взглядом плотную фигуру Фейруэя.

- А я? А я, мистер Ибрайт? Я тоже изменился к лучшему? Посмотрите и на меня! - воскликнул дедушка Кентл, выходя из ниши и остановившись в полуфуте от глаз Клайма для большего удобства обозрения.

- Посмотрим, посмотрим, - сказал Фейруэй и, взяв свечу, стал водить ею перед лицом дедушки Кентла, а тот, сияя улыбкой и отблесками свечи, молодецкато выпячивал грудь и поводил плечами.

- Вы очень мало изменились, - сказал Ибрайт.

- Помолодел немножко, вот и вся его перемена, - авторитетно заключил Фейруэй.

- Ну это не моя заслуга, гордиться нечем, - ухмыльнулся обрадованный старец. - А пофрантить люблю, это верно, в этом винюсь. Отроду был таков, все знают. Но с вами, мистер Клайм, мне, понятное дело, не равняться!

- Да и никому из нас, - баском, словно про себя, промолвил Хемфри.

- Нет, правда, другого такого молодца у нас и не видано, - сказал дедушка Кснтл. - Вот разве только я, когда в солдатах служил - уэссекскими красавцами нас тогда прозвали за то, что уж очень были щеголеваты... Да и то рядом с пил, не-ет, не поставишь! Но в восемьсот четвертом году многие говорили, что во всем Южном Уэссексе не сыскать такого бравого солдата, как я, - заметили, значит, как я мчался со всем отрядом по ихней главной улице мимо магазинных витрин в тот день, когда мы удирали из Бедмута, потому что прошел слух, будто Бонапартишка высадился за мысом... Эх, и картинка я был тогда - стройный как тополь, с кремневым ружьем, в гетрах, ташка у бедра, воротник под самые уши, а все снаряжение - ремни, портупея, ранец - так-то начищено, блестит, как семь звезд Большой Медведицы!.. Да, соседи, посмотрели бы вы на меня в восемьсот четвертом!

- Статью мистер Клайм в материнский род удался, - сказал Тимоти. - Я хорошо знал ее братьев. Таких длинных гробов ни для кого во всем Уэссексе не делали, да и то, говорят, покойному Джорджу коленки малость согнуть пришлось.

- Гробы? Где? - спросил Христиан, подходя ближе. - Опять кто-нибудь привиденье видел, мистер Фейруэй?

- Нет, нет. Что тебе все мерещится, Христиан? Будь мужчиной, укоризненно сказал Тимоти.

- Да я что, я ничего, - сказал Христиан. - Я только вспомнил, прошлой ночью смотрю, а моя тень вроде на

гроб похожа... Это какая примета, соседи, когда твоя тень на гроб похожа? Очень плохая? Или ничего? Можно и не бояться?

- Еще чего - бояться? - презрительно сказал дедушка Кентл. - Я вот, окромя Бонапарта, никогда и никого не боялся, а то какой бы я был солдат? Да, очень жалко, что вы не видали меня в восемьсот четвертом!

К этому времени комедианты собрались уже уходить, но миссис Ибрайт пригласила их присесть и поужинать. От имени всех Рождественский Дед с благодарностью принял приглашение.

Юстасия была рада возможности побыть еще немного в доме. Холод морозной ночи, поджидавший их снаружи, сейчас казался ей вдвойне ледяным. Но и пребывание в доме имело свои неудобства. Так как в большой комнате не хватало места, скамью для актеров поставили наискось в растворенных дверях буфетной, там они уселись рядом, оставаясь, таким образом, в пределах залы. Миссис Ибрайт что-то сказала сыну, и он направился к ним через всю комнату, попутно задев головой свисавший с потолка пучок омелы; он принес им угощение - жаркое и хлеб, пирог, сладкое печенье, мед и буквичное вино. Комедианты сняли шлемы и принялись есть и нить.

- Но хоть кусочек-то вы скушаете? - сказал Клайм Турецкому рыцарю, стоя перед этим воином с подносом в руках. Юстасия еще раньше отказалась и сидела по-прежнему в шлеме, только глаза ее блестели сквозь закрывавшие лицо ленты.

- Спасибо, нет, - отвечала она.

- Он у нас совсем еще молоденький, - добродушно пояснил Сарацин, - вы уж его извините. Он не из наших прежних, сегодня играл потому, что другой не мог прийти.

- Но что-нибудь скушать он может? - настаивал Клайм. - Хоть стаканчик меду выпейте или вина.

- И правда, выпей-ка, - сказал Сарацин. - Теплей будет домой идти.

Юстасия не могла есть, не открыв лица, но пить можно было и в шлеме. Стакан был принят из рук Клайма и исчез под лентами.

Во время этого короткого разговора Юстасия дрожала от страха, как бы не раскрылся весь ее хитроумный маскарад, но одновременно испытывала какую-то боязливую радость. Внимание, оказанное ей - но вместе с тем и не ей, а какому-то воображаемому лицу, - тем единственным мужчиной, которого она готова была боготворить, до крайности усложнило ее чувства. Она уже любила его, отчасти потому, что он был непохож на других, отчасти потому, что заранее решила в него влюбиться, а больше всего потому, что ей так нужно было любить кого-нибудь после ее разочарования в Уайлдиве. С ней произошло то же, что было со вторым лордом Литтлтоном, да, говорят, и с некоторыми другими: увидев во сне, что умрут в определенный день, они так поддались расстроенному воображению, что и в самом деле умерли в этот день. Стоит девушке допустить мысль, что ей суждено влюбиться в кого-то, встреченного в такой-то час и в таком-то месте, и можно считать, что это уже совершилось.

Может быть, в эту минуту что-то открыло Ибрайту пол этого существа, закованного в футляр маскарадного наряда? Может быть, он ощутил, как велика ее сила чувствовать и пробуждать чувство в других и насколько ее внутренний мир обширнее, чем у ее товарищей по труппе? Когда переодетая Царица любви предстала перед Энеем, небесное благоухание сопровождало ее и открыло Энею ее природу. Если волнение земной женщины способно породить подобную же таинственную эманацию, Ибрайт сейчас должен был ее почувствовать. Он окинул Юстасию

долгим пытливым взглядом, а затем погрузился в задумчивость, словно уже отвлекшись от того, что только что видел. Но это длилось одно мгновение, он отошел, а Юстасия стала прихлебывать вино, едва ли сознавая, какой напиток она пьет. Человек, которому она предрешила отдать свое сердце, прошел в угол буфетной.

Как сказано, актеры сидели на скамье, которая одним концом выходила в большую комнату, а другим - в маленькую, служившую буфетной. Юстасия, частью из робости, села на самом кончике, так что могла видеть и полную гостей залцу и полутемную внутренность буфетной. Когда Клайм прошел в глубь буфетной, ее взгляд последовал за ним в царивший там полумрак. Там была дверь, и только Клайм потянулся к щеколде, как вдруг кто-то растворил дверь с наружной стороны, и свет пролился в комнату.

Это была Томазин со свечой в руке, озабоченная, бледная и хорошенькая. Ибрайт, казалось, был рад ее видеть и ласково сжал ее руку.

- Вот и хорошо, Тамзи, - сказал он с живостью, как будто очнувшись и вновь становясь самим собой. - Ты все-таки решила сойти. Я очень рад.

- Тсс! Нет, нет, - быстро сказала она. - Я только хотела поговорить с тобой.

- Но почему же не побыть с нами?

- Не могу. То есть мне не хочется. Я не совсем здорова. Да мы ведь еще долго будем вместе, раз ты останешься на все праздники.

- Без тебя не так весело. Тебе правда неможется?

- Немножко, милый мой брат, вот здесь, - ответила она, шутливо приложив руку к сердцу.

- А! Наверно, маме следовало пригласить еще кого-то, о ком она забыла?

- Вот уж нет! Просто я сошла, чтобы спросить тебя... Тут он следом за нею переступил порог, дверь

отворилась, и больше ни Юстасия, ни сидевший рядом с ней комедиант, единственные свидетели этой сцены, ничего не видели и не слышали.

Юстасию обдало жаром. Она тотчас догадалась, что Клайму, пробывшему дома всего два-три дня, не успели еще рассказать про Томазин и Уайлдива, ион, видя, что она живет дома, как и прежде, естественно, ничего не подозревал. Юстасия мгновенно и яростно возревновала его к Томазин. Может быть, сейчас Томазия еще и питает нежные чувства к другому, но долго ли это продлится, если она будет сидеть тут взаперти с этим двоюродным братом, таким интересным и столько повидавшим? Кто знает, какое чувство очень скоро возникнет между ними при постоянном общении и отсутствии отвлекающих предметов? Ребяческая любовь Клайма к ней, надо думать, уже остыла, но легко может разгореться вновь.

Юстасия оказалась в плену у собственных хитростей. Какая обида - быть так одетой, когда другая сияет во всей красе! Знай она, какое значение будет иметь для нее эта встреча, она бы горы своротила, лишь бы появиться здесь в естественном своем виде. Прелесть ее лица скрыта, обаяние ее чувства бессильно, чары ее кокетства лишены власти - ничего не оставлено ей, только голос, - жалкая участь нимфы Эхо! "Никто здесь меня не уважает", - думала она, забывая, что, приняв на себя мужское обличье, она должна была ожидать, что и обходиться с ней будут, как с мужчиной. Так обостренны были ее чувства в этот момент, что невниманье к ней, естественное и созданное ею самой, она воспринимала как горькую обиду.

Женщины многого добивались в актерском платье. Не говоря уже о таких, как прекрасная собой исполнительница роли Полли Пичем в начале прошлого столетия и другая, столь же взысканная судьбой,

исполнительница роли Лидии Лэнгвиш в начале нынешнего века, которой досталась не только любовь, но еще и герцогские короны в придачу, - не говоря уже об этих счастливицах, великое множество их более скромных сестер по профессии умело завоевать любовь почти всюду, где им хотелось. Но Турецкому рыцарю всякую попытку достичь того же возбраняли эти болтающиеся ленты, которые она не могла откинуть со своего лица.

Ибрайт вернулся в комнату уже без своей кузины. В двух-трех шагах от Юстасии он вдруг остановился, словно пораженный какой-то мыслью. Он пристально разглядывал злополучного Турецкого рыцаря. Юстасия в замешательстве отвела глаза; сколько еще будет продолжаться это мученье! Помедлив несколько секунд, Ибрайт прошел дальше.

Иные чрезмерно пылкие натуры бывают склонны, потерпев поражение в любви, сразу ронять оружие из рук. Противоречивые чувства - любовь, страх, стыд - повергли Юстасию в полное расстройство. Только одного она сейчас хотела - бежать. Остальные комедианты, по-видимому, не торопились уходить; шепнув сидевшему с ней рядом пареньку, что она подождет их возле дома, она насколько можно незаметнее отошла к двери, растворила ее и выскользнула наружу.

Тишина и пустынность ночи успокоили ее. Она прошла вперед, к палисаду, и облокотилась на него, глядя на лупу. Она недолго простояла так; дверь из дома снова отворилась. Думая, что это остальные комедианты, Юстасия обернулась; но нет, это Клайм Ибрайт вышел так же украдкой, как и она, и тихонько затворил за собой дверь.

Он приблизился и стал рядом с ней.

- Меня преследует одна странная мысль, - проговорил он, - и я хотел бы задать вам вопрос.

Скажите, ведь вы женщина? Или я ошибаюсь?

- Да, я женщина.

Взгляд его с любопытством остановился на ней.

- И что же - девушки теперь часто выступают в этих святочных представлениях? Раньше они этого не делали.

- И теперь не делают. - А вы почему же сделали?

- Ради сильных ощущений и чтобы стряхнуть гнет. - Что вас угнетало?

- Жизнь.

- Ну на это многие могли бы пожаловаться, но приходится терпеть.

- Да.

Долгое молчание.

- И были у вас сильные ощущения? - спросил наконец Клайм.

- Вот сейчас, пожалуй.

- Вы встревожены тем, что вас узнали?

- Да. Хотя и предвидела такую возможность.

- Я бы с радостью пригласил вас на нашу вечеринку, если бы знал, что вы хотите прийти. Я не был раньше с вами знаком - еще когда жил здесь?

- Никогда.

- Давайте вернемся в дом, и гостите у нас, сколько вам захочется.

- Нет. Я боюсь, как бы меня еще и другие не узнали.

- Ну, я вас, во всяком случае, не выдам. - Он помолчал, потом прибавил мягко: - Не буду вам навязываться. Оригинальная у нас вышла встреча, и я не стану спрашивать, почему образованной девушке вздумалось играть такую роль.

Она не стала объяснять, на что он, казалось, надеялся, и, пожелав ей доброй ночи, он обошел кругом дома и там, на задах, расхаживал еще некоторое время, прежде чем вернуться в комнаты.

Юстасия, согретая теперь внутренним огнем, не в силах была дожидаться своих товарищей. Она откинула ленты с лица, растворила калитку и пошла напрямик через пустошь. Она не спешила. Дедушка ее в этот час всегда уже был в постели, ибо она так часто прогуливалась по холмам в лунные ночи, что он давно перестал примечать, когда она приходит и уходит, и, развлекаясь на свой лад, не мешал ей делать то же. А ее сейчас занимал вопрос куда более важный, чем своевременное возвращение домой. Если у Ибрайта есть хоть капля любопытства, он, конечно, узнает, кто она. Ну а что дальше? Сперва Юстасия ликовала, счастливая таким окончанием своей рискованной затеи, хотя, вспоминая все, минутами смущалась и краснела. Но затем эта мысль: "Что дальше?" - стала возвращаться все чаще, замораживая ее радость. В самом деле, какая польза от ее подвига? Семье Ибрайтов она по-прежнему чужая. Романтический ореол, которым она столь неразумно окружила этого человека, может обернуться для нее бедой. Как это она позволила себе так влюбиться в совершенно незнакомого человека? А тут еще Томазин - последняя капля горечи, переполнившая чашу. - Томазин, которая день за днем будет постоянно с ним, в такой воспламеняющей близости... Ибо теперь Юстасия узнала, что, вопреки ее первым предположениям, Клайм не собирается скоро уезжать.

Она уже подошла к калитке на Мистоверском холме, но прежде чем ее отворить, еще раз повернулась лицом к пустоши. Дождевой курган высился над холмами, а над Дождевым курганом высоко в небе стояла луна. Морозный воздух был нем и недвижим. Эта картина напомнила Юстасии о том, что она начисто забыла: именно в этот вечер в восемь часов она должна была встретиться с Уайлдивом возле Дождевого кургана и

дать ему окончательный ответ на его предложение бежать с ним.

Она сама назначила этот вечер и этот час. Он, наверно, пришел, ждал там на холоде и очень огорчился.

- Ну и ладно; это ему не повредит, - безмятежно сказала она. Уайлдив теперь был лишен лучей, как солнце, если смотреть сквозь закопченное стекло, и она с легкостью могла так говорить о нем.

Она все стояла в глубокой задумчивости, и нежная улыбка и голос Томазин, когда она говорила со своим двоюродным братом, вновь всплыли в ее памяти.

- Ах, если б она была уже замужем за Дэймоном! - проговорила Юстасия. И была бы, не вмешайся я! А! Если б я только знала - если б я только знала!..

Юстасия еще раз подняла свои глубокие сумрачные глаза к лунному свету и, вздохнув своим особенным трагическим вздохом, столь похожим на содрогание, вошла под тень крыши. В сарае она сбросила театральные наряды, аккуратно его свернула, тихо растворила дверь в дом и поднялась к себе в спальню.

ГЛАВА VII

СОЮЗ МЕЖДУ КРАСАВИЦЕЙ И ПУГАЛОМ

Старый капитан по большей части не проявлял никакого интереса к экскурсиям своей внучки, и она была вольна как птица ходить, куда и когда ей угодно. Но на этот раз ему вздумалось почему-то спросить за завтраком, где это она вчера пропадала так поздно.

- Всего лишь в поисках приключений, дедушка, - отвечала Юстасия, глядя в окно, с той дремотной ленью в голосе и манерах, за которой обнаруживалось столько силы, когда наступал решительный момент.

- В поисках приключений!.. Можно подумать, ты один из тех повес, с которыми я в двадцать лет водил компанию.

- Тут так одиноко.

- И очень хорошо. А то, живи я в городе, у меня бы все время уходило на то, чтоб за тобой присматривать. Но вчера-то уж, во всяком случае, пора было быть дома, когда я вернулся PIS "Молчаливой женщины".

- Не стану скрывать, что я делала. Мне хотелось чего-то нового, и я пошла с комедиантами. Я играла у них Турецкого рыцаря.

- Нет, правда? Ха-ха!.. Ну и ну! Не ожидал от тебя, Юстасия.

- Это было мое первое выступление на сцене и, уж конечно, будет последним. Ну вот я вам сказала, но помните - это секрет!

- Ну, ясно. Нет, в самом деле, так-таки взяла и... Ха-ха-ха! Ах, черт, как бы это мне понравилось лет сорок тому назад! Но больше чтоб этого не было, сударыня. Хочешь день и ночь гулять по пустоши - пожалуйста, мне, по крайней мере, меньше надоедать будешь, но в брюках больше не изволь щеголять. Слышишь?

- Не беспокойтесь обо мне, дедушка.

На том их разговор прекратился, ибо меры воздействия, применяемые к Юстасии, никогда не превышали по строгости описанный диалог, и если они хоть сколько-нибудь утверждали ее на стезе добродетели, то можно считать, что нравственное воспитание внучки обходилось капитану не дорого. Но мысли Юстасии вскоре отвлеклись от ее собственной особы, и полная страстной и неизъяснимой заботы о человеке, для которого сама она не была даже именем, она устремилась в просторы рыжекоричневых осенних холмов, не находя покоя, как Агасфер. Она была в полумиле от дома, как вдруг увидела впереди в лощинке какую-то мрачноватую красноту - тусклую и зловещую, как горящий на солнце огонь, - и справедливо заключила, что это указывает на присутствие Диггори Венна.

За последний месяц, когда фермеры, желавшие пополнить свои запасы охры, спрашивали, где можно найти Венна, им отвечали: "На Эгдонский пустоши". День за днем этот ответ оставался неизменным. Но так как Эгдон был населен торфорезами и сборщиками вереска, а не овцами и пастухами, - склоны, по которым кочевали эти последние, все лежали к северу или к западу от Эгдона, - то было не совсем попятно, чего ради он расположился здесь станом, как Израиль в пустыне Син. Место было центральное и в некоторых отношениях удобное, по, уж конечно, не продажа охры была на уме у Диггори, осевшего здесь так надолго, да еще в такое позднее время года, когда его товарищи по ремеслу все уже перебираются на зимние квартиры.

Юстасия в задумчивости смотрела на приближавшуюся к ней одинокую фигуру. Уайлдив сказал ей при последнем их свидании, что миссис Ибрайт упоминала о Венне как об еще одном соискателе руки Томазин, готовом с радостью занять место Уайлдива в качестве ее жениха. Что ж, отчего бы и нет - у него прекрасная фигура, лицо молодое и даже красивое по складу, взгляд живой, судя по всему он очень неглуп и положение свое легко может изменить к лучшему, стоит ему захотеть. Но при всех его достоинствах сомнительно, чтобы Томазин согласилась принять этого изгоя, когда рядом у нее такой двоюродный брат, как Клайм Ибрайт, да и Уайлдив не совсем еще к ней равнодушен. Юстасии нетрудно было догадаться, что бедная миссис Ибрайт выдвинула этого нового претендента лишь для того, чтобы оживить пыл другого. Но теперь она была на стороне Ибрайтов, и желания тетки Томазин совпадали с ее собственными.

- Доброе утро, мисс, - сказал охряник, снимая свою заячью шапку; он, видимо, не помнил на нее зла за все, что произошло в последнюю их встречу.

- Доброе утро, охряник, - ответила она, едва достаивая поднять к нему свои затененные густыми ресницами глаза. - Я не знала, что вы так близко. И фургон ваш тоже тут?

Охряник показал локтем на небольшую лощину, в которой красноствольные кусты ежевики так разрослись вверх и вширь, что заполняли ее всю, словно лесная чаща. Ежевика, хотя и немилосердная, когда к ней прикасаешься, бывает добрым другом для тех, кому ранней зимой нужен кров, так как из всех кустов и деревьев она последней сбрасывает листву. Среди путаных клубков и кружевных узоров ежевичных ветвей проглядывала крыша и труба фургона.

- Все еще остаетесь в этих местах? - уже с большим интересом спросила она.

- Да, у меня здесь дело.

- Но вряд ли связанное с продажей охры?

- Никакого отношения к этому не имеет.

- Оно имеет отношение к мисс Ибрайт?

Ее лицо как будто предлагало ему вооруженный мир, и он ответил, не скрываясь:

- Да, это из-за нее.

- Ну да, вы ведь скоро на ней женитесь?

Венн покраснел так, что и под налетом охры это было заметно.

- Не смейтесь надо мной, мисс Вэй, - сказал он.

- Значит, это неправда?

- Конечно, неправда.

Теперь Юстасия окончательно убедилась, что для миссис Ибрайт охряник был всего лишь средством на крайний случай, а сам он, по-видимому, даже не подозревал об отведенной ему жалкой роли.

- А мне почему-то так казалось, - проговорила она равнодушно и хотела уже идти, как вдруг, поглядев направо, она увидела слишком хорошо знакомую мужскую фигуру, пробиравшуюся по извивам тропы,

которая должна была вывести его на пригорок, где стояла Юстасия. Сейчас, на повороте тропинки, он был к ним спиной. Она быстро оглянулась: был только один способ ускользнуть от встречи с ним. Повернувшись к Венну, она сказала:

- Вы не разрешите мне отдохнуть несколько минут в вашем фургоне? На обочине сейчас сыро сидеть.

- Сделайте одолжение, мисс. Сейчас освобожу вам местечко.

Следом за ним она обогнула ежевичную заросль, за которой притаился его дом на колесах; Венн поднялся по лесенке и поставил у самой двери свою трехногую табуретку.

- Лучшего ничего не могу вам предложить, - сказал он, спускаясь из фургона, и, выйдя из зарослей, снова задымил трубкой, расхаживая взад-вперед по тропе.

Юстасия одним прыжком очутилась в фургоне и присела на табуретку; теперь ее нельзя было увидеть с дороги. Скоро она услышала шорох еще других шагов, кроме шагов охряника, потом не слишком дружелюбное: "Добрый день", произнесенное обоими мужчинами, когда они разминулись на тропе, потом затихающий шелест шагов одного из них. Она выглянула сколько могла дальше из двери и увидела удаляющуюся спину и плечи - и неизвестно почему душу ей вдруг резнуло горем. Это было то болезненное чувство, которым разлюбившее сердце, если в нем есть хоть капля великодушия, всегда отзывается на неожиданную встречу с некогда любимым и потом отвергнутым.

Когда Юстасия вышла из зарослей с намерением продолжать путь, охряник подошел к ней.

- Это мистер Уайлдив сейчас тут проходил, мисс, - сказал он медленно, явно ожидая, что она будет раздосадована тем, что как раз в это время была скрыта от людских глаз.

- Да, я видела, как он поднимался по холму, - ответила Юстасия. - А почему вы мне это говорите?

Это был смелый вопрос, если вспомнить, что охряник знал о ее прежних чувствах к Уайлдиву, но Юстасия не привыкла, чтобы ее судили; ее отчужденная манера держаться обычно замыкала уста тех, кого она не считала себе равными.

- Я рад, что вы можете спрашивать об этом, - без обиняков ответил охряник. - И, кстати сказать, оно сходится с тем, что я видел вчера вечером.

- А... что вы видели? - Ей хотелось уйти, но хотелось и узнать.

- Мистер Уайлдив вчера долго ждал одну молодую девицу, а она так и не пришла.

- Вы, по-видимому, тоже долго ждали?

- Да, я всегда там жду. Я был рад, что у него не вышло. Сегодня он опять туда придет.

- И опять ничего не выйдет. Сказать вам правду, эта молодая девица не только не хочет мешать свадьбе Томазин и мистера Уайлдива, но даже готова всячески ей содействовать.

Это признание до крайности удивило Венна, но он ничем этого не показал. Мы легко проявляем удивление, когда услышанное всего на шаг отстоит от ожидаемого, но невольно настораживаемся, когда оно знаменует какой-то совсем новый поворот пути.

- Вот как, мисс, - сказал он.

- Откуда вы знаете, что мистер Уайлдив сегодня опять придет к Дождевому кургану?

- Я слышал, как он буркнул это себе под нос. Он был очень сердит.

На мгновение обычная сдержанность изменила Юстасии; она подняла к Венну свои глубокие темные глаза и взволнованно проговорила:

- Сама не знаю, что мне делать. Не хочется быть с ним грубой, но я не хочу больше его видеть. А у меня

есть несколько вещиц, которые надо ему вернуть.

- Когда б вы согласились послать их ему со мной, ну и записочку, что, мол, между вами все кончено и не надо больше никаких объяснений, так я передам и никто не узнает. Тут уж надо прямо говорить, почестному.

- Хорошо, - сказала Юстасия. - Подойдем поближе к моему дому, и я вам их вынесу.

Она пошла вперед, и так как тропка была ниточно-тонким пробором в косматых кудрях вереска, охряник шел за ней сзади след в след. Она издали увидела, что капитан стоит на насыпи, оглядывая горизонт в подозрную трубу, и, велев Венну подождать, одна зашла в дом.

Через десять минут она вернулась с пакетиком и запиской: передав их ему, она спросила:

- Почему вы так охотно беретесь за мое поручение?

- Неужели нужно об этом спрашивать?

- Вы, вероятно, думаете, что этим как-то помогаете Томазин. Вы по-прежнему стремитесь устроить ее свадьбу с Уайлдивом?

Венн выказал некоторые признаки волнения.

- Я бы лучше сам на ней женился, - глухо проговорил он. - Но раз она не может быть счастлива без него, что ж, я выполню свой долг, как прилично мужчине, - помогу ей добыть то, что ей нужно для счастья.

Юстасия с любопытством посмотрела на этого чудака, высказывавшего столь необычные мысли. Какая странная любовь, совершенно свободная от себялюбия, которое часто составляет основной элемент страсти, а иногда и все, что в ней есть от любви! Бескорыстие охряника до такой степени заслуживало уважения, что уже его не вызывало, ибо становилось непонятным; и Юстасия решила, что подобные чувства просто нелепы.

- Вот когда мы наконец оба хотим одного, - сказала она.

- Да, - мрачно отвечал Венн. - Но кабы вы, мисс, сказали мне, почему вы вдруг ее пожалели, у меня бы полегчало на сердце. А то больно уж это неожиданно и на прежнее не похоже.

Юстасия как будто несколько смутилась.

- Этого я не могу вам сказать, - холодно проговорила она. Венн больше ни о чем ее не спрашивал. Он положил письмо в карман и, поклонившись, ушел.

В тот же вечер, когда Дождевой курган снова слился с ночью, Уайлдив поднимался по длинному откосу, ведущему к его подножью. Когда он был уже у самого кургана, позади него словно из-под земли выросла темная фигура. Это был посланец Юстасии. Он хлопнул Уайлдива по плечу. Нервически настроенный молодой трактирщик и бывший инженер подскочил, как сатана от прикосновения копья Итуриэля.

- Свиданье всегда бывает в восемь часов на этом месте, - сказал Венн. И вот мы здесь - все трое.

- Трое?.. - переспросил Уайлдив и быстро огляделся.

- Да. Вы, я и она. Вот она. - Он поднял вверх и показал Уайлдиву письмо и пакет.

Уайлдив взял их, недоумевая.

- Не совсем понимаю, что все это значит, - сказал он.

- Откуда вы тут взялись? Это, наверно, какое-то недоразумение.

- Прочитайте и поймете. Вот вам фонарик. - Охряник высек огонь, зажег отрезок сальной свечи длиной в дюйм и заслонил ее от ветра своей шапкой.

- Кто вы такой? - сказал Уайлдив; при свете огарка он разглядел в своем собеседнике какую-то смутную красноту. - А, вы охряник, и это вас я сегодня видел на холме... вы тот самый человек, который...

- Прочитайте, пожалуйста, письмо.

- Кабы вы не от этой пришли, а от другой, так было бы понятнее, проворчал Уайлдив, вскрывая письмо и начиная читать. Лицо его стало серьезным.

"Мистеру Уайлдиву.

После некоторого размышления я решила раз и навсегда, что нам больше незачем видеться. Чем дольше я об этом думаю, тем тверже убеждаюсь в том, что нашему знакомству надо положить конец. Если бы все эти два года вы были мне верны, у вас было бы сейчас право считать меня бессердечной. Но рассудите спокойно, сколько я перенесла, когда вы меня покинули, как я покорно, без всяких попыток вмешательства, терпела, когда вы стали ухаживать за другой, - я думаю, вы согласитесь, что теперь, когда вы вернулись ко мне, я имею право поступить так, как мне подсказывает чувство. А по отношению к вам оно изменилось, и, может быть, это дурно с моей стороны, но едва ли вам пристало корить меня за это, если вспомнить, как вы бросили меня ради Томазин.

Все вещички, которые вы подарили мне в ранние дни нашей дружбы, вам вернет податель сего письма. Их, собственно, следовало вернуть вам, еще когда я только услышала о вашей помолвке с Томазин.

Юстасия".

К тому времени, когда Уайлдив добрался до подписи, недоумение, с которым он начал читать письмо, перешло в горькую обиду.

- В дураках меня оставили и так и этак, - раздраженно сказал он. - Вам известно, что тут написано?

Охряник принялся напевать себе под нос какой-то мотивчик.

- Что вы, ответить не можете? - с сердцем спросил Уайлдив.

- Там-там-трам-тарам, - пропел охряник.

Уайлдив стоял молча, глядя в землю у ног Венна, и далеко не сразу поднял глаза к его освещенной огарком голове и лицу.

- Ха! Что ж, пожалуй, я это заслужил, - проговорил он наконец, обращаясь не столько к Венну, сколько к самому себе. Играл с обеими, вот и доигрался. Но самое удивительное - это то, что вы согласились действовать против собственного интереса, - взялись вот передать это мне.

- Против моего интереса?

- Конечно. Ведь не в ваших же интересах подталкивать меня, чтобы я опять стал ухаживать за Томазин, когда она уже приняла ваше предложение или как там это у вас было. Миссис Ибрайт сказала мне, что вы на ней женитесь. Разве это неправда?

- Боже мой! Я уже слышал об этом, да не поверил. Когда она вам говорила?

Уайлдив принялся напевать себе под нос, как только что делал Венн.

- Я и сейчас не верю! - вскричал Венн. - Рам-там-тарарам, - пропел Уайлдив.

- О, господи! Как он умеет подражать! - с презрением сказал Венн. - Ну, я это все выясню. Прямо к ней пойду.

Диггори удалился решительными шагами, провожаемый взглядом Уайлдива, полным самой ядовитой насмешки, как будто охряник был не больше чем возмечтавший о себе нищий поденщик. Когда он исчез из виду, Уайлдив тоже сошел по откосу и погрузился в налитую тьмой долину.

Потерять обеих женщин, когда он, казалось, безраздельно владел сердцем каждой, - эта мысль была для него невыносима. Взять реванш он мог только с помощью Томазин; и когда он станет ее мужем, тут-то, думал он, придет для Юстасии долгое и горькое раскаяние. Не удивительно, что Уайлдив, не осведомленный о появлении на заднем плане нового действующего лица, полагал, что Юстасия разыгрывает роль. Для того чтобы увидеть в этом письме нечто

большее, чем следствие какой-то мимолетной вспышки, поверить, что она в самом деле уступает сопернице своего возлюбленного, для этого надо было заранее знать о совершившемся в ней перевороте. Как было догадаться, что алчность новой страсти сделала ее великодушной, что, помогаясь брата, она готова была одарить сестру, что, жаждая присвоить, она соглашалась отдать?

Полный решимости немедля жениться и тем растерзать сердце гордой девушки, Уайлдив шел своим путем.

Тем временем Диггори Венн вернулся к фургону и стоял, задумчиво глядя в печурку. Новые возможности открывались перед ним. Но как бы благоприятно ни взирала миссис Ибрайт на него как на возможного жениха своей племянницы, одно условие было необходимо, чтобы угодить самой Томазин, а именно: отказаться от своего нынешнего бродячего образа жизни. В этом Диггори не видел никакой трудности.

Он не в силах был ждать утра, чтобы повидаться с Томазин и уточнить свои планы, и тотчас приступил к свершению своего туалета. Из закрытого ящика он достал новый костюм, и, когда через двадцать минут стоял перед фонарем, он уже ничем не напоминал охрянника, кроме только цвета лица, яркую красноту которого нельзя было отмыть за один день. Закрыв дверь и навесив на нее замок, Диггори направился через пустошь к БлумсЭнду.

Он уже достиг белого палисада и положил руку на калитку, как вдруг дверь дома быстро растворилась и столь же быстро захлопнулась. Женский силуэт проскользнул в дом. В то же время мужчина, очевидно стоявший с нею на галерейке, пошел прочь от дома и через минуту оказался лицом к лицу с Венном. Это опять был Уайлдив.

- Однако! Вы времени не теряли, - саркастически заметил Диггори.

- А вы кое-что проморгали, как сейчас убедитесь, - отвечал Уайлдив. - Я просил ее быть моей и получил согласие. Спокойной ночи, охряник! - И с тем Уанлдив зашагал дальше.

Сердце у Венна упало, и все надежды сникли, хотя и раньше они не воспаряли особенно высоко. С четверть часа он простоял в нерешимости, опираясь на палисад. Потом прошел по дорожке к дому, постучал и спросил миссис Ибрайт.

Вместо того чтобы предложить ему войти, она сама вышла на галерейку. Минут десяти больше между ними шел вполголоса разговор, сдержанный и неторопливый. Затем миссис Ибрайт вернулась в дом, а Венн меланхолично побрел обратно по пустоши. Добравшись до своего фургона, он зажег фонарь и с неподвижным лицом тотчас же принялся стаскивать с себя парадную одежду, пока через несколько минут не возник вновь как закоснелый и неисправимый охряник, - каким он всегда был раньше.

ГЛАВА VIII

В НЕЖНОМ СЕРДЦЕ ОБРЕТАЕТСЯ ТВЕРДОСТЬ

В этот вечер в комнатах Блумс-Энда, хотя комфортабельных и уютных, было как-то слишком уж тихо. Клайма Ибрайта не было дома. После рождественской вечеринки он уехал на несколько дней погостить у своего приятеля, жившего в десяти милях от Эгдона.

Смутная тень, которая, как видел Диггори Венн, рассталась с Уайлдивом в галерейке и быстро проскользнула в дом, была, конечно, не кто иная, как Томазин. В комнате она сбросила плащ, в который кое-как закуталась, когда выходила, и подошла к свету - туда, где миссис Ибрайт сидела за своим рабочим

столиком, придвинутым с внутренней стороны к ларю, так что он частью вдавался в каминную нишу.

- Мне не нравится, Тамзин, что ты ходишь в темноте одна, - сдержанно наметила ее тетка, ни поднимая глаз от работы.

- Я только за дверью постояла.

- Да-а? - протянула миссис Ибрайт, удивленная переменой в голосе Томазин, и внимательно на нее посмотрела. На щеках Томазин играл румянец более яркий, чем даже до ее злоключений, глаза блестели.

- Это он стучал, - сказала она...

- Я так и думала.

- Он хочет, чтобы мы немедленно поженились.

- Вот как! Торопится? - Миссис Ибрайт обратила на племянницу испытующий взор. - Почему мистер Уайлдив не зашел?

- Не захотел. Он говорит, вы ему не друг. Он хочет, чтобы венчаться послезавтра, очень скромно и в его приходской церкви, а не в нашей.

- А! А ты что на это сказала?

- Я согласилась, - с твердостью ответила Томазин. - Я теперь практическая женщина. В чувства больше не верю. А за него я бы все равно вышла, какие бы условия он ни поставил... после этого письма от Клайма.

На рабочей корзинке миссис Ибрайт лежало письмо; при последних словах Томазин она снова развернула его и перечитала, наверно, не меньше чем в десятый раз за этот день:

"Что это за нелепая история, которую тут рассказывают про Томазин и мистера Уайлдива? Я счел бы эту сплетню крайне оскорбительной для нас, если бы хоть на волос в нее поверил. Как могла родиться такая нездоровая выдумка? Недаром говорят, что надо уехать в чужие края, чтобы узнать, что дома делается; со мной, по-видимому, именно так и вышло. Я, конечно, всюду говорю, что это неправда, но очень неприятно

выслушивать подобные кривотолки, и хотелось бы знать, что все-таки послужило для них поводом. Не могу себе представить, чтобы такая девушка, как Томазин, могла попасть в столь унижительное для себя и для нас положение - быть отвергнутой женихом в самый день свадьбы! Что она сделала?"

- Да, - с грустью сказала миссис Ибрайт, откладывая письмо. - Если у тебя не отпала охота выходить за него замуж, что ж, выходи. И если мистер Уайлдив хочет, чтобы все было как можно проще, пусть так и будет. Я тут уж ничего не могу. Теперь все в твоих руках. Моя опека над тобой кончилась, когда ты покинула этот дом, чтобы ехать с ним в Энглбери. - Она продолжала почти с горечью: - Мне даже хочется спросить: почему ты вообще советуешься со мной? Если бы ты вышла за него, ни слова мне не сказав, я бы и то не могла на тебя сердиться - просто потому, бедняжка, что лучшего тебе нечего сделать.

- Не говорите так, не лишайте меня мужества. - Ты права. Не буду.

- Я не защищаю его, тетя. Я не настолько слепа, чтобы считать его совершенством. Раньше когда-то считала, а теперь уж нет. Но я знаю, что мне делать, и вы знаете, что я это знаю. И надеюсь на лучшее.

- И я тоже, и будем так и дальше, - сказала миссис Ибрайт, вставая и целуя ее. - Значит, венчанье, если оно состоится, будет утром того дня, когда Клайм вернется домой?

- Да. Я решила, что надо все закончить до его приезда. Тогда вы сможете смело смотреть ему в лицо и я тоже. Уже не важно будет, что мы раньше что-то от него скрывали.

Миссис Ибрайт задумчиво кивнула, потом сказала:

- Хочешь, чтобы я была твоей посаженной матерью? Я готова сопровождать тебя в церковь, я бы и в прошлый раз поехала, если б ты захотела. Я считаю, раз я тогда

публично запретила ваш брак, так теперь хоть это должна для тебя сделать.

- Да нет, пожалуй, не надо, - смущенно, но твердо сказала Томазин. - Я уверена, вам обоим будет неприятно. Пусть уж будут одни чужие, а моих родных никого не надо. Так лучше. Я но хочу делать ничего такого, что может сколько-нибудь задеть вашу гордость, а если вы придете после всего, что было, я буду все время тревожиться. Я ведь, в конце концов, только ваша племянница, не обязательно вам еще и дальше печься обо мне.

- Да, он-таки взял над нами верх, - сказала ее тетка. - Мне, право, кажется, что он и играл-то с тобой больше всего мне в отместку за то, что я вначале была против него.

- Нет, нет, тетя, - тихо отозвалась Томазин.

Больше они об этом не говорили. Вскоре затем постучал Диггори Венн, и миссис Ибрайт, вернувшись после разговора с ним на галерейке, небрежно заметила:

- Еще один приходил к тебе свататься.

- Что-о?

- Да, этот чудаковатый молодой человек, Венн.

- Что - он просил у вас разрешенья объясниться со мной?

- Да. Я сказала, что он опоздал.

Томазин долго в молчании смотрела на пламя свечи.

- Бедный Диггори! - сказала она наконец и обратилась к другим занятиям.

Следующий день прошел в хлопотах и приготовлениях - занятиях чисто механических, которым обе женщины с готовностью предавались, чтобы не думать об эмоциональной стороне происходящего. Сызнова собрали для Томазин кое-какую одежду и разные предметы домашнего обихода; то и дело обменивались замечаниями о каких-нибудь

хозяйственных мелочах - все для того, чтобы заглушить невольные опасения касательно будущего Томазин как жены Уайлдива.

Пришло назначенное утро. С Уайлдивом было договорено, что он встретится с Томазин в церкви, чтобы избавить ее от докучного любопытства соседней, которое, конечно бы, разгорелось, если бы их увидели направляющимися в церковь вместе, как это принято в деревне.

Тетка и племянница обе стояли в спальне, где невеста обряжалась к венцу. Солнце, заглядывая в окно, бросало зеркальные блики на волосы Томазин, которые она всегда носила заплетенными в косы. Косы она плела по особому календарному расписанию - чем значительнее день, тем больше прядей в косе. В обыкновенные будние дни плелась коса из трех прядей, по воскресеньям из четырех, в дни празднеств и гуляний - игр вокруг майского дерева и тому подобное - из пяти. И она уже давно сказала, что когда будет выходить замуж, то косы сплетет из семи прядей. Сегодня они были сплетены из семи.

- Я надена мое голубое шелковое платье, - сказала Томазин. - Как-никак это день моей свадьбы, хоть, может, он и не очень веселый. То есть не то чтобы он сам по себе был невеселым, - поспешила поправиться она, - а просто потому, что перед этим были такие большие огорчения и беспокойства. Миссис Ибрайт сдержала вздох.

- Жаль мне, что Клайма нет дома. Но, конечно, ты потому и выбрала это время, что он сейчас в отъезде.

- Отчасти. Я знаю, что нехорошо поступила, не признавшись ему сразу. Но так как это было сделано, чтобы не огорчать его, я решила уж довести дело до конца и рассказать ему, когда все уладится.

- Вот какая ты практичная маленькая женщина, - улыбаясь, сказала миссис Ибрайт. - Я часто мечтала, что

ты и он... ну да что об этом говорить. О! Уже девять часов, - прервала она себя, услышав донесшееся снизу шипенье и затем бой часов.

- Я договорилась с Дэймоном, что выйду в девять, - сказала Томазин, спеша к двери.

Миссис Ибрайт пошла за ней. Когда Томазин ступила на дорожку, ведущую от двери дома к калитке, миссис Ибрайт, жалостно посмотрев на нее, проговорила:

- Как не хочется отпускать тебя одну!

- Это необходимо, - ответила Томазин.

- Во всяком случае, - добавила ее тетка с насильственной веселостью, я зайду к тебе сегодня же вечером и принесу свадебный пирог. И если Клайм к тому времени вернется, то, может, и он придет. Я хочу показать мистеру Уайлдиву, что не питаю к нему недобрых чувств. Забудем прошлое. Ну, благослови тебя господь! Не верю я в эти старые приметы, а все ж таки сделаю. - Она кинула туфлю вслед удаляющейся девушке. Та обернулась, улыбнулась и пошла дальше.

Но через несколько шагов она опять остановилась и повернула головку.

- Вы меня звали, тетя? - спросила она дрожащим голосом. - Прощайте!

При виде осунувшегося, мокрого от слез лица тетки она вдруг, повинувшись внезапному порыву чувств, побежала назад, а та торопливо шагнула вперед, и они опять обнялись.

- О, Тамзи! - пробормотала старшая, плача. - Как мне не хочется тебя отпускать!

- А я... а мне... - начала Томазин, тоже заливаясь слезами. Но она совладала с собой, снова сказала: - Прощайте! - и пошла дальше.

Миссис Ибрайт долго смотрела, как маленькая фигурка пробиралась по тропке среди колючих кустов дрока, как, уходя вдаль по долине, она становилась все

меньше и меньше - крохотное бледно-голубое пятнышко среди огромных буро-коричневых просторов - одинокая и не защищенная ничем, кроме силы своей надежды.

Но того, что больше всего грозило бедой, нельзя было увидеть в раскинувшемся перед глазами миссис Ибрайт ландшафте, ибо это был мужчина, дожидавшийся в церкви.

Томазин так выбрала час венчания, чтобы избежать встречи с Клаймом, который должен был вернуться утром. Признаться, что часть услышанного им справедлива, было бы очень тяжело, пока нынешнее ее унижительное положение не было исправлено. Только после вторичного и более успешного путешествия к алтарю она могла поднять голову и спокойно утверждать, что первая неудача была чистой случайностью.

После ее ухода прошло не более получаса, как вдруг по дороге с противоположной стороны приблизился Клайм Ибрайт и вошел в дом.

- Я сегодня очень рано завтракал, - сказал он, поздоровавшись с матерью. - И теперь, пожалуй, не прочь еще закусить.

Они сели за стол, и тотчас Клайм заговорил тихим, взволнованным голосом, видимо предполагая, что Томазин еще не сходила вниз из своей спальни.

- Что это рассказывают про Томазин и мистера Уайлдива?

- Много в этом правда, - сдержанно ответила миссис Ибрайт. - Но теперь, надеюсь, уже все улажено. - Она посмотрела на часы.

- Правда?.. Много правда?..

- Да. Томазин сегодня ушла к нему.

Клайм оттолкнул от себя тарелку.

- Ах, значит, был какой-то скандал? Вот почему Томазин такая... Не от этого ли она и захворала?

- Да. Но скандала никакого не было. Просто неприятная случайность. Я все тебе расскажу, Клайм. Но ты не сердись, а выслушай, и ты согласишься, что мы сделали как лучше.

До своего приезда из Парижа Клайм знал только, что у Томазин с Уайлдивом было взаимное увлечение, которое миссис Ибрайт вначале не одобряла, но потом под влиянием уговоров Томазин стала видеть в более благоприятном свете. Узнав теперь все обстоятельства, он очень удивился и встревожился.

- И она решила закончить все, пока тебя нет, чтобы избежать объяснений, которые могут быть тяжелы для вас обоих, - закончила миссис Ибрайт. - Поэтому она сейчас и ушла к нему - венчанье назначено на сегодняшнее утро.

- Но я не понимаю, - сказал Ибрайт, вставая. - Это так непохоже на нее. Я еще могу понять, что вам не хотелось писать мне после ее столь неудачного возвращения домой. Но почему вы мне раньше не написали, когда они еще только собирались пожениться - ну, в первый-то раз?

- Я тогда была сердита на нее. Она мне казалась такой упрямой! И когда я увидела, что ты ничего не значишь для нее, я поклялась, что и она будет значить для тебя не больше. В конце концов, она мне только племянница; я сказала ей - можешь выходить замуж, меня это не касается, и Клайма из-за этого я беспокоить не стану.

- Это не значило - беспокоить меня. Мама, вы поступили неправильно.

- Я боялась, что это помешает твоей работе, - вдруг ты из-за этого откажешься от места или еще как-нибудь повредишь своему будущему, поэтому я промолчала. Конечно, если бы они тогда обвенчались как полагается, я бы тебе сейчас же написала.

- Вот мы тут сидим, а в это самое время Тамзин, может быть, выходит замуж!

- Да. Разве что опять что-нибудь случится, как в первый раз. Это возможно, потому что жених тот же самый.

- Да, и, наверно, так и будет. Ну разве можно было ее отпускать? А если этот Уайлдив в самом деле дурной человек?

- Так он не придет, и она опять вернется домой.

- Мама, вам следовало поглубже во все это вникнуть.

- Ах, к чему так говорить, - нетерпеливо и с болью ответила его мать. Ты не знаешь, Клайм, как трудно нам пришлось. Ты не знаешь, как унижительно такое положение для женщины. Не знаешь, сколько бессонных ночей мы провели, какими, порой даже недобрыми, словами мы обменивались после этого несчастного пятого ноября. Не хотела бы я еще раз пережить подобные семь недель. Тамзип не выходила из дому, да и мне стыдно было смотреть людям в глаза. А теперь ты осуждаешь меня за то, что я позволила ей сделать единственное, чем можно было это исправить.

- Нет, - медленно проговорил он. - В общем я вас не осуждаю. Но поймите, какая это для меня неожиданность. Только что я ровно ничего не знал, и вдруг мне говорят, что Тамзин вот уже сейчас выходит замуж. Ну что ж, вероятно, это лучшее, что можно было сделать. А знаете, мама, - продолжал он через минуту, видимо что-то припомнив и оживляясь от этих воспоминаний, знаете, ведь я сам когда-то был влюблен в Тамзи. Право! Думал о ней как о своей возлюбленной. Чудной народ - мальчишки! И когда я теперь приехал и увидел ее, - она была такая ласковая, гораздо нежнее, чем всегда, - мне опять все это так живо вспомнилось. Особенно в тот вечер, когда у нас были I ости, а ей

нездоровилось. Мы тогда все-таки устроили вечеринку, - пожалуй, это было жестоко по отношению к ней?

- Да нет, это не важно. Я давно договорилась со всеми, что устрою вечерок, когда ты приедешь, и не стоило напускать больше мрака, чем необходимо. Запереться в доме и рассказать тебе о Тамзиных бедах - это была бы невеселая встреча.

Клайм сидел, задумавшись.

- Может, лучше было бы не устраивать вечеринки, - сказал он затем, еще и по другим причинам. Но об этом я вам после расскажу. А сейчас надо думать о Тамзин.

Оба помолчали.

- Вот что, - начал снова Ибрайт, и в голосе его были нотки, говорившие о том, что прежние чувства не вовсе в нем уснули, - я считаю, что нехорошо с нашей стороны, что мы отпустили ее одну и в такую минуту возле нее нет никого из нас, чтобы поддержать ее и о ней позаботиться. Она ничем себя не опозорила и ничего не сделала, чтобы это заслужить. Достаточно плохо, что свадьба такая спешная и убогая, а тут еще и мы совсем от нее отстранились. Честное слово, это безобразие. Я пойду туда.

- Теперь уж, наверно, кончено, - сказала со вздохом его мать. - Разве что они опоздали или он опять...

- Ну что ж, хоть на выходе из церкви их встречу. И знаете, мама, мне все-таки очень не нравится, что вы держали меня в неведении. Я, право, готов пожелать, чтобы он и на этот раз не пришел.

- И вконец погубил ее репутацию?

- Э, вздор какой. От этого Тамзин не погибнет.

Он взял шляпу и поспешно вышел из дому. Миссис Ибрайт продолжала сидеть у стола с горестным видом и в глубокой задумчивости. Но она недолго оставалась одна. Всего через несколько минут Клайм вернулся; за ним шел Диггори Венн.

- Оказывается, я все-таки опоздал, - сказал Клайм.

- Ну, вышла она замуж? - спросила миссис Ибрайт, обращая к охрянику лицо, в котором сейчас читалась странная смесь противоборствующих желаний.

Венн поклонился.

- Да, мэм.

- Как странно это звучит, - отозвался Клайм.

- И он не подвел ее на этот раз? - сказала миссис Ибрайт.

- Нет. И теперь больше нет пятна на ее имени. Я видел, что вас нет в церкви, так поторопился прийти вам сказать.

- А как вы там очутились? Откуда узнали? - спросила миссис Ибрайт.

- А я как раз был в тех местах и видел, как они вошли в церковь, сказал охряник. - Он встретил ее у дверей, точно, минута в минуту. Я даже не ожидал от него. - Он не добавил, что очутился в тех местах далеко не случайно, так как, после возобновления Уайлдивом своих прав на Томазин, Диггори с дотошностью, составлявшей отличительную черту его характера, решил досмотреть этот эпизод до конца.

- А кто еще там был? - спросила миссис Ибрайт.

- Да почти никого. Я стал в сторонке, и она меня не заметила. - Охряник говорил глухим голосом и смотрел куда-то в сад.

- А кто был за посаженую мать?

- Мисс Вэй.

- Вот удивительно! Мисс Вэй! Это, вероятно, за честь надо считать.

- Кто такая мисс Вэй? - спросил Клайм.

- Дочь капитана Вэя с Мистоверского холма.

- Очень гордая девица из Бедмута, - сказала миссис Ибрайт. - Я таких не слишком-то жалую. Тут про нее говорят, что она колдунья, - ну это, попятное дело, вздор.

Охряник промолчал и о своем знакомстве с этой интересной особой, и о том, что она оказалась в церкви только потому, что он не поленился сходить за ней, согласно обещанию, которое дал ей еще раньше, - когда узнал о готовящемся браке. Он только сказал, продолжая свой рассказ:

- Я сидел на кладбищенской стене и увидел, как они подошли - один с одной стороны, другая с другой. А мисс Вэй гуляла там и разглядывала надгробья. Когда они вошли в церковь, я тоже пошел к дверям, - захотелось посмотреть, я ведь так хорошо ее знал. Башмаки я снял, чтобы не стучали, и поднялся на хоры. Оттуда я увидел, что пастор и причетник оба уже на месте.

- А почему мисс Вэй вообще в это затесалась, если она только гуляла по кладбищу?

- Да потому, что другого никого не было. Она как раз передо мной зашла в церковь, только не на хоры. Пастор, прежде чем начать, огляделся кругом, и, так как она одна была в церкви, он поманил ее, и она подошла к алтарной ограде. А потом, когда надо было расписываться в книге, она подняла вуаль и подписалась, и Тамзин, кажется, благодарил ее за любезность. - Охряник говорил медленно и даже как-то рассеянно, ибо в его воспоминании всплыло в эту минуту, как изменился в лице Уайлдив, когда Юстасия подняла надежно скрывавший ее черты густой вуаль и спокойно посмотрела ему прямо в глаза. И тогда, - печально закончил Диггори, - я ушел, потому что ее история как Тамзин Ибрайт была кончена.

- Я хотела пойти, - покаянно проговорила миссис Ибрайт. - Но она сказала - не надо.

- Да это не важно, - сказал охряник. - Дело наконец сделано, как было задумано с самого начала, и дай ей бог счастья. А теперь позвольте с вами распрощаться.

Он надел свой картуз и вышел.

С этой минуты и на много месяцев вперед никто уж больше не видел охряника ни на Эгдонской пустоши, ни где-либо по соседству. Он исчез, словно растаял. В лощинке, где среди зарослей ежевики стоял его фургон, на другое же утро было пусто, и даже следа его пребывания не оставалось, кроме нескольких соломинок да легкой красноты на траве, которую смыло первым же ливнем.

В рассказе Диггори о венчанье, в общем вполне правильном, отсутствовала одна мелкая, но многозначительная подробность, которая ускользнула от него потому, что он находился слишком далеко от алтаря. Пока Томазин дрожащей рукой подписывала в книге свое имя, Уайлдив бросил на Юстасию взгляд, ясно говоривший: "Вот когда я наказал тебя, - помучайся!" Она ответила очень тихо - и он даже не подозревал, насколько искренне: "Вы ошибаетесь; я получаю истинное удовольствие от того, что вижу ее вашей женой".

КНИГА ТРЕТЬЯ

ОКОЛДОВАН

ГЛАВА I

МОЯ УМ ЕСТЬ ЦАРСТВО ДЛЯ МЕНЯ

В лице Клайма Ибрайта смутно угадывался типический облик человека будущего. Если для нас настанет еще пора классического искусства, тогдашние Фидии будут создавать именно такие лица. Взгляд на жизнь как на что-то, с чем приходится мириться, сменивший прежнее упоение бытием, столь заметное в ранних цивилизациях, взгляд этот в конце концов, вероятно, так глубоко внедрился в самое существо передовых народов, что его отражение в их внешности станет новой отправной точкой для изобразительного искусства. Уже сейчас многие чувствуют, что человек, который живет так, что не изменяется ни единая линия его черт, который не ставит где-нибудь на себе метку

духовных сомнений и тревог, слишком далек от современной восприимчивости, чтобы его можно было считать современным человеком. Великолепные физически мужчины - слава человеческого рода, когда он был юным, - теперь уже почти анахронизм; и почему знать, быть может, физически великолепные женщины рано или поздно тоже станут анахронизмом.

Суть, по-видимому, в том, что долгий ряд разрушающих иллюзий столетий в корне подорвал эллинскую - или как еще ее назвать - идею жизни. То, о чем греки смутно догадывались, мы теперь знаем точно; то, что их Эсхилы постигали мощью своего воображения, наши дети чувствуют инстинктивно. Старомодные восторги перед мудрым устройством мира становятся все менее возможны по мере того, как мы обнаруживаем изъяны в естественных законах и видим иной раз, в какую маету повергнут человек их действием.

Облик, воплощающий в себе идеалы, основанные на этом новом восприятии мира, будет, вероятно, сроден облику Ибрайта. Его лицо привлекало внимание не как картина, а как страница текста - не тем, каким оно было, а тем, о чем оно рассказывало. Черты его были привлекательны как символы, - так звуки, сами по себе обыденные, становятся приятны в речи, и формы, сами по себе простые, становятся интересны в письме.

Еще мальчиком он подавал надежды; все от него чего-то ждали. Чего именно, было неясно. Либо он мог как-то необыкновенно преуспеть, либо столь же необыкновенно осрамиться. Одно можно было сказать с уверенностью - он не останется мирно прозябать в тех же условиях, в каких родился.

Поэтому всякий раз, как какой-нибудь добрый Эгдонец случайно в разговоре упоминал его имя, собеседник тотчас же откликнулся: "А, Клайм Ибрайт! Что он теперь делает?" А уж если первое, что

спрашивают о человеке, - это "что он делает?", значит, чувствуют, что его не застанешь, как многих из нас, за тем, что он не делает ничего особенного. Было, значит, у все t неопределенное ощущение, что он уже вторгся в какую-то непривычную для них область, то ли хорошую, то ли дурную. Причем все вслух благочестиво надеялись, что он добьется успеха, а втайне веровали, что он наломает дров. Пять-шесть зажиточных фермеров, которым случилось на обратном пути с рынка заезжать в своих таратайках к "Молчаливой женщине", хотя сами и не Эгдонцы, однако очень любили поговорить на эту тему. Да и как им было не затронуть ее, пока они отдыхали, посасывая свои длинные чубуки и поглядывая в окно на вересковые склоны? В отроческие свои годы Клайм был так тесно вплетен в жизнь вересковой пустоши, что почти невозможно было глядеть на нее и не вспомнить о нем. И вот рассказы возобновлялись: если Клайм сейчас где-то там приобретает богатство и известность, тем лучше для него; если ему суждено быть трагической фигурой, тем лучше для рассказа.

Надо сказать, что Ибрайт приобрел известность, и даже непомерно большую, еще раньше, чем уехал из дому. "Плохо, когда твоя слава опережает твои возможности", - сказал испанский иезуит Грациан. В шесть лет Клайм загадал библейскую загадку: "О ком из мужчин известно, что он первый на земле стал носить брюки?" - и весь Эгдон рукоплескал ему. В семь лет он написал "Битву при Ватерлоо" соком черной смородины и пыльцой тигровых лилий, за неимением акварели. И благодаря этому к двенадцати годам он уже, по крайней мере, на две мили кругом прослыл художником и ученым.

Но если слава человека распространилась на три или четыре тысячи ярдов, а слава других ему подобных за то же время всего на шестьсот или восемьсот ярдов,

то уж, значит, в нем что-то есть! Возможно, конечно, что слава Клайма, как и слава Гомера, кое в чем зависела от случайных обстоятельств, но так или иначе, а славен он был.

Он вырос, и ему помогли стать на ноги. Судьба, эта охотница до шуток, сделавшая Клайва в начале его жизни писцом, Гэя - торговцем льняными товарами, Китса - врачом и еще тысячи других чем-нибудь столь же мало для них подходящим, этого мечтательного и аскетического сына вересковых просторов присадила к ремеслу, в котором все заботы и помышления были связаны с нарочитыми символами тщеславия и потворства своим страстям.

Подробности этого выбора профессий излагать не стоит. Когда умер отец Клайма, один соседний помещик согласился по доброте душевной помочь юноше, и помощь его выразилась в том, что Клайма послали в Бедмут. Он не хотел туда ехать, но ничего другого не наклевывалось. Оттуда он попал в Лондон, а затем вскорости в Париж, где и оставался до сих пор.

Так как все привыкли чего-то ожидать от него, то не успел он прожить двух педель дома, как по всей пустоши стали любопытствовать, почему он сидит тут так долго. Обычный срок праздничного отпуска кончился, а он все не уезжал. В утро первого воскресенья после венчанья Томазин во время стрижки перед домом Фейруэя этот вопрос был подвергнут подробному обсуждению. Все местные цирюльные операции всегда происходили в этот час и в этот день; засим следовало в полдень великое воскресное мытье, а часом позже облачение в праздничные одежды. Так что на Эгдоне, собственно, воскресенье начиналось не раньше обеденного часа, да и то выглядело оно несколько помятым.

Эту воскресную стрижку всегда производил Фейруэй; очередная жертва сидела, сняв куртку, на

чурбаке перед домом, а соседи, стоя вокруг, судачили о том о сем, лениво наблюдая, как после каждого щелчка ножниц ветер подхватывает клочья волос, взвивает их кверху и разносит на все четыре стороны. Зиму и лето обстановка оставалась одна и та же; только если ветер бывал уж очень безжалостен, чурбак передвигали на несколько футов за угол дома.

Пожаловаться на холод, пока сидишь там под открытым небом без шапки и куртки, а Фейруэй между двумя ударами ножниц рассказывает разные истории из жизни, значило бы сразу заявить, что ты не мужчина. Вздрогнуть, вскрикнуть или шевельнуть хотя бы единым мускулом лица при небольших тычках копчиками ножниц под ухом или царапанье гребнем по шее было бы грубейшим нарушением хороших манер, тем более что Фейруэй делал все это бесплатно. И если у кого-нибудь под вечер в воскресенье замечались на голове или по соседству кровоточащие ранки и ссадины, то объяснение: "Да это я сегодня стригся", считалось вполне удовлетворительным.

Разговор о Клайме Ибрайте зашел после того, как его самого увидели не спеша идущим вдали по вереску.

- Ежели человек в другом месте хорошо зарабатывает, - сказал Фейруэй, так не станет он тут ни с того ни сего третью неделю околачиваться. Стало быть, что-то он задумал, вот увидите.

- Ну, у нас тут брильянтами не расторгнешься, - сказал Сэм.

- А зачел он два тяжелых ящика с собой привез, коли оставаться тут не хочет? Хотя что он тут делать собирается - это один бог ведает.

Подробно развить эту тему им не удалось, так как Ибрайт приблизился и, заметив кучку чающих стрижки, свернул к ним. Он подошел вплотную, критически оглядел их лица и сказал без всяких вступлений:

- Хотите, братцы, угадаю, о чем вы сейчас говорили?

- А что ж, попробуйте, - сказал Сэм.

- Обо мне.

- Вот уж чего бы никогда себе не позволил - при других, то есть, обстоятельствах, - проговорил Фейруэй тоном неподкупной честности, - но раз вы сами сказали, так признаюсь, верно, сейчас только мы про вас говорили. Дивились, с чего это вы здесь время зря проводите, когда в своем деле, в торговле-то безделками, вы такой важный человек стали, на весь мир известный? Вот про это мы и говорили, и это истинная правда.

- Я вам объясню, - сказал Ибрайт с неожиданной серьезностью. - Это даже хорошо, что представился случай. Я приехал домой потому, что здесь могу быть несколько менее бесполезен, чем где-либо в другом месте. Но я только недавно это понял. Когда я впервые уехал из дому, я считал, что наши места не стоят, чтобы о них заботиться. Наша здешняя жизнь казалась мне достойной презрения. Мазать сапоги салом, а не ваксой, выбивать платье прутом, а не чистить щеткой, - что может быть смешнее? - говорил я тогда.

- Так, так, верно!..

- Нет, нет, совсем не так, вы ошибаетесь.

- Простите, мы думали, вы это взаправду... - Ну вот. Но со временем на меня все чаще стало находить уныние. Я видел, что стараюсь быть похожим на людей, с которыми у меня нет ничего общего. Я пытался отказаться от одного образа жизни ради другого, который ничем не лучше той жизни, какую я раньше вел. Просто он другой.

- Ох, да. Совсем другой, - отозвался Фейруэй.

- Да, Париж, наверно, заманчивое местечко, - сказал Хемфри. Магазиновые окна все в огнях, трубы, барабаны... А мы тут все под открытым небом - дождь ли, снег ли...

- Но вы опять меня не совсем поняли, - огорчился Клайм. - Я уже сказал, все это меня очень удручало. Но еще не так, как потом стало удручать другое, - а именно: я наконец уразумел, что мое ремесло - это самое праздное, суетное, недостойное занятие, к какому только можно приставить человека. Тогда я решил - брошу-ка я его и постараюсь найти для себя какое-нибудь разумное дело среди тех людей, которых я лучше всего знаю и которым могу принести больше всего пользы. Я приехал домой, и вот как я думаю осуществить свое решение: открою школу где-нибудь поближе к Эгдону, так, чтобы я мог приходить сюда пешком и вести еще вечерние занятия в доме моей матери с теми, кто пожелает. Но сперва придется мне самому подзаняться, чтобы как следует подготовиться. А теперь, соседи, мне пора идти.

И Клайм продолжал свой путь по вереску.

- Да ни в жизнь он этого не сделает, - сказал Фейруэй. - Через месяц-другой научится по-иному на эти дела смотреть.

- Доброе сердце у этого молодого человека, - сказал другой. - Но, по мне, лучше бы он своим делом занимался.

ГЛАВА II

ЕГО РЕШЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ СПОРЫ

Ибрайт любил своих ближних. Он был убежден, что главное, в чем нуждается большинство людей, - это знание, причем такое знание, которое приносит мудрость, а не недостаток. Он хотел возвысить общество за счет индивидов, а не индивида за счет общества. Более того, он готов был сам стать первой жертвой на этом пути.

При переходе от буколической жизни к жизни интеллектуальной бывает по меньшей мере две промежуточных стадии, а часто и гораздо больше, и одной из этих стадий почти наверняка будет

продвижение по общественной лестнице. Трудно себе представить, чтобы буколическая безмятежность могла расшевелиться сразу до чисто интеллектуальных целей, не пройдя сперва через достижение материальных благ как переходную ступень.

Местная особенность Ибрайта заключалась в том, что стремясь к высокому мышлению, он одновременно не хотел отрываться от простой, в некоторых отношениях даже дикой и скудной жизни и братства с простолюдинами.

Он был своего рода Иоанном Крестителем, но проповедовал не покаяние, а облагораживание человека. Духовно он жил уже в будущем своего края, иначе говоря - он был наравне с мыслителями своего времени, проживавшими в главных европейских городах. Тут он многим был обязан своей жизни в Париже, где он ознакомился с этическими учениями, популярными в те дни.

Именно это относительно передовое развитие было причиной того, что обстоятельства складывались для Ибрайта скорее несчастливо. Сельский мир еще не созрел для него. Свое время следует опережать только частично; быть целиком в авангарде неблагоприятно для славы. Если бы воинственный сын Филиппа был настолько впереди своего времени, что попытался бы создать новую цивилизацию без кровопролития, он был бы вдвойне богоподобным героем, каким казался своим современникам, но никто не слышал бы об Александре.

Чтобы это опережение времени не вредило славе, нужно, чтобы оно заключалось главным образом в умении придавать идеям форму. Удачливые пропагандисты потому и имели успех, что ту доктрину, которую они так блестяще излагали, их слушатели уже давно чувствовали, но не могли выразить. Человек, который защищает эстетические стремления и осуждает стремление к материальным благам,

вероятно, будет понят лишь теми, для кого завоевание материальных благ уже позади. Доказывать сельскому миру возможность культуры прежде роскоши, может быть, правильно по идее; но это попытка нарушить последовательность, к которой человечество издавна привыкло. Проповедовать эгдонским отшельникам; как хотел Ибрайт, что они могут возвыситься до ясного и всестороннего знания о мире, не проходя сквозь процесс обогащения, это почти то же, что доказывать древним халдеям, что, возносясь с земли в чистые эмпирии, не обязательно сперва пройти сквозь промежуточное эфирное небо.

Был ли у Ибрайта уравновешенный ум? Нет, ибо это такой ум, который не имеет никаких особых пристрастий, о носителе которого можно с уверенностью сказать, что он никогда не будет посажен в желтый дом, как сумасшедший, подвергнут пытке, как еретик, или распят, как святотатец. А также, с другой стороны, что никогда ему не будут рукоплескать, как пророку, почитать его, как водителя душ, возвеличивать, как короля. Блаженная доля таких людей счастье и посредственность. Они создают поэзию Роджерса, картины Уэста, государственную мудрость Норта, духовное руководство Томлайна; все они находят путь к богатству, завершают жизнь среди общего уважения, с достоинством сходят со сцены, спокойно умирают в своих постелях; им воздвигают приличные памятники, в большинстве случаев ими вполне заслуженные. Будь у Ибрайта уравновешенный ум, он никогда не сделал бы такой нелепости, как бросить выгодное дело ради того, чтобы облагодетельствовать своих ближних.

Он шел по направлению к дому, не разбирая троп. Уж кто-кто, а Клайм хорошо знал вересковую пустошь. Он был пропитан ее образами, ее сущностью, ее запахами. Можно сказать, что он был ее созданием. Она

предстала ему, когда глаза его впервые открылись; ее пейзажи вплетались в первые его воспоминания; его суждения о жизни были окрашены ею; его игрушками были кремневые ножи и наконечники стрел, которые он находил на склонах, дивясь, почему это камень "вырастает" в такие странные формы; его цветами были пурпурные колокольчики и желтые головки дрока; его животным миром - амеи и дикие пони; его обществом - ее человеческие обитатели. Возьмите все разнообразные виды ненависти, которые Юстасия Вэй питала к вересковой пустоши, и превратите их в столько же видов любви - и перед вами будет сердце Клайма. Пробираясь по взгорью, он оглядывал открывшиеся ему широкие дали и радовался.

Для многих Эгдон был местом, которое давно, много поколений назад, выскользнуло из своего столетия и теперь вторглось в наше как некое инородное тело. Это было нечто устарелое, и мало кто склонен был его изучать. Да и как могло быть иначе в наши дни квадратных полей, подстриженных изгородей и лугов, орошаемых столь правильно расположенными канавками, что в солнечный день они похожи на серебряный рашпер. Фермер, который, проезжая мимо, может улыбнуться сеяным травам, заботливо оглядеть наливающиеся колосья и печально вздохнуть над изъеденной мошкой репой, при виде этих дальних вересковых нагорий самое большее, если неодобрительно сдвинет брови. Но Ибрайт, озирая их с гребня холма, по которому лежала его дорога, невольно испытывал какое-то варварское удовлетворение, видя, что в тех немногих местах, где делались попытки подъема эгдонской земли, пашня, продержавшись год-другой, в отчаянии отступала, и там снова утверждались папоротники и кусты дрока.

Он спустился в долину и вскоре был уже дома, в Блумс-Энде. Его мать обирала увядшие листья с

комнатных растений на окнах. Она как-то недоуменно подняла к нему глаза, словно не могла понять, почему он так долго остается с нею; уже несколько дней он замечал это выражение на ее лице. Он понимал, что если у поселян, собравшихся для стрижки, его поведение возбуждало любопытство, то у матери это уже была тревога. Она ни разу не спросила его словами, даже когда прибытие сундуков ясно показало, что сын не намерен скоро уехать. Но ее молчание громче, чем слова, требовало ответа.

- Я не вернусь в Париж, мама, - сказал он. - По крайней мере, на прежнюю мою должность. Я совсем бросил это дело.

Миссис Ибрайт обернулась в горестном изумлении.

- Я так и знала, что что-то неладно. Еще когда сундуки пришли. Но почему ты раньше мне не сказал?

- Да, следовало бы раньше. Но я не знал, одобрите ли вы мой план. Да и мне самому кое-что еще было неясно. Я ведь намерен пойти по совсем новому пути.

- Ты меня удивляешь, Клайм. Разве можно найти что-нибудь лучше того, что ты делаешь сейчас?

- Очень легко. Но это будет лучше не в том смысле, как вы думаете; большинство, наверно, скажет, что это хуже. Но я ненавижу теперешнее мое занятие и хочу сделать что-нибудь стоящее, прежде чем умру. И как учитель, мне кажется, я смогу это сделать, - я хочу быть учителем для бедных и невежественных людей и научить их тому, чему никто другой их не научит.

- После всех наших трудов, чтобы поставить тебя на ноги, сейчас, когда тебе нужно только продолжать идти вперед, к богатству, ты говоришь, что хочешь быть учителем бедняков. Твои фантазии, Клайм, тебя погубят.

Миссис Ибрайт говорила спокойно, но сила чувства за словами была слишком очевидна для того, кто так хорошо знал ее, как сын. Он ничего не ответил. Лицо

его выражало безнадежность, которую испытываешь, когда видишь, что собеседник органически неспособен принять твои доводы, и сознаешь, что логика даже при благоприятных обстоятельствах может подчас оказаться слишком грубым орудием для передачи тонкой мысли.

Больше они ничего об этом не говорили, пока не сели обедать. В самом конце обеда мать вдруг опять начала, словно и не было с утра перерыва.

- Меня очень тревожит, Клайм, что ты приехал домой с такими мыслями. Я понятия не имела, что ты вздумал по собственному выбору испортить себе карьеру. Я, разумеется, всегда думала, что ты будешь пробиваться дальше, вперед, как делают мужчины, - все, достойные этого названия, - когда перед ними открыта дорога.

- Я не могу иначе, - взволнованно отвечал Клайм. - Мама, я ненавижу всю эту фальшь. Вы говорите - мужчины, достойные этого названия, ну, а может достойный этого названия мужчина тратить время на такие ничтожные пустяки, когда у него на глазах половина человечества гибнет потому, что нет никого, кто взялся бы за дело и научил их восстать против той жалкой участи, в которой они рождены? Каждое утро я просыпаюсь и вижу, что все живое стонет и мучается, как сказал апостол Павел, а я тем временем продаю блестящие побрякушки богатым женщинам и титулованным развратникам и потворствую самому презренному тщеславию - я, у которого хватит здоровья и сил для чего угодно. Целый год у меня на душе было беспокойно, и вот теперь конец - я не могу больше этим заниматься.

- Почему ты не можешь, когда другие могут?

- Не знаю. Может быть, потому, что есть много вещей, которые другие ценят, а я нет. Отчасти поэтому я и считаю, что должен сделать то, что задумал.

Например, мое тело очень мало от меня требует. Я равнодушен ко всяким деликатесам, не нахожу вкуса в топких блюдах. Ну и надо этот недостаток обратить на пользу; раз я могу обойтись без многого, за чем люди гоняются, так можно будет эти деньги истратить на кого-нибудь другого.

Эти слова не могли не вызвать отклика в душе миссис Ибрайт, так как свои аскетические наклонности Клайм унаследовал не от кого другого, как от нее же самой; и там, где логика была бессильна, чувство нашло прямую дорогу, как ни старалась миссис Ибрайт это скрыть для пользы сына. Она заговорила уже с меньшей уверенностью:

- А все-таки ты мог бы стать богатым человеком, если б только продолжал начатое. Заведующий большим ювелирным магазином - чего еще желать? Человек, облеченный доверием, всеми уважаемый! Но ты, наверно, будешь как твой отец; как и ему, тебе надоедает жить хорошо.

- Нет, - сказал ее сын. - Это мне не надоедает, хотя мне и надоело то, что вы под этим подразумеваете. Мама, что такое "жить хорошо"?

Миссис Ибрайт сама была слишком вдумчива по натуре, чтобы удовлетвориться ходячими определениями, и, подобно сократовскому "Что есть мудрость?" и "Что есть истина?" Понтия Пилата, жгучий вопрос Ибрайта остался без ответа.

Воцарившееся молчание прервал скрип садовой калитки, потом стук в дверь, и дверь растворилась. На пороге появился Христиан Кентл в своем воскресном костюме.

На Эгдоне было в обычае начинать вступление к рассказу, еще не войдя в дом, так что к тому времени, когда гость и хозяин оказывались лицом к лицу, повествование уже шло полным ходом. Поднимая скобу и растворяя дверь, Христиан говорил:

- И подумать только, ведь я из дому-то в редкость когда выхожу, а нынче как раз там и оказался!

- Ты нам принес какие-то новости, Христиан? - сказала миссис Ибрайт.

- А как же, про колдунью, и простите уж, коли я не вовремя, потому я подумал: "Надо пойти им рассказать, хоть они, может, еще и не кончили обедать". Верите ли, я до сих пор как лист осиновый дрожу. Беды-то нам от этого не приключится, а? Как по-вашему?

- Да что случилось-то?

- Да вот были мы сегодня в церкви, ну, встали, когда полагается, стоим, а пастор и говорит: "Помолимся". "Ну, думаю, что стоймя стоять, что на коленках, какая разница", и стал, да не я один, а все, никто не захотел старику поперечить. Ну вот, стоим на коленях и простояли, может, минуту либо две, как вдруг слышим - вскрикнул кто-то, да страшно так, словно у него душа с телом расставалась. Все вскочили, и тут узналось, что Сьюзен Нонсеч уколола мисс Вэй заточенной вязальной спицей, она уже и раньше грозила это сделать, только бы в церкви ее застать, да мисс Вэй редко в церковь ходит. Месяц небось караулила, все дожидалась, как бы сделать, чтобы у той кровь потекла, - это чтоб снять порчу со Сьюзенных детей, потому та давно их заколдовала. А сегодня Сью прошла за ней тихонечко в церковь и села рядышком, и как только та повернулась, так что удобно стало, Сью сейчас раз - и запустила ей иголку в руку.

- Боже, какой ужас! - сказала миссис Ибрайт.

- И так глубоко воткнула, что барышня сразу в обморок, а я испугался вдруг побегут все, меня затолкают, и спрятаюсь за виолончель и больше уж ничего не видел. Но, говорят, ее вынесли на воздух, а когда оглянулись, где Сью, той уж и след простыл. Ох, да как же она вскрикнула, бедняжка! А пастор, в стихаре, руки поднял, говорит: "Сядьте, сядьте, добрые

люди!" Ну да как же, сели они! Ой, а знаете, что я доглядел, миссис Ибрайт? У пастора под стихарем сюртук надет! Когда он руки-то воздел, так и стало черный рукав видно.

- Какая жестокость, - сказал Ибрайт.

- Да, - откликнулась его мать.

- В суд бы надо подать, - сказал Христиан. - А вот и Хемфри, кажись, идет.

Вошел Хемфри.

- Ну, слышали вы наши новости? Вижу, уж дошло до вас. А ведь вот чудно, - как кто из наших, эгдонских, в церковь пойдет, так что-нибудь неладное и случится. В последний раз Тимоти Фейруэй там был еще осенью, так это ж тот самый день, когда вы племянницы вашей брак запретили, миссис Ибрайт.

- Эта девушка, с которой так жестоко поступили, смогла сама дойти до дому? - спросил Клайм.

- Говорят, ей потом получало и, пошла себе спокойненько домой. Ну, вот я вам все рассказал, пора мне и ко дворам.

- И мне, - сказал Хемфри. - Теперь узнаем, есть ли правда в том, что люди про нее говорят.

Когда они вышли на пустошь, Клайм сдержанно сказал матери:

- Ну, как вы теперь считаете - что мне еще рано становиться учителем?

- Это правильно, чтоб были учителя и миссионеры и тому подобные люди, ответила она. - Но правильно также, чтобы я старалась поднять тебя из этой жизни к чему-то лучшему и чтобы ты не возвращался в нее опять, как будто мною ничего не было сделано.

Попозже днем зашел торфяник Сэм.

- Я пришел запясть у вас кое-что, миссис Ибрайт. Слыхали, наверно, что случилось с нашей красоткой с холма?

- Да, Сэм, уж человек шесть нам рассказали.

- Красоткой? - переспросил Клайм.
 - Да она ничего себе, похаять нельзя, - отвечал Сэм.
 - У нас и то все говорят, - это, мол, диво, что такая женщина вздумала тут поселиться.
 - Она темная или белокурая?
 - Вот поди ж ты, я раз двадцать ее видел, а этого не запомнил.
 - Темнее, чем Тамзин, - обронила миссис Ибрайт.
 - И ничто ей не мило и ничем заняться не хочет.
 - Она, значит, меланхолик?
 - Все бродит одна, а с нашими ни с кем не дружит.
 - Может быть, эта молодая девица склонна к приключениям?
 - Вот уж не знаю, не слыхал.
 - Участвует иной раз с молодыми парнями в их играх, чтобы развеять скуку?
 - Нет.
 - Например, в святочных представлениях?
 - Да нет же. У нее замашки совсем другие. По-моему, и помыслы-то ее все не здесь, с нами, а где-то невесть где, с лордами да с леди, которых ей никогда не знавать, во дворцах, которых ей больше никогда не видать.
- Заметив, что Клайм как-то уж очень заинтересован этим разговором, миссис Ибрайт с некоторым беспокойством сказала Сэму:
- Вы, право, больше в ней видите, чем мы все. На мой взгляд, мисс Вэй слишком ленива, чтобы быть привлекательной. Я никогда не слыхала, чтобы она сделала что-нибудь полезное для себя или для других. С хорошими девушками все-таки не обращаются как с колдуньями, даже на Эгдоне.
 - Пустяки какие, это ничего не доказывает, - сказал Ибрайт.
 - Ну я, конечно, таких тонкостей не понимаю, - политично сказал Сэм, уклоняясь от возможно

неприятного спора, - а что она есть, время покажет. Я ведь зачем к вам зашел, миссис Ибрайт: не одолжите ли нам веревку, самую крепкую и самую длинную, какая у вас есть? У капитана бадья в колодец сорвалась, нечем воды достать, а сегодня воскресенье, все дома, так хотим попробовать, авось вытащим. Мы уж трое вожжей связали, да не достает до дна.

Миссис Ибрайт разрешила ему взять любую веревку, какую он найдет в сарае, и Сэм отправился на поиски. Когда он потом проходил мимо двери, Клайм присоединился к нему и проводил до ворот.

- А что, эта юная колдунья еще долго пробудет в Мистовере? - спросил он.

- Надо думать, что долго.

- Какой позор - так ее обидеть! Она, вероятно, очень страдала, больше духом, чем телом.

- А конечно, недоброе дело, да еще девушка-то какая красивая! Вам бы ее повидать, мистер Ибрайт, вы сами издалека приехали, да и вообще свет повидали, не то что мы тут, сидни.

- Как вам кажется, она согласилась бы учить детей? - спросил Клайм.

Сэм покачал головой.

- Совсем другого сорта человек.

- Да это мне только так, сейчас в голову пришло... Конечно, надо бы повидаться с ней и поговорить, а это, кстати сказать, не так просто, наши семьи - ее и моя - не в ладах.

- Я вам скажу, как вы можете с ней повидаться, мистер Ибрайт, - сказал Сэм. - Сегодня в шесть часов мы пойдем к ним вытаскивать бадью, а вы приходите нам помочь. Нас будет человек пять-шесть, да колодец больно глубокий, лишняя пара рук не помешает, если, конечно, вам не обидно в таком обличье им показаться. А она, уж конечно, выйдет посмотреть либо так куда пойдет.

- Я подумаю, - сказал Ибрайт, и они расстались.

Он много думал об этом, но в тот день больше ни слова не было сказано в их доме о Юстасии. И для него оставался нерешенным вопрос, была ли эта романтическая жертва суеверий и меланхолический комедиант, с которым он беседовал в лунном свете, одним и тем же лицом или нет.

ГЛАВА III

ПЕРВЫЙ АКТ ВЕКОВЕЧНОЙ ДРАМЫ

День был хороший, и Клайм около часу гулял с матерью по вереску. Поднявшись на высокий гребень, который отделял долину Блумс-Энда от соседней, они постояли немного, глядя по сторонам. В одном направлении в низине на самом краю пустоши виднелась гостиница "Молчаливая женщина", в другом поднимался в отдалении Мистоверский холм.

- Вы хотите зайти к Томазин? - спросил он.

- Да. Но тебе не обязательно сегодня к ней идти, - ответила мать.

- Тогда я тут с вами расстанусь, мама. Я иду в Мистовер. Миссис Ибрайт подняла к нему вопросительный взгляд.

- Помогу им вытаскивать бадью из капитанского колодца, - продолжал он. - Там очень глубоко, так что и я буду нелишним. И, кроме того, мне хочется поглядеть на эту мисс Вэй, не столько из-за ее красоты, как по другой причине.

- Непременно надо идти? - спросила мать.

- Да я уж надумал. И он ушел.

- Ничего нельзя сделать, - мрачно пробормотала мать Клайма, глядя ему вслед. - Они наверняка увидятся. Ах, лучше бы Сэм свои новости в другие дома приносил, а не в мой.

Удаляющаяся фигура Клайма становилась все меньше и меньше, то поднимаясь, то опускаясь по пригоркам на его пути.

- Очень уж он мягкосердечный, - сказала про себя миссис Ибрайт, все еще следя за ним глазами, - а то бы ничего. Как спешит!

Он действительно таким решительным шагом, не разбирая дороги, стремился сквозь заросли дрока, словно от этого зависела его жизнь. Его мать глубоко вздохнула и повернула обратно к дому. Вечерняя дымка уже сгущалась в низинах, затягивая их туманом, но все возвышенности еще обстреливались косыми лучами закатного солнца; оно поглядывало и на шагающего Клайма, и тысячи других глаз, - каждый кролик и каждый дрозд-рябинник, затаившиеся в кустах, - пристально за ним следили, и впереди него двигалась длинная тень.

Приблизившись ко рву и поросшему дроком валу, составлявшим укрепления капитанского обиталища, Клайм услышал за валом голоса, - очевидно, работы по извлечению бадьи уже начались. У боковой калитки он остановился и заглянул во двор.

Полдюжина крепких мужчин стояло цепочкой, держа веревку, которая, перекинувшись через лежащий ворот над колодцем, исчезала в его недрах. Тимоти Фейруэй, безопасности ради привязанный поперек тела другой веревкой, покорооче, к одному из стояков, склонялся над горлом колодца, придерживая правой рукой длинную веревку в той ее части, которая вертикально уходила вниз.

- Ну-ка потише, ребята, - сказал Фейруэй.

Разговоры умолкли, и Фейруэй сообщил веревке круговое движение, словно размешивая тесто. Спустя минуту из глубины донесся глухой плеск: спиральный извив, приданный веревке, достиг крюка на дне.

- Тащите! - сказал Фейруэй, и мужчины, державшие веревку, принялись выбирать ее, наматывая на ворот.

- Что-то есть, - сказал один.

- Так тяните поосторожней, - сказал Фейруэй.

Они все больше и больше выбирали веревку, и через некоторое время снизу, из колодца, донесся звук равномерно капающей воды. Он становился тем резче, чем выше поднималось ведро; наконец было вытащено около ста пятидесяти футов веревки.

Тогда Фейруэй зажег фонарь, привязал его к другой веревке и стал спускать ее в колодец рядом с первой. Клайм подошел и заглянул вниз. Странные мокрые листья, для которых не существовало времен года, и причудливо-узорчатые мхи обнаруживались на стенках колодца по мере того, как фонарь опускался; наконец лучи его упали на смутный ком из перепутанной веревки и бадьи, покачивающийся в волглom темном воздухе.

- Мы ее только за край дужки подцепили, - ради бога, осторожней!

Они тянули с величайшей бережностью, пока в колодце двумя ярдами ниже не показалась бадья, словно умерший друг, снова возвращающийся на землю. Три-четыре руки протянулись к ней, как вдруг дернулась веревка, визгнул ворот, двое передних в цепочке повалились навзничь, послышался стук падающего тела о стенки колодца, и со дна донесся громовой всплеск. Бадья опять сорвалась.

- Ах, чтоб ей! - сказал Фейруэй.

- Спускай опять, - сказал Сэм.

- У меня уже спина задеревенела, столько времени согнувшись стоял, сказал Фейруэй, выпрямляясь и потягиваясь с такой силой, что хрустнули суставы.

- Отдохните немного, Тимоти, - сказал Ибрайт. - Я стану на ваше место.

Опять спустили крюк. Его стремительный удар о далекую воду отдался у них в ушах, как звук поцелуя, после чего Ибрайт стал на колени и, нагнувшись над колодцем, принялся кругообразно водить крюком, как раньше делал Фейруэй.

- Обвяжите его веревкой, это же опасно! - раздался мягкий и тревожный голос откуда-то сверху.

Все обернулись. Говорила женщина из верхнего окна, стекла которого сверкали в красном зареве заката. Губы ее приоткрылись, казалось, она на миг забыла, где она.

Ибрайта обвязали веревкой вокруг пояса, и работа продолжалась. Еще что-то вытащили, но тяжесть была небольшая, и оказалось, что это только виток веревки, отвязавшийся от бадьи. Мокрую массу бросили в сторонку на землю; Хемфри занял место Ибрайта, и крюк снова спустили.

Ибрайт в задумчивости отошел к сваленной на траву веревке. В тождестве только что прозвучавшего голоса девушки и голоса меланхолического комедианта у него теперь не оставалось сомнений. "Какая заботливая!" - подумал он.

Юстасия покраснела, когда заметила, какой эффект произвели ее слова на стоявших внизу, и теперь больше не показывалась в окне, хотя Ибрайт долго на него поглядывал. И пока он там медлил, мужчины у колодца наконец благополучно вытащили бадью. Один пошел искать капитана, чтобы узнать, какие будут дальнейшие распоряжения. Капитана дома не оказалось; вместо него в дверях появилась Юстасия и подошла к ним. Она держалась непринужденно, со спокойным достоинством, весьма далеким от той силы чувства, которая прозвучала в ее заботливых словах о безопасности Клайма.

- А сегодня уже можно будет достать воду? - спросила она.

- Нет, мисс. Дно у бадьи вышибло начисто. И так как мы сейчас ничего не можем сделать, то мы уйдем, а придем завтра утром.

- Опять без воды, - уронила она и повернулась, чтобы уйти.

- Я могу прислать вам немного из Блумс-Энда, - сказал Клайм, выступая вперед и приподнимая шляпу; остальные уже выходили в калитку.

Мгновение Ибрайт и Юстасия глядели друг на друга, как будто каждый вспоминал те несколько минут в лунном свете, которые были их общим достоянием. И после этого обмена взглядами спокойная неподвижность ее черт смягчилась, ее сменило более утонченное и теплое выражение, как будто жесткий свет полдня за несколько секунд возвысился до благородства и прелести заката.

- Благодарю вас, но это, право, не нужно.

- Да ведь у вас же нет воды?

- Ну, это я считаю, что нет воды, - сказала она, краснея и поднимая свои опущенные длинными ресницами веки, как будто поднять их было делом, требующим размышления. - Но мой дедушка считает, что воды у нас довольно. Пойдемте, я вам покажу.

Она сделала несколько шагов в сторону, он последовал за ней. Когда она подошла к стыку между насыпями, где были проделаны ступеньки, чтобы подниматься на вал, она вспрыгнула на них с легкостью, неожиданной после ее вялых движений у колодца. Это, между прочим, показывало, что ее томность происходила не от недостатка силы.

Клайм поднялся следом за ней и заметил наверху на валу круглое выжженное пятно.

- Зола? - спросил он.

- Да, - сказала Юстасия. - На пятое ноября мы тут устраивали маленький костер, и это след от него.

На этом месте был костер, который она зажгла, чтобы привлечь Уайлдива.

- Вот какая у нас есть вода, - сказала она и бросила камешек в пруд, лежавший с наружной стороны вала, как белок глаза без его зрачка. Камень упал в воду с громким плеском, но Уайлдив не появился на другой

стороне пруда, как это однажды было. - Мой дедушка говорит, что во время своих морских походов он двадцать лет пил вдвое худшую воду, - продолжала она, - и считает, что и мы отлично можем пить эту, когда нет другой.

- Что ж, это верно, в зимнее время в этих прудах нет грязи. Они только что наполнились дождевой водой.

Она покачала головой.

- Я уже приспособилась жить в глуши, - сказала она, - но пить из пруда не могу.

Клайм поглядел в сторону колодца, где теперь никого не было, все уже ушли домой.

- За ключевой водой далеко посылать, - сказал он, помолчав. - Но если вам так не нравится прудовая вода, попробую достать для вас колодезной. - Он пошел к колодцу. - Да, мне кажется, я смогу. Привяжу вот это ведро.

- Но раз я не стала тех утруждать, то, по совести, не могу и вам позволить...

- Никакого труда, я сделаю это с удовольствием.

Он привязал ведро к сваленной на землю длинной веревке, перекинул ее через ворот и стал спускать, давая веревке скользить меж ладоней. Но, отпустив немного, он задержал ее.

- Надо сперва закрепить конец, а то можно все потерять, - сказал он подошедшей ближе Юстасии. - Не можете ли вы подержать веревку, пока я это сделаю, - или мне пойти позвать вашу служанку?

- Я подержу, - сказала Юстасия, и он передал веревку ей в руки, а сам пошел искать конец.

- Можно, я буду спускать потихоньку? - спросила Юстасия.

- Только не надо много, - сказал Клайм, - а то, если ведро уйдет глубоко, вы увидите, насколько оно станет тяжелее.

Юстасия все-таки начала травить веревку. Когда Клайм завязывал конец, она вдруг вскрикнула:

- Я не могу ее удержать!

Клайм подбежал к ней, но задержать веревку ему удалось, только замотав ненатянутую часть вокруг стояка; тогда она сильно дернулась и остановилась.

- Вас не поранило?

- Есть-таки.

- Очень?

- Нет; кажется, нет.

Она раскрыла ладони. Одна кровоточила, - веревкой содрало кожу. Юстасия обернула руку носовым платком.

- Надо было бросить, - сказал Ибрайт. - Почему вы не бросили?

- Вы сказали - держать... Это уж во второй раз меня сегодня ранят.

- Ах да, я слышал. Краснею за мой родной Эгдон. И серьезное вам нанесли повреждение?

В его голосе было столько сочувствия, что Юстасия медленно подняла рукав и открыла свою круглую белую руку. На гладкой коже горело ярко-красное пятнышко, словно рубин на паросском мраморе.

- Вот, - сказала она, тронув пятнышко пальцем.

- Какой низкий поступок, - сказал Клайм. - Неужели капитан допустит, чтобы эта женщина осталась безнаказанной?

- Он как раз сейчас пошел по этому делу. Я не знала, что у меня такая магическая репутация.

- И вам стало дурно? - сказал Клайм, глядя на крохотную алую ранку, как будто ему хотелось поцеловать ее и тем излечить.

- Да, я испугалась. Я так давно не была в церкви. И, наверно, еще долго не пойду, - может быть, никогда. Я не могу смотреть им в глаза после этого. Ведь правда,

это страшно унижительно? Я потом хотела умереть. Но теперь мне уже все равно.

- Я приехал сюда, чтобы вымести всю эту паутину, - сказал Ибрайт. - Не хотите ли вы мне помочь? Будете учить в старших классах. Мы можем принести здесь много пользы.

- Что-то не очень хочется. Я не слишком люблю своих ближних. Иногда почти ненавижу.

- Все-таки я думаю, если бы вы познакомились с моим планом, вы бы заинтересовались. А ненавидеть людей не стоит; уж если что ненавидеть, так то, что их сделало такими.

- Вы хотите сказать - природу? Я уже ее ненавижу. Но о ваших планах я буду рада послушать в любое время.

Теперь положение вполне определилось, и оставалось только попроситься. Клайм хорошо это понимал, да и Юстасия сделала какой-то заключительный жест; все же он смотрел на нее, словно хотел еще что-то сказать. Если бы он не жил раньше в Париже, возможно, это так и осталось бы несказанным.

- Мы уже встречались, - проговорил он наконец, глядя на нее, пожалуй, с большим интересом, чем то было необходимо.

- Я этого не признаю, - тихо и сдержанно ответила она.

- Но я могу думать, что хочу.

- Да.

- Вы одиноки здесь.

- Не выношу вереска, кроме как когда он цветет. Для меня Эгдон жестокий тюремщик.

- Да что вы! - воскликнул он. - А меня он всегда бодрит и успокаивает и придает мне силы. Если бы надо было выбирать, где жить, я бы из всех мест на земле выбрал только эти нагорья.

- Они интересны для художников, но у меня нет никаких способностей к рисованию.

- А вон там, совсем близко, - он бросил камешек в нужном направлении, есть очень любопытный друидический камень. Вы часто ходите на него смотреть?

- Я даже не знала, что тут есть такой камень. Но я знаю, что в Париже есть Бульвары.

Ибрайт задумчиво глядел в землю.

- Этим много сказано, - проговорил он.

- Да. Конечно.

- Помню, и я когда-то испытывал такую же тоску по городской суете. Пять лет в большом городе радикально это излечивают.

- Послал бы мне бог такое лекарство! А теперь, мистер Ибрайт, я должна пойти в дом перевязать свою раненую руку.

Они расстались, и Юстасия исчезла в сгущающихся сумерках. Душа ее была полна до краев. Прошлое перестало существовать, только сейчас начиналась жизнь. Клайм же далеко не сразу разобрался в своих чувствах и лишь значительно позже понял, как на него повлияло это свиданье. А сейчас, пока он шел домой, у него было лишь одно ясное ощущение - что его план теперь почему-то представляется ему в сияющем ореоле. Образ прекрасной женщины переплелся с ним.

Придя домой, он поднялся наверх, в комнату, в которой хотел устроить себе рабочий кабинет, и весь вечер занимался тем, что распаковывал книги из ящика и расставлял их на полках. Из другого ящика он достал лампу и бутылку с керосином. Он заправил лампу, разложил все нужное на столе и сказал:

- Ну вот, теперь я готов начать.

Наутро он встал рано и читал два часа до завтрака при свете своей лампы; потом читал все утро и весь день до заката. Как раз когда солнце стало садиться, он

почувствовал, что глаза у него устали, и откинулся на спинку кресла.

Из окна виден был палисадник перед домом и дальше заросшая вереском долина. Последние косые лучи низко стоящего зимнего солнца отбрасывали тень от дома на тын, на травянистую кромку пустоши и далеко в глубь долины, где тени трубы и окружающих древесных вершин вытягивались, словно длинные черные зубья. Просидев весь день над книгами, Клайм решил теперь пройтись по холмам до наступления темноты и, немедленно выйдя из дому, зашагал по вереску в сторону Мистовеера.

Прошло добрых полтора часа, прежде чем он снова появился перед садовой калиткой. Ставни в доме были заперты, и Христиан Кентл, весь день развозивший в тачке навоз по саду, ушел уже домой. Войдя, Клайм увидел, что мать, долго его дожидавшаяся, кончает ужинать.

- Где ты был, Клайм? - тотчас спросила она. - Почему не сказал мне, что уходишь в такой час?

- Я гулял по пустоши.

- Ты, пожалуй, встретишь Юстасию Вэй, если будешь ходить туда, наверх.

Клайм помолчал минуту.

- Да, я ее сегодня встретил, - проговорил он нехотя, как бы из одной необходимости быть честным.

- Я так и думала.

- Это была случайная встреча.

- Такие встречи всегда случайны.

- Надеюсь, вы не сердитесь, мама?

- Не знаю, как тебе сказать. Сержусь? Нет. Но когда я вспоминаю, что чаще всего служило той помехой, из-за которой способные люди не оправдывали возлагавшихся на них надежд, я поневоле тревожусь.

- Я должен быть благодарен вам, мама, за заботу. Но уверяю вас, в этом отношении обо мне нечего

беспокоиться.

- Когда я думаю о тебе и твоих новых фантазиях, - сказала миссис Ибрайт уже с некоторым жаром, - у меня, конечно, не может быть так спокойно на душе, как было год назад. И мне кажется прямо невероятным, что человек, навидавшийся по-настоящему обаятельных женщин в Париже и других городах, мог так легко попасть в сети какой-то девчонки из медвежьего угла. Надо было тебе выбраться на эту прогулку!

- Я целый день занимался.

- Ах да, - добавила миссис Ибрайт более спокойно, - я тут как раз думала, может, правда, ты сумеешь выдвинуться как учитель и хоть на этом поприще сделать карьеру, раз уж твое прежнее тебе ненавистно.

Ибрайту не хотелось разрушать эту мечту, хотя его собственный план был весьма непохож на те, в которых воспитание юношества рассматривается лишь как средство подняться по общественной лестнице. У него не было таких желаний. Он достиг той стадии в жизни молодого человека, когда ему становится ясна неумолимая жестокость законов, управляющих человеческой жизнью; честолюбие молчит в такие минуты. Во Франции на этом этапе нередко совершают самоубийство; в Англии мы в таких случаях показываем себя с несколько лучшей стороны, а иногда и с гораздо худшей.

Любовь между Клаймом и его матерью стала теперь до странности неприметной. О любви можно сказать, что чем она крепче, тем скрытнее. В своей абсолютно неуничтожимой форме она достигает таких глубин, что всякое проявление ее вовне становится уже мучительным. Так было и с этими двумя. Если бы кто подслушал их разговор, он бы сказал: "Как они холодны друг с другом!"

Взгляды Клайма и его желание посвятить свое будущее учительству произвели впечатление на миссис

Ибрайт. Да и как могло быть иначе, когда он был частью ее и споры их велись как бы между правой и левой рукой одного и того же тела? Он потерял надежду воздействовать на нее доводами - и вдруг, как полную неожиданность для себя, обнаружил, что может повлиять на нее неким магнетизмом, который настолько же выше слов, насколько слова выше нечленораздельных выкриков.

И, как ни странно, теперь он начинал уже чувствовать, что легче будет убедить ее, своего лучшего друга, в том, что сравнительная бедность, по существу, более высокий путь для него, чем ему самому примириться с ее согласием быть убежденной. Мать была до такой степени и так самоочевидно права со всех разумных, практических точек зрения, что он даже с какой-то болью в сердце осознал, что может ее поколебать.

Ей была в высшей степени свойственна пронизательность, своего рода проникновение в жизнь, тем более удивительное, что сама она в жизни не участвовала. Известны такие примеры: люди, не имевшие ясного представления о вещах, которые они критиковали, имели, однако, ясное представление о взаимоотношениях этих вещей. Блеклок, поэт, слепой от рождения, умел точно описывать видимые предметы; профессор Сандерсон, тоже слепец, читал превосходные лекции о цвете и объяснял другим теорию явлений, которые были им доступны, а ему нет. В практической жизни такой одаренностью отличаются чаще всего женщины; они могут следить за миром, которого никогда не видали, и оценивать силы, о которых только слышали. Мы называем это интуицией.

Как миссис Ибрайт воспринимала большой мир? Как некое множество, тенденции которого можно уловить, но не его сущность. Людские сообщества виделись ей как бы с некоторого расстояния; она видела их так, как

мы видим толпы на полотнах Саллаэрта, Ван-Альслоота и других художников той же школы, - огромные массы живых существ, которые толкаются, теснятся, делают зигзаги и все вместе движутся в определенном направлении, но чьи черты невозможно различить именно в силу широкого охвата картины.

Глядя на миссис Ибрайт, не трудно было определить, что ее жизнь, по крайней мере, до сих пор, была богата не действием, но размышлением. И природный нравственный ее склад, и его искаженность обстоятельствами были словно записаны в ее движениях. Движения ее имели величавость своей основой, хотя сами были далеко не величественны; они должны были бы выражать уверенность, но они не были уверенными. Как ее некогда упругая походка отяжелела с годами, так и ее врожденная сила жизни не смогла достичь полного расцвета, ущемленная нуждой.

Следующее легкое прикосновение пальцев, незаметно вылепливавших судьбу Клайма, произошло несколько дней спустя. На пустоши раскопали курган; Ибрайт при этом присутствовал, и его рабочая комната в тот день пустовала. Под вечер вернулся Христиан, ходивший по делу в ту же сторону, и миссис Ибрайт стала его расспрашивать.

- Вырыли ямину, миссис Ибрайт, и нашли пропасть этих штуквин, вроде опрокинутых цветочных горшков. А в середине в них мертвячьи кости. И многие брали эти горшки и уносили к себе; ну, а я ни в жизнь не стал бы спать там, где они стоят; мертвецы-то, бывает, приходят и требуют свое назад. Мистер Ибрайт тоже взял один такой горшочек с костями, домой хотел отнести, настоящие человечьи кости! - да, видно, не суждено ему было, передумал в конце концов, да все и отдал, и горшок и кости. И слава богу, миссис Ибрайт, так-то вам поспокойнее будет, а то ведь страх какой,

мертвечина в доме, а у вас тут еще и ветер ночью как-то воет не по-хорошему.

- Все отдал?

- Да. Подарил мисс Вэй. У нее, видать, пристрастие какое-то, людоедское прямо, ко всей этой кладбищенской посуде.

- Мисс Вэй тоже там была?

- Да, кажись, и она была.

Когда вскоре после этого Клайм пришел домой, мать сказала ему каким-то необычным тоном:

- Ты взял урну для меня, а отдал другой.

Клайм ничего не ответил - слишком отчетливое чувство, прозвучавшее в этих словах, не допускало ответа.

Одна за другой проходили первые недели нового года. Ибрайт много занимался дома, но также и много гулял, всякий раз беря направление на какую-нибудь точку в линии, соединяющей Мистовер и Дождевой курган.

Пришел наконец март месяц, и всюду на пустоши стали заметны первые слабые признаки пробуждения от зимнего сна. Пробуждение это совершалось медленно и незаметно, словно бы подкрадывалось по-кошачьи. Пруд возле капитанской усадьбы оставался немым и мертвым для тех, кто, придя на его берег, двигался или производил шум; но стоило постоять там тихо и молча, и в воде замечалось большое оживление. Робкий животный мир возвращался на лето к жизни. Крошечные головастики и тритоны уже начали пускать пузырьки и быстро носиться под водой; жабы издавали звуки, похожие на попискивание недавно вылупившихся утят, и по двое и по трое выползали на берег; а над головой в гаснущем свете дня то и дело пролетали шмели, и гуденье их то усиливалось, то ослабевало, как удары в гонг.

В один из таких вечеров Ибрайт спускался в долину БлумсЭнда, простояв перед тем вместе с одной особой возле этого самого пруда достаточно тихо и достаточно долго для того, чтобы расслышать все это мелкое шевеленье воскресающей природы; однако он его не слышал. Спускаясь с холма, он шел быстро, упругой поступью. Перед домом матери остановился и перевел дух. В свете, падавшем из окна, видно было, что лицо его покраснелось и глаза сияют. Но одного нельзя было увидеть, - того, что он ощущал у себя на губах, словно положенную на них печать. И это ощущение было так реально, что он не решался войти в дом, - ему казалось, что мать тотчас спросит: "Что это за красное пятно так ярко горит у тебя на губах?"

Но вскоре он все-таки вошел. Чай был готов, и Клайм сел за стол напротив матери. Мать только скупо проронила несколько слов, а ему самому что-то недавно происшедшее на холме и слова, при этом произнесенные, не давали начать ничего не значащую болтовню. В молчанье матери, пожалуй, даже таилась угроза, но его это, по-видимому, не трогало. Он знал, почему она так скупа на слова, но не мог устранить причину ее недовольства. Такое молчаливое сидение за столом в последнее время стало входить у них в привычку. Наконец Ибрайт заговорил: он сделал попытку копнуть под самый корень.

- Вот уже пять дней, - сказал он, - как мы так вот сидим за трапезами, почти не раскрывая рта. Какой в этом толк, мама?

- Никакого, - ответила она удрученно. - Но причина для этого есть, и очень серьезная.

- Ее не станет, когда вы все узнаете. Я давно хотел поговорить с вами и рад, что время наконец пришло. Причина, конечно, в Юстасии Вэй. Да, признаюсь, я только что виделся с ней и до того еще много раз.

-- Да, я понимаю, что все это значит. И это меня очень беспокоит, Клайм. Ты губишь себя, и все из-за нее. Не будь этой женщины, ты не стал бы затевать всю эту историю с учительством.

Клайм в упор посмотрел на мать.

- Вы сами знаете, что это не так.

- Да, да, я знаю, у тебя были такие намерения еще раньше, чем ты ее увидел, но они так бы и остались только намерениями. Об этом приятно разговаривать, осуществлять смешно. Я была уверена, что через месяц-другой ты увидел бы всю нелепость такого самопожертвования и сейчас уже был бы в Париже на какой-нибудь должности. Я могу понять твои возражения против ювелирного дела, - может, и правда оно не подходит для такого человека, как ты, даже если бы и могло сделать тебя миллионером. Но теперь, когда я вижу, как ты ошибаешься в этой девушке, я уж не знаю, можешь ли ты хоть о чем-нибудь судить здраво.

- Как я ошибаюсь в ней?

- Она ленива и вечно всем недовольна. Но дело не только в этом. Пусть даже она само совершенство, чего, конечно, нет, но зачем тебе сейчас понадобилось себя связывать?

- Есть практические соображения, - начал Клайм и остановился, словно вдруг ощутив на себе тяжесть всех веских доводов, которые можно было на него обрушить.
- Если я открою школу, образованная жена будет для меня неоценимой помощницей.

- Да ты что, в самом деле думаешь на ней жениться?..

- Ну, так твердо говорить об этом еще преждевременно. Но посудите сами, какую выгоду это может мне принести. Она...

- Ты только не думай, что у нее есть деньги. Гроша ломаного нет за душой.

- Она прекрасно воспитана, из нее выйдет отличная заведующая хозяйством в закрытой школе. Скажу вам откровенно, я несколько изменил свои планы из уважения к вам; думаю, вы будете довольны. Я больше не держусь за прежнее свое намерение - из собственных уст преподавать начатки знания людям самого бедного круга. Я могу добиться большего. Могу открыть хорошую частную школу для сыновей фермеров и, не отрываясь от занятий, выдержать экзамены. Этим способом и с помощью такой жены, как она...

- О, Клайм!

- Я надеюсь со временем оказаться во главе одной из лучших школ нашего графства.

Ибрайт произнес слово "она" с таким жаром, который в разговоре с матерью был до нелепости нескромным. Едва ли хоть одно материнское сердце по сю сторону четырех морей могло бы спокойно принять такое несвоевременное проявление чувств к другой женщине, только еще вступающей в жизнь сына.

- Ты ослеплен, Клайм, - сказала она с горячностью. - Недобрый это был день, когда она впервые попала тебе на глаза. И весь твой план - это только воздушный замок, который ты нарочно строишь, чтобы оправдать охватившее тебя безумие и успокоить совесть, все-таки встревоженную нелепым положением, в которое ты себя поставил.

- Мама, это неправда, - твердо ответил он.

- И ты можешь утверждать, что я вот сижу и говорю тебе ложь, когда единственное, чего я хочу, это спасти тебя от горя? Стыдись, Клайм! И все из-за этой женщины - этой потаскушки!

Клайм покраснел до корней волос и встал. Он положил руку на плечо матери и произнес голосом, который странно колебался на грани между мольбой и приказанием:

- Я не хочу это слышать. Иначе я могу ответить вам так, что мы оба потом пожалеем.

Его мать раскрыла губы, собираясь изложить еще какую-то гневную истину, но, глянув ему в лицо, увидела там что-то, что заставило ее проглотить свои слова. Клайм прошелся раз-другой по комнате, потом внезапно вышел из дому. Вернулся он только в одиннадцать часов, хотя не выходил за пределы сада. Мать уже легла. На столе горела лампа и стоял ужин. Не прикоснувшись к еде, Клайм запер на болты все двери и ушел к себе наверх.

ГЛАВА IV

ОДИН ЧАС БЛАЖЕНСТВА И СТО ПЕЧАЛИ

На другой день в Блумс-Энде царил мрак. Ибрайт все время сидел у себя наверху над книгами, но результат его трудов был ничтожно мал. Решив, что в его поведении с матерью не должно быть ничего похожего на враждебность, он несколько раз заговаривал с ней о каких-нибудь домашних делах и не обращал внимания на краткость ее ответов. Поддерживая ту же видимость непринужденного разговора, он сказал ей под вечер около семи часов:

- Сегодня будет затмение луны. Пойду погляжу.

И, надев куртку, вышел.

Луна стояла низко, и от дома ее не было видно; Клайм поднялся по склону долины, пока лунный свет не озарил его всего. Но и тут он не остановился, а продолжал идти по направлению к Дождевому кургану.

Через полчаса он стоял на его вершине. Небо было чисто из края в край, и луна заливала светом всю пустошь, но не делала ее заметно светлее, кроме тех мест, где протоптанные тропинки и весенние ручьи обнажили кремневую гальку и сверкающий кварцевый песок, - это были полосы света среди общей тени. Постояв немного, Клайм нагнулся и пощупал вереск. Он был сухой; Клайм растянулся на кургане лицом к луне, и

она тотчас нарисовала в каждом его глазу свое крохотное изображение.

Он часто ходил сюда, не объясняя матери зачем; но сегодня впервые он дал ей объяснение, как будто откровенное, а на самом деле скрывающее его истинную цель. Три месяца тому назад он бы, пожалуй, не поверил, что будет способен на такую двуличность. Возвращаясь на родину, чтобы трудиться в этом уединенном месте, он предвкушал освобождение от раздражающих общественных условностей; а гляди-ка, они были и здесь. В эту минуту еще больше, чем всегда, он жаждал перенестись в какой-нибудь другой мир, не такой, как наш, где личное честолюбие - единственная признанная форма прогресса, но такой, какой, быть может, существовал когда-то на серебряном шаре, сейчас висящем у него над головой. Он проходил взором вдоль и поперек по этой дальней стране - по заливу Радуг, мрачному Морю Кризисов, Океану Бурь, Озеру Снов, обширным циркам и удивительным кратерам, - пока ему не стало мерещиться, будто он и в самом деле путешествует на луне среди этих диких ландшафтов, стоит на ее полых внутри горах, пробирается по ее пустыням, спускается в ее долины и на высохшее дно ее морей, восходит на края ее потухших вулканов.

Пока он созерцал этот бесконечно удаленный пейзаж, на нижнем крае луны возникло коричневатое пятно: затмение началось. Для Клайма это был заранее условленный момент, ибо небесное явление было поставлено на службу подлунным надобностям и стало сигналом для любовников. Сознание Ибрайта мгновенно вернулось на землю, он встал, отряхнулся и прислушался. Прошла минута, другая, может быть, десять, - тень на луне заметно расширилась. Он услышал слева шелест, закутанная фигура с поднятым кверху лицом показалась у подножья кургана. Клайм

сбежал вниз - и через мгновение пришедшая была в его объятьях и его губы на ее губах.

- Моя Юстасия!

- Клайм, дорогой мой!

Меньше трех месяцев понадобилось, чтобы привести к такому финалу.

Они долго стояли молча, ибо никакой язык не мог быть на уровне того, что они чувствовали; слова были как кремневые орудия давно прошедшей варварской эпохи, употреблять их можно было только изредка.

- Я уж стал удивляться, почему ты не идешь, - сказал Ибрайт, когда она слегка высвободилась из его объятий.

- Ты сказал, через десять минут после того, как тень впервые появится на краю луны; сейчас как раз столько и прошло.

- Ну хорошо, будем думать только о том, что мы наконец вместе.

И, держась за руки, они опять умолкли, а тень на лунном диске стала еще немного шире.

- Тебе долго показалось с тех пор, как ты меня в последний раз видел?

- Мне грустно показалось.

- Но не долго? Это потому, что ты занят, ну и не замечаешь моего отсутствия. А мне делать нечего, и я все это время как будто жила в стоячей воде.

- Я скорее согласен терпеть скуку, дорогая, чем сокращать время такими средствами, как было у меня на этот раз.

- А какими это? Ты думал о том, что не хочешь любить меня?

- Разве может человек не хотеть и все-таки любить? Нет, Юстасия.

- Мужчины могут, женщины - нет.

- Ну, что бы я там ни думал, ясно одно - я люблю тебя больше всего на свете. Люблю до того, что это

даже гнетет меня, - это я-то, у которого до сих пор не было с женщинами ничего, кроме приятных и мимолетных увлечений! Дай мне посмотреть на твое озаренное луной лицо, взглядеться в каждую его черту, в каждый изгиб! Всего на волосок отличаются они от черт и изгибов на других женских лицах, которые я видел много раз, прежде чем узнал тебя, - и, однако, какая разница! Все и ничто не больше разнятся меж собой. Еще раз коснуться этих губ! Вот, вот и вот! У тебя веки отяжелели - ты плакала, Юстасия?

- Нет, они у меня всегда такие. Должно быть, оттого, что я иногда так ужасно жалею себя - зачем только я родилась на свет.

- Но сейчас не жалеешь?

- Нет. И все же я знаю, что мы не вечно будем так любить. Любовь не удержишь никакими силами. Она испарится, как дух, - и поэтому я полна страха.

- Напрасно.

- Ах, ты не знаешь. Ты видел больше, чем я, ты бывал в городах и среди людей, о которых я только слыхала, ты дольше прожил, но в этих делах я старше тебя. Я уже однажды любила - другого мужчину, а теперь вот люблю тебя.

- Ради бога, не говори так, Юстасия.

- Но вряд ли я первая разлюблю. Боюсь, все кончится так: твоя мать узнает, что мы встречаемся, и будет настраивать тебя против меня.

- Не может этого быть. Она уже знает о наших встречах.

- И осуждает меня, конечно?

- Я не хочу об этом говорить.

- Ну, и уходи. Повинуйся ей. Я тебя погублю. Очень неосторожно с твоей стороны встречаться со мной. Поцелуй меня и уходи навсегда. Навсегда слышишь?

- Ну уж нет.

- Это твой единственный шанс. Для многих мужчин любовь была проклятием.

- Ты сразу падаешь духом, придумываешь всякие страхи и ничего не хочешь слушать, а ведь ты просто неправильно поняла. Помимо любви, у меня была еще добавочная причина повидать тебя сегодня. Хотя я, не в пример тебе, верю, что наша любовь будет вечной, все же я согласен с тобой в том, что нынешний наш образ жизни продолжаться не может.

- Вот-вот, это влияние твоей матери! Да, вот это что такое. Я знала.

- Да не важно, что это такое. Ты поверь только одному: что я не в силах тебя потерять. Я хочу, чтобы ты всегда была со мной. Даже вот сейчас мне больно отпускать тебя. И от этой боли есть только одно средство: надо, чтобы ты стала моей женой.

Она вздрогнула, потом постаралась произнести спокойным голосом:

- Циники говорят - это средство излечивает от боли, потому что излечивает от любви.

- Но ты мне не ответила. Могу я как-нибудь на днях - я не говорю сейчас - посвататься к тебе?

- Я должна подумать, - тихо проговорила Юстасия. - А сейчас расскажи мне о Париже. Есть ли другой такой город на свете?

- Он очень красив. Но скажи, ты будешь моей?

- Я больше ничьей не буду - этого тебе довольно?

- Да, пока.

- А теперь расскажи мне о Тюильри и Лувре, - уклончиво продолжала она.

- Не люблю говорить о Париже! Ну, ладно. В Лувре, помню, есть комната, которая тебе очень бы подошла, - это галерея Аполлона. Окна там почти все на восток, и ранним утром, когда солнце особенно ярко, она вся горит и сверкает. Лучи ударяют в золотые инкрустации, крохотными пучками молний отлетают на выложенные

мозаикой великолепные лари, от ларей - на золотую и серебряную посуду, от посуды - на украшения и драгоценные камни, от них - на эмали, - в воздухе повисает настоящая сеть блесков, которая прямо-таки слепит глаза. Но я хотел сказать насчет нашей женитьбы...

- А Версаль? Королевская галерея, наверно, не менее роскошная комната?

- Да. Но что толку говорить о роскошных комнатах? Кстати, в Малом Трианоне нам с тобой было бы очень недурно пожить. Ты могла бы гулять в садах при луне и воображать, что ты в Англии, - сады там разбиты на английский манер.

- Да я совсем не хочу это воображать!

- Ну, тогда ты могла бы держаться лужайки перед Большим дворцом. Там все говорит о прошлом, ты чувствовала бы себя как в историческом романе.

Все это было ново для нее, и он, продолжая рассказывать, описал Фонтенебло, Сен-Клу, Булонский лес и другие излюбленные парижанами места прогулок; наконец она спросила:

- Когда же ты посещал все эти места?

- По воскресеньям.

- Ах да, правда. Я ненавижу английские воскресенья. А тамошние обычаи были бы как раз по мне! Дорогой Клайм, ты ведь опять туда уедешь?

Клайм покачал головой и поглядел на затмение.

- Если ты поедешь опять туда, я стану тем... чем ты хочешь, - нежно проговорила она, прислоняясь головой к его плечу. - Скажи, что поедешь, и я сейчас же дам согласие и минуты тебя ждать не заставлю.

- Вот удивительно, - сказал Ибрайт, - и ты, и моя мать тут сошлись во мнениях! Но я поклялся не возвращаться туда, Юстасия. Не город этот я ненавижу, а свое занятие.

- Но ты мог бы поехать в каком-нибудь другом качестве.

- Нет. И, кроме того, это бы помешало моим планам. Не настаивай на этом, Юстасия. Ты выйдешь за меня, скажи?

- Не знаю.

- Ну что тебе так дался Париж, он не лучше других мест. Обещай мне, милая!

- Я уверена, что план этот в конце концов тебе надоест, и ты его бросишь, и тогда уже все будет в порядке; так что хорошо, я обещаю быть твоей - теперь и навсегда.

Клайм мягким нажимом руки повернул к себе ее лицо и поцеловал.

- Ах, но ты не знаешь, что ты получишь, женись на мне, - сказала она. Иногда мне думается, что в Юстасии Вэй нет того материала, из которого делают этаких добротных домотканых жен. Ну, да не будем думать об этом смотри, как наше время бежит, бежит, бежит! - Она показала на уже наполовину затемненную луну.

- Ты слишком мрачно смотришь на вещи.

- Нет. Я только боюсь думать о чем-нибудь за пределами настоящего. Что есть, мы знаем. Сейчас мы вместе, а вот долго ли так будет, кто может это сказать? Неизвестное всегда чудится мне полным угрозы, даже когда, казалось бы, можно ожидать только хорошего... Клайм, в этом пригашенном свете лицо у тебя стало какое-то необычное, оно как будто отлито из золота. Это означает, что ты способен на большее, чем все твои планы.

- Ты честолюбива, Юстасия, - нет, не честолюбива, а ты любишь роскошь. И чтобы сделать тебя счастливой, пожалуй, и мне следовало бы иметь такие же вкусы. А я как раз наоборот - готов запереться здесь, в глухом углу, была бы только у меня настоящая работа.

В голосе его была нерешительность, как будто на него вдруг нашло сомнение, прав ли он в своей позиции нетерпеливого любовника, честно ли он поступает по отношению к той, чьи вкусы и склонности так редко и в столь немногом совпадают с его собственными. Она поняла его мысль и прошептала тихо и выразительно, вкладывая горячую убежденность в свои слова.

- Ты только не пойми меня дурно, Клайм; хоть мне и нравится Париж, но тебя я люблю ради тебя самого. Быть твоей женой и жить в Париже - это был бы рай, но лучше жить с тобой здесь, в глухом углу, чем вовсе не быть твоей. Хоть так, хоть сяк, для меня это выигрыш, и даже очень большой. Вот тебе мое, быть может, излишне откровенное признание.

- Сказано чисто по-женски. А теперь мне придется скоро тебя покинуть. Пойдем, я провожу тебя до дому.

- Разве тебе уже пора? - спросила она. - Ах да, вижу, песок почти уже весь просыпался, и тень все больше съедает лупу. Не уходи еще! Подождем, пока истечет час, тогда я уж не стану тебя удерживать. Ты уйдешь домой и будешь спать крепко, а я все вздыхаю во сне. Я тебе снилась когда-нибудь?

- Ясного такого сна не припомню.

- Я вижу твое лицо среди образов каждого сна, я слышу твой голос в каждом звуке. Это нехорошо. Это значит - я слишком сильно чувствую. Такая любовь, говорят, не живет долго. Но как это может быть? А впрочем, помню, как-то в Бедмуте я увидела на улице гусарского офицера, он ехал верхом, и хотя я его совсем не знала и он даже никогда не говорил со мной, я так влюбилась в него, что, думала, умру от любви, - но я не умерла и спустя время вовсе перестала о нем думать. Как ужасно, если придет день, когда я смогу не любить тебя, мой Клайм!

- Пожалуйста, не говори таких нелепостей. Когда мы увидим, что близится такое время, мы скажем: "Я

пережил свою веру и свое предназначение", - и умрем. Ну вот, час истек, идти пора.

Рука об руку они шли по тропинке к МистOVERу. Возле дома Клайм сказал:

- Сегодня мне уже поздно заходить к твоему дедушке. Как ты думаешь, он будет против?

- Я поговорю с ним. Я так привыкла быть сама себе госпожой, мне и в голову не пришло, что надо будет его спросить.

После долгих прощаний они расстались, и Клайм стал спускаться в сторону Блумс-Энда.

И по мере того как он все дальше уходил от очарованной атмосферы, окружавшей его олимпийскую возлюбленную, его лицо становилось все печальнее уже каким-то другим оттенком печали. Сознание невероятно трудного положения, в которое его поставила любовь, снова нахлынуло на него. Несмотря на видимую готовность Юстасии мириться с сомнительными удовольствиями длительной помолвки и терпеливо издать, пока он не утвердится на новом поприще, он не мог, конечно, минутами не замечать, что она любит в нем скорее пришельца из веселого мира, к которому сама по праву принадлежала, чем человека, поставившего себе цель, прямо противоположную тому недавнему прошлому, которое так интересовало ее. Часто во время их встреч у нее вырывался вздох или слово сожаления, и нетрудно было понять, что хотя она и не ставит условием возвращение своего будущего мужа во французскую столицу, но именно об этом она втайне мечтает; и это портило ему многие в остальном приятные часы. А вдобавок ко всему - еще углубляющийся разлад между ним и матерью. Всякий раз, как какое-нибудь мелкое происшествие делало для него еще более ощутимым то горе, которое он ей причинял, он уходил из дому и долго в угрюмом

одиночестве бродил по пустоши, а ночью душевная смута на многие часы лишала его сна.

Если б только как-нибудь заставить мать увидеть, насколько здоровым и практичным был его план и как мало его привязанность к Юстасии влияла на все его намерения, - о, тогда она совсем иначе стала бы на него смотреть!

Таким образом, когда его глаза немного привыкли к слепящему сиянию, зажженному вокруг него любовью и красотой, Ибрайт начал различать, в какие он попал тиски. Иногда он даже думал, что лучше было бы ему никогда не встречать Юстасию, и тут же отвергал эту мысль как бесчеловечную. Три враждебных друг другу элемента он должен был питать и поддерживать: доверие матери к нему, свой план стать учителем и счастье Юстасии. Страстная натура не позволяла ему отказаться ни от одного из них, хотя два из трех - это самое большее, что он мог надеяться сохранить. Любовь его была столь же целомудренна, как любовь Петрарки к Лауре, однако она превратила в кандалы то, что вначале было всего лишь затруднением. Положение, и без того не слишком простое, даже пока в игре участвовал один Клайм, неописуемо усложнилось добавлением Юстасии. Как раз когда мать Клайма уже начала примиряться с одной его затеей, он вдруг завел вторую, еще хуже первой, и этой комбинации его мать не стерпела.

ГЛАВА V

ОНИ ОБМЕНИВАЮТСЯ РЕЗКИМИ СЛОВАМИ, И ДЕЛО ДОХОДИТ ДО РАЗРЫВА

Все время, что Ибрайт был не с Юстасией, он сидел, не разгибаясь, над книгами; когда он не читал, он был с нею. Свои свидания они облекали строжайшей тайной.

Однажды его мать вернулась домой после утреннего посещения Томазин. По ее изменившемуся лицу он понял, что что-то случилось.

- Я слышала там очень странную вещь, - мрачно сказала она. - Капитан говорил в гостинице, что ты женишься на Юстасии Вэй.

- Это верно, - сказал Ибрайт. - Но до свадьбы нам, пожалуй, придется ждать еще очень долго.

- Сомневаюсь, чтобы вы стали ждать очень долго! Ты, очевидно, возьмешь ее в Париж? - Голос ее звучал устало и безнадежно.

- Я не вернусь в Париж.

- А здесь что ты будешь делать с женой на шее?

- Открою школу в Бедмуте, как и собирался.

- Но это же вздор! Там учителей хоть пруд пруди. А у тебя даже нет специального образования. Чего там можно достичь при таких условиях?

- Разбогатеть нельзя. Но с моим методом обучения, который столь же нов, как и правилен, я могу принести большую пользу своим ближним.

- Мечты, мечты! Когда бы можно было изобрести еще новый метод, его бы давным-давно изобрели в университетах.

- Нет, мама. Они не могут его изобрести, потому что не соприкасаются с людьми, для которых такой метод нужен, - то есть с теми, кто не получил начального образования. А я поставил себе целью внести серьезные знания в пустые головы, не забывая их сперва тем, что потом все равно придется вымести, прежде чем начинать настоящее ученье.

- Я бы могла тебе поверить, если бы ты сохранил свободу и не взваливал на себя такую обузу, но эта особа... Будь еще она порядочной девушкой, и то бы хорошего мало, но она...

- Она порядочная девушка.

- Ах, это ты так думаешь. Дочь иностранца-капельмейстера! Какую жизнь она вела? Даже фамилия у нее и та не настоящая.

- Она внучка капитана Вэя, и ее отец просто принял фамилию ее матери. И она благовоспитанна от природы.

- Его тут капитаном называют, но по нынешним временам всякий - капитан.

- Он служил в королевском флоте!

- Ну да, плавал по морю в каком-то корыте. А почему он за ней не смотрит? Благовоспитанная девушка не станет гонять по пустоши в любой час дня и ночи. Но и это еще не все. Одно время у нее что-то было с мужем Томазин, - я уверена, голову даю на отсечение.

- Да, Юстасия мне рассказала. Год назад он за ней немного ухаживал, но что в этом плохого? Я ее тем больше люблю.

- Клайм, - сказала его мать с твердостью, - у меня, к несчастью, нет доказательств. Но если она будет тебе хорошей женой - ну, значит, плохих вообще на свете нет.

- Мама, с вами, честное слово, можно в отчаяние прийти, - раздраженно воскликнул Клайм. - А я как раз сегодня хотел устроить вам встречу с ней. Но вы мне покою не даете, каждому моему желанью идете наперекор.

- Мне больно думать, что мой сын женится бог знает на ком! И зачем только я до этого дожила... Нет, это слишком, я этого не вынесу!

Она отвернулась к окну. Дыханье ее участилось, губы раскрылись и дрожали.

- Мама, - сказал Клайм, - что бы вы ни сделали, вы всегда будете дороги мне - это вы знаете. Но одно я имею право сказать: я достаточно взрослый и сам знаю, что для меня лучше.

Миссис Ибрайт некоторое время стояла молча и вся дрожала, как бы не в силах вымолвить слово. Затем она ответила:

- Лучше? Разве это лучше для тебя - губить свое будущее ради такой сластолюбивой бездельницы? Самый твой выбор доказывает, что ты не знаешь, что для тебя лучше. Ты отрекаешься от всех своих мыслей, всю свою душу предаешь - в угоду женщине.

- Да. И эта женщина - вы.

- Как можешь ты так дерзить мне, - сказала его мать, вновь поворачиваясь к нему с глазами, полными слез. - Ты бесчеловечен, Клайм, я от тебя не ожидала.

- Весьма вероятно, - невесело ответил он. - Вы не знали, какую мерю вы мне мерите, а потому не знали и того, какой мерой вам самой будет отмерено.

- Ты отвечаешь мне, а думаешь только о ней. Ты во всем за нее.

- Значит, она этого достойна. Я никогда не поддерживал того, что дурно. И я забочусь не только о ней, я забочусь о себе, и о вас, и о том, чтобы все было хорошо. Но когда женщина невзлюбит другую, она безжалостна!

- Ох, Клайм, не старайся переложить на меня вину в твоём собственном слепом упрямстве. Если уж ты хотел связаться с недостойной, зачем было для этого приезжать домой? Сделал бы это в Париже, там оно более принято. А ты приехал сюда - мучить меня, одинокую женщину, и раньше времени свести меня в могилу! Зачем вообще ты здесь? Уж там бы и был, где твоя любовь!

Клайм хрипло проговорил:

- Вы моя мать. И больше я ничего не скажу - я только прошу прощенья за то, что считал этот дом своим. Не буду дольше навязывать вам свое присутствие; я уеду. - И он вышел со слезами на глазах.

Был солнечный день в начале лета, и вереск во влажных лощинах уже перешел из коричневой стадии в зеленую. Ибрайт дошел до верхнего края впадины, образованной склонами, спускавшимися от Мистовера и

Дождевого кургана. К этому времени он успокоился и теперь оглядывал открывавшийся оттуда вид. В более мелких ложбинах меж пригорков, разнообразивших очертания большой долины, буйно разрослись свежие молодые папоротники - позже летом они достигнут высоты в пять или шесть футов.

Клайм немного спустился по склону, бросился на землю там, где из одной лощины выбегала тропка, и стал ждать. Сюда он обещал Юстасии привести свою мать, чтобы они могли сегодня встретиться и подружиться. Но эта попытка кончилась неудачей.

Он лежал в ярко-зеленом гнездышке. Папоротники вокруг него, хотя и обильные, были на редкость однообразны - целая роща машинным способом нарезанной листвы, мир зеленых треугольников с зубчатыми краями - и ни единого цветка. Воздух был тепл и влажен, как в парильне, тишина стояла немая. Из всех живых тварей только ящерицы, кузнечики да муравьи попадались здесь на глаза. Казалось, это древний мир каменноугольного периода, когда растительных форм было немного, да и те все споровые - папоротники и хвощи, и нигде ни бутона, ни цветочка, только однообразный лиственный покров, в котором не пела ни одна птица.

После того как Ибрайт пролежал там несколько времени в мрачном раздумье, слева над вершинами папоротников проплыла белая шелковая шляпка и он мгновенно и безошибочно определил, что она покрывает голову его любимой. Сердце его востепенулось, радостное тепло охватило его всего, он вскочил на ноги и громко воскликнул:

- Я знал, что она непременно придет!

На минуту она скрылась в овражке, затем из чащи выступила вся ее фигура.

- Ты один? - протянула она разочарованным тоном, неискренность которого тут же выдал вспыхнувший на

ее щеках, румянец и слегка виноватый смешок. - А где же миссис Ибрайт?

- Она не пришла, - глухо ответил он.

- Жаль, я не знала, что мы будем одни, - сказала она серьезно, - что нам предстоит такой приятный, беззаботный вечер. Ведь удовольствие, о котором не знаешь заранее, наполовину пропадает, а если его предвкушаешь, оно удваивается. Я за весь день ни разу не подумала, что ты сегодня будешь весь мой. А уж когда что-нибудь наступило, оно так скоро проходит!

- Да, очень скоро.

- Бедный Клайм! - продолжала она, нежно заглядывая ему в лицо. - Ты такой грустный. Что-то случилось у тебя дома. А ты не вспоминай. Не важно, что есть, будем радоваться тому, что кажется.

- Но, милая, что же мы будем делать? - спросил он.

- А то же, что и до сих пор - жить от встречи до встречи и не думать о завтрашнем дне. Я знаю, ты всегда об этом думаешь, я вижу. Но не надо, Клайм, дорогой. Хорошо?

- Ты, право, как все женщины. Они рады построить свою жизнь на любом случайно подвернувшемся обстоятельстве. А мужчины готовы земной шар заново сотворить, чтоб он был им по вкусу. Послушай, Юстасия. Есть один вопрос, который я твердо решил больше не откладывать. Твои рассуждения о мудрости *Care diem* {Лови момент (лат.).} на меня сегодня не действуют. Дело вот в чем: наш теперешний образ жизни скоро придется прекратить.

- Это все твоя мать!

- Да. Не подумай, что я стал меньше любить тебя, раз заговорил об этом. Но ты все-таки должна знать.

- Я боялась своего счастья, - беззвучно, одними губами, сказала она. Слишком оно было острым и всепоглощающим.

- Да ведь у нас же все впереди. Во мне еще сил на сорок лет работы, почему же ты отчаиваешься? Сейчас это у меня просто крутой поворот. Но люди, к сожалению, слишком склонны думать, что двигаться вперед можно только по прямой.

- Ну это ты уж пускаешься в философию... Да, конечно, эти препятствия, такие огорчительные и непреодолимые... но в известном смысле их можно приветствовать. Потому что они позволяют нам равнодушно смотреть на те жестокие шутки, которыми любит забавляться судьба. Бывало ведь, - я слышала, - что люди, которым вдруг выпадало очень большое счастье, даже умирали от страха, что не доживут до того, чтобы им насладиться. И меня в последнее время одолевали порой такие же страхи... Но теперь этого уже не будет. Пойдем пройдемся.

Клайм взял ее за руку, с которой она уже заранее сняла перчатку - они любили гулять так, рука в руке, - и повел ее сквозь заросли папоротников. Они представляли собой совершенную картину любви в полном расцвете, когда шли в этот предвечерний час по долине и солнце садилось справа, отбрасывая их тонкие призрачные тени, длинные, как тополя, далеко влево на заросли папоротника и дрока. Юстасия шла, закинув голову, с ликующим и чувственным блеском в глазах, торжествуя свою победу, - одна, без всякой помощи, она сумела завоевать мужчину, который во всем был ее идеальной парой - по воспитанию, внешности и возрасту. А у него бледность, вывезенная им из Парижа, и ранние отметки времени и мысли на его лице были сейчас менее заметны, чем когда он только что приехал, и прирожденное здоровье, энергия и крепость сложения снова хоть отчасти восстановились в правах.

Так шли они все вперед, пока не достигли низменного края вересковой пустоши, где почва становилась топкой и дальше переходила в трясины.

- Отсюда я уж пойду одна, Клайм, - сказала Юстасия. Они стояли молча, готовясь проститься друг с другом. Все

перед ними было плоским. Солнце лежало на линии горизонта и струило лучи вдоль по земле, выглядывая из-под медно-красных и фиолетовых облаков, плоско протянутых над землей под огромным бледным нежно-зеленым небом. Все темные предметы, видимые по направлению к солнцу, были окутаны пурпурной дымкой, и на ней странно высвечивались тучки ноющих комаров, взвивавшихся вверх и плясавших, как огненные искры.

- Ох, эти расставанья, - нет, это слишком тяжело! - воскликнула вдруг прерывистым шепотом Юстасия. - Твоя мать будет влиять на тебя, обо мне не смогут судить беспристрастно, пойдут слухи, что я дурно веду себя, да еще и эту историю с колдовством припутают, чтобы меня очернить!

- Не могут. Никто не смеет неуважительно говорить о тебе или обо мне.

- Ах, как бы я хотела иметь уверенность, что никогда тебя не потеряю, что ты уж никак-никак не сможешь меня бросить!

Клайм помолчал. Чувства в нем кипели, минута была горячая - и он разрубил узел.

- У тебя будет такая уверенность, дорогая, - сказал он, сжимая ее в объятьях. - Мы немедленно поженимся.

- О, Клайм!

- Ты согласна?

- Если... если это возможно.

- Конечно, возможно, мы оба совершеннолетние. И я не зря занимался столько лет своим ремеслом, подкопил кое-что. А если ты согласишься пожить в маленьком домике где-нибудь на пустоши, пока я не сниму в Бедмуте дом под школу, все это обойдется нам совсем недорого.

- А долго ли придется жить в маленьком домике, Клайм? Примерно полгода. За это время я подготовлюсь к экзаменам, - да, так мы и сделаем, и всем этим терзаниям придет конец. Мы, разумеется, будем жить в полном уединении, и для внешнего мира наша брачная жизнь начнется, только когда мы снимем дом в Бедмуте, куда я уже написал по этому поводу. Как твой дедушка - позволит он тебе?

- Думаю, что да, - при условии, что это будет не дольше чем полгода.

- За это я ручаюсь, если не стряется какой-нибудь беды.

- Если не стряется какой-нибудь беды, - медленно повторила она.

- Но это маловероятно. Так назначь же день, дорогая.

Они обсудили этот вопрос, и день был выбран. Через две недели от сегодняшнего.

На том кончилась их беседа, и Юстасия ушла. Клайм смотрел ей вслед, пока она удалялась по направлению к солнцу. Светящаяся дымка все плотнее окутывала ее по мере того, как возрастало расстояние, и шелест ее платья по молодой осоке и травам скоро затих вдали. Следя за ней глазами, Клайм почувствовал, что его давит мертвая плоскостность этого ландшафта, хотя одновременно он живо воспринимал всю прелесть незапятнанной раннелетней зелени, в которую сейчас ненадолго облеклась каждая былинка. Но было что-то в этой гнетущей горизонтальности, что слишком напоминало ему об арене жизни, вызывало ощущение полнейшего равенства с любой самой малой частицей жизни на земле - именно голого равенства без тени превосходства.

Теперь Юстасия уже не была для него богиней - она была женщиной, существом, за которое можно было сражаться и претерпевать удары, которое нужно было

поддерживать и оберегать. Сейчас, несколько уже остыв, он предпочел бы не столь скоропалительную женитьбу, но карты были брошены, и он решил продолжать игру. Пополнит ли Юстасия собой список тех, кто любит слишком горячо, чтобы любить хорошо и долго, это скоро выяснится: грядущее событие - надежная проверка.

ГЛАВА VI

ИБРАЙТ УХОДИТ, И ЭТО УЖЕ ПОЛНЫЙ ЕГО РАЗРЫВ С МАТЕРЬЮ

Весь этот вечер резкие звуки, говорившие о торопливой укладке, доносились из комнаты Клайма до слуха его матери, сидевшей внапсу.

Наутро он вышел из дому и снова углубился в вересковую пустошь. Ему предстоял долгий путь - на весь день ходьбы, так как его целью было обеспечить себе жилище, куда он мог бы взять Юстасию, когда она станет его женой. Такой дом - маленький, уединенный, с заколоченными окнами - он случайно заметил месяц тому назад близ деревни, отстоявшей миль на пять от Блумс-Энда, и туда он нынче направил свои стопы.

Погода была совсем другая, чем накануне. Желтый и влажный закат, своими туманами скрывший Юстасию от его прощального взгляда, предвещал перемену. И сейчас был один из тех дней, какие нередко выдаются в Англии в июне и не менее мокры и бурны, чем в ноябре. Холодные тучи шли валом, словно написанные на движущемся стекле. Испарения с других континентов неслись над Эгдоном, пригнанные ветром, и ветер завивался вокруг идущего по пустоши Клайма, расступался перед ним и охватывал его со всех сторон.

Наконец Клайм достиг края саженой рощи из елей и буков, выгороженной из пустоши в год его рождения. Здесь деревья, тяжело нагруженные своей молодой и насквозь промокшей листвой, сейчас несли больше урона, чем в самую жестокую зимнюю непогоду, когда

их ветви были как будто нарочно заранее освобождены от бремени, чтобы лучше бороться с бурей. Мокрые молодые буки претерпевали ампутации, ушибы, переломы и рваные раны, которые долго еще будут кровоточить древесным соком и оставят после себя шрамы, заметные на дереве даже до того дня, когда его сожгут. Стволы чуть что не выворачивало из земли - они ходили на своих корнях, как кость в суставе, и при каждом новом налете шквала ветви издавали конвульсивные звуки, словно чувствуя боль. В соседнем кустарнике зяблик попробовал было петь, но ветер взъерошил ему перья, так что они встали дыбом, перекрутил ему хвостик и заставил его отказаться от своего намерения.

И, однако, всего в нескольких ярдах слева от Ибрайта на открытой вересковой степи до чего же тщетно ярилась буря! Те самые шквалы, которые чуть не с корнем выворачивали деревья, только волной проходили по вереску и дроку, как легкая ласка. Эгдон был создан для такой погоды.

Приблизительно к полудню Клайм добрался наконец до пустующего дома. Он был расположен почти так же уединенно, как и дом капитана Вэя, но то, что он стоял на пустоши, отчасти маскировалось поясом из елей, окружавшим усадьбу. Клайм прошел еще милю до деревни, в которой жил владелец; затем вернулся вместе с ним в дом, они договорились, и хозяин пообещал, что, по крайней мере, одна комната будет к завтраму готова для жилья. Клайм решил, что поживет здесь один, пока Юстасия не присоединится к нему после их свадьбы.

Потом он двинулся в обратный путь сквозь морось, так резко изменившую все кругом. Папоротники, среди которых он вчера лежал с такой приятностью, теперь роняли воду с каждого листка и насквозь промачивали ему ноги, а на кроликах, прыгавших вокруг него,

шерсть слиплась в темные космы под влиянием этого водянистого окружения.

После своей десятимильной прогулки он добрался домой очень мокрый и усталый. Начало, таким образом, было не слишком обнадеживающим, но он избрал для себя путь и не намеревался с него уклоняться. Вечер этого дня и утро следующего он потратил на окончательную подготовку к отъезду. Оставаться дома хотя бы минутой дольше, чем необходимо, после того, как решение было принято, значило бы, как он понимал, только причинять матери новую боль каким-нибудь словом, взглядом или поступком.

Он заранее нанял повозку и в тот же день в два часа пополудни отослал все свое имущество на новую квартиру. Второй его заботой было купить кое-какую мебель, которая после временного использования в домике на пустоши могла бы пригодиться и для дома в Бедмуте, конечно, дополненная еще другой, лучшего качества. Рынок, где можно было сделать такие закупки, имелся в Энглбери - городке, расположенном на несколько миль дальше места, выбранного Клаймом для жительства; и там он решил провести следующую ночь.

Теперь оставалось только проститься с матерью. Когда он сошел вниз, она, как обычно, сидела у окна.

- Мама, я покидаю вас, - сказал он, протягивая ей руку.

- Я так и думала, слыша, что ты укладываешься, - произнесла она голосом, из которого с мучительным стараньем был изгнан всякий элемент чувства.

- Мы расстаемся друзьями?

- Конечно, Клайм.

- Я женюсь двадцать пятого.

- Я так и думала, что ты скоро женишься.

- И тогда - тогда вы должны прийти навестить нас. Вы лучше поймете меня после этого, и мы оба не будем

уже так несчастливы, как сейчас.

- Наверяд ли я приду вас навестить.

- Ну, мама, тогда уж вина будет не моя и не Юстасии. Прощайте!

Он поцеловал ее в щеку и ушел с такой болью в сердце, что прошло несколько часов, прежде чем она немного ослабела и самообладание вернулось к нему. Положение создавалось такое, что ни он, ни мать ничего не могли добавить к тому, что уже ими было сказано, не сломав сперва преграду, - а этого нельзя было сделать.

Ибрайт не успел еще покинуть дом своей матери, как выражение оцепенелой суровости на ее лице сменилось безысходным отчаянием. Немного погодя она разрыдалась, и слезы принесли ей облегчение. Весь остаток дня она только и делала, что ходила взад и вперед по садовой дорожке в состоянии, близком к ступенью. Пришла ночь, но не дала ей покоя. На другой день, инстинктивно стремясь сделать что-нибудь, от чего отупение сменилось бы скорбью, она пошла в комнату сына и собственными руками привела ее в порядок для того воображаемого дня, когда он снова вернется домой. Потом занялась цветами, но делала это невнимательно и небрежно - они больше не имели прелести для нее.

Большим облегчением было, когда вскоре после полудня ее неожиданно навестила Томазин. Это было уже не первое их свидание после свадьбы Томазин, прошлые обиды были более или менее заглажены, и теперь они всегда приветствовали друг друга непринужденно и с удовольствием.

Косой луч солнечного света, упавший на волосы юной супруги, когда та открыла дверь, был ей очень к лицу. Он озарил ее, так же как сама она своим присутствием озаряла вересковую пустошь. Движеньями, взглядом она напоминала тех пернатых

созданий, что жили вокруг ее дома. Все сравнения и аллегории, которые могли быть к ней применимы, начинались и кончались образами птиц. В ее движениях было столько же разнообразия, как в их полете. В задумчивости она была похожа на пустельгу, когда та висит в воздухе, поддерживаясь невидимым глазу движением крыльев. В бурную погоду ее легкое тело прижимало ветром к стволам деревьев и к откосам, как это бывает с цаплей. Испуганная, она стрелой кидалась прочь, как зимородок. Довольная, она скользила, едва касаясь земли, как ласточка, и сейчас это было именно так.

- Ты, право, выглядишь очень счастливой, Тамзи, - сказала миссис Ибрайт с печальной улыбкой. - Как Дэймон?

- Очень хорошо, спасибо.

- Он не обижает тебя, Томазин? - И миссис Ибрайт вперила в нее внимательный взгляд.

- Да нет, ничего.

- Ты правду говоришь?

- Правду, тетя. Я бы сказала вам, если б он меня обижал. - Она добавила, покраснев и с запинкой. - Он... может, это нехорошо, что я вам жалуюсь, но я не знаю, как мне быть. Мне, тетя, нужно немного денег, ну, там, купить кое-что для себя - а он мне нисколько не дает. Мне не хочется у него просить, а с другой стороны, он, может быть, не дает просто потому, что не знает. Должна я ему сказать, как вы считаете, тетя?

- Конечно, должна. А до сих пор ты ни слова ему об этом не говорила?

- У меня было немного своих денег, - уклончиво отвечала Томазин, - и до последнего времени мне не нужно было. На прошлой неделе я что-то ему сказала, но он... он, наверно, забыл.

- Так надо ему напомнить. Ты знаешь, у меня хранится шкатулочка с пиковыми гинеями, которые мне

вручил твой дядя, чтобы я их разделила поровну между тобой и Клеймом, когда сочту желательным. Пожалуй, сейчас как раз время. Их можно в любую минуту обменять на соверены.

- Я бы хотела получить свою долю, - то есть, конечно, если вы не против.

- И получишь, раз тебе нужно. Но будет только прилично, если ты сперва скажешь мужу, что ты совсем без денег, - посмотрим, что он тогда сделает.

- Хорошо, я скажу... Тетя, я слышала про Клайма. Я знаю, как вы из-за него горюете, поэтому я сейчас и пришла.

Миссис Ибрайт отвернулась, и лицо ее задрожало; она стиснула зубы, пытаясь скрыть свои чувства. Потом она перестала сдерживаться и сказала, плача:

- О Томазин, неужели он ненавидит меня? Как мог он так меня огорчать, когда я только для него и жила все эти годы?

- Ненавидит - нет, что вы, - успокаивающе сказала Томазин. - Просто он ее чересчур уж любит. Не расстраивайтесь так из-за этого. Он не такой уж плохой. Знаете, я думала об этом, и, право, он мог и хуже жениться. По матери мисс Вэй из хорошей семьи, а отец у нее был этакий романтический бродяга, вроде греческого Одиссея.

- Не надо, Томазин, не надо. Намерения у тебя хорошие, но не стоит тебе со мной спорить. Я уже все продумала, что можно сказать и "за" и "против", да еще и не по одному разу. Мы с Клаймом расстались не в гневе, а хуже того. Горячая ссора под сердитую руку не разбила бы мне сердце, но это неуклонное противодействие, это упорство в своей неправоте!.. Ах, Томазин, мальчиком он был такой хороший - такой нежный и добрый!

- Да, я помню.

- Не думала я, что мой сын, выросши, будет так со мной обращаться. Он так со мной говорил, как будто я противоречила ему, чтобы его уязвить... Как мог он подумать, что я хочу ему зла!

- На свете есть женщины хуже, чем Юстасия Вэй.

- Но сколько есть лучших, чем она, - вот что меня мучит. Это из-за нее, Томазин, только из-за нее твой муж так себя вел перед свадьбой, я поклясться готова!

- Нет, - с живостью отвечала Томазин. - Он думал о ней, когда меня еще не знал. Да и то это было так - увлечение.

- Хорошо. Не будем этого касаться. Да и что толку теперь это распутывать. Сыновья всегда слепы, когда что-нибудь вобьют себе в голову. Почему женщина издали видит то, чего мужчина и под носом у себя не разглядит? Пусть Клайм поступает как хочет, отныне он мне чужой. Вот тебе материнство - отдаешь лучшие свои годы и самую горячую свою любовь только для того, чтобы потом тебя презирали!

- Вы очень уж неподатливы, тетя. Подумайте, сколько есть матерей, которых сыновья публично опозорили, совершив настоящие преступления, - а вам совсем нет причины так убиваться.

- Томазин, не читай мне, пожалуйста, наставлений, - не хочу я это слушать. Тут дело в разнице между тем, чего ожидаешь, и тем, что случается, от этого удар так тяжел, а у тех матерей он, может, не тяжелее моего, потому что они уже предвидели самое худшее... У меня плохой характер, Томазин, добавила она с кривой усмешкой. - Другие вдовы охраняют себя от ран, которые им могут нанести дети, тем что обращают сердце к новому супругу и начинают жизнь сначала. Но я всегда была жалким, слабым, скупым в своих привязанностях существом, для этого у меня не хватило ни щедрости сердца, ни предприимчивости. Какой я была разбитой и ошеломленной после смерти мужа,

такой я и потом осталась, - сидела одна и даже не пыталась что-нибудь исправить. А ведь я тогда была сравнительно молодой женщиной, могла бы сейчас иметь больших детей, и они бы утешили меня за неудачу с этим сыном.

- Так благороднее, как вы поступили.

- Благороднее, да не умнее.

- Забудьте об этом и успокойтесь, дорогая тетя. И я вас не буду надолго оставлять. Буду навещать вас каждый день.

Первую неделю Томазин буквально выполняла свое обещание. О близящейся свадьбе Клайма она старалась говорить как о чем-то не важном, рассказывала, какие там делаются приготовления и что она тоже приглашена. На следующей неделе ей нездоровилось, и она совсем не появилась в Блумс-Энде. Касательно гиней еще ничего не было предпринято; Томазин не решалась заговорить с мужем о деньгах, а миссис Ибрайт на этом настаивала.

Однажды незадолго до этого Уайлдив стоял в дверях "Молчаливой женщины". Кроме пешеходной тропы, круто поднимавшейся наперерез через пустошь от гостиницы к Дождевому кургану и Мистоверу, немного подалее от большой дороги отходил проселок, по которому можно было добраться до Мистовера извилистым и более пологим путем. Для экипажей только и годилась эта дорога, и сейчас по ней спускалась двуколка, которой правил знакомый Уайлдиву паренек из соседнего городка; перед гостиницей он остановился чего-нибудь выпить.

- Из Мистовера едешь? - спросил Уайлдив.

- Да. Отвозил им разные разности из лавки. Они там к свадьбе готовятся. - И возница скрыл лицо в пивной кружке.

Уайлдив до сих пор ничего не слышал о свадьбе, и выражение боли вдруг исказило его черты. Чтобы

скрыть это, он на минуту зашел в коридор. Потом снова вышел.

- Мисс Вэй, значит, замуж выходит? - сказал он. - Как же это у них так скоро сделалось?

- Да, видно, бог дал, а молодец не зевал.

- Ты это про мистера Ибрайта?

- Ну да. Они всю весну тут вдвоем похаживали.

- А она что - очень им увлечена?

- У-у, прямо себя не помнит, так мне ихняя служанка говорила. А этот мальчишка, Чарли, что за лошадью смотрит, этот ходит теперь как в воду опущенный. Вздумалось дурачине в нее влюбиться.

- Веселая она? Радуется? Гм!.. Как же все-таки это так вдруг...

- Да не так уж и вдруг.

- Да, пожалуй, не так и вдруг.

Уайлдив вернулся в дом. Он ушел в пустую комнату со странной болью в сердце. Облокотился на каминную доску, подперев руками подбородок. Когда Томазин зашла в комнату, он не рассказал ей о том, что услышал. Старая тоска по Юстасии вновь ожила в его душе; и больше всего потому, что, как он узнал, другой мужчина вознамерился ею завладеть.

Жаждать недоступного и скучать тем, что дается в руки; любить далекое и презирать близкое: таков всегда был Уайлдив. Это отличительное свойство человека сентиментального. Воспаленные чувства Уайлдива не были утонченны до истинно поэтического восприятия, но они были того же сорта. Его можно было назвать эгдонским Руссо.

ГЛАВА VII

УТРО И ВЕЧЕР ОДНОГО ДНЯ

Настало утро свадьбы. По внешнему виду никто бы не догадался, что Блумс-Энд как-то заинтересован в Мистовере. Недвижная тишина царила вокруг дома, и внутри было не больше оживления. Миссис Ибрайт,

отказавшаяся присутствовать на свадьбе, сидела у накрытого для завтрака стола в большой комнате, выходящей прямо на галерейку, и безучастно смотрела на отворенную дверь. Это была та самая комната, в которой полгода назад так весело праздновали рождество и куда Юстасия проникла в тот вечер втайне и как чужая. Сейчас единственным живым существом, вздумавшим сюда заглянуть, был воробей; и, не видя никаких движений, могущих его встревожить, он смело пустился прыгать по комнате, затем попытался вылететь в окно и запорхал среди цветочных горшков. Это привлекло внимание женщины, одиноко сидевшей за столом; она встала, выпустила птицу и подошла к двери. Она ждала Томазин; та накануне вечером написала, что хотела бы получить деньги, и, может быть, зайдет завтра.

Но не Томазин занимала мысли миссис Ибрайт, когда она смотрела вдаль, в заросшую вереском долину, полную мотыльков и кузнечиков, чьи сухие голоса сливались в шепчущий хор. Домашнее событие, последние приготовления к которому происходили на расстоянии мили или двух от Блумс-Энда, виделось ей не менее живо, чем если бы совершалось перед ней. Она пыталась отогнать это видение и стала ходить по саду; но взгляд ее то и дело обращался в ту сторону, где находилась церковь, к приходу которой принадлежал Мистовер, и взволнованное ее воображение проницало холмы, отделявшие эту церквушку от ее глаз. Время шло. Пробыло одиннадцать: может быть, венчанье уже началось? Наверно! Она продолжала воображать, что происходит в церкви, куда он к этому времени уже привел свою невесту. У ворот кучка детей; они смотрят, как подъезжает капитанская коляска, запряженная пони, в которой, как слышала Томазин, они должны совершить

этот короткий переезд. Вот они входят, идут к алтарю, становятся на колени. И служба идет своим чередом...

Она закрыла лицо руками.

- О, какая это ошибка! - простонала она. - И когда-нибудь он раскается и вспомнит обо мне!

Пока она так стояла, подавленная предчувствиями, старые часы в доме прохрипели двенадцать. И вскоре за тем до ее слуха издали, из-за холмов, дошли слабые звуки. Ветер дул с той стороны и принес с собой звон далеких колоколов, сперва чуть слышный, потом явственный веселый перезвон: раз, два, три, четыре, пять. Звонари в Восточном Эгдоне возвещали о бракосочетании Юстасии с ее сыном.

- Значит, конечно, - пробормотала она. - Так, так! И жизнь тоже скоро будет кончена. Так зачем же я себе глаза порчу? Начни плакать об одном, и станешь плакать обо всей жизни - весь кусок одной ниткой прошит. А мы еще говорим - "время смеяться"!

Ближе к вечеру пришел Уайлдив. После его женитьбы на Томазин миссис Ибрайт выказывала ему то сумрачное дружелюбие, которое в конце концов обычно устанавливается в подобных случаях нежеланного родства. Сознание устает рисовать себе картины того, что должно было бы быть, и присмирившее стремление человека к лучшему соглашается с тем, что есть. Уайлдив, надо отдать ему справедливость, всегда любезно обходился с жениной теткой, и его посещение не удивило миссис Ибрайт.

- Томазин не может сегодня прийти, - ответил он на ее вопрос, несколько тревожный, ибо она знала, что племяннице очень нужны деньги. - Капитан вчера пришел и лично просил ее быть у них на свадьбе. Неудобно было отказаться, она и решила поехать. За ней прислали пони и коляску и назад тоже привезут.

- Значит, там уж конечно, - сказала миссис Ибрайт. - Что, молодые поехали в свой новый дом?

- Не знаю. У меня не было вестей из Мистовера после того, как уехала Томазин.

- Вы-то сами не поехали, - утвердительно сказала миссис Ибрайт, как бы подразумевая, что у него для этого были веские причины.

- Я не мог, - сказал он краснея. - Нельзя было нам обоим оставить дом, утро было больно хлопотливое, - сегодня в Энглбери большой базар. Вы, кажется, желали что-то передать Томазин? Если хотите, я возьму.

Миссис Ибрайт посмотрела на него в нерешимости: знает ли он, о чем у них с Томазин шла речь?

- Это она вам поручила? - спросила миссис Ибрайт.

- Да не то чтобы поручила, а так, сказала между прочим, что должна взять у вас какую-то вещь.

- Ну, это необязательно сейчас. Зайдет как-нибудь в другой раз, возьмет.

- Это еще когда будет. В ее теперешнем состоянии она не может столько ходить, как раньше. - И он добавил с оттенком сарказма: - Что это за драгоценность, что мне ее нельзя доверить?

- Ничего такого, чтобы стоило вас затруднять.

- Можно подумать, что вы сомневаетесь в моей честности, - сказал он со смехом, хотя лицо его уже залило краской; иногда он бывал скор на обиду.

- Никаких нет причин вам так думать, - сухо отвечала она. - Просто я, как и все, считаю, что не всякий может все делать, - иногда лучше одному поручить, иногда другому.

- Как вам угодно, как вам угодно, - коротко ответил Уайлдвиг. - О таком пустяке не стоит спорить. Ну-с, а мне, пожалуй, пора домой, нельзя гостиницу долго оставлять на мальчика да на служанок.

Он ушел, попрощавшись гораздо менее любезно, чем здоровался. Но миссис Ибрайт к этому времени уже

знала его насквозь и мало обращала вниманья на его любезность или нелюбезность.

Когда он ушел, миссис Ибрайт постояла у двери, раздумывая, как лучше поступить с гинеями, которые она не решилась доверить Уайлдиву. Ведь маловероятно, чтобы Томазин поручила ему взять их, когда и самая надобность в них возникла оттого, что он неохотно выпускал деньги из рук. Меж тем Томазин, по-видимому, в них сильно нуждалась, а прийти в Блумс-Энд, пожалуй, еще целую неделю не сможет. Отнести их ей в гостиницу или с кем-нибудь послать - неполитично: Уайлдив наверняка либо сам там будет, либо потом все равно узнает, зачем приходили; и если, как подозревала миссис Ибрайт, он не так хорошо обращался с женой, как она того заслуживала, то, пожалуй, изымет всю сумму из ее кротких рук. Но вот сегодня вечером Томазин в Мистовере, и ей можно там все, что угодно, передать без ведома супруга. Таким случаем грешно не воспользоваться.

И сын тоже там, только что женился. Самый подходящий момент отдать ему его долю. И возможность, послав ему этот подарок, показать, насколько она далека от того, чтобы желать ему зла, немного развеселила печальное сердце матери.

Она пошла вверх, достала из запертого комода маленькую шкатулку и высыпала из нее кучку блестящих золотых монет, которые, должно быть, немало лет пролежали там. Всего их было сто, и она разделила их на две кучки, по пятьдесят в каждой. Потом завязала в два маленьких полотняных мешочка и, выйдя в сад, позвала Христиана Кентла, - он еще мешкал там в надежде на ужин, которого ему, собственно говоря, не полагалось. Миссис Ибрайт дала ему мешочки и поручила пойти в Мистовер и ни в коем случае не вручать их никому, кроме ее сына и Томазин. Подумав, она решила сказать Христиану, что именно

содержится в мешочках, чтобы он как следует почувствовал важность возложенного на него поручения. Христиан засунул мешочки в карман, пообещал быть крайне осторожным и пустился в путь.

- Можешь не торопиться, - сказала ему на прощанье миссис Ибрайт. - Даже лучше, если ты придешь туда в сумерки, никто тогда не обратит на тебя вниманья. А потом, если не слишком будет поздно, приходи сюда ужинать.

Было уже почти девять часов, когда он стал подниматься по долине к Мистоверу; но стояли самые долгие летние дни, и первые тени вечера только еще начинали придавать коричневый тон пейзажу. Тут-то Христиан и услышал голоса и установил, что это переговаривается компания мужчин и женщин, идущих по ложбине впереди него, так что только их головы были ему видны.

Он остановился и подумал о своей драгоценной ноше. Было еще так рано, что даже Христиан едва ли всерьез опасался грабежа; тем не менее он принял предосторожность, которую сызмальства принимал, если ему случалось иметь при себе больше двух-трех шиллингов, - предосторожность, несколько сходную с той, к которой прибегнул владелец Питтовского брильянта, когда его посетили подобные же опасения. Христиан снял башмаки, развязал мешочки, высыпал содержимое одного в правый башмак, а другого в левый, стараясь, чтобы монеты легли как можно более плоско, и снова натянул башмаки, что не составило для него труда, так как каждый представлял собой довольно вместительный сундучок, отнюдь не ограниченный размерами Христиановой ноги. Зашнуровав их доверху, он продолжал путь с облегченным сердцем, хотя и утяжеленными ступнями.

Его тропа подалее сходилась с той, по которой двигалась шумная компания, и, приблизившись, он с

облегчением увидел, что это несколько эгдонских жителей, которых он хорошо знал, и с ними Фейруэй из Блумс-Энда.

- Что? И Христиан тоже идет? - воскликнул Фейруэй, как только его узнал. - Да ведь у тебя ни подружки нет, ни жены, кому бы на платье подарить.

- Вы это о чем? - осведомился Христиан. - Ну как о чем, о лотерее, конечно. Ну, на которую каждый год ходим. Ты, стало быть, тоже туда идешь?

- Первый раз слышу. Это что такое - лотерея? Вроде состязанья на дубинках или еще что-нибудь этакое кровопролитное? Нет уж, спасибо, мистер Фейруэй, не обижайтесь, а только не пойду я на эту, как ее, лотерею.

- Христиан не знает в чем дело, а ему поглядеть бы занятно было, сказала одна из женщин, молодая и приятная собой. - Ты не бойся, Христиан, опасного тут ничего нет. Каждый ставит шиллинг, а потом кто-нибудь один выигрывает отрез на платье для жены или подружки, если она у него есть.

- Ну, а как у меня нет, то мне там и делать нечего. Хотя поглядеть, отчего же, я не прочь, коли нет в этом колдовства, и за досмотр денег не берут, и спора либо шума какого из лотереи вашей не выйдет.

- Никакого шума не будет, - сказал Тимоти. - Нет, правда, Христиан, если хочешь пойти, мы уж присмотрим, чтоб тебя никто не обидел.

- И чего-нибудь этакое, насчет женского пола, шуточек там чересчур вольных не будет, а? А то ведь выйдет, соседи, что я отцу дурной пример подаю, а он у нас и так насчет этого не очень строгий. Но отрез на платье за шиллинг и без колдовства - это стоит посмотреть и полчаса каких-нибудь истратить не жалко. Ладно уж, пойду, только, может, потом кто меня в сторону Мнстовера немножко проводит, если припозднимся и попутчика мне не найдется?

Один или двое пообещали, и Христиан, отклонясь от прямой стези, завернул вместе со своими спутниками направо, к "Молчаливой женщине".

Когда они вошли в большой общий зал, там оказалось человек десять из живущих по соседству, а вместе с вновь пришедшими теперь стало двадцать. Большинство сидело вдоль стены в креслах, разделенных деревянными подлокотниками наподобие алтарных сидений в соборе, только, конечно, гораздо более примитивных и сплошь изрезанных инициалами знаменитых пьяниц былых времен, некогда проводивших здесь дни и ночи, а теперь упокоивших свой алкоголический прах на ближайшем кладбище. На длинном столе перед ними среди кружек лежал сверток какой-то легкой ткани - пресловутый отрез на платье, который предстояло разыграть в лотерею. Уайлдв стоял спиной к камину и курил сигару, а устроитель лотереи, разносчик из дальнего городка, распинался насчет достоинств этой ткани как материала для летнего платья.

- Так вот, джентльмены, - продолжал он, когда вновь пришедшие приблизились к столу, - пять человек уже внесли, теперь нам надо еще четверых. По лицам этих джентльменов, что сейчас вошли, я вижу, что они люди понимающие и, уж конечно, не упустят редкого случая приукрасить своих дам за такую ничтожную сумму.

Фейруэй, Сэм и еще один положили на стол по шиллингу, и разносчик повернулся к Христиану.

- Нет, сэр, - сказал Христиан, отступив и бросив быстрый опасливый взгляд на торговца, - я человек небогатый, я только так, пришел посмотреть. Никогда не видал, как вы это делаете. Кабы знал я наверняка, что выиграю, ну тогда я бы положил шиллинг, а иначе уж нет, извините.

- А у вас это будет наверняка, - сказал разносчик. - Знаете, вот смотрю я на вас, сэр, и хотя не могу ручаться, что вы выиграете, но одно вам скажу: никогда еще не видал я человека, у кого было бы, вот как у вас, прямо на лице написано, что он выиграет.

- У тебя, во всяком случае, столько же шансов, как и у всех нас, сказал Сэм.

- И даже чуточку больше, потому как ты пришел последний, а им всегда везет, - добавил кто-то.

- Да, и я ведь в рубашке родился, это значит, я утонуть не могу, а может, и разориться тоже? - вопросительно проговорил Христиан, видимо уже начиная сдаваться.

Кончилось тем, что Христиан положил шиллинг, лотерея началась и стаканчик с игральными костями пошел вкруговую. Когда настала очередь Христиана, он взял стаканчик дрожащей рукой, боязливо потряс его, бросил кости - и выпал "тройняк" - три одинаковых числа. Из остальных игроков у троих выпало по обыкновенной паре, а у прочих и того не было.

- Говорил я, что у него на лице написано, - самодовольно сказал торговец. - Берите, сэр, это ваше.

- Хо-хо-хо! - развеселился Фейруэй. - Вот так штука! А?.. Надо ж такое, как нарочно!

- Мое? - переспросил Христиан, уставив на торговца растерянный взгляд своих мишенеобразных глаз. - Да как же?.. У меня ж ни подружки, ни жены, ни даже родни женской нету, боюсь - возьму я, так смеяться надо мной будут. Вот ведь разобрало меня любопытство, а об этом и не подумал! Хорошенькое будет дело, как увидит кто у меня в спальне женское платье! Что ж мне теперь с ним делать?

- Взять и беречь, - сказал Фейруэй, - хотя бы только на счастье. Вдруг да какую-нибудь бабенку оно соблазнит, какая раньше, пока ты с пустыми карманами был, на тебя и смотреть не хотела.

- Конечно, взять, - сказал Уайлдив, издали лениво наблюдавший эту сцену.

Материю убрали со стола, и мужчины принялись за выпивку.

- Да-а, вон оно что! - проговорил Христиан, ни к кому в частности не обращаясь. - Подумать только, оказывается, я счастливчик, а до сего дня и сам не знал! Чудные же твари эти кости - всеми правят вроде как короли, а меня слушаются! Нет уж, теперь больше никогда и ничего не буду бояться. - Он с нежностью перещупал кости одну за другой. - А знаете ли, сэр, доверительным шепотом сказал он Уайлдиву, стоявшему у его левого плеча, раз во мне такая сила - умножать какие есть со мной деньги, я бы мог одной вашей близкой родственнице одну большую пользу сделать, вот с тем самым, что у меня для нее есть!.. - И он выразительно постучал утяжеленным башмаком по полу.

- Ты это про что? - спросил Уайлдив.

- Это секрет. Ну мне уже идти пора. - Христиан с беспокойством посмотрел в сторону Фейруэя.

- А куда тебе идти-то? - спросил Уайлдив.

- В Мистоввер. Повидать мне там миссис Томазин надо, вот зачем.

- Я тоже сейчас туда иду за миссис Уайлдив. Можем пойти вместе.

Уайлдив впал в задумчивость, и внезапно свет догадки вспыхнул в его глазах. Так это деньги для его жены миссис Ибрайт не решалась ему доверить! "А этому недоумку доверила", - сказал он сам себе. "Хотя, казалось бы, кто ближе жене, чем муж, и то, что принадлежит ей, разве не должно принадлежать и ему?"

Он крикнул служающему мальчишке, чтобы принес ему шляпу, и сказал:

- Ну, Христиан, я готов.

- Мистер Уайлдив, - робко заговорил Христиан, когда они уже направлялись к порогу, - не одолжили бы вы мне на время эти чудесные штучки, в которых удача в середке запрятана, я бы попрактиковался с ними малость, а? - Он с вожделением оглянулся, на стаканчик с костями, стоявший на камине.

- Да, пожалуй, хоть совсем возьми, - небрежно отвечал Уайлдив. - Их тут один паренек ножиком вырезал, они ничего не стоят.

И Христиан вернулся и украдкой сунул их в карман. Уайлдив распахнул дверь и выглянул. Ночь была теплая, небо в тучах.

- Ух ты, темень какая, - сказал он. - Ну да авось как-нибудь найдем дорогу.

- Ох, нет, не дай бог, собьемся, - отозвался Христиан. - Тут фонарь нужно, с фонарем можно спокойно идти.

- Ну что ж, возьмем и фонарь.

Принесли фонарь из конюшни, зажгли его. Христиан забрал свой отрез, и они с Уайлдивом стали подниматься по склону.

В комнате за столом опять пошли разговоры, но тут взоры сидящих внезапно обратились к каминной нише. Она была очень велика, и, кроме того, как часто на Эгдоне, в боковой ее стенке была сделана выемка и в ней углубленное сиденье, так что человек мог сидеть там и оставаться совершенно незамеченным, если его не освещал огонь из камина, но сейчас, по летнему времени, камин не топили. Один-единственный предмет выступал из ниши настолько, что на него падал свет от свечей на столе. Это была глиняная трубка, притом красноватого цвета. К ней-то и приковались глаза сидящих, потому что из-за трубки раздался вдруг голос, попросивший огонька.

- Фу ты, честное слово, прямо сердце оборвалось, когда он вдруг заговорил! - сказал Фейруэй, протягивая

в нишу свечу. - Э, да это охряник! Ну и мастер же вы молчать, молодой человек!

- А мне нечего было говорить, - отвечал Венн.

Через минуту он встал и, пожелав всей компании спокойной ночи, удалился.

Тем временем Уайлдив и Христиан шли по пустоши.

Ночь была тихая, теплая, туманная, полная густых ароматов молодой растительности, еще не иссушенной летним зноем, среди которых особенно заметен был запах папоротников. Фонарь, покачивавшийся в руках Христиана, задевал на ходу их перистые листья, тревожа ночных бабочек и других крылатых насекомых; они взлетали и тут же садились на его светящиеся роговые стенки.

- Так, значит, тебе поручили отнести деньги миссис Уайлдив? - заговорил после молчания спутник Христиана. - А тебе не показалось странным, что их не отдали мне?

- Да, верно, раз уж, как говорится, муж и жена одна плоть, так, по-моему, все равно кому из вас ни отдать, - сказал Христиан. - Да, вишь, мне строгий наказ был дан, чтобы никому, а только миссис Уайлдив в собственные руки. Ну а коли уж взялся, так лучше исполнять, как велено.

- Без сомнения, - сказал Уайлдив. Всякий, знакомый с обстоятельствами дела, заметил бы, что Уайлдив глубоко уязвлен открытием, что миссис Ибрайт хотела послать племяннице деньги, а не какую-нибудь безделицу, интересную только для обеих женщин, как он предполагал в Блумс-Энде. И ее отказ означал, что честность Уайлдива оценивается не настолько высоко, чтобы можно было сделать его надежным хранителем жениной собственности.

- До чего теплая ночь! - проговорил он, запыхавшись, когда они были уже почти под самым

Дождевым курганом. - Сядем, ради бога, отдохнем минутку.

Уайлдив растянулся на мягких папоротниках; Христиан, опустив наземь фонарь и сверток, сам поместился рядом, скрючившись так, что колени его почти касались подбородка. Потом он сунул руку в карман и начал что-то там потряхивать.

- Что там у тебя стучит? - спросил Уайлдив.

- Да это только кости, - отвечал Христиан, быстро вытащив руку. - Я все думаю, мистер Уайлдив, до чего же они волшебные, эти штучки! Мне эта игра никогда не наскучит. Ничего, если я их сейчас выну и погляжу маленько? Хочется рассмотреть, как они сделаны. Там-то перед всеми я посоветился очень их разглядывать, подумал, скажут еще, что я приличий не знаю. Христиан вынул кости и, держа их в ладони, стал разглядывать при свете фонаря. - Такие малютки, а какое в них счастье, и колдовство, и сила, в жизни этакого чуда не видал и не слышал, - говорил он, замороженно глядя на кости, которые, как часто в деревне, были вырезаны из дерева, а очки на них выжжены раскаленной проволокой.

- То есть тут в малом заключено очень многое, ты это хочешь сказать?

- Да. А как вы считаете, мистер Уайлдив, это верно, будто они дьяволы игрушки? Если верно, то ведь это недобрый знак, что мне везет.

- Ты бы постарался побольше выиграть, раз они теперь твои. Тогда за тебя любая пойдет замуж. Сейчас твое время, Христиан, смотри не прозевай. Одни люди от рождения везучие, а другие нет. Я принадлежу к последним.

- А вы знаете еще кого-нибудь везучего, кроме меня?

- Ну как же. Я слышал об одном итальянце, что он сел за игорный стол, имея один-единственный луидор в

кармане (это вроде как у нас соверен). Он играл сутки напролет и выиграл десять тысяч фунтов, одним словом, сорвал банк. А другой был такой случай: один человек проиграл тысячу фунтов и на другой день поехал к маклеру, чтобы продать акции и уплатить долг. Тот, кому он задолжал, поехал вместе с ним в наемной карете, и от нечего делать они кинули кости - кому платить за карету. Выиграл тот, что разорился, другому захотелось продолжать игру, и они, пока ехали, все метали кости. Когда кучер остановился, ему велели ехать обратно: за это время владелец акций отыграл свою тысячу фунтов, и продавать уже ничего не было нужно.

- Ха-ха-ха! Вот здорово! - вскричал Христиан. - Ну расскажите, расскажите еще!

- А еще был человек в Лондоне, простой официант в клубе Уайта. Когда начинал играть, то сперва делал ставки по полкроны, потом все выше и выше, пока, наконец, очень не разбогател. Он получил назначение в Индию и был впоследствии губернатором Мадраса. Дочка его вышла замуж за члена парламента, и епископ Карлайлский был крестным отцом одного из детей.

- Чудесно! Чудесно!

- А в Америке жил однажды молодой человек, который проиграл все свои деньги до последнего доллара. Тогда он поставил свои часы и цепочку и тоже проиграл; поставил зонтик - проиграл; поставил шляпу - проиграл; поставил свой сюртук, оставшись в одном жилете, - проиграл. Начал уже снимать брюки, но тут кто-то из смотревших на игру одолжил ему какую-то безделицу за его упорство. И с этим он выиграл. Отыграл сюртук, отыграл шляпу, отыграл зонтик, часы, все свои деньги и вышел в дверь богатым человеком.

- Ой, как здорово, прямо дух захватывает! Мистер Уайлдив, знаете, я еще разок с вами попробую,

поставлю шиллинг, я же везучий, мне не опасно, а для вас шиллинг не велика потеря.

- Ладно, - сказал Уайлдив, вставая. Посветив вокруг фонарем, он нашел плоский камень, положил его между собой и Христианом и снова сел. Фонарь они открыли, чтобы он давал больше света, и поставили так, что лучи его падали на камень.

Христиан выложил шиллинг. Уайлдив тоже, и каждый метнул кости. Христиан выиграл. Поставили каждый по два шиллинга. Христиан опять выиграл.

- Поставим по четыре, - сказал Уайлдив.

Поставили. На этот раз ставки забрал Уайлдив.

- Ну, эти маленькие неприятности и с самым везучим иногда случаются, заметил он.

- Эх! А у меня больше нет денег! - в волнении вскричал Христиан. - А ведь если бы продолжать, я бы все отыграл, да еще и сверх того. Вот кабы это было мое! - И он так стукнул каблуком оземь, что гиней звякнули в башмаке.

- Что! Неужто ты туда засунул деньги миссис Уайлдив?

- Ну да. Это я для безопасности. Скажите, это дурно, если я буду играть на деньги замужней женщины и если выиграю, так отдам ей все, что взял, себе только чистый выигрыш оставлю, а если не я выиграю, а другой, то ее деньги все ж таки попадут в руки законного владельца, - есть тут что дурное, а?

- Ровно ничего.

Все время с тех пор, как они вышли из гостиницы, Уайлдив раздумывал о том, как низко его ценит жена родня, и это ранило его сердце. И мало-помалу в нем стало назревать желание отомстить, хотя он не мог бы сказать, в какой момент оно зародилось. Дать урок миссис Ибрайт, так он это называл про себя, иными словами - показать ей, что он, Уайлдив, и есть верный хранитель достояния своей жены.

- Ладно, идет! - объявил Христиан, начиная расшнуровывать башмак. - Мне это теперь станет по ночам сниться, уж я знаю, а все ж таки всегда смогу сказать, что вот и боязно было, а я не струсил!

Он сунул руку в башмак и достал одну из гиней бедной Томазин, блестящую, словно сейчас с монетного двора. Уайлдив уже положил соверен на камень. Снова взялись за игру. Сперва выиграл Уайлдив; Христиан рискнул второй гинеей и на этот раз выиграл. Счастье колебалось, но, в общем, склонялось на сторону Уайлдива. Внимание обоих мужчин было так поглощено игрой, что они не видели ничего вокруг себя, кроме мелких предметов, находящихся непосредственно в поле их зрения: плоский камень, фонарь, кости и несколько листьев папоротника, на которые прямо падал свет, составляли весь их мир.

Под конец Христиан стал быстро проигрывать, и вскоре, к его ужасу, все пятьдесят гиней, принадлежащих Томазин, перешли к его противнику.

- Все одно пропадать! - простонал он и принялся судорожно расшнуровывать левый башмак. - Дьявол за это сбросит меня в огонь на свои вилы о трех зубьях, знаю! Но, может, я еще отыграюсь и тогда женюсь, и жена будет сидеть со мной по ночам, и я не буду бояться, не буду! Вот тебе, брат, еще одна! - Он шлепнул с размаху еще одну гинею на камень, и кости опять загремели в стаканчике.

Время шло. Уайлдив был теперь не менее возбужден, чем сам Христиан. Начиная игру, он не имел иных намерений, кроме как зло подшутить над миссис Ибрайт. Выиграть все деньги, честно или иначе, и презрительно вручить их Томазин в присутствии тетки - примерно такая картина смутно рисовалась его воображению. Но люди иной раз далеко уходят от своих намерений даже в то самое время, пока их исполняют, и когда на камень легла двадцатая гинья, сомнительно,

чтобы в сознании Уайлдива присутствовало какое-либо намерение, кроме желания выиграть ради собственной наживы. К тому же сейчас он выигрывал уже не женины деньги, а деньги Клайма Ибрайта, о чем, впрочем, Христиан в своей помраченности не упомянул вовремя, а только гораздо позже.

Было уже около одиннадцати, когда Христиан почти с воплем положил на камень последнюю сверкающую гинею Клайма Ибрайта. Через полминуты она отправилась тем же путем, что и остальные.

Христиан повернулся и бросился на папоротники, корчась от угрызений совести.

- Ох, что же мне делать, несчастному? - стонал он. - Что мне делать? Ох, да смилуется ли господь над моей грешной душой!..

- Что делать? А жить, как и раньше.

- Не могу я жить, как раньше! Я умру! А вы - теперь я вижу, кто вы! Вы... вы...

- Человек, похитрее своего ближнего.

- Да, человек, похитрее своего ближнего; попросту мошенник!

- Эх ты, бедолага, где же твои приличия?

- Не вам об этом судить! Вот вы и впрямь приличий не знаете: взяли деньги, которые не ваши. Половина этих гиней была мистера Клайма.

- Как это? Почему?

- Потому что пятьдесят я должен был ему отдать. Так миссис Ибрайт велела.

- О? Вон что! Гм! Было бы учтивее с ее стороны отдать их его жене Юстасии. Но теперь и они в моих руках.

Христиан снова надел башмаки и с тяжкими вздохами, которые были слышны на порядочное расстояние, кое-как собрал воедино свои разметанные по траве руки и ноги, встал и, пошатываясь, удалился. Уайлдив протянул руку закрыть фонарь, намереваясь

сразу вернуться домой, так как считал, что уже поздно идти за женой в Мистоввер, тем более что ее все равно обещали отвезти домой в капитанской коляске. Когда он уже закрывал маленькую роговую дверцу, из-за соседнего куста поднялась темная фигура и ступила в круг света, отбрасываемый фонарем. Это был охряник.

ПЛАВА VIII

НОВАЯ СИЛА МЕНЯЕТ ХОД СОБЫТИЯ

Уайлдив уставился на него. Венн равнодушно поглядел в сторону Уайлдива и, ни слова не говоря, неторопливо уселся на то место, где только что сидел Христиан, сунул руку в карман, вынул соверен и положил его на камень.

- Вы следили за нами вон из-за того куста? - спросил Уайлдив.

Охряник кивнул.

- Делайте ставку, - сказал он. - Или духу не хватает продолжать?

Тут следует заметить, что игра в кости - это такая забава, которую легче начать с полными карманами, чем бросить, когда они еще полны; и хотя Уайлдив в более спокойном состоянии, пожалуй, отклонил бы такое предложение, но сейчас недавний его успех совсем вскружил ему голову. Он положил одну из гинею на камень рядом с совереном охряника.

- Моя - гинея, - сказал он.

- Которая не ваша, - саркастически заметил Венн.

- Нет, она моя, - надменно отвечал Уайлдив. - Она моей жены, а что ее, то мое.

- Очень хорошо. Начнем. - Венн встряхнул стаканчик и выбросил последовательно восемь, десять и девять очков: общий счет за все три хода получился двадцать семь.

Это подбодрило Уайлдива. Он взял стаканчик, и его три хода дали сорок пять очков.

Цок! На камень лег второй соверен охряника против его первого, который теперь положил Уайлдив. На этот раз Уайлдив выбросил пятьдесят одно очко, но ни одной пары. Охряник сдвинул брови, выбросил три туза и забрал ставки.

- Ну вы опять при своем, - презрительно сказал Уайлдив. - Давайте-ка удвоим ставки. - Он положил две гинеи Томазил, охряник свои два фунта. Выиграл Венн. Новые ставки легли на камень; игра продолжалась.

Уайлдив был нервный и легко возбудимый человек, и азарт игры уже сказывался на нем. Он передергивался, дышал прерывисто, вертелся на месте; а сердце у него билось так, что это почти было слышно. Венн сидел с бесстрастно сжатыми губами, глаза его чуть поблескивали, как две искры; казалось, он не дышал. Он мог быть арабом или автоматом; он в точности походил бы на статую из красного песчаника, если бы не движенья руки, державшей стаканчик с костями.

Счастье склонялось то на одну сторону, то на другую, никому не оказывая предпочтения. Так прошло минут двадцать. Свет свечи привлек уже множество мошек, бабочек и других крылатых ночных тварей; они носились вокруг фонаря, влетали в огонь, ударялись о лица игроков.

Но те не обращали на все это никакого внимания; глаза их были прикованы к небольшому плоскому камню, который для них был ареной не менее обширной и важной, чем поле сражения. К этому времени в игре наступил перелом; охряник теперь непрерывно выигрывал. Под конец шестьдесят гиней - пятьдесят, принадлежавших Томазин, и десять Клайма - перешли к нему. Уайлдив был вне себя, взвинчен и раздражен до неистовства.

- "Отыграл свой сюртук", - язвительно заметил Венн. Еще один тур - и ставки попали в те же руки.

- "Отыграл шляпу", - продолжал Венн.

- О-о! - пробормотал Уайлдив.

- "Отыграл часы, отыграл все деньги - и вышел в дверь богатым человеком". - Венн прибавлял фразу за фразой, по мере того как ставка за ставкой переходила в его руки.

- Ставлю еще пять! - вскричал Уайлдив, кидая монеты на камень. - И к черту три хода - пусть один решает!

Красный автомат, сидевший напротив, умолк, кивнул и тоже выложил пять золотых. Уайлдив встряхнул стаканчик и выбросил пару шестерок и еще пять очков. Он захлопал в ладоши:

- Ага, наконец-то моя взяла, ура!

- Играют двое, а метал пока один, - сказал охряник, спокойно опрокидывая стаканчик. Взгляды обоих так напряженно сходились к одной точке на камне, что казалось, их можно было видеть, как лучи в тумане.

Венн поднял стаканчик - на камне лежали три шестерки.

Уайлдив рассвирепел. Пока охряник собирал ставки, Уайлдив схватил кости и стаканчик и со страшным проклятием зашвырнул их в темноту. Потом вскочил и принялся бегать взад-вперед, как помешанный.

- Значит, кончили? - сказал Венн.

- Нет, нет! - вскричал Уайлдив. - Я хочу еще попытать счастья. Непременно!

- Но что же вы, милейший, сделали с костями?

- Забросил их... в минуту раздраженья. Какой я дурак! Скорее помогите мне искать. Мы должны их найти.

Уайлдив схватил фонарь и стал рыскать среди кустов папоротника и дрока.

- Там вы их не найдете, - сказал Венн, идя следом. - Зачем вы сделали такую глупость? Вот стаканчик. Кости тоже где-нибудь тут.

Уайлдив поспешно направил свет на то место, где Венн поднял стаканчик, и принялся терзать траву направо и налево. Вскоре одна кость нашлась. Стали искать еще, но больше ничего не попадалось.

- А! Все равно, - сказал Уайлдив. - Будем играть одной.

- Ладно, - сказал Венн.

Снова сели и опять начали со ставок в одну гинею. Игра шла быстро. Но фортуна в эту ночь явно благоволила охрянику. Он выигрывал раз за разом, пока еще четырнадцать гиней не перешло к нему. Теперь семьдесят девять гиней из ста были у него, у Уайлдива всего двадцать одна. Оба противника представляли собой любопытное зрелище. Не только их движения позволяли судить о ходе игры, но и глаза, как будто в них развертывалась полная диорама всех колебаний удачи. Крохотное пламя свечи отражалось в каждом зрачке, и там в глубине можно было отличить надежду от уныния, даже у Венна, хотя лицо его хранило совершенную неподвижность. Уайлдив играл с отвагой отчаянья.

- Что это? - вдруг воскликнул он, услышав шорох, и оба подняли глаза.

Их окружали темные фигуры фута в четыре высотой, маячившие в двух-трех шагах за пределами светового круга. Вглядевшись, они обнаружили, что это вересковые стригуны; они стояли кольцом, головами к игрокам, и внимательно на них смотрели.

- Но! п-шли! - крикнул Уайлдив, и все сорок или пятьдесят лошадок разом повернулись и ускакали. Игра возобновилась.

Прошло десять минут. Внезапно из темноты выпорхнула крупная бабочка "мертвая голова", дважды облетела вокруг фонаря, метнулась прямо на свечу и погасила ее силой удара. Уайлдив только что опрокинул

стаканчик на камень, но еще не поднял его, чтобы посмотреть, что выпало, а теперь все поглотила тьма.

- Какого черта! - взревел он. - Ну что теперь делать?.. Может, там у меня шестерка... У вас нет спичек?

- Нет, - сказал Венн.

- У Христиана были... А он-то куда девался? Эй, Христиан! - Но на крик Уайлдива не было ответа, кроме заунывного стога цапель, гнездившихся ниже по долине. Оба игрока беспомощно оглядывались, не вставая с места. Когда их глаза привыкли к темноте, они различили в траве и среди папоротников бледно-зеленые светящиеся точки. Эти зеленоватые искры испещряли склон холма, словно звезды малой величины.

- А! Светляки! - сказал Уайлдив. - Подождите минутку. Игру можно будет продолжать.

Венн остался сидеть, а его партнер стал ходить взад и вперед, пока не собрал тринадцать светляков на лист наперстянки - столько ему удалось найти за четыре-пять минут. Охряник негромко рассмеялся, когда Уайлдив вернулся со своей добычей.

- Есть, значит, охота еще биться? - сказал он.

- У меня всегда есть, - сердито ответил Уайлдив. И, стряхнув светляков с листа, он дрожащей рукой разложил их в кружок на камне, оставив в середине место, куда опрокидывать стаканчик, озаренное в настоящую минуту бледным фосфорическим сиянием от этих тринадцати крохотных лампад. Игра возобновилась. Стояло то время года, когда светляки горят всего ярче, и света, который они давали, было для данной цели более чем достаточно; в такие ночи при свете всего двух или трех светлячков можно читать писанное от руки.

Очень велико было несоответствие между действиями этих двоих мужчин и их окружением. В

чащу мягкой и сочной растительности, заполнявшей лощину, в тишину и уединение вторгался звон монет, стук игральных костей, восклицанья азартных игроков.

Как только свет был добыт, Уайлдив поднял стаканчик, и единственная кость, лежавшая на камне, показала, что счастье и на этот раз было против него.

- Не буду больше играть, - крикнул он. - Вы что-то сделали с костями, они неправильные!

- Как же так, когда они ваши?

- Давайте сделаем наоборот - пусть самый низкий счет выигрывает, может, тогда мое счастье переменится. Не хотите?

- Да нет, пожалуйста, - сказал Венн.

- Ах, вот они опять - чтоб их! - вскрикнул Уайлдив, поднимая глаза.

Вересковые стригуны успели бесшумно вернуться и снова стояли, как раньше, высоко подняв головы, не отрывая боязливых глаз от освещенных фигур над камнем, словно дивясь - откуда вдруг люди и горящая свеча в таких глухих местах и в такой неподобный час?

- До чего мерзкие твари - эк вылупились! - сказал Уайлдив и швырнул в них камень, что заставило их разбежаться; игра же продолжалась.

Теперь у Уайлдива оставалось десять гиней; оба поставили по пять. Уайлдив выбросил три очка. Венн - два и сгреб монеты. Уайлдив схватил кость и в ярости стиснул ее зубами, словно хотел разгрызть на мелкие кусочки.

- Не сдаваться до конца! Вот мои последние пять, - вскричал он, кидая монеты. - Проклятые светляки - они гаснут. Почему не можете гореть, дурачье? Колючкой, что ли, их расшевелить!

Он потыкал светляков палочкой и перевернул так, что они легли яркой стороной хвоста кверху.

- Света довольно. Бросайте, - сказал Веян.

Уайлдив опрокинул стаканчик внутри светящегося круга и жадно поглядел. Выпал туз.

- Отлично! Говорил я, что счастье переменится, вот и переменилось.

Венн ничего не сказал, но рука его дрожала, когда он бросал кости.

Выпал тоже туз.

- О! - сказал Уайлдив. - Проклятье!

Снова кость ударилась о камень. Опять туз. Венн, мрачный как ночь, бросил; на камне лежали две половинки кости разломом кверху.

- У меня - ничего, - сказал он.

- Поделом мне - это я, значит, расщепил кость зубами. Ну! Берите ваши деньги. Ничего меньше, чем один.

- Я не хочу.

- Берите, говорят вам! Вы их выиграли.

И Уайлдив швырнул деньги в грудь охряника. Венн подобрал их, встал и ушел из лощины, пока Уайлдив сидел, словно оглушенный.

Когда он пришел в себя, он тоже встал и с погасшим фонарем в руке направился к большой дороге. Выйдя на нее, остановился. Ночное молчанье отяготело над всей пустошью, только в одном направлении слышались слабые звуки - со стороны Мистовеера. Уайлдив различил стук колес легкого экипажа, а потом увидел и два фонаря, спускавшихся по склону. Он спрятался за куст и стал ждать.

Экипаж приблизился и проехал мимо. Это была наемная двуколка, и позади кучера сидели двое, которых он хорошо знал, - Юстасия и Ибрайт, и его рука обнимала ее талию. Внизу, где кончался спуск, двуколка свернула круто налево по направлению к тому дому в трех милях к востоку, который Клайм снял и обставил для первых месяцев своей семейной жизни.

Уайлдив забыл о потере денег при виде своей потерянной возлюбленной, чья драгоценность возрастала в его глазах в геометрической прогрессии после всякого случая, который напоминал ему о непоправимости потери. Весь во власти утонченных мук, которым он так умел себя подвергать, он свернул в противоположную сторону - к гостинице.

Почти в то самое время, когда Уайлдив ступил на большую дорогу, Венн тоже вышел к ней ста ярдами ниже и, услышав стук тех же колес, точно так же стал ждать, пока экипаж подъедет. Увидев, кто в нем сидит, он как будто огорчился, но, поразмыслив минуту или две - а экипаж в это время продолжал двигаться, - он перешел через дорогу и, шагая напрямик сквозь заросли вереска и дрока, опять выбрался на нее в том месте, где она заворачивала, поднимаясь в гору. Теперь он снова был впереди экипажа, и тот вскоре показался; лошадь шла шагом. Венн выступил вперед и стал так, чтобы его было видно.

Юстасия вздрогнула, когда свет от фонаря упал на него, и рука Клайма невольно соскользнула с ее талии. Клайм сказал:

- Что это вы, Диггори? Поздненько гуляете!

- Да... Простите, что вас остановил, - сказал Венн. - Но я здесь дожидаюсь миссис Уайлдив, надо ей кое-что передать от миссис Ибрайт. Не знаете, она уже уехала или нет?

- Нет еще, но скоро поедет. Вы можете перенять ее на повороте.

Венн поклонился на прощанье и пошел обратно, к тому месту, где проселок из Мистовеера вливался в большую дорогу.

Здесь он прождал около получаса; наконец другая пара фонарей стала спускаться по склону. Это была старомодная, довольно несуряжного вида коляска,

принадлежавшая капитану, и Томазин сидела в ней одна с Чарли за кучера.

Охряник вышел им навстречу, когда они стали медленно поворачивать.

- Простите, что вас задерживаю, миссис Уайлдив, - сказал он, - по миссис Ибрайт поручила мне передать вам это. - Он подал ей небольшой сверток - только что выигранную им сотню гиней, наскоро обернутую бумагой.

Опомнившись от изумления, Томазин взяла сверток.

- Это все, мэм, прощайте, спокойной ночи, - проговорил он и исчез из виду.

Так Венн, стремясь восстановить справедливость, отдал в руки Томазин не только принадлежавшие ей по праву пятьдесят гиней, но и пятьдесят, предназначенные ее двоюродному брату Клайму. При этом он основывался на словах, сказанных Уайлдивом в начале игры, когда он возмущенно отрицал предположение, что гиней не его. Охряник не понял, что на половине игры она стала идти на деньги другого человека, и эта ошибка имела своим последствием столько горя, сколько и втрое большая денежная потеря не могла бы причинить.

Ночь теперь уж сильно подвинулась, и Венн, не медля более, направился в глубь пустоши. Вскоре он пришел к овражку, в котором стоял его фургон, - не дальше двухсот ярдов от места, где происходила игра. Он вошел в свой передвижной дом, зажег фонарь и прежде, чем запереть дверь, постоял на пороге, размышляя обо всем, что случилось за последние часы. И пока он стоял, небо на северо-востоке, уже очистившееся от туч, начало мало-помалу наливать мягким сияньем. Начинался рассвет, хотя время было между часом и двумя; но в эти дни, в середине лета, светает рано. Тогда Венн, уставший до изнеможения, запер дверь, повалился на койку и уснул.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
ЗАПЕРТАЯ ДВЕРЬ
ГЛАВА I
ВСТРЕЧА У ПРУДА

Июльское солнце пылало над Эгдоном, превращая розовый вереск в пурпурный. Было то время и та погода, при которой Эгдон одевался в свой самый яркий наряд. Этот цветущий период представлял собой второе, или полуденное, подразделение в том цикле поверхностных перемен, какие только и были возможны здесь; он следовал за зеленым периодом молодых папоротников, знаменовавшим собой утро, и предшествовал коричневому периоду, когда колокольчики вереска и папоротники одевались в красно-коричневые краски вечера, а их, в свою очередь, сменяли темные тона зимнего периода, знаменующего ночь.

Жизнь Клайма и Юстасии в их маленьком доме в Олдерворте протекала с однообразием, в котором оба находили наслаждение. Пустошь, перемены погоды все это для них сейчас не существовало. Они словно были заключены в светящемся тумане, который скрывал от их глаз то, что было вокруг них негармоничного, и все одевал сиянием. Когда шел дождь, они радовались, потому что можно было весь день сидеть дома вместе - и по такой уважительной причине; когда было ясно, они радовались, потому что можно было вместе сидеть где-нибудь на холмах. Они были как те двойные звезды, которые вращаются одна вокруг другой - и издали кажется, что это одна звезда. Полное уединение, в котором они жили, усиливало их взаимный обмен мыслями, но кое-кто, вероятно, сказал бы, что оно имело и отрицательную сторону, так как побуждало их слишком расточительно тратить свои взаимные чувства. За себя Ибрайт не опасался, но, вспоминая прежние слова Юстасии о непрочности любви - сейчас ею как

будто забытые, - он невольно задумывался и боязливо вопрошал: неужели свойство конечности не чуждо и Эдему?

Проведя так три или четыре недели, Ибрайт снова вплотную взялся за занятия. Чтобы наверстать потерянное время, он теперь трудился без устали, желая как можно скорее выступить в своей новой профессии.

Меж тем Юстасия с самого начала лелеяла мечту, что, выйдя замуж за Клайма, она сумеет убедить его вернуться в Париж. До брака он тщательно уклонялся от всяких обещаний такого рода, но сможет ли он устоять против ее ласк и уговоров? Она так рассчитывала на успех, что даже указала дедушке Париж, а не Бедмут как наиболее вероятное будущее свое местожительство. Все ее мысли и все надежды были связаны с этой мечтой. В тихие дни после свадьбы, когда Ибрайт только и делал, что любовался ее глазами, линией губ, очертаниями лица, она неустанно думала все о том же, даже когда отвечала на его замороженный взгляд; и теперь вид книг, суливших будущее, враждебное ее мечте, подействовал на нее как болезненный удар. В мечтах она уже видела себя хозяйкой какого-нибудь элегантного заведения - пусть совсем небольшого! - где-нибудь поблизости от парижских бульваров, где она будет проводить свои дни на окраине веселого мира и хоть изредка приобщаться к городским удовольствиям, которыми она так умела наслаждаться. Но Ибрайт был так тверд в противоположных своих намерениях, как будто женитьба не только не развеяла, но еще укрепила его юношеские филантропические фантазии.

Беспокойство ее дошло до крайности, но что-то было в неуклонном поведении Клайма, что заставляло ее колебаться и все откладывать неизбежный разговор. Тут ей на помощь пришел случай. Произошло это

однажды вечером через полтора месяца после свадьбы и зависело целиком от неправильного употребления Венном пятидесяти гиней, предназначенных Ибрайту.

Получив деньги, Томазин через день либо два послала тетке записку с благодарностью. Такой богатый дар ее несколько удивил, но так как раньше сумма ни разу не была упомянута, она приписала все щедрости покойного дяди. Тетка строго наказала ей не говорить мужу об этом подарке; сам Уайлдив, понятно, ни словом не обмолвился жене о полунощной сцене на пустоши; Христиан, напуганный собственным участием в этом деле, тоже держал язык за зубами; и, уповая, что деньги каким-нибудь чудесным способом в конце концов дошли по назначению, он так и сказал миссис Ибрайт, не входя в подробности.

Но когда прошло две недели, миссис Ибрайт начала удивляться, почему до сих пор ничего не слышно от сына о получении подарка, а затем опечалилась при мысли, что причиной его молчания могло быть враждебное отношение к ней. Трудно было этому поверить, однако почему все-таки он ничего не написал? Она призвала Христиана и стала его расспрашивать, и по его путаным ответам она, конечно, заподозрила бы неладное, если бы половина его рассказа не подтверждалась запиской Томазин.

И пока миссис Ибрайт таким образом колебалась и недоумевала, она узнала однажды утром, что жена ее сына приехала в Мистовер навестить дедушку. Она решила тоже подняться на холм, повидать Юстасию и узнать из уст своей невестки, какая судьба постигла фамильные гиней, которые для миссис Ибрайт были тем же, чем фамильные драгоценности для какой-нибудь герцогини.

Когда Христиан узнал, куда она идет, его волнение достигло высшей точки; он почувствовал, что больше влиять не может, и тут же у калитки признался, что

деньги им были проиграны, и рассказал всю правду, то есть ту ее часть, которую знал, а именно, что деньги у него выиграл Уайлдив.

- Так неужели он оставит их у себя? - воскликнула миссис Ибрайт.

- Даст бог, нет! - простонал Христиан. - Он же хороший человек, авось поступит по-честному. Он говорил - вам бы лучше дать долю мистера Клайма Юстасии - так, может, он так и сделал.

Когда миссис Ибрайт стала способна спокойно размышлять, она посчитала эту версию наиболее правдоподобной; ей не верилось, чтобы Уайлдив мог просто присвоить деньги, принадлежащие ее сыну. А окольный путь - через Юстасию был как раз в его духе. Но от этого гнев матери отнюдь не утих. То, что Уайлдив в конце концов все-таки захватил гиней в свои руки и может ими распоряжаться, изменять ее планы, отдавать долю Клайма его жене, потому что она была, а может быть, и сейчас остается его, Уайлдива, возлюбленной, все это вызывало у миссис Ибрайт такое раздражение, какого она, пожалуй, за всю жизнь еще не испытывала.

Она немедленно уволила злополучного Христиана за его участие в этой истории, но потом, чувствуя себя совсем покинутой и неспособной справиться без него, сказала, что он может, если хочет, еще немного у нее поработать. После чего она поспешила к Юстасии с намерением уже не столь благоприятным для будущих отношений с невесткой, как час назад, когда она только замышляла этот визит: тогда она думала просто дружески осведомиться, не было ли случайно потери, теперь - напрямик спросить Юстасию, действительно ли Уайлдив тайно отдал ей деньги, предназначенные, как священный дар, Клайму?

Она вышла в два часа и увидела Юстасию раньше, чем ожидала, так как та стояла у пруда возле насыпи,

окружавшей владения капитана, поглядывая на окрестные склоны и, может быть, вспоминая романтические сцепы, коих они в прошлом были свидетелями. Подошедшую миссис Ибрайт она встретила равнодушным взглядом, как чужую.

Свекровь заговорила первой.

- Я пришла повидаться с вами, - сказала она.

- Вот как! - удивленно проронила Юстасия, так как миссис Ибрайт в свое время, к немалой обиде девушки, отказалась быть на ее свадьбе. - Я вас совсем не ждала.

- Я только по делу, - сказала гостя уже холоднее, чем раньше. Извините, пожалуйста, но я должна задать вам вопрос: скажите, вы получали недавно подарок от мужа Томазин?

- Подарок?

- Да. Деньги.

- Что?.. Я лично?..

- Ну да, вы лично, без ведома мужа, - хотя этого я как раз не собиралась говорить.

- Деньги от мистера Уайлдива? Да никогда в жизни! Сударыня, что вы этим хотите сказать? - Юстасия сразу вскипела; помня о своих прежних отношениях с Уайлдивом, она подумала, что миссис Ибрайт тоже о них знает и теперь явилась обвинять ее в том, что она и посейчас получает от него компрометирующие подарки.

- Я только спросила, - сказала миссис Ибрайт. - Я была...

- Вам следовало быть лучшего мнения обо мне - да, впрочем, я знаю, вы с самого начала были против меня! - вскричала Юстасия.

- Нет. Просто я была за Клайма, - возразила миссис Ибрайт с излишней, может быть, горячностью. - Каждый старается оберегать своих близких.

- Значит, Клайма надо было оберегать от меня? Как вы можете так говорить! - воскликнула Юстасия со слезами обиды на глазах. - Я не причинила ему вреда

тем, что вышла за него замуж! Какое преступление я совершила, что вы так дурно думаете обо мне? Вы не имели права восстанавливать его против меня, когда я вам ничего плохого не сделала!

- Я делала только то, что было естественно при данных обстоятельствах, - уже мягче сказала миссис Ибрайт. - Я не хотела сейчас этого касаться, но вы меня вынудили. Мне нечего стыдиться, и я могу сказать вам чистую правду. Я была твердо убеждена, что ему не следует на вас жениться, поэтому я всеми силами старалась его отговорить. Но теперь дело сделано, и я не собираюсь жаловаться. Я готова вас приветствовать.

- Ах, как это мило - такой деловой подход! - с затаенным гневом проговорила Юстасия. - Но почему вы решили, что было что-то между мной и мистером Уайлдивом? У меня тоже есть гордость, не меньше, чем у вас. Я возмущена, как всякая женщина была бы на моем месте. Разрешите вам напомнить, что, когда я вышла за вашего сына, это было снисхождение с моей стороны, а не маневр какой-нибудь; и я не позволю, чтобы со мной обращались как с интриганкой, которую приходится терпеть, потому что она втерлась в семью.

- О! - сказала миссис Ибрайт, тщетно стараясь сдержать негодование. Не знаю, чем это наша семья хуже вашей - не наоборот ли? Смешно слышать, как вы тут говорите о снисхождении.

- Тем не менее это было снисхождение, - запальчиво отвечала Юстасия. И знай я тогда то, что знаю теперь, - что мне через месяц после свадьбы придется все еще сидеть на этой дикой пустоши, я... я бы дважды подумала, прежде чем согласиться.

- Лучше бы вы этого не говорили; не похоже на правду. Я хорошо знаю, что мог вам обещать мой сын; с его стороны не было обмана - не знаю, как с другой.

- Нет, это невыносимо! - хрипло проговорила молодая женщина; лицо ее побагровело, глаза метали

молнии. - Как вы смеете так со мной разговаривать? Я вам повторяю: знай я, что моя жизнь от свадьбы и до сего дня будет такой, как она есть, я бы сказала - "нет"! Я не жалею. Я ему ни слова об этом не говорила; но это правда. И, надеюсь, в будущем вы воздержитесь от разговора о том, что я его завлекла. Если вы еще теперь меня обидите, это обернется против вас.

- Обижу вас? Вы считаете, я желаю вам зла?

- Вы обижали меня еще до моего замужества, а теперь заподозрили, что я благоволю другому мужчине за деньги!

- В своих мыслях никто не волен. Но я никогда не говорила о вас за пределами моего дома.

- Зато говорили в доме Клайму, а хуже ничего нельзя было придумать.

- Я выполнила свой долг.

- А, я выполню свой.

- Часть которого, вероятно, будет состоять в том, что вы настроите сына против матери. Это всегда так бывает. Но что поделаешь - другие терпели, видно, и мне терпеть.

- Понимаю, - сказала Юстасия, задыхаясь. - Вы считаете меня способной на все самое дурное. Что хуже жены, которая поощряет любовника и озлобляет мужа против его родных? Но именно такой меня изображают. Может, придете и вырвете его из моих рук?

Миссис Ибрайт отвечала ударом на удар.

- Не ярьтесь так, сударыня! Это портит вашу красоту, а из-за меня не стоит вам терпеть такой ущерб. Ведь я только бедная старуха, которая потеряла сына.

- Если бы вы уважительно обращались со мной, он был бы ваш по-прежнему, - сказала Юстасия; жгучие слезы катились у нее из глаз. - Вы сами виноваты вызвали разлад, который теперь уже нельзя залечить!

- Я ничего не сделала. Но такой дерзости от молодой девчонки я не могу вынести.

- Вы сами напросились; заподозрили меня и заставили меня так говорить о моем муже, как сама я бы никогда не стала. А теперь вы ему расскажете, что я говорила, и мы оба будем мучиться. Уходите лучше отсюда! Вы не друг мне!

- Уйду, когда скажу то, что мне надо. Если кто скажет, что я пришла допрашивать вас без достаточных оснований, это будет неправда. Если кто скажет, что я пыталась предотвратить ваш брак иначе чем вполне честными способами, это будет неправда. Я пришла в недобрый час; господь несправедлив ко мне, что позволил вам так оскорблять меня! Возможно, сын мой не будет знать счастья по сю сторону могилы, - он неразумный человек, который не слушает материнских советов. Но вы, Юстасия, стоите на краю пропасти, сами того не зная. Покажите моему сыну хоть половину той злобы, что вы мне сегодня показали, - а этого, может быть, недолго ждать, - и вы увидите, что, хотя сейчас он с вами кроток, как ребенок, он может быть твердым, как сталь!

Затем взволнованная мать ушла, а Юстасия осталась стоять у пруда, тяжело дыша и глядя на воду.

ГЛАВА II

БЕДЫ ОСАЖДАЮТ ЕГО, НО ОН ПОЕТ ПЕСЕНКУ

Последствием этого неудачного свиданья было то, что Юстасия не осталась у дедушки до вечера, как предполагала, а поспешила домой к Клайму, куда и прибыла на три часа раньше, чем ее ожидали. Она вошла с раскрасневшимся лицом и еще припухшими от недавних слез глазами. Ибрайт с удивлением поглядел на нее; он никогда еще не видал ее в сколько-нибудь похожем состоянии. Она прошла мимо, видимо стремясь ускользнуть вверх незамеченной, но Клайм так обеспокоился, что тотчас пошел за ней.

- Что случилось, Юстасия? - спросил он.

Она стояла в спальне на коврике у камина, еще не сняв шляпы, глядя в пол, стиснув руки на груди. Мгновенье она молчала, потом проговорила негромко:

- Я видела твою мать и никогда больше не хочу ее видеть!

У Клайма словно камень налег на сердце. В это самое утро, когда Юстасия собиралась к дедушке, Клайм выразил желание, чтобы она проехала также и в Блумс-Энд и справилась о здоровье его матери или каким-нибудь способом, какой найдет удобным, постаралась достичь примирения. Она уехала веселая, и он надеялся на успех.

- Почему? - спросил он.

- Не знаю - не помню... Мы встретились. И больше встречаться с ней я не желаю.

- Да почему же?

- Что у меня сейчас общего с мистером Уайлдивом? Не хочу, чтобы обо мне рассказывали всякие гадости. Нет, какое унижение - спрашивает, не получала ли я от него денег или не поощряла его или еще что-то в этом роде - я уж точно не помню!

- Но как же она могла это спросить?

- А вот могла.

- Тогда, очевидно, в этом есть какой-то смысл. Что она еще говорила?

- Не помню, что она там еще говорила, знаю только, что мы обе наговорили такого, чего нельзя простить!

- Нет, тут, конечно, какое-то недоразумение. Чья вина, что ее слова были плохо поняты?

- Не знаю... Может быть, обстоятельств... тут вообще было что-то странное... О, Клайм - я все-таки должна сказать - ты поставил меня в очень неприятное положение. Но ты должен это исправить, - ты это сделаешь, да? потому что теперь я все здесь ненавижу! Да, да, увези меня в Париж и продолжай свое прежнее

занятие, Клайм! Пусть мы вначале будем жить очень скромно, мне все равно, лишь бы это был Париж, а не Эгдонская пустошь.

- Но ведь я же совсем отказался от этой мысли, - с удивлением сказал Ибрайт. - Мне кажется, я не давал тебе повода думать иначе.

- Не давал, это верно. Но бывают мысли, которых никак не выбросишь из головы, - вот у меня эта. И разве я не имею права голоса в этом вопросе теперь, когда я твоя жена и разделяю твою участь?

- Да, но ведь есть вещи, которые просто уже больше не подлежат обсуждению, и я думал, что это как раз к ним относится - с общего нашего согласия.

- Клайм, мне грустно это слышать, - тихо проговорила Юстасия, потупилась и, повернувшись, ушла.

Это указание на тайную залежь надежд в груди Юстасии смутило ее мужа. Впервые он увидел, каким извилистым путем идут подчас женщины к достижению желаемого. Но решение его не поколебалось, как он ни любил Юстасию. Ее слова повлияли на него лишь в том смысле, что заставили еще плотнее засесть за книги, чтобы поскорее добиться ощутимых результатов на избранном им пути и иметь возможность противопоставить эти реальные достижения ее капризу.

На другой день тайна гиней разъяснилась. Томазин второпях приехала в Олдерворт и собственными руками передала Клайму его долю. Юстасии в это время не было дома.

- Так вот что мама имела в виду, - воскликнул Клайм. - Томазин, а ты знаешь, что они насмерть поссорились?

Томазин теперь не так свободно держалась со своим двоюродным братом, как раньше. Таково действие брака - усиливать в отношении многих ту

сдержанность, которую он снимает в отношении одного.

- Да, - сказала она осторожно. - Твоя мама мне говорила. Она приходила ко мне домой.

- Случилось самое плохое, чего я так боялся. Мама очень была расстроена, когда пришла к тебе, Томазин?

- Да.

- В самом деле, очень?

- Да. Очень.

Клайм облокотился на столб садовой калитки и прикрыл глаза рукой.

- Не мучайся из-за этого, Клайм. Они, может, еще помирятся.

Он покачал головой.

- У обеих кровь чересчур вспыльчивая. Ну что ж, чему быть, того не миновать.

- Одно утешение - гиней не пропали.

- По мне, пусть бы трижды столько пропало, только бы не эта беда.

Среди всех этих огорчительных событий в душе Клайма еще больше окрепла уверенность, что самое необходимое сейчас - это чтобы его педагогические планы возможно скорее принесли плоды. Ради этого он много дней подряд читал далеко за полночь.

Однажды утром, после еще более долгого бдения, чем обычно, он проснулся с каким-то странным ощущением в глазах. Солнце светило прямо в окно сквозь белую занавеску, и при первом же взгляде туда он ощутил острую боль в глазах, которая заставила его быстро зажмуриться. При всякой новой попытке оглядеться вокруг проявлялась та же болезненная чувствительность, и жгучие слезы текли у него по щекам. Пришлось ему, пока он одевался, надеть на глаза повязку, да и весь день ее нельзя было снять. Юстасия сильно встревожилась. На другой день ему не стало лучше, и они послали в Энглбери за врачом.

Он приехал к вечеру и определил у Клайма острое воспаление, вызванное ночными занятиями и еще усиленное предшествующей незалеченной простудой, временно ослабившей его глаза.

И Клайм, донельзя расстроенный перерывом в занятиях, которые он так стремился скорее привести к окончанию, был переведен на положение больного. Его заключили в комнате, куда не проникал свет, и он совсем бы впал в уныние, если бы Юстасия не читала ему при слабом огоньке затененной лампы. Он надеялся, что худшее скоро пройдет, но при третьем визите врача он узнал, к великому своему огорчению, что хотя через две-три недели ему уже можно будет выходить в темных очках из дому, но все помыслы о продолжении занятий и даже о чтении какого бы то ни было печатного текста придется отложить надолго.

Прошла неделя, прошла вторая, в положении молодой четы не было просвета. Юстасии мерещились всякие ужасы, но она, конечно, остерегалась даже словом упомянуть о них мужу. Вдруг он ослепнет или, во всяком случае, зрение не настолько вернется к нему, чтобы он мог заниматься делом, которое согласовалось бы с его вкусами и желаньями и помогло бежать из этого одинокого жилища среди холмов? Ее мечта о прекрасном Париже становилась уж совсем бесплотной. По мере того как день проходил за днем, а ему не становилось лучше, ее мысли все чаще устремлялись по этой зловещей колее; она уходила в сад и плакала слезами отчаяния.

Ибрайт хотел было послать за матерью, потом раздумал. Какая польза, что она будет знать о его состоянии, только лишнее горе для нее; а они жили так замкнуто, что вряд ли она об этом услышит, если не послать к ней нарочного. Стараясь насколько можно философичнее относиться к своей беде, он подождал до третьей недели и тогда впервые вышел на воздух.

Как раз в это время его посетил врач, и Клайм попросил его яснее высказать свое мнение. То, что он услышал, было неожиданностью для него; по словам врача, срок его возвращения к занятиям оставался по-прежнему неопределенным, так как, хотя сейчас он видит достаточно хорошо для того, чтобы ходить и вообще двигаться, пристальное разглядывание всяких мелких объектов может снова вызвать офтальмию в острой форме.

Это известие опечалило Клайма, но не привело его в отчаянно. Какая-то спокойная твердость, даже веселость появилась в нем. Он не ослепнет - пока довольно и этого. Быть обреченным долгое время видеть мир сквозь темные очки, конечно, неприятно и подрывает его надежды на скорый успех, но Клайм умел быть абсолютным стоиком, когда дело шло только о положении в обществе; если бы не Юстасия, он примирился бы с самой скромной долей, лишь бы иметь возможность в какой-либо форме осуществлять свой основной замысел. Одной из таких форм было устроить вечернюю школу в домике на пустоши; это было ему доступно: поэтому его недуг не так подавляюще действовал на его душу, как можно было ожидать.

Радуюсь солнечному теплу, он направился на запад, в те участки пустоши, которые так хорошо знал, потому что они были всего ближе к его прежнему дому. В одной из долин он заметил вдали металлический блеск - как будто серп или косу правили на оселке - и, подойдя ближе, различил, что блеск действительно исходил от серпа в руках человека, который резал дрок. Тот узнал Клайма, а Клайм по голосу понял, что перед ним Хемфри.

Хемфри пособолезновал Клайму и добавил:

- Вот если б вы делали черную работу, как я, вы могли бы продолжать как ни в чем не бывало.

- Да, пожалуй, - задумчиво сказал Ибрайт. - А сколько вам платят за эти вязанки?

- Полкроны за сотню, и пока стоят долгие дни, я могу совсем неплохо жить на свой заработок.

Весь обратный путь до Олдерворта Клайм был погружен в размышления, нельзя сказать, чтобы неприятного свойства.

Когда он был уже возле дома, Юстасия окликнула его из открытого окна, и он подошел.

- Дорогая, - сказал он, - я уже чувствую себя немножко более счастливым. А если бы мама помирилась со мной и с тобой, я, кажется, был бы и совсем счастлив.

- Боюсь, этого никогда не будет, - сказала она, глядя вдаль своими прекрасными сумрачными глазами. - Как ты можешь говорить, что ты стал счастливее, когда ничего не изменилось?

- Это потому, что я наконец нашел, чем я могу заняться и зарабатывать на жизнь в это тяжелое время.

- Да? Чем же?

- Я буду резать дрок и торф.

- Нет, Клайм! - воскликнула она, и слабый свет надежды, блеснувший было в ее лице, погас, и она стала мрачнее прежнего.

- Непременно буду. Было бы очень неразумно тратить те небольшие деньги, что у меня есть, когда я могу честным заработком пополнить расходы. Движение на воздухе будет мне полезно, и кто знает, может быть, через месяц-другой я уже буду способен возобновить занятия.

- Но ведь дедушка предложил нам помочь, если будет нужно.

- А нам не нужно. Если я стану резать дрок, мы будем жить неплохо.

- Да, по сравнению с рабами, или израильтянами в Египте, или еще с такими же несчастными!

По лицу Юстасии, не замеченная Клаймом, скатилась горькая слеза. В его тоне, когда он говорил, ей послышалась беспечность, показавшая, что он не испытывает никакого особенного горя при мысли о таком завершении своей карьеры, а для нее это был ужас из ужасов.

На другой же день Ибрайт отправился к Хемфри и занял у него поножи, перчатки, оселок и серп на то время, пока он сам еще не может все это себе купить. Затем вместе со своим новым товарищем и старым знакомцем он пустился в путь и, выбрав место, где дрок рос всего гуще, сделал почин в новом своем ремесле. Его зрение, как крылья в "Расселасе", хотя недостаточное для его великих целей, для этой более простой задачи оказалось вполне удовлетворительным, и Клайм уверился в том, что со временем, когда его ладони загрубеют и не будут больше покрываться волдырями, ему нетрудно будет справляться с работой.

День за днем он вставал вместе с солнцем, затягивал свои поножи и отправлялся на randevу с Хемфри. Он обычно работал с четырех часов утра до полудня, затем в самое знойное время шел домой и спал час или два; потом снова выходил и работал до сумерек, которые наступали около девяти часов.

Этот парижанин был теперь так замаскирован своим кожаным снаряжением и темными очками, что самый близкий друг мог бы пройти мимо и его не узнать, он был всего лишь коричневым пятнышком среди бесконечных оливково-зеленых зарослей дрока. В незанятые часы на него часто находило уныние при мысли о положении Юстасии и о разладе с матерью, но в разгаре работы он всегда бывал спокоен и весел.

Его повседневная жизнь носила какой-то микроскопический характер - весь его мир ограничивался кружком вокруг его тела радиусом в несколько футов. Его друзьями были ползучие и

крылатые твари, и они, видимо, приняли его в свою компанию. Пчелы по-приятельски жужжали у самых его ушей и тут же, рядом с ним, в таких количествах повисали на цветах вереска и дрока, что стебли сгибались до земли. Странные, цвета амбры, мотыльки, это порожденье Эгдона, которого нигде больше не увидишь, трепетали в дыхании, исходящем из его губ, присаживались на его согнутую спину, заигрывали со сверкающим кончиком его серпа, когда он им взмахивал. Сотни изумрудно-зеленых кузнечиков прыгали ему на ноги и сваливались, неуклюже падая на спину, на голову, на бок, как придется, подобно неумелым акробатам, или под листьями папоротников затевали громогласный флирт с другим племенем кузнечиков, молчаливым и скромно одетым в серое. Огромные мухи, незнакомые ни с кладовыми, ни с проволочными сетками и пребывающие во вполне диком состоянии, гудели вокруг него, не зная, что он человек. То выползая из чащи папоротников, то вновь скрываясь в ней, скользили по земле змеи в самом блестящем, синем с желтым, своем наряде; как полагалось по времени года, она только что сбросили старую кожу, и цвета их еще не успели поблекнуть. Молодые кролики целыми выводками выбирались из нор на пригорки погреться на солнышке, и его горячие лучи просвечивали сквозь их нежные тонкие уши, делая их прозрачно-алыми, с заметным узором артерий. Никто здесь не боялся Клайма.

Однообразие работы успокаивало Клайма и само по себе доставляло удовольствие. Вынужденное ограничение деятельности имело даже приятную сторону для человека, лишённого честолюбия, так как оправдывало выбор самой простой работы, которого совесть бы ему не позволила, будь он в полном обладании всеми своими способностями. Поэтому Ибрайт иногда тихонько напевал во время работы, а

когда ему приходилось сопровождать Хемфри в поисках плетей ежевики для скрепления вязанок, он забавлял своего спутника рассказами о парижской жизни и парижанах, и время проходило незаметно.

Однажды в такой теплый предзакатный час Юстасия вздумала пройтись туда, где работал Клайм. Он усердно резал дрок, а вправо от него тянулся длинный ряд вязанок - плод его трудов за день. Он не заметил, как она подошла, и она остановилась совсем близко и услышала его пенье. Это потрясло ее. Сперва, видя, как он, бедный страдалец, зарабатывает деньги в поте лица своего, она была тронута чуть не до слез; но слышать, как он поет и, по-видимому, нисколько не возмущается своим грубым занятием, которое ему, может быть, и не противно, но для нее, его благовоспитанной и образованной жены, представляет крайнее унижение, - это оскорбило ее сверх всякой меры. А он, не замечая ее присутствия, продолжал напевать:

В рассветный час,
В весенние наряды облачась,
Ликует флора, птицы и ручьи
Запели снова песни о любви,
Все радует влюбленный слух и глаз
В рассветный час.
В рассветный час
Печаль порою посещает нас
Мы плачем, что приветливая ночь,
Рассеявшись, любовь уводит прочь,
Что свет прекрасных милых звезд угас
В рассветный час.

Теперь Юстасия с горькой ясностью поняла, как мало он озабочен своим общественным падением; и гордая красавица поникла головой и заплакала в отчаянии при мысли о том, насколько пагубным для ее собственной жизни может оказаться такое настроение

мужа и такая черта его характера. Затем она выступила вперед.

- Я бы лучше умерла с голоду, чем это делать! - гневно вскричала она. А ты еще можешь петь! Уйду от тебя, буду опять жить у бабушки!

- Юстасия! А я и не видел тебя, хотя заметил, что будто бы что-то двигалось, - сказал он мягко. Он подошел, снял свою огромную кожаную перчатку и взял ее за руку. - Почему ты так странно говоришь? Это же только старая песенка, которую я как-то раз слышал в Париже, и она мне понравилась, а сейчас она так подходит к моей жизни с тобой. Неужели вся твоя любовь ко мне умерла оттого только, что я больше не выгляжу франтом?

- Милый, не надо смеяться надо мной, а то как бы я в самом деле не перестала тебя любить!

- Да разве же я способен на такой риск?

- Ну, не знаю... Ты все делаешь по-своему, а мне не хочешь уступить, когда я умоляю тебя бросить эту позорную работу. Или тебе что-то во мне не нравится, что ты поступаешь наперекор моим желаниям? Я твоя жена, почему ты меня не слушаешь? Ведь я же все-таки твоя жена!

- Я знаю, что значит этот тон.

- Какой тон?

- А вот каким ты сказала: "все-таки твоя жена". Это значит "к сожалению, твоя жена".

- Невеликодушно колоть меня этим. Женщина может быть права, даже когда не хочет покоряться, и если я и думала про себя - "к сожалению" - то в этом чувстве нет ничего низкого, это естественно при данных обстоятельствах. Вот! Видишь, я, во всяком случае, не стараюсь тебя обманывать. Помнишь, я еще до нашей свадьбы говорила тебе, что во мне нет качеств хорошей жены?

- А вот теперь ты смеешься надо мной. На этот счет благороднее всего было бы помолчать, потому что ты все еще моя королева, Юстасия, хоть я, может быть, уже не твой король.

- Ты мой муж. Разве этого мало?

- Нет, очень много, но только если ты не жалеешь о том, что стала моей женой.

- Не знаю, что тебе ответить... Помнишь, я еще сказала, что, женись на мне, ты берешь на себя немалую обузу?

- Да, я это понял.

- Что-то слишком скоро понял! Когда любят по-настоящему, таких вещей не замечают. Ты чересчур строг со мною, Клайм, - мне совсем не нравится, когда ты так говоришь.

- Так ведь я, несмотря на это, на тебе женился - и не жалею. Как ты холодна сегодня! А я думал, что нет на свете более горячего сердечка.

- Да, боюсь, мы оба остываем, я это вижу не хуже тебя. - Она печально вздохнула. - А как безумно мы любили два месяца назад! Ты никогда не уставал любоваться мной, а я тобой. Кто бы подумал, что скоро мои глаза уже не будут для тебя так прекрасны и твои губы для меня так сладки. Два месяца - может ли это быть?.. Однако это правда!

- Ты вздыхаешь, дорогая, как будто жалеешь об этом; это добрый знак.

- Нет, я не об этом вздыхаю. У меня много есть о чем вздыхать, как было бы и у всякой женщины на моем месте.

- О том, что все твои надежды рухнули из-за брака с неудачником?

- Почему ты заставляешь говорить тебе неприятные вещи, Клайм? Право, я столько же достойна сожаления, как и ты. Столько же? Нет, я думаю, больше. Потому что ты можешь петь! Мне бы в голову не пришло петь,

когда у нас все так плохо! Поверь мне, милый, позволь я только себе, я бы так плакала, как ты, с твоим легким характером, и представить себе не можешь! Да если тебе твоя беда не горька, так мог бы хоть из жалости ко мне воздержаться от пеня. Бог ты мой! Будь я мужчиной и в твоём положении, я бы уж скорее стала богохульствовать, чем петь!

Ибрайт положил руку ей на плечо.

- Ты только не думай, моя неопытная девочка, что я так уж и не умею восставать, в самом возвышенном, прометеевском стиле, против богов и судьбы. Я всего этого столько сам испытал, сколько ты и понаслышке не знаешь. Но чем больше я наблюдаю жизнь, тем яснее вижу, что нет ничего особенно высокого в самом высоком общественном положении, а потому и нет ничего особенно низкого в моём положении торфореза. И если самые богатые дары фортуны, на мой взгляд, не имеют большой цены, то для меня не такое уж большое лишение, когда она их отнимает. Поэтому я пою, чтобы время шло быстрее. Но неужели в тебе не осталось хоть немножко нежности ко мне и тебе жаль, что у меня выдалась веселая минута?

- Во мне осталось еще немного нежности к тебе.

- Ах, в твоих словах уже нет прежнего аромата. Вот так и умирает любовь вместе с удачей.

- Я не могу это слушать, Клайм, я рассержусь, - сказала она, и голос ее сорвался. - Пойду домой.

ГЛАВА III

ОНА РЕШАЕТ БОРОТЬСЯ С УНЫНИЕМ

Несколько дней спустя в самом конце августа Юстасия и Ибрайт сидели за своим ранним обедом.

Юстасия в последнее время была какой-то вялой и молчаливой. В ее прекрасных глазах застыло скорбное выражение, которое, по заслугам или нет, невольно вызывало жалость в каждом, кто видел ее раньше, во время расцвета ее любви к Ибрайту. Настроение мужа и

жены менялось обратно их реальному состоянию: Клайм, пораженный недугом, был весел; он даже пытался утешать ее, за всю жизнь не испытавшую и минуты физического страдания.

- Ну развеселись же, дорогая, все еще уладится. Я, может быть, скоро опять буду видеть так же хорошо, как раньше. И я торжественно обещаю тебе, что брошу резать дрок, как только смогу делать что-нибудь получше. Ты же не можешь серьезно желать, чтобы я целый день сидел дома без дела?

- Но это так ужасно - простой рабочий! Ты, человек, который видал свет, и говоришь по-французски и по-немецки, и способен на в сто раз лучшее, чем эта работа.

- Должно быть, когда ты впервые увидела меня и услышала обо мне, я представлялся тебе в золотом ореоле - человек, который бывал во всех знаменитых местах, участвовал в пышных празднествах, одним словом, этакий пленительный, очаровательный, неотразимый герой?

- Да, - сказала она, всхлипывая.

- А теперь я бедняк в коричневой коже.

- Не дразни меня. Но довольно. Больше я не буду унывать. Сегодня я намерена пойти из дому, если ты не возражаешь. В Восточном Эгдоне устраивают деревенский пикник - угощение и танцы на открытом воздухе, и я пойду.

- И танцевать будешь?

- Отчего бы и нет? Ты же поешь?

- Ну, ну, как хочешь. Мне прийти за тобой?

- Если не слишком поздно вернешься с работы. Но вообще-то не утруждай себя. Дорогу домой я знаю, и на пустоши я никогда и ничего не боялась.

- И ты так жаждешь развлечений, что ради этого готова пройти весь путь до деревни?

- Ну вот, тебе не нравится, что я пойду одна! Клайм, ты уж не ревнуешь ли?

- Нет. Но я пошел бы с тобой, если бы это было тебе приятно; а впрочем, пожалуй, не надо, я и то уж, наверно, порядком тебе надоел. А все-таки мне почему-то не хочется, чтобы ты шла. Может быть, ревную; да и у кого же больше оснований для ревности, чем у меня, полуслеплого мужа такой красавицы?

- Ох, не надо так думать. Отпусти меня, не отнимай у меня крупицы радости!

- Да что ты, я готов всю свою тебе отдать, дорогая моя женушка. Иди и делай что хочешь. Да и кто может запретить тебе, даже если это просто твой каприз? Мое сердце еще принадлежит тебе, а за то, что ты меня терпишь, хотя я для тебя сейчас только обуза, я обязан тебе благодарностью. Да, иди одна и блистай. А я уж покорюсь своей судьбе. На таком собрании люди стали бы меня избегать. Мой серп и рукавицы - это вроде трещотки прокаженного, которой он всех предупреждает: "Уходите с дороги, чтобы не увидеть зрелища, которое может вас опечалить!"

Клайм поцеловал ее, надел свои поножи и ушел. Когда она осталась одна, она уронила голову на руки и сказала сама себе:

- Две погибших жизни - его и моя. Вот к чему я пришла! Право, я, кажется, с ума сойду.

Она стала думать, каким бы способом хоть немного улучшить их теперешнее положение, и ничего не придумала. Вообразила, как все эти бедмутские девицы, узнав, что с нею случилось, скажут: "Посмотрите на эту гордячку, для которой никто не был достаточно хорош!" Для Юстасии нынешнее ее положение было такой насмешкой над всеми ее надеждами, что смерть представлялась ей единственным выходом в случае, если б небо вздумало еще усугубить свою иронию.

Внезапно она встрепенулась и воскликнула:

- Но я сброшу все это с себя! Да, сброшу! Я буду едко-остроумной и иронически-веселой, я буду смеяться над всем на свете! И начну с того, что пойду на эти танцы.

Она поднялась к себе в спальню и оделась с особой тщательностью. Если бы кто видел ее в эту минуту, он бы, пожалуй, согласился, что в иных случаях красота может служить оправданием бунтарских чувств. Даже человек, не слишком ей сочувствующий, видя, в какой тупик загнал эту женщину столько же случай, сколько ее собственная опрометчивость, сказал бы, что у нее есть веские основания вопрошать Вышние Силы, по какому праву она, существо столь законченного изящества, поставлена в условия, при которых ее прелесть становится скорее проклятием, чем благословеньем.

В пять часов пополудни она в полной готовности вышла из дому. Никогда она еще не была так хороша; казалось, обаяния в ней сейчас хватило бы на двадцать новых побед. Мятежная грусть, слишком заметная в ней, когда она сидела дома без шляпы, теперь была замаскирована и смягчена ее прогулочным нарядом, всегда каким-то словно бы туманным, без единой жесткой линии, так что ее лицо выглядывало из своей рамки, как из облака, без заметной пограничной черты между телом и одеждой.

Жар только начинал спадать, и она шла по согретым солнцем холмам, не торопясь, так как времени для ее праздного предприятия было еще много. Когда ее путь пролегал сквозь заросли папоротника, она совсем скрывалась в зелени, словно тонула в ней; высокие папоротники смыкались над ее головой, так как в эту пору они образуют целые леса в миниатюре, хотя ни один стебель не доживет до будущего года и не расцветет вторично.

Лужайка, выбранная для деревенского праздника, была одним из тех травяных оазисов, которые иногда, но не часто, встречаются на плоскогорьях вересковых районов. Заросли дрока и папоротников вдруг кончались по ее краям, как обрезанные, и травянистый покров нигде не был нарушен. Зеленая тропинка, пробитая скотом, окружала поляну, нигде, однако, не прорываясь сквозь отделяющий ее экран из высоких папоротников, и по этой тропке пошла Юстасия, для того чтобы сперва разведать обстановку, а потом уж присоединиться к общему веселью. Залихватские звуки восточно-эгдонского оркестра безошибочно вели ее, а затем она увидела и самих музыкантов: они сидели на ломовом полке, синем с красными колесами, отмытом и отчищенном до блеска и украшенном арками из прутьев, к которым были прикреплены цветы и зеленые ветки. Прямо перед полком танцевало около двадцати пар - это был главный, или срединный, круг, а по бокам танцевало еще несколько малых кругов из гостей попроще, вращательные эволюции которых не всегда совпадали с тактом.

Молодые парни все носили голубые или белые розетки и с покрасневшими лицами напропалую отплясывали перед девушками, а те от возбуждения и быстрой пляски заливались таким румянцем, что рядом с ним бледнели их многочисленные розовые банты. Красотки с длинными буклями, красотки с короткими кудряшками, красотки с локоном, кокетливо спущенным на щеку, красотки с косами - все кружились и кружились без устали; и можно было только подивиться, как удалось всего в одной или двух деревнях набрать столько приятных молодых женщин, сходных по росту, годам и расположению духа.

На заднем плане какой-то счастливый смертный плясал в одиночку, с закрытыми глазами, в полном забвении всего окружающего. В стороне под

остриженным терном был разложен костер, и над ним рядом висели три котла. Тут же чуть подалее стоял стол, за которым пожилые дамы разливали чай, но Юстасия напрасно искала среди них жену скотопромышленника, которая звала ее прийти и обещала обеспечить ей любезный прием.

Неожиданное отсутствие единственной более или менее знакомой ей местной жительницы значительно подпортило задуманный Юстасией план бесшабашного веселья. Присоединиться к празднику стало непростым делом, хотя, конечно, если бы она подошла, веселые матроны предложили бы ей чаю и всячески бы обласкали эту незнакомку, столь превосходящую их изяществом и образованием. Постояв и поглядев на фигуры двух танцев, Юстасия решила пройти дальше, в деревню, где рассчитывала в одном доме найти чем подкрепиться, а затем попозже вечером вернуться домой.

Так она и сделала - и к тому времени, когда она снова приближалась к поляне, где шло празднество и мимо которой неизбежно было проходить по пути к Олдерворту, солнце уже садилось. Было так тихо, что она издали слышала оркестр, который, казалось, играл еще с большим, если это возможно, энтузиазмом.

Когда она взошла на холм, солнце уже скрылось, но это не составило большой разницы ни для танцоров, ни для Юстасии, так как круглая желтая луна уже поднималась за ее спиной, правда, не имея еще силы перебороть своими лучами оранжевый свет на западе. Танцы шли по-прежнему, но теперь собралось больше зрителей, и уже не из местных, а пришедших издалека любопытства ради; они стояли кольцом вокруг танцующих, и Юстасия могла постоять с ними без опасения быть узнанной.

Столько чувственных эмоций, сколько целая деревня тратила по мелочам за весь год, сейчас

сосредоточилось, как вскипающий бурун, на этой малой площадке и на час времени. Сорок сердец этих кружащихся пар бились так, как не доводилось им биться ни разу за все двенадцать месяцев, прошедших с прошлогоднего такого же увеселения. На время язычество возродилось в их сердцах, радость жизни стала их единственным законом, и они не поклонялись ничему, кроме самих себя.

Многим ли из этих объятий, страстных, но временных, суждено стать постоянными - этот вопрос, возможно, задавал себе кое-кто из тех, что сейчас обнимались, равно как и Юстасия, которая на них смотрела. Она уже начинала завидовать их пируэтам, жаждать тех надежд и того счастья, которое магия танца зажигала в их сердцах. Она сама до страсти любила танцевать, и для нее одним из главных соблазнов Парижа была возможность невозбранно предаваться любимому развлечению. К несчастью, эта надежда угасла навсегда...

Пока она рассеянно следила за извивами хоровода, она вдруг услышала свое имя, произнесенное шепотом у ее плеча. Обернувшись в изумленье, она увидела человека, чье присутствие заставило ее мгновенно покраснеть до корней волос.

Это был Уайлдив. До этой минуты она его не встречала с самого утра его свадьбы, когда она как будто бесцельно мешкала в церкви и очень его удивила, подняв вуаль и подойдя к алтарю, чтобы расписаться как свидетельница брака. Но почему теперь от одного его вида вся кровь бросилась ей в лицо, она не могла бы объяснить.

Она не успела еще ничего сказать, как он снова прошептал:

- Вы по-прежнему любите танцы?
- Кажется, да, - тихо проговорила она.
- Хотите потанцевать со мной?

- Очень приятно было бы встряхнуться, но не покажется ли это странным?

- Что странного в том, что родственники танцуют друг с другом?

- Ах да, родственники... Пожалуй, верно...

- Но если не хотите, чтобы вас узнали, опустите вуалетку. Хотя при этом свете и так мало что разглядишь. Да и народ тут все больше чужой.

Она сделала, как он советовал; и это было молчаливым согласием на его предложение.

Уайлдив подал ей руку и, обойдя круг танцующих, стал с нею в конце их вереницы. Через две минуты они уже выполняли очередную фигуру, постепенно передвигаясь вперед, к голове хоровода. Пока они двигались от хвоста к середине, Юстасия не раскалась, что уступила его уговорам; но, двигаясь от середины к голове, она уже убеждала себя, что раз ее целью было получить удовольствие - зачем же она сюда и пришла, - то сейчас она совершает вполне естественный поступок. А уж когда пошли без роздыха поворотки, скольженья, пируэты, к чему их обязывала позиция в голове хоровода, то кровь Юстасии разгорелась, и для долгих раздумий не стало времени.

Сквозь вереницу в двадцать пять пар пробирались они своим извилистым путем, и новая жизнь закипала в ее жилах.

Бледный вечерний свет усиливал обаяние этой минуты. Есть такая степень и такой оттенок света, который имеет свойство колебать душевное равновесие и давать опасное преобладание нежным чувствам; в сочетании с движением он очень быстро доводит их до высшей точки, в то время как разум, наоборот, становится сонным и невосприимчивым; и такой свет сочился сейчас с лунного диска на этих двоих. Все танцующие девушки испытывали то же, но Юстасия сильнее всех. Трава у них под ногами уже была выбита

и стерта, и твердая утоптанная поверхность земли, если смотреть наискось по направлению к лунным лучам, сияла, как полированный стол. Воздух был совершенно неподвижен; флаг над полком с музыкантами словно прилип к древку, а сами музыканты виделись только как темные контуры на фоне неба, за исключением тех моментов, когда раструбы тромбона, серпента или английского рожка вдруг вспыхивали, словно огромные глаза, в черноте их фигур. Нарядные платья девушек утратили свои разнообразные дневные оттенки и все казались туманно-белыми. Юстасия плыла и плыла по кругу, поддерживаемая рукой Уайлдива, с лицом застывшим и невыразительным, как у статуи; душа ускользнула из ее черт и забыла их, и они остались пустые и покойные, какими они всегда бывают, когда чувство превышает их способность выражения.

Как близко к ней был сейчас Уайлдив! Страшно подумать. Она чувствовала его дыхание, а он, конечно, чувствовал ее. Как дурно она с ним поступила! А вот они все-таки сейчас несутся в одном ритме. Она дивилась колдовству танца. Ясная черта, словно осязаемая граница, отделяла ее переживания внутри этого круга от всего, что она испытывала вне его. Когда она начала танцевать, как будто сменился воздух; там, снаружи, она была закована в полярной мерзлоте по сравнению с тропическими ощущениями здесь. Она вступила в танец из сумрачных часов своей недавней жизни, как входят в ярко освещенную комнату после скитания в ночном лесу. Уайлдив сам по себе мог вызвать только беспокойство; Уайлдив вместе с танцем, и лунным светом, и тайной становился упоением. Сам ли он был главным составляющим в этом сладком и сложном чувстве или же танец и все окружающее тут более повинны это различие слишком тонкое, которого Юстасия сейчас никак не могла бы установить.

Люди начинали спрашивать: "Кто они?" - но каких-нибудь въедливых вопросов не задавали. Если бы Юстасия появилась среди этих девушек в обычной, повседневной обстановке, пожалуй, было бы иначе, но здесь ей не докучали чрезмерным вниманием, потому что здесь каждая представала в своем самом обольстительном виде. Подобно планете Меркурию, окруженному сиянием заката, всегдашняя яркость Юстасии прошла не слишком замеченной среди временного блеска остальных.

Что же касается Уайлдива, его чувства нетрудно угадать. Препятствия всегда были для его любви тем же, чем солнце для плода, и сейчас он был в разгаре утонченных мук. Пять минут держать в объятьях, как свое, то, что весь остальной год будет принадлежать другому, - такую ситуацию Уайлдив умел до тонкости просмаковать. Он уже давно снова начал вздыхать по Юстасии, в сущности, с той самой минуты, когда он расписывался в церковной книге после венчания с Томазин, - это был первый сигнал его сердцу вернуться на прежние квартиры, а дополнительное осложнение, брак самой Юстасии, было тем добавком, который уж делал возврат неизбежным.

Таким образом, то, что для всех было просто бодрящим движением на свежем воздухе, для этих двоих - и по разным причинам - стало вихрем, уносившим их в неведомое. Танец расшатал в них сколько еще оставалось чувства общественных условностей и загнал назад, на прежние тропы, теперь вдвойне беззаконные. Три танца подряд они неслись и кружились; наконец, утомленная непрерывным движением, Юстасия повернулась, чтобы выйти из круга, в котором и так слишком долго оставалась. Уайлдив отвел ее в сторону, к травянистому пригорку, где она села, а он остался стоять рядом. С той минуты,

когда он впервые заговорил с ней перед началом танца, они больше не обменялись ни словом.

- Устали? - нежно спросил он. - Три танца, да еще дорога сюда...

- Нет, не очень.

- Не странно ли, что мы именно здесь встретились после того, как так долго не видались?

- Не видались, потому что не хотели.

- Да. Но вы это начали - нарушив обещание.

- Не стоит об этом говорить. С тех пор мы оба связали себя иными узами - вы не меньше, чем я.

- Я с огорчением услышал, что ваш супруг болен.

- Он не болен, только читать не может.

- Да, это я и хотел сказать. Искренне сочувствую вам. Судьба жестоко с вами обошлась.

Она помолчала.

- Вы слышали, что он стал резать дрок для заработка? - проговорила она упавшим голосом.

- Говорили мне, - нерешительно сказал Уайлдив. - Да я не поверил.

- Нет, это правда. Что вы думаете обо мне, как о жене чернорабочего?

- Я думаю о вас то, что всегда думал. Ничто не может вас унижить: вы облагораживаете занятие вашего мужа.

- Хотела бы я так чувствовать.

- Есть надежда, что мистер Ибрайт поправится?

- Он думает, что да. Я сомневаюсь.

- Я очень удивился, когда услышал, что он снял дом на пустоши. Я считал, как и все, что он увезет вас в Париж сразу после свадьбы. "Какая веселая, интересная жизнь ей предстоит!" - думал я. Но он, вероятно, опять уедет туда с вами, если его зрение окрепнет?

Не слыша ответа, он внимательнее посмотрел на нее. Она едва сдерживала слезы. Картины будущего, которое никогда не осуществится, ожившая горечь

разочарования, мысль о тайных насмешках соседей - все это всколыхнулось от слов Уайлдива, лишая гордую Юстасию привычного самообладания.

Уайлдив сам с трудом мог держать в узде свои слишком бурные чувства, когда увидел ее волнение. Но он сделал вид, что ничего не заметил, и спокойствие вскоре вернулось к ней.

- Неужто вы хотели идти домой одна? - спросил он.

- А что же? - сказала она. - Что может мне угрожать на этой пустоши, когда у меня ничего нет?

- Вначале нам по дороге. Я буду счастлив сопровождать вас до Троп-Корнера. - Видя, что Юстасия колеблется, он добавил: - Или вы думаете, что неразумно показываться со мной после событий прошлого лета?

- Ничего подобного я не думаю, - отвечала она надменно. - Буду ходить с кем хочу, что бы ни говорили обо мне все эти ничтожные жители Эгдона.

- Так пойдете, если вы уже отдохнули. Сперва надо держать вон на тот куст остролиста с черной тенью справа.

Юстасия встала и пошла рядом с ним, осторожно ступая по уже влажному от росы вереску и папоротникам, провожаемая отзвуками веселья, так как танцы еще продолжались. Луна уже стала яркой и серебряной, но вересковая пустошь была непроницаема даже и для такого освещения, и сейчас здесь можно было наблюдать удивительную картину - темная, гасящая все лучи полоса земли под небом, полным от зенита до горизонта белого, как снег, блеска. Если бы чей-то глаз смотрел на Уайлдива и Юстасию сверху, с высоты, их лица среди этого темного пространства были бы для него как две жемчужины на столе черного дерева.

Из-за этой темноты, залегшей внизу, неровности тропы не были видны, и Уайлдив иногда спотыкался, а

Юстасии приходилось грациозно балансировать в усилиях сохранить равновесие всякий раз, как кустик вереска или корень дрека выступал из травы на узкой дорожке. И всегда при этом к ней протягивалась рука и крепко ее держала, пока под ее ногами не оказывалась опять ровная почва, и тогда рука снова отдалялась на почтительное расстояние.

Они шли почти все время молча и наконец очутились возле Троп-Корнера; дальше, в нескольких сотнях ярдов, от большой тропы отходила короткая тропка к дому Юстасии. И постепенно они различили, что навстречу им движутся две человеческие фигуры, по-видимому мужеского пола.

Когда они подошли еще немного ближе, Юстасия нарушила молчанье, сказав:

- Один из них мой муж. Он обещал меня встретить.

- А другой мой злейший враг, - сказал Уайлдив.

- Похож на Диггори Венна.

- Он и есть.

- Это очень неприятная встреча, - сказала она, - но так уж мне везет. Он слишком много обо мне знает, если только за это время не узнал еще больше и не понял, что прежнее его знание ничего не стоит. Но делать нечего придется вам сдать меня им.

- Ну, я бы на вашем месте трижды подумал, прежде чем давать мне такой совет. Вот человек, который не забыл ни одной подробности наших свиданий у Дождевого кургана; и с ним ваш муж. Кто из них, видя нас сейчас вместе, поверит, что наша встреча и танцы на пикнике были случайностью?

- Хорошо, - мрачно прошептала она. - Уходите, пока они не подошли.

Он нежно простился с ней и нырнул в заросли папоротника и дрека. Юстасия продолжала медленно идти. Через две-три минуты она поравнялась с мужем и его спутником.

- На сегодня мой путь здесь кончается, охряник, - сказал Ибрайт, как только ее разглядел. - Я вернусь с этой дамой. Спокойной ночи!

- Спокойной ночи, мистер Ибрайт, - сказал Венн. - Надеюсь скоро увидеть вас в добром здравии.

Луна светила прямо в лицо Венну, и каждая черточка была ясно видна Юстасии. Он смотрел на нее с подозрением. Что зоркий глаз Венна издали различил то, что было недоступно слабому зрению Клайма - а именно, мужчину, шедшего рядом с ней и внезапно исчезнувшего, - это было весьма вероятно.

Если бы Юстасия могла последовать за охряником, она тут же увидела бы подтверждение своей догадки. Едва успел Клайм подать ей руку и отойти вместе с ней на несколько шагов от места их встречи, как охряник свернул с протоптанной дорожки, по которой он пошел, только чтобы проводить Клайма; собственный его фургон находился где-то неподалеку. Широко шагая своими длинными ногами, он пробивался наперерез сквозь совсем уж дикий, без единой тропинки, кусок пустоши, приблизительно в том же направлении, какое вначале взял Уайлдвиг. Только человек, привыкший к ночным скитаниям, мог бы в такой час и с такой быстротой спускаться по этим ощетиленным кустарником склонам и не слететь вниз головой в какую-нибудь ямину и не сломать себе ногу, угодив в кроличью нору. Но Венн стремил свой бег, по-видимому, без особых неудобств для себя, и курс он держал на "Молчаливую женщину". Он достиг ее примерно через полчаса, зная притом наверняка, что никто, находившийся возле Троп-Корнера в тот момент, когда он, Диггори, начал свою ночную пробежку, не мог попасть сюда до него.

Гостиница еще была открыта, хотя посетителей и не было, так как главное ядро составляли путники, заглядывавшие сюда во время дальних деловых

поездок, а эти, конечно, давно уже убрались восвояси. Венн пошел в общую залу, спросил кружку пива и самым равнодушным тоном осведомился у девушки за буфетом, дома ли мистер Уайлдв.

Томазин сидела во внутренних комнатах и слышала голос Венна. При посетителях она редко показывалась, так как не могла побороть врожденное отвращение к занятию мужа; но, видя, что никого нет, вышла.

- Он еще не вернулся, Диггори, - сказала она приветливо. - Я его уже давно жду. Он пошел в Восточный Эгдон покупать лошадь.

- А какая на нем шляпа? Не белая ли с широкими полями?

- Да.

- Ну так я его видел возле Троп-Корнера, он как раз вел кобылку красавицу - с белым лбом и гривой черной, как ночь. Теперь, наверно, уж скоро придет. - Поднявшись и поглядев на чистое, нежное лицо Томазин, на которое с тех пор, как он его в последний раз видел, легла тень печали, он решился добавить: - Мистер Уайлдв, кажется, часто не бывает дома об эту пору?

- Ах да, - воскликнула Томазин нарочито веселым тоном. - Мужей, знаете, все из дому тянет. Вы не можете мне помочь - не знаете ли секрета, как сделать, чтобы он по вечерам сидел дома?

- Подумаю, может, и вспомню какой-нибудь, - отвечал Венн столь же легким тоном, хотя на душе у него было совсем не легко. Он поклонился на свой особый манер в знак прощания, Томазин протянула ему руку, и без вздоха, хотя с мыслями, которые сулили их много в будущем, он вышел из дому.

Когда четвертью часа позже Уайлдв вернулся, Томазин простодушно спросила тем приглашенным голосом, который стал теперь для нее привычным:

- А где же лошадь, Дэймон?

- Да я не купил в конце концов. Дорого просят.

- А как же тебя видели у Троп-Корнера, будто ты вел кобылу, красавицу, с белым лбом и гривой черной, как ночь?

- Ха, - сказал Уайлдив, останавливая на ней пристальный взгляд. - Кто это тебе сказал?

- Венн, охряник.

Выражение на лице Уайлдива стало весьма сложным.

- Ну, это недоразумение, он кого-нибудь другого за меня принял, медленно и сухо проговорил он. Он понял, что Венн опять начал свои контрмеры.

ГЛАВА IV

ПРИМЕНЯЕТСЯ НАСИЛИЕ

Эти слова Томазин, как будто и незначительные, а на самом деле значившие так много, продолжали звучать в ушах Диггори Венна: "Вы не можете ли мне помочь - как сделать, чтобы он сидел дома по вечерам?"

На этот раз Венн оказался на Эгдонской пустоши только проездом; интересы семьи Ибрайтов, считал он, больше его не касались, а у него были свои дела, в частности, по ту сторону Эгдона, куда он и направлялся. Но теперь он видел, что силою обстоятельств и неожиданно для него самого его вновь затягивает на прежний путь тайных действий в защиту Томазин.

Он сидел в своем фургоне и размышлял. Из слов Томазин и ее топа он ясно понял, что Уайлдив к ней невнимателен. А из-за кого, как не из-за Юстасии? Однако все же сомнительно, чтобы дело у них дошло уже до регулярных тайных свиданий: Венн решил хорошенько покараулить на одинокой тропе, которая шла через холмы от гостиницы Уайлдива до дома Клайма в Олдерворте.

В это время, как мы видели, Уайлдив был еще неповинен в каких-либо реальных попытках завести

любовную интригу с Юстасией и, за исключением танца на поляне, ни разу не виделся с ней после ее свадьбы. Но дух интриги в нем жил, что доказывала недавно усвоенная им романтическая привычка - с наступлением темноты выходить из дому, прогуливаться по направлению к Олдерворту, а придя туда, любоваться на луну и звезды, поглядывать издали на дом Юстасии и затем не спеша возвращаться домой.

Таким образом, стоя на страже в первый же вечер после деревенского празднества, охряник увидел, как он поднялся по короткой тропке к дому, постоял, опершись на садовую калитку, повздыхал и двинулся в обратный путь. Ясно было, что интрига Уайлдива скорее идеального, чем реального порядка. Венн, держась впереди него, спустился с холма до того места, где узкая тропа превращалась в довольно глубокую рытвину между кустами вереска, и здесь, таинственно пригнувшись к земле, несколько минут что-то делал, а затем исчез. Когда Уайлдив подошел к этому месту, нога его вдруг за что-то зацепилась и он во всю длину растянулся на земле.

Отдышавшись, он сел и прислушался. Из темноты не доносилось ни единого звука, только вяло повевал легкий ветер. Пошарив вокруг себя, он обнаружил, что два кустика вереска были связаны один с другим поперек тропы, образуя петлю, которая неминуемо должна была повергнуть ниц всякого, кто здесь бы шел. Уайлдив вытащил веревочку, которой они были связаны, и поспешил убраться оттуда. Придя домой, он увидел, что веревочка красноватого цвета. Как он и ожидал.

Хотя среди слабостей Уайлдива не числилась физическая трусость, однако этот внезапный и решительный выпад со стороны человека, которого он слишком хорошо знал, порядком его обеспокоил. Но на его поступки он не повлиял. Через день либо два он снова вечером отправился в Олдерворт, приняв только

одну предосторожность - он держался подальше от тропы. Ощущение, что за ним следят, что применяют хитрость, чтобы помешать его несколько еретическому времяпрепровождению, только придавало пикантность этой сентиментальной прогулке - до тех пор, разумеется, пока опасность была не слишком угрожающей. Уайлдив считал, что Венн в заговоре с миссис Ибрайт, и находил законным бороться против такой коалиции.

На пустоши в этот вечер, казалось, нигде и никого не было, и Уайлдив, некоторое время глядевший с сигарой во рту через калитку в сад, поддался соблазну, какой для него всегда имела эмоциональная контрабанда, - он подошел к окну, которое было неплотно закрыто и штора на нем спущена не донизу. В щелку он увидел внутренность комнаты; Юстасия сидела одна. Минуту Уайлдив ее разглядывал, потом снова вышел на пустошь и слегка потыкал тростью в гущу папоротников; оттуда немедленно вылетело множество встревоженных мотыльков. Уайлдив поймал одного, вернулся к окошку и, поднеся руку к щели, разжал ладонь. Мотылек устремился к свече, горевшей на столе, два-три раза покружился над ней и влетел в огонь.

Юстасия вздрогнула. Это был условный знак, придуманный ими в те дни, когда влюбленный Уайлдив тайком приходил за нею в Мистоввер. Она тотчас поняла, что он здесь, за окном, но не успела еще сообразить, что делать, как ее муж, скрипя ступеньками, стал спускаться по лестнице. От такого внезапного стечения обстоятельств ее словно жаром обдало - лицо разгорелось, черты приобрели живость, которой им так часто недоставало.

- Как ты разругалась, милочка, - сказал Ибрайт, когда подошел ближе. - Неплохо бы тебе и всегда быть такой.

- Мне жарко, - пролепетала Юстасия. - Пойду, пожалуй, немножко воздухом подышу.

- Мне пойти с тобой?

- Да нет, я только до калитки.

Она встала, но прежде чем она ступила на порог, раздался громкий стук в парадную дверь.

- Я пойду, пойду, - сказала Юстасия с необычной для нее готовностью и взволнованно поглядела на окно, через которое влетел мотылек; но там ничего не было.

- Зачем же тебе - в такой поздний час, - возразил Клайм и, опередив ее, вышел в коридор. Юстасия осталась ждать, под дремотным своим видом скрывая внутренний жар и беспокойство.

Она прислушалась: вот Клайм отпер дверь. Но никаких голосов, никакого разговора не донеслось снаружи, и вскоре Клайм запер дверь и вернулся в комнату.

- Никого нет, - сказал он. - Странно! Что это может значить?

Он мог бы весь остаток вечера дивиться этой странности, так как объяснения не последовало. И Юстасия молчала: тот дополнительный факт, о котором она знала, только усиливал загадочность происшествия.

А возле дома тем временем разыгралась маленькая драма, которая и уберегла Юстасию от ложного шага, по крайней мере на этот вечер. Пока Уайлдив изготавливал свой мотыльковый сигнал, кто-то другой подошел следом за ним к калитке. Этот человек - в руках у него, кстати сказать, было ружье - с минуту наблюдал за манипуляциями Уайлдива у окна, затем подошел к дому, с силой постучал в дверь и скрылся, обогнув угол и перепрыгнув через изгородь.

- Черт бы его драл! - сказал Уайлдив. - Опять он за мной следил.

Этим громовым стуком сигнал Уайлдива был сведен на нет, и ему самому ничего не оставалось, как

удалиться. Он вышел в калитку и быстро зашагал по тропе, ни о чем не думая, кроме того, как бы улизнуть незамеченным. На полугоре тропинка проходила поблизости от кучки низкорослых падубов, которая чернела среди общей тьмы, как зрачок в черном глазу. Когда Уайлдив проходил мимо, над ухом у него грянул выстрел, и несколько дробинок ударились на излете о листья вокруг него.

Не приходилось сомневаться, что выстрел этот предназначался ему; и он ринулся в кусты, яростно колотя по ним тростью, но никого там не оказалось. Это дело было уже посерьезнее предыдущих, и Уайлдив долго не мог успокоиться. Начинался ряд каких-то новых и крайне неприятных выходов и, по-видимому, с целью причинить ему тяжелые телесные повреждения. Первую - с петлей на тропинке - Уайлдив склонен был рассматривать как грубую шутку, которую охряник себе позволил по недостатку воспитания. Но теперь уже была перейдена граница между досадным и опасным.

Если бы Уайлдив знал, до какой степени были серьезны намерения Венна, он бы еще больше обеспокоился. Охряник не помнил себя от возмущения после того, чему стал свидетелем возле дома Клайма, и, кроме прямого убийства, был готов на все, лишь бы так напугать молодого трактирщика, чтобы все его непослушливые амурьеры раз и навсегда выскочили у него из головы. Сомнительная законность столь грубого принуждения его не тревожила. Это соображение редко тревожит таких людей и при таких обстоятельствах и не всегда об этом стоит жалеть. От привлечения к суду Страффорда и до короткой расправы фермера Линча с виргинскими головорезами было немало случаев, когда торжество законности оборачивалось насмешкой над законом.

В полумиле от уединенного жилища Клайма находилась деревня, где жил один из двух констеблей,

призванных охранять мир и порядок в приходе Олдерворт, и Уайлдив направился прямо к его дому.

Первое, что он увидел, открыв дверь, была висящая на гвозде дубинка констебля, которая как будто подтверждала, что тут-то он и найдет то, что ему нужно. Однако констебля не оказалось дома. Уайлдив сказал его жене, что подождет.

Часы тикали, отщелкивая минуты, а констебля все не было. Уайлдив немного остыл; на смену бурному негодованию пришло грызущее недовольство собой, своим приходом сюда, женой констебля и вообще всем стечением обстоятельств. Он встал и вышел. В конечном счете события этого вечера порядком охладили, чтобы не сказать заморозили, заблудшую нежность Уайлдива, и он больше не испытывал желания подниматься с наступлением ночи на Олдерворт в надежде перехватить какой-нибудь случайный взгляд Юстасии.

Таким образом, на первых порах охрянику как будто удалось своими нехитрыми выдумками подавить склонность Уайлдива бродяжить по вечерам. В этот вечер, во всяком случае, он уничтожил в зародыше всякую возможность свидания Юстасии с ее прежним возлюбленным. Но он не предусмотрел, что средства, пущенные им в ход, могут побудить Уайлдива не столько к отказу от своих намерений, сколько к поискам обходных путей. Игра в кости на заповедные гиней, конечно, не сделала его желанным гостем для Клайма, однако навестить родственника жены было поступком вполне естественным, и Уайлдив твердо решил повидать Юстасию. Надо было только выбрать более подходящее время, чем десять часов вечера. "Раз нельзя вечером, - сказал он себе, пойду днем".

Тем временем Венн спустился уже в долину Блумс-Энда и подходил к дому миссис Ибрайт, с которой они были в дружеских отношениях с тех пор, как она узнала

о его провиденциальном вмешательстве, сохранившем для ее детей фамильные гиней. Она удивилась столь позднему посещению, но не отказалась с ним поговорить.

Он рассказал ей о том, какая беда приключилась с Клаймом и как он теперь живет, затем, упомянув Томазин, осторожно дал понять, что ей, судя по всему, живется не весело.

- И будьте уверены, сударыня, самое лучшее, что можно для них сделать, это чтобы вы почаще и подольше бывали у них в доме - и у него и у нее, пусть даже вначале и не все будет гладко.

- Они оба меня ослушались, он женился, и она вышла замуж против моей воли, поэтому я не вхожу в их семейные дела. Если им плохо, сами виноваты.

Миссис Ибрайт старалась говорить строго, но известие о несчастье с сыном так взволновало ее, что ей трудно было это скрыть.

- Если б вы у них бывали, Уайлдив, может, вел бы себя получше, и тем бы, на холме, не грозила беда.

- Что это значит?

- А я был там сегодня вечером и видел кой-что, что мне больно не понравилось. Хорошо бы, между домом вашего сына и мистера Уайлдива расстояние было не три мили, а этак сотня по меньшей мере.

- Ах, так, значит, у него был сговор с женой Клайма, когда он дурачил Томазин!

- Будем надеяться, что сейчас у них нет сговора.

- И паша надежда, наверно, окажется тщетной. О, Клайм! О, Томазин!

- Ну, пока еще ничего не случилось. Я, кажется, убедил Уайлдива, чтобы он в чужие дела не совался.

- Каким образом?

- Ну, не разговором, конечно, а есть у меня такой способ бессловесный.

- Надеюсь, вам удастся.

- Удастся, если вы мне поможете тем, что пойдете к ним и помиритесь с сыном. Тогда своими глазами увидите.

- Ну, раз уж до этого дошло, - удрученно сказала миссис Ибрайт, - то признаюсь вам, охряник, я и сама думала пойти. У меня легче стало бы на сердце, если бы мы помирились. Женился - так уж тут ничего изменить нельзя, а я, может, долго не проживу, так хотелось бы умереть спокойно. Он у меня единственный сын, и если все сыновья таковы, то я не жалею, что других у меня нету. Что касается Томазин, то я от нее многого и не ждала, так что она меня не разочаровала. Но я давно ей простила, а теперь прощаю и ему. Я пойду к ним.

В то время, как в Блумс-Энде происходил этот разговор охряника с миссис Ибрайт, в Олдерворте тоже шел, хотя и довольно вяло, разговор на ту же самую тему.

Весь день Клайм держался так, как будто был слишком занят своими мыслями, чтобы замечать окружающее, а теперь наконец открылось, о чем были его мысли. Как раз после таинственного стука в дверь он заговорил:

- Сегодня я все время думаю, Юстасия, - надо все-таки как-то покончить эту ужасную ссору между моей дорогой мамой и мной. Меня это очень мучает.

- Что же ты хочешь сделать? - рассеянно проговорила Юстасия; она еще не совсем оправилась от волнения, вызванного попытками Уайлдива добиться свидания с ней.

- Тебя, кажется, очень мало интересует, чего я хочу или не хочу. сказал Клайм с некоторой обидой.

- Ошибаешься, - уже более живо отозвалась Юстасия: упрек несколько расшевелил ее. - Просто я задумалась.

- О чем?

- В частности, об этом мотыльке, чей скелет сейчас сгорает на фитиле свечи, - медленно проговорила она. - Но ты же знаешь, мне всегда интересно все, что ты говоришь.

- Хорошо, милочка. Так вот - я считаю, что надо мне пойти навестить ее... - Он продолжал с нежностью в голосе: - Я не от гордости до сих пор этого не сделал, а только из страха, что могу вызвать ее гнев. Но я должен что-то сделать. Нехорошо с моей стороны, что я так долго с этим тянул.

- В чем ты можешь себя упрекнуть?

- Она стареет, она одинока, я ее единственный сын.

- У нее есть Томазин.

- Томазин не родная ее дочь; а если бы и была родная, это для меня не оправдание. Но это все к делу не относится. Я твердо решил пойти, а тебя только хочу спросить, согласна ли ты мне помочь, то есть забыть прошлое; и если она выразит готовность примириться - пойти ей навстречу, ну, пригласить ее к нам или принять ее приглашение?

Сперва Юстасия сжала губы, как будто готова была сделать все на свете, только не то, что он предлагал. Но потом она призадумалась, очертания ее рта смягчились, правда, не до конца, и она сказала:

- Я ни в чем не буду тебе мешать, но требовать, чтобы я сама стала делать ей авансы, это уж слишком - после того, что было между нами.

- Ты мне ни разу толком не объяснила, что, собственно, было между вами.

- Я тогда не могла и теперь не могу. Иной раз за пять минут рождается больше зла, чем можно изгладить за целую жизнь, - возможно, и тут так было. - Она помолчала, потом добавила: - Если бы ты не возвращался на родину, Клайм, как бы счастливо это для тебя обернулось!.. Это изменило судьбу...

- Трех человек.

"Пяти", - подумала Юстасия, но не сказала вслух.

ГЛАВА V

ОНА ИДЕТ ЧЕРЕЗ ПУСТОШЬ

Четверг, тридцать первого августа, был одним из целого ряда дней, когда уютные домики казались удушающими, а прохладные сквозняки блаженством; когда в глинистой почве садов появлялись трещины и дети боязливо называли их "землетрясением"; когда в колесах повозок и экипажей обнаруживались шатающиеся спицы; когда жалящие насекомые кишели в воздухе, в земле и в каждой капле воды, которая где-либо сохранилась под открытым небом.

В саду миссис Ибрайт широколистные и более нежные растения поникали уже к десяти часам утра; ревень склонялся к земле в одиннадцать, а в полдень даже тугая капуста становилась вялой.

Именно в этот день около одиннадцати часов миссис Ибрайт вышла из дому, направляясь через пустошь к дому своего сына, чтобы сделать все, что в ее силах, для примирения с ним и Юстасией, как она и обещала охрянику. Она рассчитывала пройти большую часть дороги, прежде чем навалится самая сильная жара, но вскоре увидела, что это ей не удастся. Солнце наложило свою печать на всю пустошь, даже пурпурные цветы вереска побурели от сухого зноя нескольких предшествовавших дней. Воздух в каждой долине был как в печи для обжига, и чистый кварцевый песок в руслах зимних потоков, которые летом служили тропинками, претерпел что-то вроде кремации, с тех пор как началась засуха.

В прохладную, свежую погоду миссис Ибрайт не сочла бы за труд пешую прогулку до Олдерворта, но сейчас зной и духота делали это предприятие тяжелым для пожилой женщины; и в конце третьей мили она уже жалела, что не наняла Фейруэя подвезти ее хотя бы часть пути. Но от того места, где она сейчас

находилась, добраться до дома Клайма было не труднее, чем возвращаться обратно. Поэтому она продолжала идти вперед, а воздух вокруг нее дрожал неслышно и томил землю тяжелой усталостью. Она посмотрела на небо над головой и вместо прозрачно-сапфирового тона, каким бывает окрашено небо в зените весной и ранним летом, увидела что-то металлически-фиолетовое.

Иногда по пути ей попадались местечки, где целые независимые миры поденок проводили время в пиршествах и веселье, кто в воздухе, кто на горячей земле и растениях, кто в теплой и вязкой воде наполовину пересохшего пруда. Все более мелкие пруды превратились в парную грязь, и можно было смутно различить, как червеобразные личинки каких-то непонятных тварей с упоением валяются и барахтаются в ней. Миссис Ибрайт, не чуждая вообще склонности к философским раздумьям, присаживалась иногда под своим зонтиком отдохнуть и поглядеть, как они блаженствуют; надежда на благоприятный исход ее посещения успокаивала ее и освобождала ум, так что в промежутках между двумя важными мыслями она могла уделять вниманье всякой малости, какая попадалась ей на глаза.

Миссис Ибрайт никогда не бывала в доме сына, и его точное местоположение было ей неизвестно. Она попробовала одну из поднимавшихся в гору тропинок, потом другую, но обе вводили ее в сторону. Вернувшись обратно, на открытое место, она увидела поодаль человека, занятого какой-то работой, подошла к нему и попросила объяснить ей дорогу. Он указал направление и добавил:

- Видите вон того, что резал дрок, а сейчас пошел вверх по тропинке?

Миссис Ибрайт взгляделась и сказала, что да, она видит.

- Ну вот ступайте за ним следом и не ошибетесь. Он как раз туда идет.

Она пошла за этим человеком. Он весь был коричневатого цвета и не больше отличался от окружающего ландшафта, чем зеленая гусеница от листка, которым кормится. Он шел быстрее миссис Ибрайт, но она наверстывала, когда он останавливался, а это случалось всякий раз, как он проходил мимо зарослей ежевики, - и не теряла его из виду. Потом, проходя, в свою очередь, мимо таких мест, она видела на земле с полдюжину длинных и гибких плетей ежевики, которые он, очевидно, срезал во время своей остановки и аккуратно сложил возле тропы. Ясно, что он предназначал их для скрепления вязанок дрока и намеревался прихватить на обратном пути.

Это молчаливое существо, занятое своими мелкими хлопотами, казалось, значило в жизни не больше, чем насекомое. Казалось, это какой-то паразит пустоши, разъедающий потихоньку ее поверхность, как моль разъедает одежду, погрязший в возне с ее растениями, не знающий ничего на свете, кроме папоротников, дрока, вереска, лишайников и мха.

Сборщик дрока был так поглощен своими делами, что ни разу не обернулся, и его фигура в кожаных поножах и перчатках под конец стала представляться ей чем-то вроде движущегося дорожного столба, указывающего ей путь. Но неожиданно она вновь ощутила его как личность, заметив какую-то особенность его походки. Эту походку она уже где-то видела - и поступь обличила человека, так же как поступь Ахимааса на дальней равнине выдала его царской страже. "У него походка точь-в-точь как была у моего мужа", - сказала она, и тут ее осенило: этот сборщик дрока был ее сын.

Ей трудно было освоиться с этой странной действительностью. Она знала от охряника, что Клайм в

последнее время занялся резкой дрека, но думала, что он делает это кое-когда, больше для развлечения, а сейчас перед ней был настоящий сборщик дрека, в одежде, привычной для этого ремесла, думающий привычные для этого ремесла мысли, если судить по его движеньям. Лихорадочно перебирая в уме десяток поспешных планов, как немедля избавить его и Юстасию от такого образа жизни, она с бьющимся сердцем шла за ним и увидела, как он вошел в собственную дверь.

По одну сторону от дома Клайма был пригорок и на нем кучка сосен, которые так высоко уходили в небо, что их кроны издали казались темным пятном, повисшим над вершиною холма. Подходя к этому месту, миссис Ибрайт почувствовала слабость - от волнения, усталости, нездоровья. Она поднялась на пригорок и села в тени сосен - отдохнуть и подумать, как лучше начать разговор с Юстасией, чтобы не раздражить эту женщину, у которой под внешней томностью таились страсти, более сильные и неукротимые, чем даже у нее самой.

Деревья, под которыми она сидела, были до странности избиты и потрепаны, грубы и дики, и на несколько минут миссис Ибрайт отвлеклась от мысли о своей поломанной бурей судьбы и вгляделась в следы подобных же передраг на них. У всех девяти деревьев не нашлось бы одной целой ветки все были изодраны, обкорнаны, изуродованы жестокой непогодой, которой они бывали отданы в полную власть, когда она бушевала. Иные деревья были обожжены и расщеплены, словно молнией, на стволах виднелись черные пятна, как от огня, а земля у их подножья была завалена мертвой хвоей и сухими шишками, сбитыми во время бурь прошлых лет. Место это называлось Дьяволовы мехи, и достаточно было побывать здесь в мартовскую или ноябрьскую ночь, чтобы попят

причину такого наименования. Даже теперь, в эти знойные послеполуденные часы, когда ветра, казалось, вовсе не было, в кронах сосен не умолкало протяжное стенанье, и не верилось, что этот звук вызван всего лишь движением воздуха.

Она просидела здесь минут двадцать или больше, прежде чем собралась с духом спуститься к дому, так как мужество ее было сведено почти на нет телесным изнеможением. Всякой другой, кроме матери, могло показаться унижительным, что она, старшая по возрасту, первая делает шаг к примирению. Но миссис Ибрайт давно уже все это взвесила и теперь думала только о том, как сделать, чтобы Юстасия в этой уступчивости увидела не малодушие, а мудрость.

Отсюда - сверху - ей был виден задний скат крыши, сад и вся ограда этой крохотной усадьбы. И в ту минуту, когда она уже собиралась встать, она заметила, что к калитке подошел какой-то мужчина. Он держался несколько странно, нерешительно, не так, как человек, пришедший по делу или по приглашению. Он с любопытством оглядел дом с фасада, потом обогнул его и принялся рассматривать дом и сад сзади, как если бы это было место рождения Шекспира, тюрьма Марии Стюарт или замок Угомон. Завершив круг и снова оказавшись перед калиткой, он вошел в нее. Это раздосадовало миссис Ибрайт, так как она надеялась застать сына и его жену одних; но минутное размышление убедило ее в том, что так даже лучше, - присутствие постороннего и необходимость вести разговор на общие темы сгладит неловкость первых минут ее появления в доме и даст ей время освоиться. Она спустилась к калитке и заглянула в разогретый солнцем сад.

На дорожке спала кошка, растянувшись прямо на голом гравии, как будто на постели, - пледы и коврики были в такую жару непереносны. Листья штокрозы

обвисли, словно полу закрытые зонтики, сок, казалось, закипал в стеблях, а листья с гладкой поверхностью сверкали, словно металлические зеркала. Небольшая яблонька - какой-то ранний сорт - была посажена возле самой калитки, и только одна она благоденствовала в этом саду по причине легкой почвы; и среди падалицы на земле под яблоней валялись осы, опьяневшие от сока, или ползали вокруг маленьких пещер, которые они выгрызли в мякоти плодов, прежде чем впали в оцепенение от их сладости. У дверей в дом лежал серп Клайма и последние пять-шесть плетей ежевики, которые он собирал на глазах у миссис Ибрайт; ясно было, что он сам бросил все это здесь, входя в дом.

ГЛАВА VI

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Как уже сказано, Уайлдив решил посетить Юстасию - посетить смело, днем, в качестве родственника. Охряник выследил его и испортил ему ночные прогулки и мечты о тайном свидании. Но совсем отказаться от надежды повидать Юстасию после того танца при лунном свете, когда она его вновь околдовала, для такого человека, как Уайлдив, без твердой пуританской основы в душе, было, конечно, невысказано. Он так задумал свое посещение: он зайдет к ним, самым обыкновенным образом встретится с ней и ее мужем, поболтает с ними о том о сем и уйдет. По внешности все будет совершенно обыденно, но главного он достигнет: повидает ее. Он даже не стремился застать Юстасию одну, в отсутствие Клайма; ведь каковы бы ни были ее чувства к нему, Уайлдиву, она, пожалуй, будет недовольна, если создастся положение, которое может бросить хоть малейшую тень на ее достоинство как супруги. Женщины часто таковы.

Сказано - сделано: он пошел. И случилось так, что момент его прихода совпал с тем временем, когда миссис Ибрайт села отдохнуть на пригорке. Обойдя и

оглядев усадьбу со всех сторон, что она видела и отметила, он подошел к дому и постучал в дверь. Две-три минуты ожидания, затем ключ повернулся в замке, дверь растворилась, и сама Юстасия стояла перед ним.

Никто бы не догадался по ее теперешнему обращению с Уайлдивом, что это та самая женщина, которая неделю назад кружилась вместе с ним в страстном танце, - разве только какой-нибудь мудрец, который проник бы под поверхность и измерил истинные глубины этого тихого потока.

- Надеюсь, вы благополучно добрались домой? - сказал Уайлдив.

- О да, - небрежно бросила она.

- И, наверно, чувствовали себя очень усталой на другой день? Я боялся, что так будет.

- Да, немножко. Да вы не старайтесь говорить тихо, никто нас не услышит. Моя девочка-служанка ушла в деревню по моему поручению.

- Значит, Клайма нет дома?

- Нет, он дома.

- А! Я подумал, может, вы заперли дверь, потому что вы одна и боитесь бродяг.

- Да нет - вот мой муж.

Они все еще стояли у входа. Затворив наружную дверь и повернув ключ в замке, как раньше, Юстасия распахнула дверь в соседнюю комнату и жестом пригласила Уайлдива войти. Он вошел. Комната, казалось, была пуста, но, сделав еще несколько шагов, он круто остановился. На коврике у камина лежал спящий Клайм. Рядом лежали его поножи, грубые башмаки, кожаные перчатки и куртка, в которой он работал.

- Входите, вы ему не мешаете, - сказала она, идя за ним следом. - Я для того запираю дверь, чтобы кто-нибудь случайно не зашел и не разбудил его, пока я в саду или в верхних комнатах.

- Но почему он спит здесь? - понизив голос спросил Уайлдив.

- Он очень устал. Вышел утром в половине четвертого и с тех пор все время работал. Он взялся резать дрок, потому что это единственное, что он может делать, не утомляя своих бедных глаз.

Уайлдив был очень элегантно одет - в новом летнем костюме и светлой шляпе, и контраст между его внешностью и внешностью мужа болезненно поразил Юстасию.

- Ах, вы не знаете, как он выглядел, когда я впервые его увидела, снова заговорила она, - ничего похожего на то, что сейчас, а ведь это было так недавно. Руки у него были белые и мягкие, как у меня, а посмотрите теперь - как загубели, как почернели! У него от природы очень светлая кожа, и если он сейчас весь как заржавленный, под цвет своей кожаной одежде, так это потому, что обгорел на солнце.

- Но зачем он вообще это делает? - прошептал Уайлдив.

- Потому что не любит быть праздным, хотя прибыток от его трудов мало что прибавляет к нашим финансам. Но он говорит, что, когда люди живут на капитал, надо всеми силами сокращать текущие расходы и не пренебрегать заработком, хоть и самым маленьким.

- Судьба была немилостива к вам, Юстасия Ибрайт.

- Да уж, мне не за что ее благодарить.

- Ему тоже - если не считать одного великого дара, который он от нее все-таки получил.

- Какого?

Уайлдив пристально посмотрел ей в глаза. Юстасия покраснела - в первый раз за этот день.

- Ну, я-то сомнительный дар, - тихо проговорила она.

- Я думала, вы хотите сказать - дар быть довольным, это у него есть, а у меня нету.

- Я понимаю, на его месте можно быть довольным, но как он мирится с внешней обстановкой, вот что мне удивительно.

- Это потому, что вы его не знаете. Идеи преисполняют его энтузиазмом, а внешность ему не важна. Мне часто думается, что он похож на апостола Павла.

- Рад слышать, что он такая возвышенная личность.

- Да. Но хуже всего то, что апостол Павел очень хорош в Библии, но вряд ли бы на что годился в реальной жизни.

Они невольно стали говорить шепотом, хотя вначале и не очень заботились о том, чтобы не разбудить Клайма.

- Ну, селя ваше замужество несчастливо, вы знаете, кто в этом виноват, - сказал Уайлдв.

- Я никогда не скажу, что мое замужество несчастливо, - проговорила Юстасия, впервые проявляя некоторое волнение. - Все дело в этой нелепой случайности, которая уже после на него свалилась; она-то меня и погубила. Это верно, я получила шипы вместо роз, но откуда мне было знать, что принесет будущее?

- Знаешь, Юстасия, я иногда думаю, что это тебе справедливая кара. Ты по праву принадлежала мне, и я вовсе не хотел тебя терять.

- Нет, это не моя вина. Ты хотел иметь и ту и другую, а это невозможно. И вспомни-ка: я еще и не догадывалась ни о чем, а ты уже отвернулся от меня ради другой женщины. Мне бы никогда в голову не пришло вести такую игру, если бы ты не начал первый.

- Да я же не придавал этому никакого значения, - возразил Уайлдв. Это было так - между прочим. У мужчин бывают такие скоропреходящие увлечения среди постоянной любви - и она потом снова утверждается, как будто ничего и не было. Но ты очень вызывающе со мной держалась, и это соблазнило меня

пойти немного дальше, чем следовало, а ты продолжала меня дразнить, ну, я пошел еще дальше и женился на ней. - Обернувшись и снова глядя на скованного сном Клайма, он прибавил как бы про себя: - Боюсь, Клайм, вы не цените своего счастья... В одном он, во всяком случае, счастливее меня. Он познал неудачу в житейских делах, он претерпел тяжелое личное бедствие, но он, вероятно, не знает, что это значит - потерять женщину, которую любишь.

- О нем как раз нельзя сказать, что он не ценит своего счастья, прошептала Юстасия. - Он благодарен за него, в этом смысле он хороший человек. Многие женщины были бы рады иметь такого мужа. Но неужели я слишком многого требую, когда хочу прикоснуться ко всему, что вмещается в слове жизнь, - музыке, поэзии, страсти, войне, ко всему, что бьется и пульсирует в великих артериях мира? Такова была моя мечта; она не осуществилась. Но мне казалось, что я нашла путь к ней в моем Клайме.

- И вы только из-за этого вышли за него?

- Нет, это неверно. Я вышла за него потому, что его любила, но не скрою, я любила его, может быть, отчасти потому, что видела в нем обещание той жизни, о которой мечтала.

- Ну вот вы опять впали в прежнее мрачное настроение.

- Но я ему не поддамся, - воскликнула она. - Я начала новую жизнь тем, что пошла на эти танцы, и так буду продолжать. Клайм может весело петь, а мне почему нельзя?

Уайлдив задумчиво посмотрел на нее.

- Это легче сказать, чем сделать; хотя, если бы я мог, я бы поддержал вас в такой попытке. Но так как жизнь для меня ничего не стоит без того единственного, что теперь невозможно, то вы простите меня за то, что я не могу вас поддержать.

- Дэймон, что с вами, почему вы так странно говорите? - спросила она, поднимая к нему свои глубокие сумрачные глаза.

- Этого я прямо никогда вам не скажу, а если буду говорить загадками, так вы, пожалуй, поленитесь отгадывать.

С минуту Юстасия молчала, потом проговорила:

- Какие-то странные у нас сегодня отношения. Вы что-то уж очень мудрите. Вы ведь хотите сказать, Дэймон, что вы меня все еще любите. Ну, это меня огорчает, потому что я не настолько счастлива в браке, чтобы отвергнуть вас с презрением, как я должна бы сделать. Но довольно уж мы об этом говорили. Будете дожидаться, пока мой муж проснется?

- Да, я хотел поговорить с ним, но это можно и не сейчас. Юстасия, если для вас оскорбительно, что я не могу вас забыть, то вы, конечно, правы, сказав мне об этом. Но не говорите о презрении.

Она не ответила, и они оба стояли, задумчиво глядя на Клайма, спящего тем глубоким сном, который дарует нам физическая работа, если она протекает в условиях, не вызывающих нервного страха.

- Боже, как я ему завидую, что он так сладко спит! - сказал Уайлдив. Давно я так не спал - только когда был мальчиком, много, много лет назад.

И пока они смотрели на него, они услышали, как щелкнула калитка, а затем раздался стук в дверь. Юстасия подошла к окну и выглянула.

Лицо ее изменилось. Сперва она вся покраснела, потом постепенно краска ушла из ее лица, даже губы побелели.

- Мне уйти? - сказал Уайлдив.

- Не знаю.

- А кто там?

- Миссис Ибрайт. Ах, чего только она мне тогда не наговорила! А теперь пришла - я не понимаю, что это

значит?.. И она догадывается о нашем с вами прошлом.

- Я в ваших руках. Если вы считаете, что лучше, чтобы она меня здесь не видела, я перейду в ту комнату.

- Да, пожалуй. Идите.

Уайлдив тотчас вышел. Но он и минуты не пробыл в комнате рядом, как Юстасия тоже пришла туда.

- Нет, - сказала она, - это не годится. Если она войдет, пусть видит вас, - я же ничего дурного не делала. Но как я пойду ей открывать, когда она так не любит меня - хочет видеть не меня, а сына? Не буду открывать!

Миссис Ибрайт опять постучала - громче, чем в первый раз.

- Этот стук его, наверно, разбудит, - продолжала Юстасия, - и он ей сам откроет. А! Слышите?

Слышно было, что Клайм задвигался в соседней комнате, как будто потревоженный стуком, и пробормотал: "Мама!"

- Ну, вот он проснулся, пойдет откроет, - сказала Юстасия со вздохом облегчения. - Идите сюда. Она меня не жалует, и не нужно, чтобы она вас видела. Вот - приходится действовать тайком не потому, что поступаю дурно, а потому, что другие считают меня способной на дурное.

Она уже подвела его к задней двери, которая стояла открытая, и через нее видна была дорожка, уходящая в глубь сада. Он шагнул через порог.

- Подождите, - сказала Юстасия, - Дэймон, еще одно слово. Это ваш первый приход сюда, пусть же он будет и последним. Мы горячо любили в свое время, но теперь с этим кончено. Прощайте.

- Прощайте, - сказал Уайлдив. - Я получил то, зачем пришел, я удовлетворен.

- Что получили?

- Видел вас. Клянусь честью, я приходил только за этим.

Уайлдив послал ей воздушный поцелуй и прошел в сад, а она смотрела ему вслед: вот он на дорожке, вот у перелаза, вот среди папоротников за оградой, они так высоки, что касаются его губ, вот он потерялся в их чаще. Когда он совсем исчез из виду, она повернулась и хотела войти в дом.

Но, может быть, для Клайма и его матери в эту минуту их первой встречи ее присутствие вовсе не желательно или, по крайней мере, излишне? Да и ей самой какая надобность спешить навстречу миссис Ибрайт? Она решила подождать, пока Клайм сам за ней придет, и неслышно спустилась в сад. Там она лениво чем-то занялась, но, видя, что ее не зовут, вернулась, послушала у окна гостиной, но не услышала голосов. Тогда, снова пройдя через заднюю дверь, она заглянула в гостиную и, к удивлению своему, увидела, что Клайм лежит на коврикe, как лежал, когда они с Уайлдивом его оставили, и, по-видимому, сон его не прерывался. Юстасия поспешила к передней двери и, как ни было ей неприятно отворять женщине, так дурно к ней относящейся, она торопливо отперла дверь и выглянула наружу. Там никого не было. Возле скобы для очистки башмаков лежал серп Клайма и те несколько ежевичных лоз, что он принес; прямо перед Юстасией была пустая дорожка, полурастворенная калитка, а дальше широкая долина вся в пурпурном вереске, чуть дрожащем от зноя. Миссис Ибрайт ушла.

Мать Клайма в это время шла по тропинке, заслоненной от Юстасии отрогом холма. Весь путь от калитки сюда она прошла быстрым, решительным шагом, как будто сейчас ей так же не терпелось бежать от дома, как раньше - войти в него. Она шла, глядя в землю; перед ее внутренним взором неотступно стояли два образа - серп Клайма и ежевичные лозы у входа и

лицо женщины за стеклом в окне. Губы ее дрожали и становились неестественно тонкими, когда она, запинаясь, выговаривала:

- Это слишком... Клайм - как он мог это стерпеть! Он дома - и позволил ей запереть дверь передо мной!

Стремясь поскорее завернуть куда-нибудь, где ее не будет видно, она отклонилась от прямой тропинки домой и, начав ее вновь отыскивать, набрела на мальчика, собиравшего голубику в лощинке. Мальчик этот был Джонни Нонсеч, тот самый, который был кочегаром Юстасии у ноябрьского костра, и в силу закона, побуждающего малые тела тяготеть к более крупным, он принялся вертеться вокруг миссис Ибрайт, как только она появилась, а затем побежал с ней рядом, едва ли сознавая, что и зачем он делает.

Миссис Ибрайт заговорила с ним, словно сквозь месмерический сон.

- Долог путь домой, дитя мое, и не добраться нам туда раньше вечера.

- Я доберусь, - отвечал ее маленький спутник. - Я еще хочу поиграть до ужина, а ужин будет в шесть часов, в это время отец приходит. А ваш отец тоже в шесть домой приходит?

- Нет, он никогда не приходит, и сын мой не приходит, и никто не приходит.

- Отчего вы такая скучная? Привиденье увидали?

- Я хуже увидала - лицо женщины, которая смотрела на меня через закрытое окно.

- А это так плохо?

- Да. Всегда очень плохо, когда женщина смотрит в окно и не пускает усталого путника отдохнуть.

- Я раз пошел в Троп на Большой пруд тритонов половить и вдруг вижу из воды я сам на себя смотрю! Во испугался - отскочил да бежать!

- ...Если б они хоть чем-нибудь показали, что готовы пойти мне навстречу, как бы все хорошо было! Но нет.

Заперлись! Это, наверно, она настроила его против меня... Неужели бывают красивые тела без сердца внутри? Должно быть, так. Я бы соседскую кошку в такой день на солнце не выгнала!

- Что это вы говорите?

- Больше никогда - никогда! Даже если они пришлют за мной!

- Вы очень чудная - все говорите, говорите...

- Да нет, нисколько, - ответила она на его ребячью болтовню. Большинство людей, когда вырастут и у них есть дети, тоже так говорят. И когда ты вырастешь, твоя мать будет говорить, как я.

- Ой нет, не надо, это же очень плохо - говорить чепуху,

- Да, дитя мое, должно быть, это и впрямь чепуха. Ты очень устал от жары?

- Да. Но не так, как вы.

- Откуда ты знаешь?

- У вас лицо белое-белое и все мокрое и голова повисла.

- Да, у меня что-то изнутри всю силу высосало...

- А почему вы, когда ступаете, то вот так делаете?

Мальчик изобразил ее неровную, прихрамывающую походку.

- Потому что я несу непосильную тяжесть.

Мальчик умолк, задумавшись, и с четверть часа они ковыляли рядом, как вдруг миссис Ибрайт, чья слабость, видимо, все возрастала, проговорила, обращаясь к мальчику:

- Я сяду здесь, отдохну.

Когда она уселась, он долго смотрел ей в лицо, потом сказал:

- А почему вы так дышите - как ягненок, когда его очень загоняешь? Вы всегда так дышите?

- Нет, не всегда.

Голос ее был теперь слаб, почти как шепот.

- Вы тут спать будете, да? Вон вы уже глаза закрыли. - Нет. Я не хочу спать - я мало буду спать до... до того дня, когда засну надолго, очень надолго. Слушай, ты не знаешь, Нижний пруд пересох или нет?

- Нижний пересох, а Морфордский нет, он глубокий и никогда не пересыхает. Он тут рядом.

- И вода чистая?

- Да ничего, только не там, где вересковые стригуны на водопой ходят.

- Так возьми вот это и беги скорей, принеси мне воды, выбери, где она чище. Мне что-то нехорошо.

Она вынула из небольшой плетеной сумочки, которую несла в руках, старомодную чашку без ручки; у нее в сумочке таких было шесть штук; миссис Ибрайт берегла их с детства и сегодня захватила с собой как маленький подарок Клайму и Юстасии.

Мальчик побежал к пруду и вскоре вернулся с водой.

Миссис Ибрайт попробовала пить, но вода была так тепла, что вызывала тошноту, и она ее выплеснула. Потом продолжала сидеть с закрытыми глазами.

Мальчик подождал, стал играть возле нее, поймал несколько маленьких коричневых мотыльков, которые здесь водились во множестве, снова подождал, наконец сказал:

- Я больше люблю идти, чем сидеть. Вы скоро опять пойдете?

- Не знаю.

- Так, может, я один пойду? - начал опять мальчик, видимо, опасаясь, что ему дадут еще какое-нибудь неприятное порученье. - Я вам больше не нужен?

Миссис Ибрайт не отвечала.

- А что сказать маме? - продолжал мальчик.

- Скажи ей, что ты видел женщину с разбитым сердцем, которую отверг родной сын.

Прежде чем совсем уйти, он остановил на ее лице задумчивый взгляд, как будто вдруг усомнившись, хорошо ли он делает, что покидает ее здесь одну. Он смутно и недоуменно разглядывал ее лицо, как ученый мог бы рассматривать древний манускрипт, ключ к начертаниям которого утерян. Он был не настолько мал, чтобы совсем не ощущать, что здесь требуется участие; и не настолько велик, чтобы быть свободным от страха, какой испытывает ребенок, видя взрослых в когтях страдания, тогда как он до сих пор считал, что они ему неподвластны; и может ли она причинить другим зло или сама стать жертвой, и следует ли ее со всеми ее горестями жалеть или бояться - решить это он был не в силах. Он потупился и, ничего не сказав, ушел. И, не пройдя еще полумили, он уже все о ней забыл, за исключением того, что была там женщина, которая села отдохнуть.

Телесное и душевное напряжение, пережитое миссис Ибрайт, почти совсем ее обессилило, но она все же тащила кое-как вперед с частыми и долгими остановками. Солнце уже далеко передвинулось на юго-запад и стояло теперь прямо перед ней, словно какой-то безжалостный поджигатель с факелом в руке, готовый ее испепелить. С уходом мальчика всякая видимая жизнь исчезла из ландшафта, хотя немолчное стрекотание самцов-кузнечиков в каждом кустике дрока ясно говорило, что, как ни тяжело приходится сегодня более крупным породам животных, незримый мир насекомых занят своими делами чуть ли не с большим, чем всегда, рвением.

Наконец, пройдя примерно две трети расстояния от Олдерворта до своего дома, миссис Ибрайт достигла склона, где в одном месте густо рос чебрец, вторгаясь даже на тропу. Она села на этот душистый коврик. Чуть впереди муравьи проложили поперек тропы свою большую дорогу, и по ней непрерывно двигались

нескончаемые и тяжело нагруженные муравьиные толпы. Смотреть на нее сверху было все равно что разглядывать городскую улицу с вершины башни. Миссис Ибрайт вспомнила, что уже много лет на этом месте можно было наблюдать ту же картину; муравьи, шествовавшие здесь тогда, вероятно, были предками тех, что идут сейчас. Она откинулась на спину, стараясь устроиться поудобнее, и мягкий свет восточного неба был таким же отдыхом для ее глаз, как густой чебрец для ее головы. И пока она глядела, там, на востоке, поднялась в небо цапля и полетела навстречу солнцу. Она была вся мокрая, должно быть, только что выбралась из какого-нибудь пруда в долинах, и края и испод ее крыльев, грудь и подушки лапок сверкали в ярких солнечных лучах, как серебряные. А небесная высь, в которой она парила, казалась таким свободным и счастливым местом, столь далеким от земного шара, к которому миссис Ибрайт была прикована, что и ей захотелось так же бодро взвиться в вышину и лететь все дальше и дальше, как летела цапля.

Но, будучи матерью, она не могла долго думать о себе. Если бы путь ее ближайших мыслей мог вычертиться в воздухе, как путь метеора, огненная нить протянулась бы в сторону, противоположную полету цапли, и, склоняясь к востоку, закончилась бы на крыше дома Клайма.

ГЛАВА VII

ТРАГИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ДВУХ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

Тем временем он проснулся, сел и огляделся кругом. Юстасия сидела тут же возле него на стуле и хотя держала в руках книгу, но, кажется, давно уже в нее не заглядывала.

- Ну и ну! - сказал Клайм, протирая кулаками глаза. - Крепко же я спал! И еще сон какой ужасный видел - никогда не забуду.

- Я так и думала, что тебе что-то снится, - сказала она.

- Да. Про маму. Будто мы с тобой пошли к ней мириться, но почему-то никак не могли попасть в дом, а она изнутри все кричала нам - звала на помощь. Ну, ладно, сны - это только сны, в конце концов. Который час, Юстасия?

- Половина третьего.

- Так поздно? Я не хотел столько задерживаться. Пока поем, будет четвертый час.

- Энн еще не вернулась из деревни, и я решила не будить тебя, пока она не придет.

Клайм подошел к окну, выглянул наружу. Потом раздумчиво сказал:

- Неделя идет за неделей, а мама все не приходит. Вот уж не думал, что так долго не получу от нее весточки.

Опасение, раскаяние, страх, решимость - все эти чувства, молниеносно сменяясь, отразились в глубине темных глаз Юстасии. Она стояла перед непреодолимой трудностью и попыталась отделаться от нее тем, что отложила решение.

- Непременно надо мне пойти в Блумс-Энд, - продолжал Клайм, - и, пожалуй, лучше пока одному. - Он поднял свои поножи и перчатки, потом снова их бросил и добавил: - Сегодня обед запаздывает, так я не вернусь на пустошь, а поработаю до вечера в саду, а потом, когда станет прохладнее, пойду в Блумс-Энд. Я уверен, если я сделаю первый шаг, мама согласится все забыть. Только вот вернусь-то я поздно, потому что меньше чем за полтора часа туда не дойдешь, да обратно столько же. Но ты уж как-нибудь потерпишь один вечер, милочка? Юстасия, ты меня слышишь? О чем ты так задумалась?

- Я не могу тебе сказать, - печально проговорила она. - Напрасно мы здесь поселились, Клайм. Мир весь

какой-то неправильный, когда смотришь на него отсюда.

- Ну да, если мы сами делаем его таким. Хотел бы я знать, бывала ли Томазин в последние дни в Блумс-Энде. Надеюсь, что да. А вернее, что нет, ей ведь, кажется, рожать через месяц или около того. Как это я раньше об этом не подумал. Бедной маме, наверно, там очень одиноко.

- Мне не хочется, чтобы ты шел сегодня.

- Почему не сегодня?

- Тебе скажут что-нибудь страшно обидное для меня.

- Мама не такая мстительная, - сказал Клайм, слегка краснея.

- Но я не хочу, чтобы ты шел, - повторила Юстасия, понизив голос. Если ты согласишься сегодня не ходить, я тебе обещаю, что завтра утром сама к ней пойду и все заглажу, что между нами было, и буду там ждать, пока ты за мной придешь.

- Почему ты именно сейчас захотела это сделать, хотя раньше, сколько я ни предлагал, всегда отказывалась?

- Я больше ничего не могу сказать, кроме того, что я хотела бы повидаться с ней наедине, прежде чем ты пойдешь, - ответила она, нетерпеливо тряхнув головой и глядя на него с беспокойством, которое чаще можно наблюдать у людей сангвинического темперамента, чем у таких, как она.

- Все-таки очень странно, что, как раз когда я сам решил пойти, тебе вдруг захотелось сделать то, что я тебе давно предлагал. Если я стану ждать, пока ты завтра туда сходишь, еще один день будет потерян, а я чувствую, что места себе не найду, пока там не побываю. Я решил с этим покончить и так и сделаю. А ты можешь после к ней пойти, это будет то же самое.

- Ну давай я сегодня с тобой пойду?

- Ты же не сможешь пройти туда и обратно, не отдохнув как следует в промежутке, а на это времени не будет. Нет, Юстасия, не сегодня.

- Хорошо, пусть будет так, - безучастно проговорила она, как человек, который хотя и готов предотвратить дурные последствия, если для этого не нужно больших усилий, но скорее предоставит событиям свершаться как бог даст, чем станет крепко бороться за то, чтобы направить их по-своему.

После чего Клайм ушел в сад, а Юстасией на весь остаток дня овладела какая-то задумчивая апатия, которую ее супруг отнес на счет жаркой погоды.

Под вечер он отправился в путь. Хотя солнце палило еще по-летнему, но дни стали уже гораздо короче, и не прошел Клайм и мили, как все краски пустоши - пурпурная, коричневая, зеленая - слились в однотонную печальную одежду без градаций и без оттенков, прерываемую лишь белыми мазками там, где кучка чистого кварцевого песку обозначала вход в кроличью норку или белая галька пешеходной тропы вилась, как белая нить, по склону. Почти в каждом из разбросанных там и сям одиноких и низкорослых тернов козодой выдавал свое присутствие странным жужжащим криком, похожим на гуденье мельницы; он жужжал, сколько хватало дыханья, потом умолкал, хлопал крыльями, кружил над кустом, снова садился, некоторое время молчал, прислушиваясь, и снова принимался жужжать. На каждом шагу из-под ног Клайма взлетали белые мотыльки и на несколько мгновений оказывались достаточно высоко в воздухе, чтобы на свои словно посыпанные мукой крылья принять мягкий свет гаснущего заката, который скользил над землей - над углублениями и ровными местами, - но не падал на них сверху и поэтому их не освещал.

Ибрайт шел посреди этих мирных сцен с надеждой, что скоро все будет хорошо. И на каком-то этапе своего пути он почувствовал веющее ему в лицо нежное благоуханье и остановился, вдыхая знакомый запах. Это было то самое место, где четыре часа назад его мать в изнеможении прислонилась к поросшему чебрецом бугру. И пока он стоял, какой-то звук - не то вздох, не то стон внезапно донесся до его слуха.

Он посмотрел в ту сторону, но там ничего не было видно, кроме закраины бугра, четкой линией вырисовывавшегося на небе. Он сделал несколько шагов в том направлении и тогда различил почти у самых своих ног лежащую на земле фигуру.

Из всех возможных предположений о том, кто здесь лежит, Ибрайту ни на минуту не приходила в голову мысль, что это может быть кто-нибудь из его родных. Сборщики дрока в эти жаркие дни иногда оставались ночевать под открытым небом, чтобы не тратить времени на долгий путь домой и обратно, но Клайм вспомнил стон, пригляделся и разобрал, что лежит женщина; и страх прошел по его телу, как холодный воздух из погреба. Но он не был уверен, что это его мать, пока не нагнулся и не увидел вблизи ее лицо мертвенно-бледное, с закрытыми глазами.

Дыханье его пресеклось, и готовый вырваться крик замер на губах. На то мгновение, которое протекло, прежде чем он осознал, что нужно что-то сделать, всякое чувство времени и места покинуло его, - ему почудилось, что он снова ребенком гуляет с матерью по пустоши, как это бывало много лет назад в такие же предвечерние часы. Потом он пробудился к действию; нагнувшись еще ниже, он услышал, что она дышит и дыханье у нее, хотя слабое, но ровное, только изредка прерываемое внезапной задышкой.

- Ох, что это! Мама, вы очень больны - вы же не умираете? - воскликнул он, прижимаясь губами к ее

лицу. - Я здесь, я, ваш Клайм. Как вы тут очутились? Что все это значит?

В эту минуту Ибрайт не помнил о разрыве между ними, причиненном его любовью к Юстасии; в эту минуту настоящее для него неразрывно сомкнулось с тем дружественным прошлым, которое было их жизнью до того, как они расстались.

Губы ее шевельнулись, по-видимому она его узнала, но говорить не могла. И тут Клайм стал соображать, как лучше ее перенести, так как ей нельзя было здесь оставаться, когда падет роса. Он был силен, мать его - худощава. Он обхватил ее руками, слегка приподнял и спросил:

- Не больно вам?

Она отрицательно качнула головой, и он поднял ее на руки; затем, осторожно ступая, двинулся вперед со своей ношей. Воздух теперь был совсем прохладный, но всякий раз, как Клайм проходил по песчаному участку земли, не укрытому ковром растительности, в лицо ему веяло жаром, которым песок напитался за день. Вначале он мало думал о том, какое расстояние ему придется пройти до Блумс-Энда, но, хотя он и поспал днем, а вскоре ноша его с каждым шагом стала делаться все тяжелее. Так шел он, как Эней, несущий отца; летучие мыши кружили у него над головой, козодои хлопали крыльями в каком-нибудь ярде от его лица - и нигде ни живой души, кого бы позвать на помощь.

Когда до дому оставалась еще добрая миля, мать Клайма стала проявлять беспокойство, - видимо, ей было неудобно, казалось, руки Клайма причиняют ей боль. Он сел, опустил ее себе на колени и огляделся. Место, где они находились, хотя и далекое от всяких дорог, напрямик отстояло не дальше мили от домишек Блумс-Энда, в которых жили Фейруэй, Сэм. Хемфри и все семейство Кентлов. Кроме того, в пятидесяти ярдах

стояла лачуга или нечто вроде навеса, сложенного из земляных комьев и крытого тонкими дернинами: им уже давно не пользовались. Клайму даже видны были его примитивные очертания, и туда он решил направить свои стопы. Подойдя, он бережно уложил мать, у входа, а сам побежал и нарезал карманным ножом охапку самых сухих папоротников. Разложив все это в лачуге - передней степы у нее вообще не было - он перенес мать на эту импровизированную постель и пустился со всех ног к дому Фейруэя.

С четверть часа тишину нарушало только прерывистое дыхание больной, а затем бегущие фигуры начали оживлять пограничную черту меж вереском и небом. Первым прибыл Клайм с Фейруэем, Хемфри и Сьюзен Нонсеч, а за ними вперемешку Олли Дауден, случайно оказавшаяся у Фейруэя, Христиан и дедушка Кентл. Они принесли фонарь, спички, воду, подушку и еще разные предметы, которые кому-нибудь пришлось в голову захватить. Сэма тотчас послали обратно за бренди, а Фейруэю мальчик привел пони, на котором тот и отправился к врачу, получив кстати наказ заехать по пути к Уайлдиву и сообщить Томазин, что ее тетка занемогла.

Сэм скоро вернулся с бренди, и при свете фонаря больной дали выпить, после чего она настолько пришла в сознание, что смогла показать знаками, что у нее что-то неладно с ногой. Олли Дауден первая поняла, что она хочет сказать, и осмотрела ногу. Нога была красная и сильно распухшая. И тут же прямо на глазах присутствующих эта краснота стала переходить в синеву, в середине которой виднелось алое пятнышко, размером меньше горошины, - это была капля крови, полушарием поднимавшаяся над гладкой кожей лодыжки.

- Я знаю, что это такое, - вскричал Сэм. - Ее укусила гадюка!

- Да, - тотчас подтвердил Клайм. - Когда я был ребенком, помню, я видел такой укус. Бедная мама!

- А у меня отца раз укусила, - сказал Сэм. - И есть только одно средство. Нужно натереть это место жиром другой гадюки, а для того, чтобы жир получить, надо ее поджарить на сковородке. Так для моего отца делали.

- Это старое средство, - сказал вконец расстроенный Клайм. - И я не очень в него верю. Но мы ничего другого не можем сделать, пока не придет доктор.

- Это верное средство, - с жаром сказала Олли Дауден. - Я сама его применяла, когда ходила за больными.

- Так остается молиться, чтобы скорее рассвело, - мрачно сказал Клайм, - а то откуда их сейчас взять?

- Пойду посмотрю, что тут можно сделать, - сказал Сэм. Он взял зеленый ореховый сук, который употреблял вместо трости, расщепил его на конце, вставил в расщелину камешек и с фонарем в руке вышел на пустошь. Клайм тем временем разжег небольшой костер и послал Сюзен Нонсеч за сковородкой. Еще раньше, чем она вернулась, пришел Сэм, неся трех гадюк; одна все время свивалась и развивалась, зацепленная в орешине, две других безжизненно висели.

- Мне только одну живую удалось достать, как оно по правилам-то полагается, - сказал Сэм. - А тех двух я еще днем убил, когда работал, но они не могут помереть, раньше чем солнце сядет, так, может, мясо все-таки ничего, годится?

Живая гадюка смотрела на собравшихся с зловещим выражением в своих маленьких черных глазах, а красивые черно-коричневые узоры у нее на спине, казалось, стали еще ярче от негодования. Миссис Ибрайт увидела гадюку, и гадюка увидела ее, и женщина вся содрогнулась и отвела глаза.

- Смотрите-ка, а? - зашептал Христиан Кентл. - Почему знать, соседи, может, что-то от старого змея, того, что в божьем саду дал яблочко молодой этой женщине, которая без платья ходила, - может, что-то от нее живет еще в гадюках и разных там змеях? Посмотрите, какие у нее глаза, - ни дать ни взять злодейский какой-то сорт черной смородины. Хорошо, коли она нас не сглазит! А то уже есть у нас на пустоши такие, которых сглазили. Нет уж, ни в жизнь не убью больше ни одной гадюки.

- Что ж, может, оно и правильно - осторожничать, когда страх берет, сказал дедушка Кентл. - Меня б это в молодости от многих опасностей уберегло.

- Словно бы там что-то зашумело, за навесом? - сказал Христиан. - Я вот думаю, уж лучше бы все недоброе днем случилось, тогда мог бы человек свою храбрость показать, и доведись ему повстречать самую что ни есть страшнющую старушонку, и то не стал бы у нее пощады просить, - конечно, ежели он смелый, да и ноги имеет резвые, чтобы от нее удрать.

- Даже простой человек, неученый, вот как я, и то бы этакой глупости не сделал, - сказал Сэм.

- Э, беда-то нас там подстерегает, где ее меньше всего ждешь. Соседи, если миссис Ибрайт помрет, нас не могут к суду привлечь за - как это? непредумышленное убийство?

- Нет, этого они не могут, - сказал Сэм, - разве только будет доказано, что мы когда-то были браконьерами. Да она поправится.

- Ну, а я, хоть бы меня десять гадюк укусило, и то не стал бы из-за этого ни одного рабочего дня терять, - заявил дедушка Кентл. - Вот я каков, когда распалюсь. Ну да недаром же меня воевать учили. Да, в жизни со мной всякое случалось, но после того, как я в солдаты пошел: в восемьсот четвертом, я уж маху нигде не давал. - Он покачал головой и усмехнулся, мысленно

любуюсь тем молодцом в военной форме, каким он себе представлялся. - Всегда первым был во всех переделках!

- Наверно, потому, что они самого большого дурака всегда вперед ставили, - отозвался Тимоти от костра, возле которого он стоял на коленях, раздувая его своим дыханием.

- Ты правда так думаешь, Тимоти? - сказал дедушка Кентл, подходя к костру; он как-то сразу увял, и на лице его изображалось уныние. По-твоему, человек может годами считать, что он молодец, и все-то время в себе ошибаться?

- Да брось ты об этом, дедушка. Пошевели лучше ногами, принеси еще хворосту. И не стыдно тебе, старому, такой вздор молоть, когда тут, может, о жизни и смерти дело идет.

- Да, да, - с меланхолической убежденностью подтвердил дедушка Кентл. Плохая сегодня ночь для многих, кто славно пожил в свое время. И будь я хоть первый мастак по гобою либо по скрипке, не хватило б у меня сейчас духу песни на них наигрывать.

Тут вернулась Сюзен со сковородкой. Живая гадюка уже была убита, и у всех трех отрезаны головы. Остальное нарезали продольными ломтями и бросили на сковородку, где оно начало шипеть и потрескивать на огне. Скоро с поджаренных ломтей стала стекать тонкая струйка прозрачного жира; Клайм окунул в него уголок своего носового платка и принялся втирать в рану.

ГЛАВА VIII

ЮСТАСИЯ СЛЫШИТ О ЧУЖОЙ УДАЧЕ И ПРЕДВИДИТ
ДЛЯ СЕБЯ БЕДУ

Тем временем Юстасия, оставшись одна в олдервортском домике, впала в крайне угнетенное состояние. Если Клайм узнает, что перед его матерью заперли дверь, последствия могут быть очень

неприятные, а неприятного Юстасия боялась не меньше, чем страшного.

Проводить вечер в одиночестве ей всегда было скучно, а в этот вечер еще скучнее, чем всегда, - после волнений, пережитых днем. Два эти посещения растревожили ее. Мысль о том, что в разговоре Клайма с матерью она, Юстасия, предстанет перед ним в невыгодном свете, вызывала у нее не так стыд или неловкость, как досаду и раздражение, и это настолько расшевелило ее дремлющую волю, что она наконец отчетливо пожалела, зачем не отперла дверь. Она и правда думала, что Клайм проснулся, и это до некоторой степени оправдывало ее дальнейшие действия, но ничто не могло спасти ее от осуждения за то, что она не отозвалась на первый стук. Однако, вместо того чтобы пенять на себя, она перелагала вину на плечи некоего туманного и грандиозного Мироправителя, который предначертал это сплетение случайностей и правил ее судьбой.

В это время года ночью приятнее ходить, чем днем, и после того, как Клайм отсутствовал больше часу, Юстасия вдруг решила пойти прогуляться по направлению к БлумсЭнду в надежде встретить его, когда он будет возвращаться. Подойдя к калитке, она услышала стук колес и, оглянувшись, увидела дедушку, едущего в своей таратайке.

- Нет, даже на минутку не могу, - ответил он на ее приглашение зайти. Я еду в Восточный Эгдон, а сюда завернул, чтобы рассказать тебе новости. Может, ты уже слыхала - насчет того, что мистеру Уайлдиву повезло?

- Нет, - равнодушно отвечала Юстасия.

- Ну как же! Наследство получил - одиннадцать тысяч фунтов, - дядя у него умер в Канаде как раз после того, как всю свою семью отправил на родину, и они все

утонули на "Кассиопее", так что Уайлдив оказался единственным наследником, сам того не ожидая.

Юстасия постояла молча.

- Когда он это узнал? - спросила она.

- Да уж сегодня знал с раннего утра, потому что я от Чарли услышал, когда он пришел в десять часов. Вот это называется счастливчик. А ты-то, Юстасия, как сглупила!

- Чем это? - сказала она, с видимым спокойствием поднимая глаза.

- А тем, что не удержала его, когда он был у тебя в руках.

- Так уж и в руках!

- Я тогда не знал, что у тебя с ним были шуры-муры, а если бы и знал, так, по правде сказать, задал бы вам обоим перцу. Но раз уж что-то было, так надо было одного и держаться.

Юстасия не ответила, но вид у нее был такой, как будто она многое могла бы сказать, если бы захотела.

- А как твой бедный подслеповатый муж? - продолжал старик. - В общем-то и он тоже неплохой парень.

- Он вполне здоров.

- Вот кому подвезло, так этой, как ее звать, ну его двоюродной сестре. Эх, Юстасия, тебе бы быть на ее месте! Ну, мне пора. Денег тебе не нужно? Ты знаешь - что мое, то твое.

- Нет, спасибо, дедушка, мы сейчас не нуждаемся, - холодно отвечала Юстасия. - Клайм собирает дрок, но он это больше для развлечения, потому что другого ничего не может делать.

- Гм! Ему, однако, платят за это развлечение. Три шиллинга за сотню, как я слышал?

- У Клайма есть деньги, - сказала она, краснея. - Но ему нравится немножко зарабатывать.

- Ну и отлично. Спокойной ночи! - И капитан поехал дальше.

Расставшись с дедушкой, Юстасия машинально продолжала идти в намеченном направлении, но уже не думала ни о своей свекрови, ни о Клайме. Уайлдив! Вот кого судьба, невзирая на все его жалобы на нее, вырвала из темной доли и вновь позволила ему купаться в лучах солнца. Одиннадцать тысяч фунтов! На взгляд эгдонцев, он стал богачом. И в глазах Юстасии это была приличная сумма - достаточная, чтобы удовлетворить те ее желанья, которые Клайм в строгую минуту заклеил как суетные и любострастные. Она не любила денег, но любила то, что деньги могли дать, и вся новая обстановка, которую она воображала вокруг Уайлдива, делала его по-новому интересным. Она вспомнила, как хорошо он был одет сегодня утром, - видно, надел свой новый дорогой костюм, не боясь порвать его о терны и шиповник. А потом она припомнила и то, как он с ней разговаривал.

- Ах, понимаю, понимаю, - сказала она. - Как ему хотелось, чтобы я сейчас была его, чтобы дать мне все, чего я ни пожелаю!

Она припоминала разные мелкие черточки, в то время ею почти не замеченные, - как он посмотрел, как он сказал, - и видела теперь, насколько все это было подсказано тем, что он уже знал о повороте в своей судьбе. "Будь он злопамятным, он с торжеством рассказал бы мне о своей удаче, а он, напротив, ни словом о ней не упомянул из уважения к моему несчастью, только давал понять, что по-прежнему любит меня, как стоящую выше его".

Молчание Уайлдива в это утро о том, что с ним случилось, как раз и было рассчитано на то, чтобы произвести впечатление на такую женщину. Эти тонкие штрихи хорошего вкуса были его козырной картой в игре с представительницами противоположного пола.

Особенность Уайлдива состояла в том, что сегодня он мог быть придирчив, вспыльчив, даже зол с женщиной, а завтра так обаятельно любезен, что вчерашнее пренебрежение уже не казалось ей неучтивостью или вчерашняя грубость - оскорблением, напротив того, вчерашние придирки воспринимались как деликатное внимание, а поругание ее женской чести как избыток рыцарства. Этот человек, на чьи влюбленные взгляды Юстасия утром не обращала внимания, чьи добрые пожелания она едва дала себе труд выслушать, которого она выпроводила из дому через черный ход, вечером предстал перед ней уже совсем в другом свете - как владелец одиннадцати тысяч фунтов, человек с солидным профессиональным образованием, проходивший свой стаж в Бедмуте в конторе гражданских инженеров.

Юстасия до того погрузилась в размышления об успехах Уайлдива, что забыла, насколько лично ей ближе успехи и неудачи Клайма, и вместо того, чтобы идти ему навстречу, присела на камень. Ее пробудил от задумчивости голос за спиной, и, повернув голову, она увидела своего прежнего возлюбленного и нынешнего счастливого наследника - он незаметно подошел к ней сзади.

Она осталась сидеть, но по легкому трепету в ее лице человек, так хорошо ее знавший, как Уайлдив, не мог не понять, что она только что думала о нем.

- Как вы тут очутились? - проговорила она своим ясным, тихим голосом. Я думала, вы уже давно дома.

- Из вашего сада я прямо пошел в деревню, а теперь возвращаюсь, вот и все. А вы куда направляетесь, смею спросить?

Она махнула рукой в сторону Блумс-Энда.

- Я вышла встретить мужа. Боюсь, не навлекла ли я на себя большие неприятности, пока вы были со мной.

- Каким образом?

- Тем, что не впустила миссис Ибрайт.
- Надеюсь, мое посещение вам не испортило?
- Нисколько. Это не ваша вина, - спокойно отвечала она.

К этому времени она встала, и они машинально пошли рядом по дороге; пройдя две или три минуты молча, Юстасия проговорила:

- Я, кажется, должна вас поздравить?
- С чем? Ах да, мои одиннадцать тысяч фунтов, вы это имеете в виду? Ну что ж, раз уж мне не досталось кое-что другое, так приходится и этим быть довольным.
- Как-то вы уж очень к этому равнодушны. Почему вы мне утром не сказали? - спросила она обиженным тоном. - Я совершенно случайно узнала.

- Я хотел сказать, - ответил Уайлдив, - но потом - ну, я буду говорить откровенно - я раздумал, когда понял, Юстасия, что ваша звезда не высоко стоит на небе. Вид вашего мужа, когда он лежал, измученный тяжелой работой, заставил меня почувствовать, что хвалиться перед вами моей удачей было бы неуместно. А все же, - пока вы там стояли рядом с ним, у меня было и другое чувство - что он во многих отношениях богаче меня. На это Юстасия сказала с затаенным лукавством:

- А поменялись бы вы с ним - вам меня, ему ваше богатство?

- И задумываться бы не стал, - ответил Уайлдив.

- Так как мы уже начали воображать то, что невозможно и нелепо, то, может быть, переменим тему?

- Хорошо. Я расскажу вам о своих планах на будущее, если вам не скучно слушать. Девять тысяч фунтов я сразу вложу в надежные бумаги, одну тысячу оставлю наличными, а на остальную тысячу буду год путешествовать.

- Путешествовать? Как хорошо! Куда вы поедете?

- Отсюда в Париж и проведу там зиму и весну. Потом в Италию, Грецию, Палестину - до наступления

жаркой погоды. На лето уеду в Америку, а оттуда это еще не решено, но, возможно, проеду в Австралию и затем вокруг Индии. К тому времени мне, вероятно, надоест кочевать. Тогда я должно быть, вернусь в Париж и буду там жить, сколько позволят средства.

- В Париж, - повторила она голосом тихим, как вздох. Она никогда не говорила Уайлдиву о парижских мечтах, которые заронил в нее Клайм своими рассказами, но вот Уайлдив идет с ней рядом, и он нечаянно стал властен осуществить все ее мечты. - Вы считаете, Париж такой интересный город? добавила она.

- Да. По-моему, это средоточие всего прекрасного, что есть на земле.

- И по-моему тоже! И Томазин с вами поедет?

- Если захочет. Она, может быть, предпочтет остаться дома.

- Значит, вы будете повсюду ездить, а я сидеть здесь!

- Очевидно так. Но мы знаем, кто в этом, виноват.

- Я вас не виню, - быстро сказала она.....

- Да-а? А мне показалось, вините. Но если вам когда-нибудь захочется обвинить меня, вспомните о том вечере у Дождевого кургана, когда вы обещали прийти и не пришли. Вместо, того вы прислали письмо, и когда я его читал, сердце у меня так болело, как, надеюсь, ваше никогда не будет болеть. Это и была точка расхождения. Я тогда слишком поторопился... Но она хорошая женщина, и я больше ничего не скажу.

- Я знаю, тогда вина была моя, - сказала Юстасия. - Но это не всегда так было... Мое несчастье в том, что я слишком порывиста в своих чувствах. Ах, Дэймон, не укоряй меня больше, не могу я это вынести.

С милю или больше они шли молча, потом Юстасия вдруг спросила:

- Разве вам сюда по дороге, мистер Уайлдив?

- Сегодня вечером мне всюду по дороге. Я провожу вас до того холма, откуда виден Блумс-Энд, - сейчас поздно, не годится вам идти одной.

- Не беспокойтесь обо мне. Никто не заставлял меня выходить из дому. А вам лучше бы все-таки меня дальше не провожать. Мало ли что могут подумать, если нас увидят.

- Хорошо, тогда я вас здесь покину. - Он неожиданно взял ее руку и поцеловал - в первый раз после ее свадьбы. - Что это светится - вон на холме? - добавил он, как бы для того, чтобы скрыть эту ласку.

Она поглядела и увидела впереди мерцающий свет, исходивший, по-видимому, из открытой стороны стоящей невдалеке лачуги. Эта лачуга, которую Юстасия привыкла видеть пустой, теперь как будто была обитаема.

- Раз уж вы так далеко зашли, - сказала Юстасия, - то, может, проводите меня мимо этой хижины? Я рассчитывала где-нибудь здесь встретить Клайма, но его все нет, так я пойду побыстрее, чтобы захватить его еще в Блумс-Энде.

Они прошли еще немного вперед, и когда приблизились к этой трехстенной и крытой дерном лачуге, при свете костра и фонаря, прилаженного внутри, ясно стала видна женщина, распростертая на подстилке из папоротника, и кучка поселян, мужчин и женщин, стоящих вокруг нее. Юстасия не узнала миссис Ибрайт в распростертой женщине и Клайма в одном из стоящих мужчин, пока не подошла совсем близко. Тогда она быстро тронула Уайлдива за плечо и сделала ему знак отойти в тень, подальше от открытой стороны навеса.

- Это мой муж и его мать, - прошептала она прерывающимся голосом. - Что это может значить? Подойдите туда, потом скажете мне.

Уайлдив оставил ее, где она стояла, и подошел к задней стене лачуги. Затем Юстасия увидела, что он ее манит, и тоже подошла.

- Тяжелый случай, - сказал Уайлдив.

Отсюда им было слышно, что происходит внутри.

- Понять не могу, куда она шла, - говорил кому-то Клайм. - Очевидно, проделала большой путь, но куда - не захотела сказать, даже вот сейчас, когда могла говорить. Что, собственно, с ней, как вы считаете?

- Положение опасное, - ответил серьезный голос, в котором Юстасия узнала голос единственного в округе врача. - Оно еще несколько ухудшилось от укуса гадюки, но главное тут истощение сил. Мне кажется, она прошла исключительно большое расстояние.

- Я ей всегда говорил, что нельзя ей много ходить в такую погоду, горестно сказал Клайм. - А правильно мы сделали, что мазали ранку гадючьим жиром?

- Да, это старинное средство; кажется, именно его употребляли в старину ловцы змей, - отвечал врач. - О нем, как о безотказном средстве, упоминается у Гофмана, у Мида и, если не ошибаюсь, у аббата Фонтана. Без сомнения, это лучшее, что вы могли сделать в такой обстановке, хотя для меня еще вопрос, не окажутся ли некоторые другие масла столь же действенными.

- Идите сюда, скорей, скорей! - быстро проговорил мягкий женский голос, и слышно было, как Клайм и доктор пробежали вперед из заднего угла, где они до сих пор стояли.

- Ох, что там? - прошептала Юстасия.

- Это Томазин говорила, - сказал Уайлдив. - Значит, они ее уже привезли. Мне бы, пожалуй, следовало туда пойти, да боюсь, как бы хуже не сделать.

Долгое время внутри царило молчание; его нарушил Клайм, испуганно проговорив:

- Доктор, что это значит?

Врач ответил не сразу, под конец сказал:

- Она быстро слабеет. Сердце у нее и раньше было поражено, а физическое истощение нанесло последний удар.

Потом был женский плач, потом ожидание, потом приглушенные возгласы, потом странный задышливый звук, потом тишина.

- Конец, - сказал доктор.

И в глубине хижины поселяне прошептали:

- Миссис Ибрайт умерла.

Почти в ту же минуту Уайлдвиг и Юстасия увидели, что перед открытой стороной навеса обрисовалась худенькая, по старинке одетая детская фигурка. Сьюзен Нонсоч, узнав сына, подошла к выходу и махнула ему рукой, чтоб уходил.

- Я должен тебе что-то сказать, мама, - пронзительным голосом прокричал мальчик. - Вон та женщина, что сейчас спит, - мы с ней сегодня шли вместе; и она сказала, чтобы я тебе сказал, что я ее видел и что она женщина с разбитым сердцем, которую отверг родной сын, и тогда я пошел домой.

Неясное рыданье послышалось внутри, и Юстасия тихо ахнула:

- Это Клайм! Я должна бы пойти к нему - но смею ли я?.. Нет. Уйдем.

Когда они уже довольно далеко отошли от навеса, она хрипло проговорила:

- Во всем этом виновата я. И теперь беды мне не миновать.

- Разве ее в конце концов не пустили в дом?

- Да. От этого-то все и вышло... О, что же мне теперь делать!.. Нет, я не буду им мешать, пойду прямо домой. Дэймон, прощайте! Сейчас я больше не могу с вами говорить.

Они расстались; и, взойдя на следующий холм, Юстасия оглянулась назад. Печальная процессия

двигалась при свете фонарей от лачуги по направлению к Блумс-Эиду. Уайлдива нигде не было видно.

КНИГА ПЯТАЯ

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

ГЛАВА I

"НА ЧТО ДАН СТРАДАЛЬЦУ СВЕТ..."

Однажды вечером, примерно через три недели после похорон миссис Ибрайт, когда серебряное лицо луны бросало связку лучей прямо на половицы домика в Олдерворте, из передней его двери вышла женщина. Она подошла к садовой калитке и оперлась на нее, видимо, не имея другой цели, как просто немного проветриться. Бледное лунное сияние, которое уродин превращает в красавиц, сообщало божественность этому лицу, и без того прекрасному.

Она еще недолго стояла там, когда на дороге показался мужчина и, приблизившись, нерешительно спросил:

- Простите, мэм, как он сегодня?

- Лучше, но все-таки очень плох, Хемфри, - отвечала Юстасия.

- Все бредит, мэм?

- Нет. Теперь он в полном сознании.

- И по-прежнему все о матери говорит, бедняга? - продолжал Хемфри.

- Да, не меньше прежнего, но немного спокойнее, - сказала она тихо.

- Вот ведь какое несчастье, что мальчонка этот, Джонни, последние материны слова ему передал - насчет разбитого сердца и что родной сын ее отверг. Этакое услышать - всякий расстроится.

Юстасия ничего не ответила, у нее только вырвался короткий вздох, как будто она пыталась заговорить, но не могла, и Хемфри, видя, что она не расположена продолжать разговор, двинулся обратно, домой.

Юстасия повернулась, вошла в дом, поднялась в спальню, где горела притененная лампа.

- Это ты, Юстасия? - спросил он, когда она села.

- Да, Клайм. Я выходила к калитке. Луна так чудно сияет, и ни один лист не шелохнется.

- Сияет?.. Что до луны такому, как я? Пусть сияет - пусть все будет, как будет, только дал бы мне бог не увидеть завтрашнего дня!.. Юстасия, я не знаю, куда деваться, - мои мысли пронзают меня, как мечами. Если кто захочет обессмертить себя, написав картину самого жалкого несчастья, пусть приходит сюда!

- Зачем ты так говоришь?

- Я не могу забыть, что я все сделал, чтобы убить ее.

- Это неверно, Клайм.

- Нет, это так; нечего искать мне оправданий. Я вел себя отвратительно - я не пошел ей навстречу, а она не могла заставить себя простить мне. А теперь она умерла! Если б только я немножко раньше показал ей, что готов помириться, если бы мы уже опять стали друзьями и потом она умерла, было бы не так ужасно. Но я ни разу не пришел к ней, и она ни разу не пришла ко мне и так и не узнала, с какой радостью ее бы встретили, - вот что меня мучит. Она так и не узнала, что я в этот самый вечер уже шел к ней, - она была без сознания и не поняла меня. Ах, если б только она пришла ко мне! Я так ждал ее. Но этому не суждено было быть.

У Юстасии вырвался один из тех судорожных вздохов, которые потрясали ее, как лихорадочная дрожь. Она еще не призналась ему.

Но, слишком поглощенный своими бессвязными мыслями, порождением раскаяния, Ибрайт не замечал ее. Всю свою болезнь он почти безостановочно говорил. Первоначальное его горе было доведено до степени отчаяния так некстати случившимся появлением мальчика, принявшего последние слова миссис Ибрайт -

слишком горькие слова, произнесенные в час заблуждения. И тогда горе раздавило его, и он стал жаждать смерти, как пахарь жаждет тени. Жалкое зрелище - человек, помещенный в самый фокус душевной боли. Он все время оплакивал свое слишком позднее решение пойти к матери, так как это была ошибка, которую уже нельзя исправить, твердил, что, наверно, его сознание было мерзостно извращено каким-то демоном, иначе он давно бы понял, что его долг пойти к матери, раз она не идет к нему. Он требовал, чтобы Юстасия соглашалась с его самообвинениями, и когда она, сжигаемая изнутри тайной, которую не смела открыть, отказывалась судить кого бы то ни было, он говорил: "Это потому, что ты не знала моей мамы. Она всегда была готова простить, если ее просили. Но ей казалось, что я веду себя, как упрямый ребенок, и это делало ее неуступчивой. Да не то чтобы неуступчивой - гордой и замкнутой, только и всего... Я понимаю, почему она так долго не сдавалась. Она ждала меня. Наверно, сто раз говорила с болью в сердце: "Вот его благодарность за все жертвы, которые я принесла ради него!" А я все не шел! А когда уж собрался, было поздно. Ах, одна мысль об этом невыносима!

Временами он испытывал одно голое раскаяние, не смягченное ни единой слезой беспримесного горя; и тогда он метался в постели, воспаленный мыслью больше, чем телесным недугом.

- Будь еще у меня хоть какое-нибудь доказательство, что она, умирая, не думала, что я затаил против нее злобу, - сказал он однажды, когда на него нашел подобный стих. - Было бы таким облегчением, если бы я мог в это поверить. Но я не могу.

- Ты слишком предаешься отчаянию, - сказала Юстасия. - У других тоже умирали матери.

- От этого моя потеря не меньше. А кроме того, дело ведь не только в потере, а еще и в том, что ее сопровождало. Я согрешил против нее, и поэтому для меня нет просвета.

- По-моему, это она согрешила против тебя.

- Нет. Вся вина была моя. Так пусть же на меня и падет вся кара!

- Мне кажется, ты это говоришь, не подумавши, - ответила Юстасия. Холостые мужчины еще имеют право проклинать себя, сколько им заблагорассудится, но те, у кого есть жены, должны бы помнить, что навлекают беду на двоих, когда просят для себя кары.

- Я так отупел сейчас, что как-то не могу уследить за твоей мыслью, проговорил Клайм. - День и ночь я слышу голос: "Ты помогал убивать ее". Но, ненавидя и презирая себя, я, возможно, бываю несправедлив к тебе, бедная моя жена. Прости мне это, Юстасия, я иной раз сам не знаю, что делаю.

Юстасия избегала смотреть на мужа, когда он бывал в таком состоянии, ибо это зрелище было так же страшно для нее, как крестные муки Христа для Иуды Искариота. Оно тотчас вызывало призрак измученной женщины, которая стучит в дверь, а ей не отворяют; снова и снова видеть это Юстасия была не в силах. Но для самого Ибрайта лучше было открыто говорить о своем раскаянии, потому что молча он страдал еще сильнее и иногда так долго оставался в мучительном душевном напряжении, так изводился от грызущих мыслей, что становилось прямо необходимо заставлять его говорить вслух и потребным для этого усилием в какой-то степени разрезать свое горе.

Вскоре после того, как Юстасия вернулась со своей недолгой прогулки, легкие шаги приблизились к дому, и служанка доложила, что пришла Томазин.

- А, Томазин! Спасибо, что собралась меня навестить, - сказал Клайм, когда она вошла в комнату. -

Вот лежу, как видишь. И представляю собой такое жалкое зрелище, что мне стыдно кому-нибудь показываться, даже тебе.

- Меня ты не должен стыдиться, милый Клайм, - с чувством проговорила Томазин своим нежным голосом, который для больного был как глоток свежего воздуха в Черной яме. - Ничто в тебе не может задеть меня или оттолкнуть. Я и раньше сюда приходила, только ты не помнишь.

- Нет, помню; я и сейчас не в бреду, и раньше не был. Не верь, если тебе скажут, что был. Просто я очень горюю о том, что сделал, и я еще очень слаб от этого, и кажется, будто я не в себе. Но рассудок мой не поврежден. Неужели я помнил бы все о смерти мамы, если бы помешался в уме? Нет, такого счастья мне не дано. Два с половиной месяца, Томазин, последние в ее жизни, моя бедная мать жила одна, горюя и печалась из-за меня, а я не посетил ее, хотя жил всего в шести милях от ее дома. Два с половиной месяца - семьдесят пять дней - солнце вставало и садилось над ней, влачившей жизнь в такой заброшенности, какой и собака не заслуживает! Бедные люди, совсем чужие ей, пришли бы и позаботились о ней, если бы знали, насколько она больна и одинока, но я, который должен был бы все для нее сделать, я и близко не подошел, презренный. Если бог хоть сколько-нибудь справедлив, он должен меня убить, он уже наполовину ослепил меня, но этого недостаточно. Пусть поразит меня еще худшей болью, тогда я в него поверю.

- Т-сс, т-сс! О, Клайм, ради бога, не надо, не надо так говорить! испуганно взмолилась Томазин со слезами и рыданиями; и Юстасию, сидевшую в дальнем углу, повело на стуле, хотя бледное лицо ее оставалось спокойным. Клайм продолжал, не слушая Томазин:

- Но я недостойн даже получать дальнейшие доказательства небесного гнева. Ты считаешь, Томазин,

что она меня узнала? Что она, умирая, не была во власти этого ужасного заблуждения, которое не знаю откуда у нее взялось, - будто я ее не простил? Если бы ты могла за это поручиться! А ты как думаешь, Юстасия? Скажи.

- Мне кажется, я могу поручиться, что в последнюю минуту она лучше тебя поняла, - сказала Томазин.

Бледная Юстасия ничего не ответила.

- Зачем она не пришла ко мне? Я с такой радостью бы ее принял, показал бы ей, как я ее люблю, невзирая ни на что. Но она не пришла, и я к ней не пошел, и она умерла на пустоши, как животное, которое пинками прогнали из дому, и никого не было возле нее, чтобы помочь ей, пока не поздно. Если бы ты видела ее, Томазин, как я ее увидел, когда она, несчастная, умирающая, лежала одна в темноте на голой земле, и никого поблизости, и, стонала и, наверно, чувствовала себя покинутой всем миром, - это тронуло бы тебя до боли, это последнего грубияна бы тронуло. И эта несчастная женщина была моя мать! Не удивительно, что она сказала тому ребенку: "Ты видел женщину с разбитым сердцем". До чего же она должна была дойти, чтобы это вымолвить! И кто же все это сделал, как не я? Об этом слишком страшно думать, и я хочу, чтобы меня еще жестче покарали. Долго я был то, что они называют "не в себе"?

- Неделю, кажется.

- А потом я стал спокоен.

- Да, уже четверо суток.

- А потом я перестал быть спокойным.

- Но постарайся не волноваться и увидишь, ты скоро будешь здоров. Если бы ты мог выбросить из памяти это впечатление...

- Да, да, - нетерпеливо сказал Клайм. - Но я вовсе не хочу быть здоровым. Какой смысл мне выздоравливать? Для меня было бы гораздо лучше, если б я умер, и, во

всяком случае, это было бы лучше для Юстасии. Она здесь?

- Да.

- Юстасия, ведь лучше было бы для тебя, если бы я умер?

- Клайм, милый, не задавай мне таких вопросов.

- Да ведь это только так, предположение, потому что, к несчастью, я останусь в живых. Я чувствую, что мне лучше. Томазин, сколько ты еще поживешь в гостинице теперь, когда твои муж так разбогател?

- Месяц или два, пока совсем не оправлюсь. До тех пор мы не можем уехать. Да, наверно, месяц с лишком.

- Да, да, конечно. Ах, сестрица Тамзи, все твои печали пройдут, какой-нибудь месяц все изменит и принесет тебе утешение, но моя печаль никогда не пройдет, и не будет мне утешения!

- Клайм, ты несправедлив к самому себе. Поверь мне, тетя всегда думала о тебе с любовью. Я знаю, если бы она была жива, вы бы давно помирились.

- Но она не пришла ко мне, хотя я ее звал перед тем, как жениться. Если б она пришла или я бы пошел к ней, ей не довелось бы умереть со словами: "Я женщина с разбитым сердцем, отвергнутая родным сыном". Моя дверь всегда была открыта для нее, ее всегда ждал радушный прием. Но она не пришла.

- Не надо тебе больше говорить, Клайм, - сказала Юстасия слабым голосом; эта сцена становилась слишком тяжела для ее нервов.

- Давай лучше я поговорю те несколько минут, что мне еще осталось быть здесь, - умиротворяюще сказала Томазин. - Подумай, Клайм, как ты односторонне на все это смотришь. Когда она говорила это мальчику, ты еще не нашел ее и не взял в свои объятия. Может быть, это вырвалось у нее в какую-то гневную минуту. Тете случалось говорить так - срыву. Она иногда и со мной так говорила. И хотя она не пришла к тебе, я убеждена,

что она хотела прийти. Неужели ты веришь, что мать может жить два-три месяца без единой доброй мысли о сыне? Она простила мне, почему бы ей не простить тебе?

- Ты старалась вернуть ее расположение, а я ничего не сделал. Я собирался открывать людям высшие тайны счастья, а сам был неспособен предотвратить такое ужасное горе, хотя самые простые, неученые люди умеют его избегать.

- Как вы сегодня добрались к нам, Томазин? - спросила Юстасия.

- Дэймон подвез меня до поворота. У него какое-то дело в деревне, а на обратном пути он за мной заедет.

И в самом деле, вскоре они услышали стук колес. Уайлдив приехал и ждал перед домом с лошастью и двуколкой.

- Пошлите сказать, что я через две минуты буду готова, - сказала Томазин.

- Я сама пойду, - отвечала Юстасия.

Она спустилась вниз. Когда она растворила дверь, Уайлдив, уже сошедший с экипажа, стоял возле головы лошади. Чем-то занятый, он несколько секунд не оборачивался в уверенности, что вышла Томазин. Потом оглянулся, чуть-чуть вздрогнул и произнес только одно слово:

- Ну?

- Я еще не сказала ему, - шепотом проговорила Юстасия.

- И не надо, пока он не выздоровеет - сейчас это опасно. Вы и сами больны.

- Я несчастна... О, Дэймон, - говорила она, заливаясь слезами, - я... я не могу выразить, до чего я несчастна! Я едва терплю. И никому нельзя сказать, никто не знает, только ты.

- Бедняжка! - сказал Уайлдив; он был, видимо, тронут и, вопреки обычной сдержанности, даже взял ее

за руку. - Несправедливо, что ты оказалась запутанной в такую сеть, хотя ничего не сделала, чтобы это заслужить. Ты не создана для таких горестей. И больше всего тут я виноват. Зачем только я не спас тебя от всего этого!

- Но, Дэймон, ради бога, скажи, что мне делать? Час за часом сидеть с ним и слышать, как он укоряет себя за то, что стал причиной ее смерти, и знать, что если уж кто в этом виноват, то только я, - это доводит меня до отчаяния. Я не знаю, что делать. Сказать ему или не сказать? Все время задаю себе этот вопрос. О, я очень хочу сказать, но я боюсь. Если он узнает, он наверняка убьет меня, потому что ничто другое не будет равно по силе его теперешнему горю. "Страшись негодования терпеливых" - эта строка все время звучит у меня в ушах, когда я на него смотрю.

- Подожди, пока он поправится, и тогда рискни. И когда будешь говорить, говори не все - ради его собственного блага.

- О чем я должна умолчать?

Уайлдив помедлил.

- О том, что я был в то время в доме, - сказал он, понизив голос.

- Да, это нужно скрыть, принимая во внимание, какие слухи про нас ходили. Насколько легче совершать неосторожные поступки, чем придумывать для них объяснения!

- Если бы он умер... - пробормотал Уайлдив.

- Не надо об этом и думать! Если б я даже ненавидела его, я не купила бы надежды на безопасность таким низким пожеланьем. Ну, пойду опять к нему. Томазин просила вам передать, что через пять минут выйдет. Прощайте.

Она вернулась в дом, и вскоре появилась Томазин. Когда она уселась рядом с мужем и лошадь уже поворачивала на прямую, Уайлдив поднял глаза к окнам

спальни. В одном из них он различил бледное, трагическое лицо, следившее за тем, как он уезжает. Это была Юстасия.

ГЛАВА II

ЗЛОВЕЩИЙ СВЕТ ПРОНЗАЕТ ТЕМНОЕ СОЗНАНИЕ

Горе Клайма износило само себя; наступило облегчение. Силы к нему вернулись, и через месяц после разговора с Томазин он уже мог прохаживаться по саду. Терпение и отчаяние, самообладание и подавленность, краски здоровья и бледность смерти странно смешивались в его лице. Теперь он никогда не заговаривал ни о чем связанном с матерью, и хотя Юстасия знала, что он не меньше прежнего думает о ней, она рада была избежать этой темы и, уж конечно, сама не стала бы ее вновь поднимать. Пока ум Клайма был ослаблен, сердце побуждало его говорить, но теперь рассудок восстановил свою власть, и Клайм погрузился в молчание.

Однажды, когда Клайм стоял в саду и рассеянно выковыривал палкой какую-то сорную травинку, костлявая фигура обогнула угол дома и приблизилась к нему.

- А, это ты, Христиан? - сказал Клайм. - Очень хорошо, что пришел. Ты мне скоро понадобишься. Надо будет пойти в Блумс-Энд, поможешь мне привести дом в порядок. Там, надеюсь, все заперто, как я оставил?

- Да, мистер Клайм.

- Выкопал ты картофель и что там еще оставалось?

- А как же, все выкопал, и дождя, слава богу, ни капли не было. Но я сейчас пришел вам про другое сказать, совсем обратное тому, что недавно у вас в семье приключилось. Меня этот богатый господин из гостиницы послал, которого мы досель трактирщиком звали, - велел сказать, что миссис Уайлдив благополучно разрешилась дочкой ровно в час пополудни, а может, минуткой раньше либо позже; и

говорят, только этого прибитка они и ждали, из-за того только тут у нас и задерживались с той поры, как разбогатели.

- А она, ты говоришь, уже хорошо себя чувствует?

- Да, сэр. Только мистер Уайлдив будто бы все ворчит, зачем не мальчик, это они там на кухне меж собой говорили, а я и услышал ненароком.

- Христиан, можешь ты меня внимательно выслушать?

- Ну конечно, мистер Ибрайт.

- Скажи, ты видел мою мать накануне того дня, когда она умерла?

- Нет, не видал.

Лицо Ибрайта омрачилось.

- Но я ее видел утром того дня, когда она умерла.

Лицо Клайма снова просветлело.

- Ну, это еще ближе к тому, что меня интересует, - сказал он.

- Да, я хорошо помню, что это было в тот день, потому она мне сказала: "Я сегодня иду повидаться с ним, так что можешь не приносить мне овощей для обеда".

- С кем повидаться?

- Да с вами же. Она же собиралась к вам идти.

Ибрайт в изумлении воззрился на Христиана.

- Почему ты раньше никогда об этом не упоминал? Ты уверен, что она именно ко мне хотела идти?

- Ну как же не уверен! А не упоминал, потому что не видал вас последнее время. Да потом она же не дошла, так это все равно, что ничего и не было, не о чем и говорить.

- А я-то удивлялся, куда она вздумала идти по пустоши в такой жаркий день! А не говорила она, зачем она решила ко мне идти? Это очень важно, Христиан, мне необходимо знать.

- Понимаю, мистер Клайм. Мне-то не сказала, но кое-кому, кажись, говорила.

- А ты хоть одного такого человека знаешь?

- Одного, пожалуй, и знаю, только вы, сэр, ради бога, моего имени ему не называйте, а то я все вижу его в таких странных местах, особенно во сне. Прошлым летом раз ночью он так на меня глазами сверкал, прямо как ножом резал, мне после того так худо было, я два дня даже волосы не причесывал. Он стоял, мистер Ибрайт, на самой середине дороги на Мистоввер, а ваша матушка подошла, бледная-пребледная...

- Ну! Когда ты это видел?

- Да прошлым летом, во сне.

- Тьфу! А кто этот человек?

- Диггори, охряник. Он вечером к ней зашел, и долго они вместе сидели, и было это накануне того дня, когда она решила к вам идти. Это уж точно, я тогда еще домой не ушел, еще в саду работал, - смотрю, а он как раз и входит в калитку.

- Я должен повидать Венна; какая жалость, что я раньше этого не знал, в волнении воскликнул Клайм. - Только почему он сам не пришел мне сказать?

- Да он на другой день совсем уехал из Эгдона, так, верно, не знал, что вам нужен.

- Христиан, - сказал Клайм, - ступай, отыщи мне Венна. Я занят сейчас, а то бы сам пошел. Сейчас же отыщи его и скажи, что мне надо с ним поговорить.

- Днем-то я хорошо умею людей искать, - сказал Христиан, нерешительно оглядываясь на меркнувший закат, - ну, а ночью за ними по пустоши гоняться это вроде дело мне несподручное, мистер Ибрайт.

- Да ищи, когда хочешь, только скорей его приводи. Завтра, если сможешь.

После чего Христиан удалился. Настало утро, но Венна не было и в помине. Вечером приплелся

Христиан, до крайности усталый. Он искал весь день, но ничего даже не слышал об охряннике.

- Продолжай завтра, сколько сможешь, не запуская своей работы, - сказал Ибрайт. - Всех спрашивай. И не приходи, пока его не найдешь.

На другой день Ибрайт отправился в Блумс-Энд, в старый дом, который теперь, вместе с садом, стал его собственностью. Вначале его тяжелая болезнь помешала переезду, но теперь уже стало необходимо ему как наследнику этого маленького владенья осмотреть дом и все в нем содержащееся, для какой-либо цели он решил там и переночевать.

Он шел себе и шел, не быстрым и размашистым шагом, но медлительной, неверной поступью, как человек, только что очнувшийся от одуряющего сна. Время едва перевалило за полдень, когда он спустился в долину. Вид дома и его окрестностей, выражение, краски - все это было точь-в-точь такое, как он уже столько раз видел в этот час дня в былые годы, и это внезапно ожившее прошлое внушало мысль, что и та, кого уже не было в живых, сейчас выйдет приветствовать сына. Садовая калитка была заперта, и ставни закрыты, как он их оставил вечером после похорон. Он отпер калитку и увидел, что паук сплел большую паутину между дверцей и перемычкой, исходя, очевидно, из убеждения, что эту калитку уж больше никогда открывать не будут. Войдя в дом и распахнув ставни, Клайм принялся за дело - стал осматривать шкафы и чуланы, жечь бумаги и соображать, как лучше подготовить дом к приему Юстасии, которой предстояло пожить здесь до того времени, когда он будет в состоянии осуществить свой так сильно запаздывающий план - если это время вообще когда-нибудь наступит.

Оглядывая комнаты, он все отчетливее чувствовал, как ему не нравятся те перемены, которые придется

внести в их освященное стариной, еще дедами заведенное убранство, чтобы приспособить его к более современным вкусам Юстасии. Долговязые стоячие часы в дубовом футляре с картинками "Вознесением господним" на дверце и "Чудесным уловом" на подножье; бабушкин угольный поставец со стеклянной дверцей, сквозь которую видны были фарфоровые чашки, расписанные под горошек; столик для закусок; деревянные подносы; висячий умывальник с медным краном - куда придется сослать все эти почтенные предметы?

Он заметил, что цветы на подоконниках засохли, и выставил их на выступ стены за окном, чтобы их убрали. И, занимаясь всем этим, он услышал шаги по гравию перед домом, а затем стук в дверь.

Он отпер дверь - перед ним стоял Венн.

- С добрым утром, - сказал охряник. - Миссис Ибрайт дома?

Клайм опустил глаза.

- Вы, значит, не видали Христиана и никого из здешних?

- Никого не видал. Я уезжал надолго и только что вернулся. А к вашей матушке я заходил накануне отъезда.

- И вы ничего не слыхали?

- Нет.

- Моя мать - умерла.

- Умерла! - машинально повторил Венн.

- Она теперь там, где и я хотел бы быть.

Венн пристально поглядел на него, затем сказал:

- Если б я не видел сейчас вашего лица, я бы не поверил вашим словам. Вы были больны?

- Да, прихворнул немного.

- Какие перемены! Когда я расставался с ней месяц назад, казалось, она готовится начать новую жизнь.

- И то, что казалось, стало истиной.

- Это вы, конечно, верно говорите. Несчастье научило вас вкладывать в слова более глубокий смысл, чем, скажем, у меня. Я ведь только насчет ее здешней жизни думал. Слишком рано она умерла.

- Может быть, потому, что я жил слишком долго. На этот счет, Диггори, у меня были тяжелые переживания за последний месяц. Но заходите, я очень хотел вас видеть.

Он повел охряника в большую комнату, в которой на прошлых святках происходили танцы, и оба уселись на ларе у камина.

- Видите этот холодный очаг? - сказал Клайм. - Когда горели вот эти наполовину обугленные поленья, она была еще жива. Тут мало что изменилось. Я не в силах что-либо предпринимать. Моя жизнь ползет, как улитка.

- Отчего она умерла? - спросил Венн.

Ибрайт сообщил ему некоторые подробности о ее болезни и смерти и добавил:

- После этого самая жестокая боль будет казаться мне не более чем легким нездоровьем. Но я хотел кое о чем вас расспросить, а сам все скатываюсь на другое, словно пьяный. Мне хотелось бы знать, что моя мать сказала вам, когда в последний раз вас видела? Вы ведь, кажется, долго с ней разговаривали?

- Больше получаса.

- Обо мне?

- Да. И то, о чем мы говорили, думается мне, как раз и было причиной, почему она оказалась на пустоши. Она шла к вам, тут и сомнений быть не может.

- Но зачем же она пошла ко мне, если так была на меня обижена? Вот в чем загадка.

- А я знаю, что она вам все простила.

- Но, Диггори! Если женщина простила сына и идет к нему мириться и, допустим, ей стало дурно на дороге -

разве скажет она тогда, что ее сердце разбито, потому что сын жестоко с ней поступил? Да никогда!

- Я знаю одно - что она вас уже ни в чем не винила. Она винила во всем себя - и только себя. Я это слышал из собственных ее уст.

- Вы слышали из ее собственных уст, что я ничем ее не обидел, а другой слышал из собственных ее уст, что я жестоко ее обидел. Моя мать была не какая-нибудь взбалмошная особа, которая каждый час и без причины меняет свое мнение. Как могло быть, Венн, что она с такими небольшими промежутками говорила такие разные вещи?

- Не знаю. Оно и правда странно, ежели она простила вам и простила вашей жене и нарочно шла к вам, чтобы помириться.

- Только этой странности и не хватало, чтобы у меня голова совсем пошла кругом! Диггори, если бы нам, оставшимся в живых, было позволено беседовать с умершими - хоть раз, хоть одну минуту, хотя бы сквозь железную решетку, как с заключенными в тюрьме, - чего бы только мы не узнали! Сколь многим, кто сейчас ходит, улыбаясь, пришлось бы скрыть лицо свое! А эта загадка - я тотчас бы знал ответ. Но моя мать навеки скрылась в могиле - и как нам теперь разгадать ее тайну?

На это охряник ничего не ответил, ибо отвечать было нечего, и когда несколькими минутами позже он удалился, для Клайма однообразие печали уже сменилось колебаниями и муками неизвестности.

Так он терзался до вечера. На ночь соседка постлала ему постель в одной из комнат, чтобы ему не пришлось завтра опять возвращаться, но когда он лег один в пустом доме, сон бежал от его глаз, и он продолжал бодрствовать час за часом, передумывая все те же мысли. Решить эту загадку смерти казалось ему более важным делом, чем самые насущные задачи

живых. В памяти его навсегда поселился отчетливый образ мальчика, каким он предстал ему в ту минуту, когда заглянул в лачугу, где лежала мать Клайма. Круглые глаза, живой взгляд, пискливый голос, выговаривавший роковые слова, - все это запечатлелось у него в мозгу, словно вырезанное стилетом.

Посетить мальчика, постараться узнать новые подробности - эта мысль напрашивалась сама собой, хотя такая попытка могла оказаться бесплодной. Раскапывать спустя полтора месяца в памяти ребенка не какие-нибудь простые факты, которые он видел и понимал, но то, что по самой своей природе было выше его понимания, - это едва ли обещало успех; но когда все явные пути заперты, мы начинаем ощупью искать другие, темные и неприметные. Это последнее, что еще можно сделать, а потом он предоставит этой загадке кануть в пропасть не поддающихся раскрытию тайн.

Уже светало, когда он пришел к такому решению; и он тотчас встал. Он запер дом и вышел на травянистую ленту, которая дальше сливалась с вереском. Напротив белого палисада тропа разделялась на три, как на английском правительственном клейме. Правая дорога вела к "Молчаливой женщине" и ее окрестностям; средняя - на Мистоверский холм; левая переваливала через холм в другую часть Мистовера, где и жил мальчик. Вступив на эту последнюю, Ибрайт ощутил какой-то ползучий озноб, многим, и кроме него, знакомый и, вероятно, вызванный не прогретым еще утренним воздухом. Но, вспоминая о том впоследствии, он склонен был придавать ему особое значение.

Когда Ибрайт подошел к дому Сьюзен Нонсеч, матери мальчика, оказалось, что его обитатели еще не вставали. Но в эгдонских нагорных поселках переход из постели под открытое небо совершается удивительно быстро и легко. Плотная перегородка из зевков, омовений и прихорашиваний не отделяет там ночное

человечество от дневного. Клайм постучал о подоконник верхнего окна - он мог дотянуться до него своей тростью, - и через три-четыре минуты хозяйка сошла вниз.

Только теперь Клайм вспомнил, что Сьюзен и есть та женщина, которая когда-то так варварски поступила с Юстасией. Отчасти этим объяснялся но слишком любезный прием, оказанный ею сейчас Клайму. Но, кроме того, мальчик опять хворал, и на этот раз, как и во все разы после того вечера, когда его заставили быть кочегаром при костре на усадьбе капитана Вэя, Сьюзен приписывала его недомоганье колдовству Юстасии. Это было одно из тех тайных суеверий, которые, словно кроты, прячутся под видимой поверхностью быта, и в данном случае оно, возможно, подкреплялось еще тем, что, когда капитан хотел преследовать Сьюзен по суду за ее выходку в церкви, сама Юстасия просила его отказаться от иска, что он и сделал.

Ибрайт подавил отвращение к ней - ведь к его матери Сьюзен, во всяком случае, относилась хорошо. Он ласково спросил о здоровье мальчика, но Сьюзен от этого не стала приветливее.

- Я хотел бы повидать его, - продолжал Клайм с некоторым колебанием, и спросить, не помнит ли он еще чего-нибудь о прогулке с моей матерью, чего раньше не говорил.

Она посмотрела на него каким-то особенным и несколько ироническим взглядом. Не будь у Клайма так ослаблено зрение, этот взгляд ясно сказал бы ему: "Хочешь, чтобы тебя еще стукнули, даром что и от прежних-то ударов еле жив?"

Она предложила Клайму сесть на табуретку, кликнула мальчика и сказала ему, когда он сошел вниз:

- Джонни, расскажи мистеру Ибрайту все, что можешь вспомнить.

- Ты не забыл, как ты гулял с той пожилой дамой, что потом умерла, еще когда был такой жаркий день, помнишь? - начал Ибрайт.

- Помню, - сказал мальчик.

- И что же она тебе сказала?

Мальчик точно повторил те слова, с которыми он тогда вошел в лачугу. Ибрайт оперся локтем о стол и заслонил лицо ладонью, и мать Джонни смотрела на него с таким выражением, словно удивлялась, как можно еще просить того, что так больно тебя ранит.

- Она шла в Олдерворт, когда ты ее встретил?

- Нет, она шла оттуда.

- Этого не может быть.

- Нет, может. Она шла рядом со мной, а я тоже оттуда шел.

- Так где же ты ее в первый-то раз увидел?

- Возле вашего дома.

- Будь внимателен и говори правду! - строго приказал Клайм.

- Да, сэр. У вашего дома - вот где я ее в первый раз увидел.

Клайм выпрямился на табурете, а на лице Сьюзен появилась улыбка предвкушенья, отнюдь ее не красившая и как будто говорившая: "Что-то злое к нам спешит!"

- Что она делала возле моего дома?

- Пошла и села под деревьями на Дьяволовых мехах.

- Боже мой! Это полная новость для меня!

- Почему ты мне раньше этого не говорил? - спросила Сьюзен.

- Я боялся, мама, вдруг ты рассердишься, зачем я так далеко ушел. Я собирал голубику, а она ближе не растет.

- И что же она там делала, на пригорке?

- Смотрела, как какой-то мужчина подошел к дому и вошел в дверь.

- Ну да, это был я - сборщик дрока с ежевичными ветками в руках.

- Нет, это были не вы. Этот был одет, как городской. А вы еще раньше вошли.

- А кто он такой?

- Не знаю.

- Ну говори, что было дальше.

- Эта пожилая дама, что потом умерла, она пошла и постучала к вам в дверь, а молодая с черными волосами выглянула в окошко и посмотрела на нее.

Мать Джонни повернулась к Клайму и сказала:

- Что? Этого вы не ожидали?

Он обратил на нее не больше внимания, чем если бы был каменным.

- Говори, говори, - хриплым голосом сказал он мальчику.

- Когда старая дама увидела, что молодая смотрит на нее из окна, она опять постучала, а когда никто не пришел, она взяла серп и стала смотреть на него, а потом положила и стала смотреть на ежевичные ветки, а потом ушла и прямо пошла по вереску туда, где я был, и она очень громко дышала - вот так. Потом мы пошли вместе, она и я, и я говорил с ней, и она поговорила со мной, по немного, потому что не могла хорошо дышать.

- О! - тихо простонал Клайм и опустил голову. - Говори еще, - сказал он.

- Она не могла много говорить и не могла идти, и лицо у нее было у-у какое странное!

- Какое у нее было лицо?

- Как теперь у вас.

Женщина посмотрела на Ибрайта и увидела, что лицо у него белое как полотно и покрытое холодным потом.

- Пожалуй, есть в этом смысл, а? - вкрадчиво сказала она. - Что вы теперь о ней думаете?

- Молчать! - яростно сказал Клайм. Он повернулся к мальчику: - И тогда ты оставил ее умирать?

- Нет, - быстро и сердито вмешалась женщина. - Он не оставил ее умирать. Она сама его отослала. Кто говорит, что он бросил ее, говорит неправду.

- Не беспокойтесь об этом, - выговорил Клайм дрожащими губами. - То, что он сделал, это пустяки по сравнению с тем, что он видел. Дверь была заперта, ты говоришь? Дверь заперта, а она смотрела в окно? Господи боже мой! Что это значит?

Ребенок попятился, оробев под взглядом своего допросчика.

- Он так говорит, - сказала его мать, - а Джонни богобоязненный мальчик и никогда не лжет.

- "Отвергнута родным сыном!" Нет, клянусь тебе, мама, это не так! Не твоим сыном, а этой... этой... этой... Так дай же бог, чтобы все убийцы получили возмездие, какого заслуживают!

С этими словами Ибрайт ушел из домика на взгорье. Зрачки его глаз, устремленных в пустоту, слабо светились каким-то ледяным светом, рот приобрел ту складку, которую художники иногда с большей или меньшей долей изобретательности придавали изображеньям Эдипа. Он был в том состоянии, когда возможны самые безумные поступки. Но они не были возможны здесь. Вместо бледного лица Юстасии и смутной мужской фигуры перед ним были невозмутимые просторы вересковой пустоши; она, вытерпев непоколебимо гигантский натиск столетий, одним своим древним морщинистым ликом сводила к ничтожеству все самые неистовые волнения отдельного человека.

ГЛАВА III

ЮСТАСИЯ ОДЕВАЕТСЯ В НЕДОБРОЕ УТРО

Огромное бесстрашие всего окружающего проникло даже в сознание Клайма во время его стремительного

возвращения в Олдерворт. Однажды он уже испытал на самом себе это подавление страстного неодоушевленным, но там дело шло о страсти много более приятной, чем бушевавшая в нем сейчас. Это было в тот вечер, когда, расставшись с Юстасией, он стоял у края пустоши, где за гранью холмов открывалась влажная, плоская, немая низина.

Но он отбрасывал все такие воспоминанья, и снова шел вперед, и очутился наконец перед своим домом. Шторы в спальне Юстасии еще были задернуты, - не в ее обычае было вставать так рано. Живого возле дома был только одинокий дрозд, который на каменной плите крыльца расклевывал маленькую улитку себе на завтрак, и стук его клюва казался громким среди окружающей тишины. Но, подойдя к двери, Клайм обнаружил, что она не заперта, - очевидно, служанка Юстасии уже встала и чем-то занималась на задах усадьбы. Ибрайт вошел и прямо направился в комнату жены.

Должно быть, шум его шагов разбудил ее, потому что, когда он отворил дверь, она стояла в ночной сорочке перед зеркалом, прихватив одной рукой концы своих кос и намереваясь завернуть их в узел на голове, прежде чем приступить к дальнейшему утреннему туалету. Юстасия была не из тех женщин, которые спешат первыми заговорить при встрече, и она, - даже не повернув головы, предоставила Кяйму молча пройти через комнату. Он подошел к ней сзади, и она увидела в зеркале его лицо. Оно было серое, как пепел, осунувшееся, страшное. Вместо того чтобы сразу с тревогой и сочувствием повернуться к нему, как даже Юстасия, столь сдержанная в выражении супружеских чувств, сделала бы в прежние дни, до того как обременила себя тайной, она осталась неподвижной, глядя на него в зеркало. И пока она смотрела, истаял светлый румянец, которым тепло и крепкий сон

окрасили ее щеки и шею, и мертвенная бледность перекинулась с лица Клайма на ее лицо. Он стоял так близко, что это заметил, и это его подстрекнуло.

- Ага, ты понимаешь, в чем дело, - глухо проговорил он. - Я вижу по твоему лицу.

Она отпустила волосы и уронила руку, и вся масса кудрей рассыпалась по ее плечам и по белой ткани рубашки. Юстасия ничего не ответила.

- Говори, - резко приказал он.

Она все еще продолжала бледнеть - теперь уже и губы ее стали так же бескровны, как и лицо. Она повернулась к нему и сказала:

- Хорошо, Клайм, я буду говорить с тобой. Почему ты вернулся так рано? Я могу что-нибудь сделать для тебя?

- Да, ты можешь меня выслушать. Но, кажется, моя женушка не совсем здорова?

- Почему ты думаешь?

- Твое лицо, дорогая, твое лицо. Или, может быть, это серый утренний свет стер все краски? Ну-с, а теперь я открою тебе секрет. Ха-ха!

- Перестань, это ужасно! - Что?

- Твой смех.

- Ну, так есть же и причины ужасаться. Юстасия, ты держала мое счастье в ладонях и, как злой демон, швырнула его оземь и разбила вдребезги!

Она отстранилась от зеркала, отступила на несколько шагов и посмотрела ему в лицо.

- Ты хочешь меня напугать, - сказала она со смешком. - Стоит ли? Я беззащитна и одна.

- Как удивительно!

- Что ты хочешь сказать?

- Времени у нас много, и я тебе объясню, хотя ты и сама знаешь. Мне удивительно, что в мое отсутствие ты одна. Да уж скажи лучше, где он сейчас, тот, кто был с

тобой днем тридцать первого августа? Под кроватью? Или в дымоходе?

Дрожь прошла по ней, колебля легкую ткань рубашки.

- Я не помню так точно дней, - сказала она. - И не помню, чтобы кто-нибудь был со мной, кроме тебя.

- Это был тот день, - начал Ибрайт, и голос его стал громче и жестче, тот день, когда ты заперла дверь перед моей матерью и убила ее. Ох, нет. это слишком... Не могу! - На минуту он отвернулся и оперся на изножье кровати, потом снова выпрямился. - Расскажи, расскажи мне! Расскажи, слышишь? вскричал он, подавшись к Юстасии и хватая ее за свободные складки широкого рукава.

Этот жест и эти слова пробили ту внешнюю оболочку робости, в которую нередко облакаются натуры, по сути своей дерзкие и непокорные, - они достигли неподатливой сердцевины ее характера. Алая кровь залила ее лицо, ранее столь бледное.

- Что ты хочешь делать? - спросила она тихим голосом, глядя на него с надменной усмешкой. - Этим ты меня не испугаешь, но жаль будет, если порвешь рукав.

Вместо того чтобы отпустить, он притянул ее к себе еще ближе.

- Расскажи мне все - все - о смерти моей матери, - проговорил он свистящим, прерывистым шепотом, - а не то я... не то я...

- Клайм, - сказала она протяжно, - неужели ты думаешь, что можешь сделать мне что-нибудь, чего я не в силах вынести? Но прежде чем бить, выслушай. Ударами ты ничего от меня не добьешься, даже если убьешь меня, как оно, вероятно, и будет. Но, может быть, тебе только и надо меня убить?

- Убить тебя! Ты этого ожидаешь?

- Да.

- Почему?

- Только такая степень ярости будет соответствовать силе твоего прошлого горя.

- Ха! Нет, я не буду тебя убивать, - сказал он с презрением, словно вдруг переменив намерение. - Я думал - но нет, не буду. Это значило бы сделать из тебя мученицу, ты тогда будешь там, где она, а я, если бы мог, до конца света не дал бы тебе к ней приблизиться.

- Пожалуй, уж лучше б ты меня убил, - сказала она с унылой горечью. Смею тебя уверить, я не очень охотно играю ту роль, которую мне довелось в последнее время играть на земле. Ты, мой супруг, тоже небольшое удовольствие.

- Ты заперла дверь - ты смотрела в окно - с тобой был мужчина - ты послала ее умирать. Бесчеловечность - предательство - я тебя не трону стань подальше - и покайся во всем!

- Никогда! Буду молчать, как сама смерть, которую я готова встретить, хотя могла бы снять половину твоих обвинений, если бы заговорила. Но какая уважающая себя женщина станет заниматься тем, чтобы выметать паутину из мозгов дикаря, да еще после того, как он так с ней обращался? Нет уж, пусть продолжает свое, пусть думает свои тупые мысли и тычется головой в грязь. У меня есть другие заботы.

- Это уж слишком - но я решил щадить тебя.

- Убогое милосердие!

- Юстасия, честное слово, ты напрасно меня язвишь! Я мог бы ответить тем же, да еще и погорячей. Но хватит. Извольте, сударыня, назвать его имя!

- Никогда, я же сказала.

- Как часто он вам пишет? Куда кладет письма - когда с вами видится? Ах да, его письма!.. Ну? Скажешь ты мне его имя?

- Нет.

- Так я сам узнаю. - Его взгляд остановился на маленьком письменном столике, за которым Юстасия обычно писала письма. Клайм подошел к нему. Столик был заперт.

- Отопри!

- Ты не имеешь права требовать. Это мое.

Ни слова не говоря, он поднял столик и грохнул его об пол. Крышка отлетела, высыпался ворох писем.

- Остановись! - воскликнула Юстасия с большим, чем до сих пор, волнением и шагнула вперед.

- Прочь! Не подходи! Я желаю их посмотреть.

Она оглядела рассыпанные по полу письма, сдержалась и, отойдя в сторону, равнодушно смотрела, как он подбирает их и просматривает.

В самих письмах при всем желании нельзя было вычитать ничего, кроме вещей вполне невинных. Исключение составлял адресованный Юстасии пустой конверт; почерк на нем был Уайлдива. Ибрайт поднял его и показал Юстасии. Она упорно молчала.

- Умеете вы читать, сударыня? Посмотрите на этот конверт. Без сомнения, мы вскоре найдем еще другие, да и содержимое их тоже. И я буду иметь удовольствие узнать, каким законченным, многоопытным экспертом в некоем древнем ремесле является моя жена.

- Ты это мне говоришь - мне? - задохнулась Юстасия.

Он поискал еще, но ничего не нашел.

- Что было в этом письме? - сказал он.

- Спроси того, кто писал. Что я - твоя собака, что ты так со мной разговариваешь?

- Храбришься, да? Все еще не сдаешься? Отвечай! Не смотри на меня такими глазами, словно хочешь опять меня околдовать. Этого не будет, скорее я умру. Так ты отказываешься отвечать?

- После этого я б ничего не сказала, будь я даже невинна, как новорожденный младенец.

- А это далеко не так?

- Совсем невинной я не могу себя считать, - отвечала она. - Я не делала того, что ты думаешь, но если невинен только тот, кто никогда и никому не причинил вреда, то мне нет прощенья. Но я не прошу защиты у твоей совести.

- Какое упорство! Вместо того чтобы тебя ненавидеть, я, кажется, готов бы плакать вместе с тобой и жалеть тебя, если б ты раскаялась и во всем призналась. Простить тебя я не могу. Я не говорю о твоём любовнике - это я готов сбросить со счетов, потому что это затрагивает одного меня. Но то, другое! Если б ты наполовину убила меня, если бы ты преднамеренно отняла зрение у моих бедных глаз, все это я мог бы простить. Но то - выше сил человеческих.

- Ну, довольно. Я обойдусь без твоей жалости. И незачем было тратить столько слов и вслух произносить то, в чем ты потом раскаешься.

- Сейчас я уйду. Я оставляю тебя.

- Можешь не уходить, я сама уйду. Ты будешь так же далеко от меня, если останешься здесь.

- Вспомни о ней - подумай о ней, - сколько в ней было доброты; это видно было в каждой черточке ее лица! У большинства женщин, даже когда они только слегка сердиты, проскальзывает что-то злое в изгибе рта, в уголке щеки, но у нее даже при самом сильном гневе никогда не бывало злого выраженья. Она гневалась легко, но так же легко прощала, под внешней гордостью в ней была кротость ребенка. Где все это теперь? Разве ты умела это ценить? Ты возненавидела ее как раз тогда, когда она начинала тебя любить. Как ты не поняла, что лучше для тебя, как могла ты одним этим жестоким поступком обрушить проклятие на меня, муки и смерть на нее! Кто этот дьявол, что был тогда с тобой и подстрекнул тебя добавить жестокость к ней к греху против меня? Это был Уайлдив, да? Муж бедняжки Томазин? Боже, какая мерзость! Молчишь?

Потеряла голос? Это естественно после того, как раскрылись ваши столь благородные дела... Юстасия, неужели мысль о твоей собственной матери не побудила тебя поберечь мою в трудную для нее минуту? Неужели не нашлось капли жалости в твоём сердце, когда ты увидела, что она уходит? Подумай, какую в тот миг ты потеряла возможность начать всепрощающую, честную жизнь. Зачем ты не выгнала его, а ее не впустила и не сказала: вот, с этого часа я буду верной женой и благородной женщиной? Если бы я приказал тебе - пойдешь, погаси навеки последний мерцающий огонек надежды на наше с тобой счастье, и то ты не могла бы сделать хуже. Что ж, теперь она спит, и, будь у тебя сто любовников, ни они, ни ты уже больше не можете ее оскорбить.

- Ты страшно преувеличиваешь, - сказала она слабым, усталым голосом, но я не хочу защищаться. Не стоит. В моем будущем для тебя нет места, так и прошлую часть истории можно не рассказывать. Я все потеряла из-за тебя, но я не жаловалась. Твои промахи и твои неудачи могли быть огорчением для тебя, но по отношению ко мне они были черной несправедливостью. Все сколько-нибудь утонченные люди бежали от меня с тех пор, как я увязла в трясине замужества. В этом, что ли, твоя любовь - запереть меня в такой лачуге и содержать, как жену батрака? Ты обманул меня - не словами, но внешностью, а в этом труднее разобраться, чем в словах. Но все равно, и этот клочок земли годится не хуже всякого другого - как место, откуда можно шагнуть в могилу.

Слова замерли у нее на губах и голова упала на грудь.

- Не понимаю, что ты хочешь сказать. Разве я - причина твоего преступления? (Юстасия сделала трепетное движение к нему.) Что, ты уже начинаешь ронять слезы и протягивать мне руку? Бог мой, да как

ты можешь? Нет, я не сделаю такой ошибки, я ее не возьму. (Ее протянутая рука бессильно упала, но слезы продолжали течь.) Ну хорошо, я ее возьму, хотя бы ради тех поцелуев, которыми ее осыпал раньше, чем понял, кого лелею. Как я был околдован! Могло ли быть что хорошее в женщине, о которой все говорили плохо?

- О, о, о! - зарыдала Юстасия; выносливости ее пришел конец. Сотрясаясь от рыданий, она упала на колени. - О, перестань, довольно! Ты слишком беспощаден, есть же предел жестокости даже дикарей! Я долго крепилась, но ты раздавил меня. Я прошу милосердия, я не могу больше, это бесчеловечно - все длить и длить эту пытку! Если бы я своими руками убила твою мать, и то я бы не заслуживала таких истязаний. О, о! Боже, смилуйся надо мной, несчастной!.. Ты побил меня в этой игре, я сдаюсь, пожалей меня! Я признаюсь... что намеренно не открыла дверь, когда она в первый раз постучала... но... я... открыла бы на второй стук... если б не думала, что ты уже сам пошел открывать. Вот все мое преступление - по отношению к ней. Самые лучшие люди иногда ошибаются - разве нет?.. А теперь прощай навсегда, я ухожу.

- Расскажи мне все, и я тебя пожалею. Этот мужчина, что был с тобой, это Уайлдив?

- Я не могу сказать, - в отчаянии выговорила она сквозь слезы. - Не настаивай, я не могу. Я уйду из этого дома. Нам нельзя обоим здесь оставаться.

- Тебе незачем уходить; я уйду. Ты можешь остаться.

- Нет, сейчас я оденусь и уйду.

- Куда?

- Туда, откуда пришла. Или еще куда-нибудь.

Она стала торопливо одеваться; Ибрайт все это время мрачно ходил взад-вперед по комнате. Наконец она была готова. Ее маленькие руки так дрожали, когда

она, надевая шляпу, подняла их к подбородку, что она не могла завязать ленты и, попробовав раз и другой, оставила эту попытку. Видя это, он подошел и сказал:

- Дай, я завяжу.

Она молча кивнула и подняла подбородок. Быть может, впервые в жизни она была совершенно равнодушна к тому, какое впечатление производит ее поза. Но он равнодушен не был и отвел глаза, чтобы не смягчиться.

Лепты были завязаны, она отвернулась.

- Ты все еще предпочитаешь уйти сама, а не чтобы я ушел? - сизнова спросил он.

- Да.

- Хорошо, пусть так. Когда ты признаешься, кто был тот мужчина, я, может быть, тебя пожалею.

Она решительным движением завернулась в шаль и сошла вниз, оставив его стоять посреди комнаты.

Вскоре после этого в дверь постучали, и Клайм сказал:

- Да-а?

Это была служанка; она ответила:

- Приходил кто-то от миссис Уайлдив и сказал, что и она и девочка здоровы и благополучны и что девочку решили назвать Юстасия-Клементина. - На том служанка ушла.

- Какая насмешка! - сказал Клайм. - Мой несчастный брак увековечен в имени этого ребенка!

ГЛАВА IV

ПОПЕЧЕНИЯ ТОГО, КТО БЫЛ НАПОЛОВИНУ ЗАБЫТ

Вначале путь Юстасии был столь же колеблем, как полет пушинки на ветру. Она не знала, что делать. Ей только хотелось, чтобы сейчас был вечер, а не утро, тогда она могла бы нести свалившуюся на нее беду без риска быть увиденной человеческим оком. После долгих и вялых блужданий среди усохших папоротников и раскинутых по ним белых и мокрых паутинок она вышла

все-таки к дедушкиному дому. Подойдя ближе, она увидела, что передняя дверь заперта. Она машинально прошла в дальний конец усадьбы, где была конюшня, и, заглянув в растворенную дверь, увидела там Чарли.

- Что, капитана Вэя нет дома? - спросила она.

- Нету, мэм, - ответил юноша, сразу разволновавшись. - Уехал в Уэзербери и до вечера не вернется. И служанку отпустили погулять. Так что дом заперт.

Чарли не мог видеть лица Юстасии; она стояла в проеме Двери спиной к свету, а конюшня была плохо освещена. Но какая-то растерянность в ее обращении заставила его насторожиться. Она повернулась, прошла через двор к воротам и скрылась за насыпью.

Когда она исчезла из виду, Чарли с тревогой во взгляде вышел из конюшни и, подойдя к другому месту насыпи, глянул поверх нее. Юстасия полулежала, прислонясь к ее наружному скату, закрыв лицо руками и откинув голову на обильно росший здесь мокрый вереск. Казалось, ей совершенно безразлично, что ее шляпка, волосы и одежда намокают и приходят в беспорядок от соприкосновения с этим холодным, жестким ложем. Ясно было, что с ней что-то случилось.

Чарли всегда смотрел на Юстасию так, как она сама смотрела на Клайма, когда впервые с ним встретилась, - как на очаровательное романтическое виденье, едва ли состоящее из плоти и крови. Она всегда так отдаляла его от себя величавостью осанки и гордостью речи, что он почти не воспринимал ее как женщину, земную и бескрылую, подверженную семейным осложнениям и домашним неурядицам. Внутренние подробности ее жизни представлялись ему лишь крайне смутно. Она всегда была для него прелестным чудом, предназначенным свершать свой путь по орбите, на которой его собственная жизнь была лишь точкой; и сейчас вид Юстасии, прилегшей к дикому мокрому

склону, как загнанное, потерявшее всякую надежду животное, поразил его изумлением и ужасом. Он больше не мог оставаться на месте. Перепрыгнув через насыпь, он подошел, тронул ее пальцем и сказал с нежностью:

- Вам дурно, мэм? Что я могу для вас сделать?

Юстасия шевельнулась и сказала:

- А, Чарли... Ты пошел за мной... Ты не ожидал, правда, когда я уезжала летом, что я так вернусь?

- Не ожидал... Могу я вам теперь помочь?

- Боюсь, что нет. Жаль, что нельзя попасть в дом. У меня голова кружится, вот и все.

- Обопритесь на мою руку, я вас доведу к крыльцу. И попробую отпереть дверь.

Он довел ее к крыльцу и, усадив там на скамейку, поспешил на зады дома, поднялся по приставной лесенке к окну и, спустившись внутрь, отпер дверь. Затем помог ей пройти в комнату, где стояла старомодная, набитая конским волосом кушетка, широкая, как телега. Юстасия легла, и Чарли укрыл ее плащом, найденным в передней.

- Принести вам что-нибудь поесть и выпить? - спросил он.

- Пожалуйста, Чарли. Но печка, наверно, холодная.

- Я ее разожгу, мэм.

Он исчез, и она услышала, как он колет дрова, потом раздувает огонь мехами. Вскоре он вернулся и сказал:

- Я затопил в кухне, а теперь затоплю здесь.

Юстасия со своей кушетки следила сквозь дремоту, как он растапливает камин. Когда пламя разгорелось, он сказал:

- Подкатить вас поближе к огню, мэм? Утро-то сегодня прохладное.

- Если хочешь.

- И принести уже завтрак?

- Пожалуй, - вяло согласилась она.

Он ушел, и из кухни стали время от времени доноситься неясные звуки его движений; но Юстасия уже забыла, где она, и ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы понять, что означают эти звуки. Спустя время, показавшееся коротким ей, чьи мысли были далеко, вошел Чарли с подносом, на котором дымился чай и тосты.

- Поставь на стол, - сказала она. - Я сейчас встану.

Он сделал, как велено, и отошел к двери, но, видя, что она не движется, вернулся.

- Я подержу его на руках, если вам не хочется вставать, - сказал Чарли. Он снял поднос со стола, подошел к кушетке и стал на колени. - Я подержу его для вас, - повторил он.

Юстасия села и налила чашку чая.

- Ты очень добр ко мне, Чарли, - тихонько сказала она, прихлебывая чай.

- А как же иначе, - застенчиво проговорил он, стараясь не смотреть на нее в упор, что было не так просто, ибо она находилась прямо перед ним. - Вы ведь были добры ко мне.

- Как это? - сказала Юстасия.

- Вы дали мне подержать свою руку, помните? Когда вы были еще не замужем и жили здесь.

- А, верно. Чего ради я это сделала?.. Совсем забыла... Кажется, что-то в связи со святочными представлениями?

- Да. Вы хотели сыграть вместо меня.

- А, помню. О да, теперь я вспомнила - слишком хорошо! Она опять омрачилась, и Чарли, видя, что она больше не хочет ни пить, ни есть, убрал поднос.

Потом он еще несколько раз заходил посмотреть, горит ли огонь в камине, узнать, не нужно ли ей чего-нибудь, сказать, что ветер переменялся с южного на западный, спросить, не хочет ли она, чтобы он собрал

для нее немного черной смородины; на все эти предложения она отвечала либо "нет", либо "как хочешь".

Она еще немного полежала на кушетке, потом встала и пошла наверх. Ее спальня осталась такой же, как была, когда она ее покинула, и вызванное этим воспоминание об огромных и несчастливых переменах, происшедших с ней самой, снова наложило на ее лицо печать той неопределенной, бесформенной тоски, которую оно выражало, когда Юстасия подходила к дому. Она заглянула в комнату дедушки, где в открытые окна дул свежий осенний ветер. Взгляд ее задержался на предмете привычном и давно знакомом, но сейчас как будто приобрел новое значение.

Это была пара пистолетов, висевшая у изголовья дедушкиной кровати; он всегда держал их там заряженными из опасения грабителей, так как дом стоял очень уединенно. Юстасия долго смотрела на них, как будто это была страница книги, в которой она теперь вычитывала новое и необычное содержание. Затем, словно чего-то испугавшись, она быстро сошла вниз и остановилась в глубокой задумчивости.

- Если бы я могла! - сказала она. - Сделала бы добро себе и всем связанным со мной, а вреда никому.

Эта мысль, казалось, постепенно набирала в ней силу; минут десять она стояла неподвижно, затем ее взгляд отвердел, в нем появилась какая-то определенность вместо мути нерешимости.

Она повернулась и вторично поднялась наверх, на этот раз тихими, бесшумными шагами, вошла в дедушкину комнату; взгляд ее сразу обратился к изголовью кровати: пистолетов там не было.

Это мгновенное уничтожение возможности осуществить свой замысел так подействовало на ее психику, как на тело действует внезапный переход в безвоздушное пространство, - она почти лишилась

чувств. Кто это сделал? Кроме нее, в доме был только один человек. Юстасия невольно повернулась к окну, из которого просматривался весь сад вплоть до замыкавшей его насыпи. И там, на насыпи, стоял Чарли; с этой высоты ему легко было заглянуть в комнату. Сейчас его взгляд был внимательно и заботливо обращен к ней.

Она сошла вниз и, став в дверях, поманила его.

- Это ты их взял?

- Да, мэм.

- Почему?

- Я видел - вы слишком долго на них смотрели.

- Какое это имеет отношение?

- Вы все утро были такая грустная, вы как будто не хотели жить.

- Ну и что?

- И я не решился оставить их у вас под рукой. Вы смотрели на них таким особенным взглядом.

- Где они теперь?

- Заперты.

- Где?

- В конюшне.

- Дай их мне.

- Нет, мэм.

- Ты отказываешься?

- Да, мэм. Вы слишком мне дороги, чтобы я вам их отдал. Она отвернулась, и впервые за этот день ее лицо утратило каменную неподвижность, и восстановился изящный вырез губ, который у нее всегда смазывался и тяжелел в минуты отчаяния. Наконец она снова повернулась к нему.

- Почему бы мне не умереть, если я хочу? - сказала она с дрожью в голосе. - Я плохо распорядилась своей жизнью - и я от нее устала, о! так устала! А теперь ты помешал мне уйти. Ах, зачем ты это сделал, Чарли! Что делает смерть мучительной, как не мысль о горе

близких? А мне этого нечего бояться, ни один вздох не полетит мне вслед!

- Это у вас от горя такое помрачение! Ух, попался бы мне тот, кто вам его причинил, уж я бы его! А там пусть меня хоть на каторгу ссылают!

- Чарли, не надо больше об этом. Что ты теперь будешь делать? Скажешь кому-нибудь о том, что видел?

- Буду молчать как могила, если вы пообещаете выбросить это из головы.

- Не бойся. Эта минута была и прошла. Я обещаю. Она ушла в комнаты и легла.

Ближе к вечеру вернулся дедушка. Он собрался было строго ее допросить, но, поглядев на нее, умолк на полуслове.

- Да, - ответила она на его взгляд, - это такая беда, что лучше о ней не говорить. Можно, чтобы мне уже сегодня убрали мою прежнюю комнату? Я опять буду в ней жить.

Он не спросил, что все это значит и почему она оставила мужа, но распорядился приготовить комнату.

ГЛАВА V

СТАРЫЙ ПРИЕМ, НЕЧАЯННО ПОВТОРЕННЫЙ

Заботам Чарли о его прежней хозяйке не было конца. Попытки смягчить ее горе были для него единственным утешением в собственных скорбях. Он часами придумывал, что бы еще для нее сделать; о ее присутствии в доме он думал с благодарностью, и если проклинал причину ее несчастья, то в какой-то мере благословлял его последствия. Может быть, она навсегда останется здесь, думал он, и тогда он будет так же счастлив, как был раньше. Больше всего на свете он боялся, что в какую-то минуту она может вдруг решить вернуться в Олдерворт, и с этим страхом в глазах, со всей пытливостью любви он часто следил за выражением ее лица, когда она на него не смотрела,

как мог бы следить за поворотами головы дикой голубки, стараясь понять, не замыслила ли она улететь. Оказав ей однажды помощь и, может быть, удержав ее от самого безумного из всех безумных поступков, он вдобавок и на будущее время мысленно принял на себя ответственность за ее благополучие.

По этой причине он всячески старался доставлять ей приятные развлечения, - приносил домой разные курьезы, найденные на пустоши, как, например, белый трубчатый мох, лишайники с красными головками, каменные наконечники для стрел, бывшие в употреблении у древних племен, некогда населявших Эгдон, или многогранные кристаллы из включений в гранитных породах. Их он раскладывал где-нибудь в комнатах, чтобы они могли как бы случайно попасться ей на глаза.

Прошла неделя; Юстасия никуда не выходила из дому. Потом стала прогуливаться по усадьбе и глядеть в дедушкину подзорную трубу, как имела обыкновение делать до замужества. Однажды она увидела на большой дороге, в том месте, где та пересекала долину, медленно движущийся и тяжело нагруженный ломовой полук; на нем горой громоздилась домашняя утварь. Юстасия посмотрела еще и еще и убедилась в том, что утварь эта - ее собственная. А вечером дедушка принес слух, что Ибрайт в этот день переехал из Олдерворта в свой старый дом в Блумс-Энде.

В другой раз, точно так же обзревая окрестность, она увидела в ближней долине две движущиеся женские фигуры. День был ясный и светлый, и в подзорную трубу Юстасия могла разглядеть все подробности. Женщина, шедшая впереди, несла в руках какой-то сверток, с которого свисал длинный белый придаток, и когда идущие повернули, так что солнце ударило им в лицо, Юстасия увидела, что это ребенок.

Она позвала Чарли и спросила, не знает ли он, кто эти женщины (хотя она уже и сама догадалась).

- Миссис Уайлдвиг и няня ихняя, - сказал Чарли.

- Няня несет ребенка? - спросила Юстасия.

- Нет, это миссис Уайлдвиг несет ребенка, - отвечал он, - а няня идет сзади и ничего не несет.

Чарли в этот день был в хорошем настроении, так как снова наступило пятое ноября и он придумал еще новую затею, которая должна была отвлечь Юстасию от ее слишком поглощающих мыслей. Два года подряд его госпожа, казалось, находила удовольствие в том, чтобы зажигать костер на насыпи, господствующей над долиной; но в этом году она, видимо, забыла и день и обычай. Он остерегся ей напомнить и продолжал втайне готовить свой веселый сюрприз с тем большим рвением, что в прошлый раз он отсутствовал и не мог ей помочь. Каждую свободную минуту он бежал на соседние склоны, разыскивал там пеньки дрока, корни терновника и прочий солидный горючий материал и прятал его от случайных взглядов.

Пришел вечер, а Юстасия, видно, так и не вспомнила о годовщине. Поглядев в подзорную трубу, она ушла в комнаты и больше не показывалась. Как только стемнело, Чарли начал раскладывать костер, выбрав для него то же самое место на насыпи, где в предшествующие годы разводила его Юстасия.

Когда засверкали все окрестные костры, Чарли поджег свой, причем так уложил поленья, что на некоторое время его можно было оставить без надзора. Затем вернулся к дому и стал слоняться под окнами и возле двери в надежде, что Юстасия как-нибудь узнает о его достижениях и выйдет ими полюбоваться. Но ставни были закрыты и дверь не растворялась, никто, видно, и внимания не обращал на устроенное им зрелище. Звать ее ему не хотелось, он вернулся к костру, подбросил еще полешек и продолжал этим

заниматься в течение получаса. Только когда его запас топлива сильно уменьшился, он пошел на черный ход и послал служанку сказать Юстасии, что ее просят открыть окно и посмотреть, что делается снаружи.

Юстасия, сидевшая в гостиной и погруженная, как всегда, в апатию, встрепенулась при этом предложении и распахнула ставни. Прямо перед ней на насыпи пылал огонь, который тотчас наполнил багровыми отблесками комнату, где она находилась, и совсем затмил бледный свет свечей.

- Молодец, Чарли! Здорово получилось, - сказал капитан Вэй из своего угла у камина. - Надеюсь только, он не мои дрова жжет... Да, как раз в этот день в прошлом году я встретил этого парня Венна, - он тогда Томазин Ибрайт в своем фургоне вез, - да, да, точно помню! Кто бы подумал, что все злоключения этой девицы так хорошо кончатся? А уж ты, Юстасия, какого дурака сваяла! Муж-то тебе еще не написал?

- Нет, - отвечала Юстасия, глядя в окно на костер, который сейчас так поглощал ее внимание, что она даже не обиделась на грубоватое замечание дедушки. Ей видна была фигура Чарли на насыпи - он подкладывал сучья и перемешивал огонь, - и в ее воображении внезапно встала другая фигура, которую этот огонь мог вызвать.

Она поднялась к себе наверх, надела садовую шляпку и плащ и вышла из дому. Дойдя до насыпи, она с опаской, но и с острым любопытством заглянула поверх нее. И тут-то Чарли сказал ей, очень довольный собой:

- Это я нарочно для вас сделал, мэм.

- Спасибо, - торопливо ответила она. - Но теперь я хочу, чтобы ты его погасил.

- Он скоро сам догорит, - сказал несколько разочарованный Чарли. Разве не жаль вам его раскидывать?

- Не знаю, - сказала она с сомнением.

Они стояли молча; тишину нарушало только потрескивание пламени. Наконец, поняв, что ей не хочется разговаривать, Чарли неохотно ушел.

Юстасия осталась стоять по эту сторону насыпи, глядя на огонь, намереваясь вернуться, но все еще медля. Если бы она не была сейчас склонна равнодушно относиться ко всему почитаемому богами и людьми, она бы, вероятно, ушла. Но ее положение было настолько безнадежно, что она могла играть им. Самая потеря не так мучительна, как раздумья о том, что ты мог выиграть. И Юстасия, подобно многим другим на этой стадии переживаний, могла уже смотреть на себя со стороны, наблюдать за собой, как незаинтересованный зритель, и рассуждать о том, какой удобной игрушкой в руках Судьбы оказалась эта женщина, Юстасия Вэй.

И пока она стояла, она услышала звук. Плеск камня, упавшего в воду.

Если бы этот камень ударил ее прямо в грудь, сердце ее не могло бы дрогнуть сильнее. Ей уже приходила в голову мысль о возможности такого ответа на знак, который бессознательно подал Чарли, но так скоро она его не ожидала. Уайлдив не терял времени! Но как он мог подумать, что она сейчас, в ее положении, захочет возобновить эти тайные встречи? Воля уйти, желание остаться боролись в ней, и желание возобладало. Правда, сверх этого она ничего не сделала, не позволила себе даже подняться на вал и посмотреть. Она осталась недвижима, не шевельнув ни единым мускулом, не подняв глаз, ибо, подними она лицо, его озарил бы свет от костра. А Уайлдив, может быть, уже смотрел сверху.

Раздался вторичный плеск в пруду.

Почему он стоит там так долго, не подходит и не смотрит через вал? Любопытство победило; она

поднялась на одну-две земляных ступеньки, проделанных в насыпи, и выглянула.

Перед ней был Уайлдив. Бросив второй камень, он пошел к насыпи, и теперь огонь от костра озарил лица обоих, разделенных по грудь земляной преградой.

- Я его не зажигала! - поспешно воскликнула Юстасия. - Его зажгли без моего ведома. Не переходи, не переходи сюда!

- Ты все время жила тут, а мне ничего не сказала! Ты ушла от мужа. Боюсь, нет ли тут моей вины?

- Я не впустила его мать, вот в чем дело.

- Ты не заслужила того, что на тебя обрушилось, Юстасия. Ты в большом горе: я это вижу по твоим глазам, по складке рта, по всей внешности. Моя бедная, бедная девочка! - Он перешел на другую сторону насыпи. - Ты беспредельно несчастлива!

- Нет, нет, не совсем... - Это зашло слишком далеко, это убивает тебя, - я же вижу!

Ее обычно спокойное дыханье участилось от этих слов.

- Я... Я... - начала она и вдруг разразилась судорожными рыданиями, потрясенная до глубины души нежданным голосом жалости - чувства, о котором применительно к себе она уже почти забыла.

Этот внезапный приступ слез был неожиданностью для самой Юстасии; не в силах с ним совладать, стыдясь его, она отвернулась, хотя этим ничего не могла скрыть. Она рыдала неудержимо; потом слезы приостановились, она стала спокойнее. Уайлдив подавил желание ее обнять и стоял молча.

- Не стыдно тебе за меня, я ведь никогда не была плаксивой! - сказала она слабым шепотом, отирая глаза. - Почему ты не ушел? Я не хотела, чтобы ты все это видел, это слишком меня разоблачает.

- Ты могла не хотеть, чтобы я видел, потому что все это причиняет мне такую же боль, как тебе, -

взволнованно и с уважением проговорил он. - Но разоблачение - такого слова нет между нами.

- Я не посылала за тобой, не забывай этого, Дэймон; я в большом горе, но я не посылала за тобой! По крайней мере, как жена, я вела себя честно.

- Ничего - я все-таки пришел. Ах, Юстасия, прости мне все зло, что я тебе сделал за эти два прошедших года! Я вижу теперь все яснее, что это я тебя погубил.

- Не ты. Это место, где я живу.

- Великодушие подсказывает тебе эти слова. Но нет, виновник - я. Я должен был либо сделать больше, либо не делать ничего.

- Как это?

- Не надо было совсем тебя трогать или, если уж начал, то идти до конца и удержать тебя. Но, конечно, теперь я не имею права об этом говорить. Я только одно спрошу: что я могу сделать для тебя? Есть ли что-нибудь на земле, что человек может сделать, чтобы ты стала счастливее? Если есть, я это сделаю. Приказывай, Юстасия, - все, что в моих силах, будет выполнено. И не забывай, что я теперь стал богаче. Ведь есть же что-нибудь, чем можно спасти тебя от этих мучений! Такой редкий цветок среди такой дичи - мне просто жаль это видеть! Нужно тебе что-нибудь купить? Хочешь куда-нибудь поехать? Хочешь совсем бежать отсюда? Только скажи, и я все сделаю, чтобы положить конец этим слезам, которых не было бы, если бы не я.

- Я замужем за другим, и ты на другой женат, - тихо сказала Юстасия, и помощь с твоей стороны назовут нехорошим именем...

- Ну, от клеветников не убережешься. Но ты не бойся. Каковы бы ни были мои чувства, клянусь тебе честью, что я ни словом, ни поступком их не проявлю, пока ты сама мне не позволишь. Я знаю свои обязанности перед Томазин, так же как знаю свои

обязанности перед женщиной, с которой поступили несправедливо. В чем я могу тебе помочь?

- В том, чтобы мне уехать отсюда.

- Куда ты хочешь поехать?

- У меня кое-что намечено. Если ты поможешь мне добраться до Бедмута, дальше я сама справлюсь. Оттуда ходят пароходы через Ла-Манш, а там я могу проехать в Париж, где я хочу быть. Да, - умоляюще проговорила она, - помоги мне добраться до Бедмутской гавани, так чтобы не знал ни дедушка, ни мой муж, а все остальное я сама сделаю.

- Но можно ли спокойно оставить тебя там одну?

- Да, да. Я хорошо знаю Бедмут.

- Хочешь, чтобы я с тобой поехал? Я теперь богат. -

Она молчала. Скажи "да", милая! - она все молчала. - Ну хорошо, дай мне знать, когда захочешь уехать. До декабря мы будем жить на старом месте, потом переберемся в Кэстербридж. До тех пор я в твоём распоряжении.

- Я подумаю об этом, - торопливо проговорила она. - Могу ли я по чести обратиться к тебе, как к другу, или должна буду соединиться с тобой, как с любовником, - вот что мне еще нужно решить. Если я захочу уехать и соглашусь воспользоваться твоей помощью, я подам тебе знак как-нибудь вечером ровно в восемь часов, и это будет значить, что ты в ту же ночь в двенадцать должен быть наготове с лошадью и двуколкой, чтобы отвезти меня в Бедмут к утреннему пароходу.

- Буду смотреть каждый вечер в восемь часов, и никакой знак от меня не ускользнет.

- А теперь прошу тебя - уходи. Если я решусь бежать, нам больше нельзя будет встречаться до самого отъезда - разве что я увижу, что не могу уехать без тебя. Уходи, я больше не могу. Иди, иди!

Уайлдив медленно поднялся по ступенькам и спустился в темноту на другой стороне; и, уходя, он все

оглядывался назад, пока вал не заслонил Юстасию и она не скрылась из виду.

ГЛАВА VI

ТОМАЗИН СПОРИТ СО СВОИМ ДВОЮРОДНЫМ БРАТОМ, И ОН ПИШЕТ ПИСЬМО

Ибрайт в это время был в Блумс-Энде, надеясь, что Юстасия вернется к нему. Мебель он перевез только накануне, хотя сам уже больше недели жил в старом доме. Он проводил время в работах по усадьбе - чистил дорожки от листьев, срезал сухие стебли на цветочных грядках, прибывал ползучие растения, потревоженные осенними ветрами. Нельзя сказать, чтобы он находил особое удовольствие в этих занятиях, но они были для него защитой от отчаяния. Кроме того, у него стало религией сохранять в идеальном порядке все, что перешло к нему из рук матери.

Работая, он все время был настороже - не появится ли Юстасия. Для того чтобы она без ошибки могла узнать, где его найти, он велел прибить к садовой калитке в Олдерворте доску, на которой белыми буквами было точно обозначено, куда он выехал. Когда увядший листок падал на землю, Клайм поворачивал голову, прислушиваясь, не шелест ли это ее шагов. Если птица в поисках червей ворошила землю и палый лист на цветочных грядках, ему мнилось, что это рука Юстасии трогает щеколду садовой калитки; а в сумерки, когда странные тихие чревовещания исходили из земляных нор, полых стеблей, скоробившихся сухих листьев и всяких других щелок, в которых ветры, червяки и насекомые могут распорядиться по-своему, он воображал, что это все Юстасия: стоя за оградой, она шепчет ему слова примирения.

До сих пор он был тверд в своем решении не звать ее обратно. Вместе с тем суровость, которую он тогда проявил, как-то смягчала остроту его скорби по матери и воскрешала хотя отчасти прежнюю заботливость о

той, которая сменила мать. Суровые чувства порождают суровое обращение, а оно, в свою очередь гасит те эмоции, которые дали ему начало. Чем больше Клайм раздумывал, тем больше он смягчался. Правда, смотреть на жену как на оскорбленную невинность было невозможно, но можно было спросить себя, не слишком ли он поторопился - не слишком ли внезапно накинулся на нее в то недоброе утро.

Теперь, когда схлынул первый порыв гнева, он не склонен был обвинять Юстасию в чем-либо худшем, чем неосторожная дружба с Уайлдивом, ибо во всем ее поведении он не замечал признаков супружеской измены. Но раз так, то и ее поступок с матерью не обязательно было истолковывать в самом преступном смысле.

В этот день, пятого ноября, он неотступно думал о Юстасии. Отзвуки прежних времен, когда они весь день говорили друг другу нежные слова, долетали к нему, словно смутный ропот волн с берега, от которого он удалился уже на много миль.

- Право же, - сказал он, - она могла бы теперь уже снестись со мной и честно признаться, чем был для нее Уайлдив.

Вместо того чтобы оставаться дома в этот вечер, он решил пойти повидать Томазин и ее мужа. При удобном случае он намекнет на причину своего разрыва с Юстасией, умалчивая, однако, о том, что в доме было третье лицо во время трагического происшествия с матерью. Если Уайлдив был там без всяких дурных намерений, он, конечно, открыто скажет об этом. А если намерения его были не столь невинны, то Уайлдив, будучи человеком несдержанным, возможно, скажет что-нибудь такое, что позволит судить о степени его близости с Юстасией.

Но, придя в гостиницу, Клайм обнаружил, что дома только Томазин; Уайлдив в это время был уже на пути к

костру, зажженному в Мистовере ничего не подозревающим Чарли. Томазин, как всегда, была рада видеть Клайма и сейчас же повела его смотреть спящего младенца, старательно заслоняя свечу ладонью, чтобы его не разбудить.

- Тамзин, ты слышала, что Юстасия сейчас не живет со мной? - спросил Клайм, когда они снова уселись в гостиной.

- Нет! - отвечала встревоженная Томазин.

- И что я переехал из Олдерворта?

- Нет. Ко мне ничего не доходит из Олдерворта, кроме того, что ты мне сообщаем. Что случилось?

Клайм срывающимся голосом рассказал ей о своем посещении маленького сына Сьюзен Нонсеч, о его рассказе и о том, что получилось, когда он, Клайм, бросил Юстасии в лицо обвинение в преднамеренном и бессердечном поступке с его матерью. О возможном присутствии Уайлдива в доме он не упомянул.

- Какое несчастье, а я ничего не знала! - испуганно пролепетала Томазин. - Ужасно! Что могло ее заставить... Ах, Юстасия! А когда ты узнал, ты тут же сгоряча бросился к ней? Не был ли ты слишком жесток? Или она в самом деле такая плохая?

- Может ли человек быть слишком жестоким к врагу своей матери?

- Мне кажется, это может быть.

- Ну хорошо, я согласен. Допустим, я был слишком резок. Но что теперь делать?

- Помириться с ней - если такая жестокая ссора может быть заглажена. Ах, лучше бы ты мне не говорил!.. Но постарайся все-таки с ней помириться. Есть, в конце концов, возможность, если вы оба этого хотите.

- Не знаю, оба ли мы этого хотим, - сказал Клайм. - Если она хочет, почему до сих пор не послала за мной?

- Ты вот хочешь, а ведь не послал за ней.

- Верно. Но я так терзался сомнениями, имею ли я даже право после того, что она сделала. Глядя на меня сейчас, Томазин, ты даже представить себе не можешь, что со мной было, в какие круги ада я спускался за эти последние несколько дней. Нет, какая гнусность, - так бездушно прогнать маму от моего порога! Смогу ли я это когда-нибудь забыть? Или хотя бы согласиться снова видеться с нею?

- Она могла не знать, что из этого выйдет что-либо серьезное, а может быть, она вовсе и не хотела прогонять твою маму.

- Она и сама говорит, что не хотела. Но факт остается фактом: она ее все-таки прогнала.

- Поверь, что она раскаивается, и пошли за ней,

- А если она не придет?

- Ну, это и будет значить, что она виновата. Значит, у нее в обычае долго питать вражду. Но я ни на минуту этого не допускаю.

- Хорошо, я сделаю, как ты говоришь. Подожду день-два, не дольше двух, во всяком случае; и если она за это время сама мне не напишет, я ей напишу. Между прочим, я надеялся повидать сегодня Уайлдива. Он что, уехал куда-нибудь?

Томазин слегка покраснела.

- Нет, - сказала она, - просто пошел погулять.

- Почему же он и тебя не взял? Вечер прекрасный, и тебе свежий воздух нужен не меньше, чем ему.

- О, мне никуда не хочется выходить. И потом, как я оставлю маленькую.

- Да, да. Я, видишь ли, хотел и с твоим мужем тоже посоветоваться, степенно проговорил Клайм.

- По-моему, не стоит, - быстро ответила Томазин. - Толку из этого не будет.

Клайм внимательно посмотрел ей в лицо. Томазин, конечно, не знала, что ее муж был как-то замешан в событиях этого трагического дня, однако по ее манере

можно было предположить, что она скрывает подозрение или догадку о прежде бывших нежных отношениях между Уайлдивом и Юстасией, о которых на Эгдоне давно ходили слухи.

Но разобраться в этом Клайм не мог и встал, собираясь уходить, еще в большем сомнении, чем был вначале.

- Так ты напишешь ей через день-другой? - настойчиво повторила Томазин. - Я всей душой надеюсь, что это несчастное раздельное житье у вас скоро кончится.

- Напишу, - сказал Клайм. - Поверь, оно мне и самому не сладко.

Он простился с Томазин и стал подниматься в гору к Блумс-Энду. Прежде чем ложиться спать, он сел к письменному столу и написал следующее письмо:

"Моя дорогая Юстасия! Я решил повиноваться сердцу, не слишком прислушиваясь к голосу рассудка. Хочешь вернуться ко мне? Вернись, и я никогда не помяну о прошлом. Я был слишком строг, но, Юстасия, - была же и причина! Ты не знаешь и никогда не узнаешь, чего мне стоили эти гневные слова, которые ты навлекла на себя. Все, что может обещать честный человек, я тебе сейчас обещаю, а именно, что больше не заставлю тебя страдать из-за того, что было. После всех клятв, что мы друг другу давали, мне кажется, Юстасия, мы остаток жизни должны провести в том, чтобы постараться их исполнить. Так приходи же ко мне, даже если еще держишь на меня обиду. Я думаю о твоих страданиях в то утро, когда мы расстались, я знаю, они были непритворными, и думаю, что с тебя довольно. Наша любовь не должна умереть. Для чего было давать нам обоим такие сердца, как не для того, чтобы мы любили друг друга? Вначале я не мог позвать тебя, Юстасия, потому что не мог отогнать подозрения, что тот, кто был с тобой тогда, пришел к тебе как

любовник. Но если ты придешь и объяснишь некоторые странности, я уверен, ты легко сможешь доказать свою честность. Почему ты до сих пор не пришла? Ты думала, я не стану тебя слушать? Но как могла ты это подумать, помня наши поцелуи и клятвы, которыми мы обменялись под летней луной? Возвращайся же, тебя ждет горячий привет. Я не могу больше думать о тебе плохо, я только и делаю, что стараюсь тебя оправдать.

Твой муж - сейчас, как и всегда. Клайм".

- Ну вот, - сказал он, кладя письмо на стол, - одно правильное дело сделано. Если она не придет до завтрашнего вечера, я пошлю это ей.

Тем временем в доме, который он недавно покинул, сидела Томазин и тяжело вздыхала. Верность мужу побудила ее скрыть от Клайма свои подозрения в том, что интерес Уайлдива к Юстасии не кончился и после его женитьбы. Но она не знала ничего достоверного, и хотя Клайм был ее любимым братом, другой был ей еще ближе.

Когда немного позже Уайлдив вернулся со своей проходки в Мистовер, Томазин сказала:

- Дэймон, где ты был? Я уж прямо напугалась, - думала, ты в реку упал. Не люблю быть дома одна.

- Напугалась? - сказал он и потрепал ее по щеке, словно она была каким-то домашним животным. - Я думал, тебя ничто не может напугать. Ты, наверно, просто загордилась и не хочешь больше здесь жить после того, как мы стали состоятельными людьми. Это, конечно, канительное дело - приобретать новый дом, и я не мог быстрее его кончить: вот будь у нас не десять тысяч фунтов, а сто тысяч, чтоб можно было в расходах не стесняться, ну, тогда не пришлось бы так долго ждать.

- Нет, я готова ждать - лучше еще целый год здесь жить, чем хоть капельку рисковать здоровьем малышки. Но меня беспокоит, что ты так пропадаешь по вечерам.

У тебя что-то на сердце, Дэймон, я ведь понимаю. Ты ходишь такой мрачный и смотришь на пустошь, словно это чья-то тюрьма, а не наоборот, такое чудесное, красивое место, куда так и хочется пойти.

Он посмотрел на нее с жалостью и удивлением.

- Неужто ты любишь Эгдон? - спросил он.

- Я люблю то, возле чего я родилась. Мне нравится его славное старое лицо.

- Пустяки, милочка. Ты сама не знаешь, что тебе нравится.

- Нет, знаю. Мне только одно здесь неприятно.

- Что же это?

- А то, что ты никогда не берешь меня с собой, когда идешь гулять на пустошь. Почему ты постоянно там бродишь, если она тебе так противна?

Этот, казалось бы, простой вопрос явно привел его в смущенье, и он сел, прежде чем ответить.

- Уж будто я так часто хожу? А ты когда меня там видела? И сказать не сможешь.

- Нет, смогу, - с торжеством ответила она. - Когда ты ушел сегодня вечером, я подумала, что малышка спит, пойду-ка я погляжу, куда ты так таинственно ходишь и мне не говоришь. Выбежала и пошла за тобой. Ты остановился там, где дорога разветвляется, посмотрел кругом на костры и сказал: "А, черт, пойду!" И быстренько пошел по левой дороге. А я стояла и смотрела тебе вслед.

Уайлдив нахмурился, потом сказал с насильственной улыбкой:

- И какие же удивительные открытия ты еще сделала?

- Ну вот, теперь ты рассердился! Не будем больше говорить об этом.

Она перешла к нему через комнату, села на скамеечку и заглянула ему в лицо.

- Нет уж, - сказал он, - ты всегда вот так увиливаешь. Начали говорить, так уж давай кончим. Что ты еще видела? Я желаю знать.

- Не будь таким. Дэймон! - тихо проговорила она. - Ничего я больше не видела. Ты скрылся из глаз, а я посмотрела еще на костры и пошла домой.

- Может, ты уже не в первый раз подсматриваешь за мною? Стараешься вызнать обо мне что-нибудь дурное?

- Да нет же! Я никогда раньше этого не делала и сегодня бы не стала, если бы не то, что люди иногда про тебя говорят...

- Что говорят? - нетерпеливо спросил он.

- Говорят... говорят, что ты по вечерам ходил в Олдерворт, и я вспомнила поэтому то, что еще раньше слышала...

Он круто повернулся и остановился перед ней.

- Ну-ка, - сказал он, резко взмахнув рукой, - выкладывайте, сударыня! Изволь сейчас же сказать, что ты еще слышала.

- Ну, слышала, что ты был очень влюблен в Юстасию, да и то никто прямо не говорил, а все больше намеками да по кусочкам... И не из-за чего тебе сердиться.

Он заметил, что ее глаза наполнились слезами.

- Ну что ж, - сказал он, - нового тут, во всяком случае, ничего нет, и я вовсе не хочу быть с тобой грубым, так что незачем тебе плакать. И давай не будем больше об этом говорить.

И больше об этом ничего не было сказано, и Томазин, понятно, остереглась упоминать о посещении Клайма и его рассказе.

ГЛАВА VII

НОЧЬ ШЕСТОГО НОЯБРЯ

Приняв решение бежать, Юстасия тем не менее по временам жаждала, чтобы случилось что-нибудь, что помешало бы ей выполнить свое намерение. Только

одно могло существенно изменить ее положение - это приход Клайма. ореол, которым он в ее глазах был окружен как любовник, давно развеялся, но иногда ей вспоминалась какая-нибудь простая добрая черта его характера и на минуту вспыхивала надежда, что он все-таки явится перед ней. Но, трезво рассуждая, трудно было поверить, что такой разрыв, какой произошел у них, может быть когда-нибудь заглажен; видно, придется ей коротать жизнь дальше, как жалкой отверженной, которая никому не нужна и всюду не у места. Раньше она думала, что только Эгдон чужд ей по духу, теперь ей казалось, что и весь мир.

Шестого ноября, по мере того как день клонился к вечеру, ее решимость уехать стала снова оживать. Около четырех часов она упаковала те немногие вещи, которые захватила с собой из Олдерворта, а также кое-что из того, что оставалось в Мистовере. Получился небольшой узелок, который нетрудно было пронести в руках одну или две мили. На дворе быстро темнело; грязно-серые тучи тяжело свисали с неба, словно подвешенные там огромные гамаки; ближе к ночи поднялся сильный ветер, но дождя еще не было.

Юстасии больше нечего было делать, - празднично сидеть дома она была не в силах и пошла бродить по холму, не уходя далеко от дома, который ей предстояло покинуть. Во время этих бесцельных блужданий она прошла мимо домишка Сьюзен Нонсеч, стоявшего несколько ниже по склону, чем усадьба капитана. Дверь в нем была распахнута настежь, и по земле тянулась лента яркого света от очага. Когда Юстасия пересекала этот сноп лучей, она возникла на мгновение, отчетливая, как фигура в фантазмагории - создание, сотканное из света и окруженное тьмой; но мгновение прошло, и тьма поглотила ее.

В доме сидела женщина, которая увидела и узнала ее в этом мгновенном озарении. Это была сама Сьюзен,

варившая горячее питье для своего мальчика; он часто прихварывал, а сейчас был серьезно болен. Сьюзен уронила ложку, потрясла кулаком вслед промелькнувшей фигуре и как-то рассеянно, словно о чем-то задумавшись, продолжала свое занятие.

В восемь часов - тот час, когда Юстасия обещала подать знак Уайлдиву, если вообще собиралась подавать его в этот день, - она оглядела всю окрестность, удостоверившись, что помех не будет, пошла к сараю, где был сложен сухой дрок для топки, и вытащила оттуда длинный сук с листьями. Затем поднялась на угол насыпи, еще раз оглянулась - все ли ставни в доме закрыты, зажгла спичку и подпалила сук. Когда он хорошо разгорелся, Юстасия взяла его за конец, взмахнула им высоко у себя над головой и так махала, пока он весь не прогорел.

Она имела удовольствие (если это подходящее слово для ее тогдашнего настроения) увидеть всего через одну-две минуты такой же огонь поблизости от жилища Уайлдива. Он обещал следить каждый вечер в это время на случай, если ей понадобится помощь, и теперь быстрота, с которой он ответил, показывала, как точно он держит слово. Через четыре часа, то есть в полночь, он будет готов отвезти ее в Бедмут, как было уговорено.

Юстасия вернулась в дом. Сразу после ужина она поднялась к себе и тихо сидела в спальне, ожидая, когда будет пора идти. Ночь была темная и ненастная, и кашттан Вэй не пошел поболтать в какой-нибудь из соседних домиков или в гостиницу, как ему случалось делать в такие долгие осенние вечера; вместо того он сидел один внизу, прихлебывая гог. Около десяти часов в наружную дверь постучали. Когда служанка пошла открыть, свет от ее свечи упал на коренастую фигуру Фейруэя.

- Мне вечером надо было пойти в Нижний Мистоввер, - сказал он, - и мистер Ибрайт попросил меня по дороге занести это к вам, а я, понимаешь, сунул его за подкладку шляпы, да и забыл начисто, только тогда и вспомнил, когда перед сном стал калитку на засов запирасть. Ну, я, конечно, бегом обратно. На вот, держи.

Он подал ей письмо и ушел. Девушка отнесла его капитану, тот увидел, что оно адресовано Юстасии. Он повертел его в руках, почерк был как будто ее мужа, но капитан не был уверен. Все же он решил немедленно передать ей письмо и с этой целью понес его наверх, но, подойдя к ее двери и заглянув в замочную скважину, обнаружил, что внутри темно. Объяснялось это тем, что Юстасия прилегла на постель, не раздеваясь, чтобы отдохнуть и набраться сил перед предстоящим путешествием. Но дедушка из виденного им заключил, что ее не следует тревожить, и, спустившись обратно в гостиную, положил письмо на каминную доску, с тем чтобы отдать ей утром.

В одиннадцать часов он и сам пошел спать, покурив еще немного у себя в спальне, в половине двенадцатого погасил свет и затем по неукоснительному своему обычаю, прежде чем лечь, подошел к окну и поднял штору, чтобы, открыв глаза утром, тотчас увидеть, откуда дует ветер, ибо из окна спальни виден был флагшток и укрепленный на нем флюгер. И как раз когда он ложился, он с удивлением заметил, что шест флагштока вдруг выступил из темноты, словно мазок фосфора, проведенный сверху вниз по ночной тени. Объяснение могло быть только одно: со стороны дома на него внезапно упал свет. Так как в доме уже все легли, старик счел нужным встать с постели, тихонько открыть окно и посмотреть направо и налево. Спальня Юстасии была освещена, именно свет из ее окна и озарил шест. Недоумевая, что могло ее разбудить, он стоял в нерешимости у окна и уже собирался сходить за

письмом и подсунуть ей под дверь, как вдруг услышал легкий шелест платья о перегородку, отделявшую его спальню от коридора.

Капитан решил, что Юстасии, очевидно, не спится и она пошла за книгой, и он перестал бы обо всем этом думать, как о нестоящем деле, если бы одновременно и вполне отчетливо не услышал, что Юстасия плачет.

"О муже своем думает, - сказал он про себя. - Эх, дуреха! Надо было ей за него выходить! Интересно, от него ли все ж таки это письмо?"

Он встал, набросил на плечи бушлат, растворил дверь и позвал:

- Юстасия! - Ответа не было. - Юстасия! - повторил он громче. - Там на камине есть для тебя письмо.

Но и на это не было ответа, разве только ворчанье ветра, который, казалось, вгрызлся в углы дома, да стук нескольких капель о стекло.

Он вышел на лестничную площадку и почти пять минут стоял, ожидая. Но она все не возвращалась. Он пошел к себе взять свечу, решив, что сам сходит вниз за Юстасией. Но сперва заглянул к ней в спальню. Там, на наружной стороне стеганого одеяла он увидел отпечаток ее тела, из чего следовало, что постель она не разбирала; и что еще многозначительнее, - уходя, она не взяла свечи. Тут уж капитан совсем встревожился; поспешно одевшись, он сошел к парадной двери, которую сам запер на ключ и задвинул засовом. Она была отперта. Не приходилось сомневаться, что Юстасия в этот полночный час ушла из дому. Но куда она могла пойти? Догнать ее было невозможно. Стоял бы этот дом на обыкновенной дороге, тогда пойти бы вдвоем, одному в одну сторону, другому - в другую, и уж кто-нибудь непременно бы ее настиг. Но безнадежное дело искать человека в темноте на пустоши, где возможных путей для бегства от любой точки отходит не меньше, чем меридианов от

полюса. Теряясь в мыслях, что делать, он заглянул в гостиную и еще больше расстроился, увидев, что письмо лежит нетронутое.

В половине двенадцатого, удостоверясь, что в доме все тихо, Юстасия зажгла свечу, надела кое-что потеплее, взяла в руку свой дорожный мешок и, погасив свечу, сошла по лестнице. Выйдя на воздух, она увидела, что пошел дождь, и пока она в нерешимости медлила у двери, дождь усилился, грозя превратиться в ливень. Но, приняв сегодня свое решение, она связала себя, поздно было отступить из-за плохой погоды; даже если б она получила письмо Клайма, теперь это бы ее не остановило. Ночной мрак был прямо похоронный, казалось, вся природа оделась в траур. Остроконечные верхушки елей за домом вздымались, словно башни и шпили аббатства, различимые все же на угрюмом небосклоне. Зато ниже, на земле, ничего не было видно, кроме единственного огня, все еще горевшего в доме Сьюзен Нонсеч.

Юстасия раскрыла зонтик и, поднявшись по ступенькам, перешла через насыпь, после чего могла уже не бояться, что ее увидят. Огибая пруд, она пошла дальше по тропинке к Дождевому кургану, иногда спотыкаясь об извилистые корни дрока, пучки рогоза или источающие влагу кучки мясистых грибов, которые в эту пору года бывали разбросаны по всей пустоши, словно гниющая печень или легкие какого-то огромного животного. Луна и звезды, полузадушенные тучами и дождем, еле проглядывали на небе. Ночь была такая, что в памяти путника неволью всплывали какие-нибудь известные в истории ночные сцены гибели и разрушения, все самое страшное и темное, что мы находим в летописях и преданиях, - последняя казнь египетская, избиение воинства Сеннахерибова, моление в Гефсиманском саду.

Юстасия наконец добралась до Дождевого кургана и остановилась подумать. В мыслях ее был хаос, не меньший, чем в стихиях вокруг нее, - в этом смысле между том и другим была полная гармония. Сейчас ее вдруг осенило, что у нее ведь нет достаточно денег для длительного путешествия. Среди колебания чувств, пережитых ею за этот день, ее непрактический ум ни разу не остановился на необходимости запастись нужными средствами, и теперь, когда она впервые до конца осознала свое положение, ее прямая осанка сломилась, она стала клониться долу, пока не скорчилась на земле под зонтиком, как будто ее втягивала в могильник чья-то рука, высунувшаяся оттуда. Неужели ей опять оставаться пленницей? Деньги: она никогда раньше не понимала их ценности. Даже чтобы исчезнуть с пустоши, и то нужны деньги. Просить у Уайлдива денежной помощи, не разрешая ему ехать с ней, было немыслимо для женщины, сохранившей хотя бы крупицу гордости; бежать с ним как его любовница, - а она знала, что он ее любит, - было унижением.

Кто был бы с ней сейчас, без сомнения, пожалел бы ее, и не столько за ее незащищенность от непогоды и оторванность от всего мира людей, кроме истлевших останков под Дождевым курганом, сколько за то внутреннее терзание, от которого она раскачивалась взад и вперед со стиснутыми на груди руками. Крайнее несчастье зримо тяготело на ней. К всхлипыванию дождевых капель, скатывавшихся с зонтика на накидку, с накидки на вереск, с вереска на землю, примешивались такие же звуки, слетавшие с ее губ, и слезы природы повторялись на ее щеках. Крылья ее души были сломлены жестоким сопротивлением всего окружающего; и если б даже ей представилась сейчас спокойная возможность добраться в Бедмут, взойти на пароход и уплыть в какой-нибудь порт по ту сторону Ла-

Манша, вряд ли бы это очень ее подбодрило, так ужасно и так губительно было то, другое. Она что-то говорила вслух. А уж если женщина в таком положении, не будучи ни выжившей из ума старухой, ни глухой, ни сумасшедшей, ни истеричкой, начинает рыдать и вслух разговаривать сама с собой, это значит, что с ней в самом деле стряслась беда.

- Поехать с ним? Решиться?.. - стонала она. - Он не настолько большой человек, чтобы предать ему себя, - я не о таком мечтала!.. Будь это Саул или Бонапарт - о!.. Но нарушить супружеские обеты ради него - слишком дорогая плата!.. А уехать одной - нет денег! А если бы и были, что пользы? Влачить будущий год, как этот, и тот, что придет потом, как только что прошедший?.. Как я старалась быть блестящей, и как судьба все время была против меня!.. Я не заслужила своей участи! - вскричала она в горьком негодовании. - О, какая жестокость - бросить меня в этот неудачно сотворенный мир! Я многое могла, но я была искалечена, и отравлена, и смята какими-то силами, над которыми у меня нет власти. Как он жесток, этот бог, что придумал для меня такие муки, хотя я не сделала ему ничего дурного!

Дальний свет, который Юстасия мельком заметила, покидая дедушкину усадьбу, исходил, как она и угадала, из домика Сьюзен Нонсеч. Чего Юстасия не угадала, это какому занятию предавалась в ту минуту его хозяйка. Когда Юстасия несколько раньше вечером проходила мимо ее двери, вид этой промелькнувшей фигуры, да еще почти непосредственно вслед за тем, как мальчик воскликнул: "Мама, мне так плохо!" - окончательно убедил Сьюзен, что близость Юстасии оказывает дурное влияние на болезнь ребенка.

Поэтому Сьюзен, против обыкновения, не легла спать тотчас по окончании вечерних дел. Чтобы обезвредить злые чары, которые, по ее убеждению, бедная Юстасия творила над ее ребенком, Сьюзен

прибегла к некоему измышлению суеверных умов, долженствовавшему навести бессилие, безволие и гибель на всякого человека, против которого будет направлено. Практика эта была хорошо известна на Эгдоне в те дни, да, пожалуй, не совсем вывелась и доныне.

Со свечой в руке она прошла в заднюю комнату, служившую кладовой, где среди прочей утвари стояли две больших коричневых миски, содержащих около центнера жидкого меда - весь сбор прошлого лета. На полке над мисками лежала плотная и гладкая желтая масса в форме полушария - воск того же сбора. Сьюзен сняла с полки этот ком, отрезала от него несколько тонких ломтиков, сложила их в ковш и, вернувшись в жилую комнату, поставила его на горячую золу в очаге. Как только воск размягчился до консистенции теста, она тщательно перемесила ломти. И теперь на ее лице появилось более внимательное выражение. Она продолжала разминать воск, и видно было, что она старается придать ему определенную форму - именно форму человека.

Нагревая и разминая, надрезая и скручивая, расчленяя и соединяя вновь, она через четверть часа слепила фигурку высотой в шесть дюймов и в достаточной мере похожую на женщину. Затем положила ее на стол, чтобы она застыла и отвердела. В ожидании, пока это сделается, Сьюзен взяла свечу и поднялась наверх, где лежал мальчик.

- Ты не заметил, милый, что сегодня было на миссис Юстасии, кроме темного платья?

- Красная лента на шее.

- Может, еще что вспомнишь?

- Да нет - вот только на ногах сандалии.

- Красная лента и сандалии, - повторила она про себя. Сьюзен принялась копаться в своих вещах, пока не отыскала обрывок узенькой красной ленты; его она

отнесла вниз и завязала вокруг шеи вылепленной фигурки. Потом достала пузырек с чернилами и гусиное перо из расхлябанного письменного столика у окна, зачернила ноги изображенья в тех местах, которые предположительно должны были быть закрыты туфлями, и на подъеме каждой ноги прочертила крест-накрест черные полосы, приблизительно так, как ложилась шнуровка в модных тогда туфлях-сандалиях. Наконец, голову куклы она обвязала черной ниткой, в подражание ленты для волос.

Отведя руку, она некоторое время созерцала плоды своих трудов с удовлетворением, но без улыбки. Всякий, знакомый с обитателями Эгдонской пустоши, узнал бы в этом изображении Юстасию Ибрайт.

Из своей рабочей корзинки она достала бумажку с наколотыми на нее булавками; булавки были такие, какие выделывались в старину, - длинные и желтые, с головками, имевшими склонность отваливаться при первом же употреблении. Их она со злобной энергией принялась втыкать со всех сторон в восковую фигурку - в голову, в плечи, в туловище, даже в ноги снизу сквозь подошвы, - пока не натыкала не меньше пятидесяти, так что вся кукла оцетинилась булавками.

Затем она подошла к очагу. Топливом служил торф, и высокая кучка золы, какая обычно остается от торфа, снаружи казалась темной и погасшей, но, пошевелив ее совком, Сьюзен обнаружила рдеющую алым огнем внутренность. Сверху она положила еще несколько свежих кусков торфа, взяв их из угла у печки, после чего огонь заметно оживился. Наконец, ухватив щипцами вылепленное ею изображение Юстасии, Сьюзен сунула его в самый жар и пристально следила за тем, как оно стало размягчаться и таять. Одновременно с ее губ слетали какие-то невнятные слова.

Это был поистине странный жаргон - молитва "Отче наш", читаемая сзади наперед, - обычное заклинание, когда ищут помощи у злых сил против врага. Сьюзен трижды медленно выговорила свое зловещее моление, и к концу его восковая фигурка уже значительно уменьшилась. Когда воск капал в огонь, в том месте взлетал высокий язык пламени и, обвиваясь вокруг куклы, слизывал еще часть ее состава. По временам вместе с воском сваливалась булавка и потом лежала, раскаленная докрасна, на горячих углях.

ГЛАВА VIII

ДОЖДЬ, ТЬМА И ВСТРЕВОЖЕННЫЕ ПУТНИКИ

Пока изображение Юстасии таяло и обращалось в ничто, а сама она стояла на Дождевом кургане с таким отчаянием в душе, какое существам столь юным редко доводится испытывать, Ибрайт одиноко сидел в Блумс-Энде. Он исполнил обещание, данное Томазин, послав с Фейруэем письмо жене, и теперь нетерпеливо ждал какого-нибудь звука или признака ее возвращения. Если письмо застало ее в Мистовере, самое меньшее, чего он мог ожидать, это что она пришлет ответ сегодня же и с тем же посланцем, хотя, не желая никак влиять на ее решение, он предупредил Фейруэя, чтобы тот не спрашивал ответа. Если ему что-нибудь скажут или дадут письмо, пусть немедленно его принесет; если нет, пусть идет прямо домой, не заходя сегодня в Блумс-Энд.

Но втайне Клайм лелеял более отрадную надежду. Юстасия, может быть, не станет прибегать к перу, - ведь ее обычай - делать все молча, может быть, она обрадует его неожиданным появлением у двери.

К огорчению Клайма, под вечер пошел дождь и поднялся сильный ветер. Ветер скребся и скрежетал по углам дома и щелкал по стеклу окон стекавшими с крыши каплями, словно горошинами. Клайм без устали ходил по нежилым комнатам и гасил странные звуки,

исходившие от окон и дверей, затыкая щепками щели и зазоры в оконных рамах и прижимая края свинцовых переплетов там, где в них расшатались стекла. Это была одна из тех ночей, когда расширяются трещины в стенах старых церквушек, проступают вновь древние пятна на потолках ветшающих помещичьих домов, а там, где эти пятна были величиной в ладонь, они расползаются вширь на несколько футов. Маленькая калитка в палисаде перед домом беспрестанно хлопала, то открываясь, то закрываясь, но когда Клайм в волнении выглядывал, там никого не было, как будто это проходили невидимые призраки умерших, направляясь к нему в гости.

Где-то между десятью и одиннадцатью часами, видя, что ни Фейруэй и никто другой не приходит, Клайм лег в постель и, несмотря на свои тревоги, вскоре заснул. Но сон его не был крепок, и примерно через час он вдруг проснулся от негромкого стука в дверь. Он встал и выглянул в окно. Дождь все еще лил, и под его потоками вся ширь вересковой пустоши, раскинутая перед Клаймом, издавала легкое шипенье. Было так темно, что и у самого дома ничего не было видно.

- Кто там? - крикнул Клайм.

Ему послышались легкие шаги на галерее - кто-то перешел там с одного места на другое - и еле различимый жалобный женский голос:

- Клайм, сойди же,пусти меня!

От волнения его обдало жаром.

- Это Юстасия! - прошептал он. Если так, то уж действительно неожиданное появление!

Он поспешно зажег свет, оделся, сбежал вниз. Распахнул дверь - дрожащий луч света упал на закутанную женскую фигуру. Она быстро шагнула к нему.

- Томазин! - со всей болью обманутой надежды воскликнул он. - Это Томазин?.. В такую ночь? Боже мой! Где Юстасия?

Да, это была Томазин, мокрая, испуганная, запыхавшаяся.

- Юстасия? Не знаю, Клайм, но догадываюсь, - смятенно проговорила она. - Дай я войду, сяду, тогда объясню. Там большая беда готовится - мой муж и Юстасия!

- Что, что?

- Мой муж, кажется, хочет меня бросить или еще сделать что-то ужасное не знаю что... Клайм, ради бога, пойди, посмотри!.. Мне ведь не к кому обратиться, кроме тебя. Юстасия не вернулась?

- Нет.

Она продолжала, все еще тяжело дыша:

- Он пришел сегодня часов в восемь вечера и сказал так, знаешь, небрежно: "Тамзи, я сейчас узнал, что должен буду уехать". Я спросила: "Когда?" - "Сегодня", - говорит. "А куда?" - "Этого, говорит, сейчас не могу тебе сказать, но завтра я вернусь. И стал укладывать кое-какие вещи, а на меня никакого вниманья, будто меня и нет. Я думала, он сразу уйдет, но нет, а когда стало десять часов, он говорит: "Ты ложись". Я не знала, что мне делать, и легла. Он, наверно, думал, что я заснула, потому что через полчаса пришел и отпер дубовую шкатулку, в которой мы держим деньги, когда их много скопится в доме, и достал оттуда пакет, по-моему, это были банкноты, хотя я и не знала, что они у него есть. Он, должно быть, взял их в банке, когда ездил туда на днях. Но зачем ему банкноты, если он уезжает на один день? И когда он ушел, я подумала о Юстасии и о том, что он виделся с ней вчера вечером, - я знаю, Клайм, что виделся, потому что я проследила его до полдороги, я только не сказала тебе, когда ты был у нас, не хотела, чтобы ты плохо о нем думал, я тогда не верила, что это

так серьезно. Ну, после этого я не могла оставаться в постели. Встала и оделась, а когда услышала, что он возится в конюшне, я подумала, - пойду, скажу тебе. Сошла тихонько по лестнице и побежала.

- Значит, он еще не уехал, когда ты уходила?

- Нет еще. Клайм, милый, пойди, постарайся уговорить его, чтобы не уезжал. Он не слушает, что я говорю, затыкает мне рот этими рассказами, будто он ненадолго и завтра вернется, но я не верю. А ты, мне кажется, мог бы на него повлиять.

- Хорошо, я пойду, - сказал Клайм. - Ах, Юстасия!

Томазин держала, прижав к груди, большой сверток; теперь, усевшись, она стала его разматывать, и оттуда, как орешек из скорлупы, вылупился младенец - сухой, тепленький, и, по-видимому, не заметивший ни своего ночного путешествия, ни бушующей непогоды. Томазин бегло его поцеловала и только тут заплакала, приговаривая:

- Я взяла ее с собой, потому что боялась, что с ней будет. И она, наверно, простудится и умрет, но я не могла оставить ее с Рейчл!

Клайм торопливо уложил поленья в камине, разгреб еще не успевшие погаснуть угли и раздул мехами огонь.

- Сядь поближе, обсохни, - сказал он. - Я пойду принесу еще дров.

- Нет, нет, не задерживайся из-за этого. Я сама разведу огонь. А ты иди, иди, - умоляю тебя, скорей!

Клайм побежал наверх одеться для выхода. Едва он ушел, как раздался новый стук в дверь. На этот раз нечего было надеяться, что это Юстасия, шаги, предшествующие стуку, были медленные и тяжелые. Ибрайт, думая, что это может быть Фейруэй с ответным письмом, снова сошел вниз и отпер дверь.

- Капитан Вэй? - сказал он вошедшему, с которого ручьями стекала вода.

- Моя внучка здесь? - спросил капитан.

- Нет.

- А где же она?

- Не знаю.

- Вам бы надо знать - вы ее муж.

- Видимо, только по имени, - отвечал Клайм со все растущим волнением. Похоже, она сегодня ночью собирается бежать с Уайлдивом. Я как раз хотел пойти разузнать.

- Из дому она, во всяком случае, ушла - так с полчаса тому назад. Кто это там сидит?

- Моя двоюродная сестра Томазин.

Капитан рассеянно поклонился ей.

- Надеюсь, это только побег, а не хуже, - сказал он.

- Хуже? Что может быть хуже самого худшего, что может сделать жена?

- Я слышал странную историю. Прежде чем выходить на поиски, я позвал Чарли, моего конюха. Недавно у меня пропали пистолеты.

- Пистолеты?

- Он тогда сказал, что взял их почистить. А теперь признался, что взял, потому что видел, как Юстасия чересчур внимательно на них смотрела; и потом она сказала ему, что хотела покончить с собой, и обещала больше ни о чем таком не думать, а с него взяла слово, что он будет молчать. Сомневаюсь, чтобы у нее хватило храбрости пустить в ход пистолеты, но это показывает, какие мысли ей тогда приходили в голову, а если раз пришли, так могут и опять.

- Где сейчас пистолеты? - Заперты крепко-накрепко. О, нет, больше она до них не доберется. Но есть разные способы выпустить душу из тела, не только через дырочку от пули. Из-за чего вы с ней так жестоко поссорились, что вон до чего ее довели? Видно, уж очень солоно ей пришлось. Ну, да я всегда был против этого брака, и выходит, не ошибался.

- Вы пойдете со мной? - спросил Ибрайт, не обращая вниманья на последнюю тираду капитана.

- Куда?

- К Уайлдиву. Там ее надо искать, можете не сомневаться. Тут вмешалась Томазин, все еще плача:

- Он сказал, что поедет недалеко и на один день. Но если так, зачем ему столько денег? Ох, Клайм, что с нами будет? Боюсь, моя бедная крошка, скоро ты без отца останешься.

- Ну, я уйду, - сказал Клайм, отворяя дверь на галерейку.

- Я бы пошел с вами, - нерешительно проговорил старик, - да боюсь, ноги далеко меня не унесут в такую ночь. Годы мои не маленькие. А кроме того, если их бегству помешают, она, понятно, ко мне вернется, и надо быть дома, чтобы ее принять. Одним словом, так ли, сяк ли, а в гостиницу я идти не могу. Пойду прямо домой.

- Пожалуй, это самое правильное, - сказал Клайм. - Томазин, грейся тут, сушишь, устраивайся как можешь удобнее.

С этими словами он закрыл за собой дверь и вместе с капитаном Вэем вышел из дому. У калитки они расстались: капитан пошел по средней тропе, которая вела в Мистоввер; Клайм свернул на правую дорогу по направлению к гостинице.

Оставшись одна, Томазин сняла промокшую накидку, отнесла ребенка наверх, уложила в спальне Клайма и, сойдя снова вниз, разожгла огонь пожарче и принялась сушить одежду. Пламя скоро стало взвиваться высоко в дымоход и озарять комнату, делая ее особенно уютной по контрасту с непогодой, разыгравшейся снаружи; ветер сотрясал оконные рамы и, врываясь в трубу, бормотал там что-то глухое и странное, словно пролог к трагедии.

Но Томазин только частицей сознания присутствовала в доме, ибо едва ее сердце успокоилось за девочку, теперь мирно спавшую наверху, как мысли устремились вслед за Клаймом в его ночных поисках. Она довольно долго предавалась этим мысленным блужданиям, и постепенно в ней стало нарастать чувство, что время движется невыносимо медленно. Но она все же сидела. Потом наступил момент, когда она уже и сидеть не могла и восприняла как сущее издевательство над своим терпением тот факт, что, если верить часам, Клайм едва ли даже успел добраться до гостиницы. Под конец она пошла наверх и села возле ребенка. Девочка спокойно спала, но в воображении Томазин все время вставали картины разных несчастий, какие могли совершиться у нее дома, и это преобладание воображаемого над видимым наполняло ее нестерпимой тревогой. Она не выдержала - сошла вниз и распахнула дверь. Дождь все лил, свет от свечи упал на передние капли, превращая их в сверкающие стрелы, а за ними угадывались еще сонмы других, невидимых. Выйти под такой дождь было все равно что окунуться в чуть разбавленную воздухом воду. Но чем труднее было вернуться домой, тем сильнее ей этого хотелось; все лучше, чем ожидание. "Я ведь дошла сюда, - сказала она себе, - почему бы мне не пойти обратно? Было ошибкой уходить из дому".

Она поспешно отнесла вниз ребенка, завернула его, укуталась сама и, засыпав огонь золой, во избежание несчастных случайностей, вышла на воздух. Остановившись на минуту, чтобы положить ключ на старое место за ставней, она затем повернулась лицом к громаде небесного мрака, поджидавшей ее за палисадом, и, отворив калитку, ступила в самое его нутро. Но ее воображение было так занято другим, что ночь и непогода не имели для нее страхов, кроме трудности и неудобства пути.

Вскоре она уже поднималась по долине Блумс-Энда и одолевала бугры и впадины на склоне холма. Ветер так свистал над вереском, будто радовался, что наконец выдалась ночь ему по сердцу. Иногда тропа заводила Томазин в ложбинку меж зарослей высоких и насквозь мокрых орляков, увядших, но еще не повалившихся, и они замыкали ее там, словно в пруду. Когда они были особенно высокими, она поднимала младенца себе на голову, чтобы сделать его недосягаемым для их источающих воду листьев. На более высоких и открытых местах, где ветер был резким и непрерывным, дождь летел вдоль над землей, ничуть к ней не склоняясь, так что даже невозможно было себе представить отдаленность той точки, в которой он покидал лоно облаков. Здесь от дождя не было защиты, и отдельные капли вонзались в Томазин, как стрелы в святого Себастиана. Ей удавалось избегать луж по туманной бледности, которая выдавала их присутствие, хотя рядом с чем-нибудь не столь темным, как вереск, сама эта бледность показалась бы чернотой.

Несмотря на все это, Томазин не жалела, что вышла. Для нее не таились, как для Юстасии, демоны в воздухе и злой умысел в каждом кусте и каждой ветке. Капли, которые секли ей лицо, были не скорпионами, но самым прозаическим дождем, и весь Эгдон в целом не каким-то недобрым чудищем, а просто открытой местностью. Если она чего-нибудь здесь боялась, то в пределах здравого смысла, если что ей не нравилось, то с полным основанием. Сейчас, в частности, Эгдон был для нее мокрым и ветреным местом, где очень неудобно идти, можно, если не доглядишь, потерять дорогу, да, пожалуй, еще и простудиться.

Когда хорошо знаешь тропу, держаться на ней нетрудно, ноги сами ее нащупывают; но, однажды потеряв, вновь найти невозможно. Из-за ребенка, который иногда мешал Томазин заглядывать вперед и

отвлекал ее внимание, она в конце концов сбилась с дороги. Это произошло, когда она спускалась по открытому склону, пройдя уже две трети расстояния до дому. Она не стала делать безнадежных попыток отыскать этакую ниточку, бегая вправо и влево, но пошла напрямик, положившись на свое общее знание местности, в котором даже Клайм и сами вересковые стригуны едва ли могли с ней соперничать. Наконец Томазин очутилась в лощине и стала различать сквозь дождь смутное пятно света, которое скоро приняло удлиненную форму открытой двери. Томазин хорошо знала, что никаких домов здесь нет, и через минуту поняла, что это за дверь, разглядев, как высоко она находится над землей.

- Да это же фургон Диггори Венна! - сказала она.

Ей было известно, что у Венна есть излюбленное уединенное местечко недалеко от Дождевого кургана, где он и устраивает свою штаб-квартиру, когда бывает в этой части Эгдона; и теперь она догадалась, что случайно набрела на это таинственное убежище. Попросить его, чтобы вывел ее на дорогу? Или лучше не надо? Ей так не терпелось скорее попасть домой, что она решила все же обратиться к нему, несмотря на странность ее появления перед ним в таком месте и в такое время. Но когда Томазин подошла и заглянула в фургон, оказалось, что там никого нет, хотя это, без сомнения, был фургон Венна; угли еще тлели в печурке, зажженный фонарь висел на гвозде, и пол возле двери был не сплошь мокрый, а только в пятнышках от капель, а это значило, что дверь отворили недавно.

Стоя у фургона и нерешительно заглядывая внутрь, Томазин услышала шаги, приближающиеся из темноты за ее спиной. Она обернулась и увидела знакомую фигуру в плисовой паре и красную с головы до ног; свет от фонаря падал на нее сквозь сетку дождя.

- Я думал, вы пошли вниз по склону, - проговорил он, не вглядываясь в ее лицо. - Как вы опять тут очутились?

- Диггори! - пролепетала Томазин.

- Кто вы? - продолжал Венн, все еще не разобравшись. - И отчего вы сейчас так плакали?

- Диггори! Неужели ты меня не узнаешь? - сказала она. - Ну да, конечно, я так укутана. Но ты это о чем? Я не плакала, и меня раньше тут не было.

Венн сделал еще несколько шагов и увидел наконец освещенную сторону ее фигуры.

- Миссис Уайлдив! - воскликнул он, глядя на нее во все глаза. - Вот так встреча! И ребенок тут! Да что случилось, что вы одна на пустоши в этакую ночь?

Она не смогла сразу ответить, и, не спрашивая у нее разрешения, он вскочил в фургон и, протянув ей руку, помог войти.

- Что случилось? - повторил он, когда они оба уже стояли внутри.

- Я шла из Блумс-Энда и сбилась с дороги, а мне надо скорей домой. Пожалуйста, покажи мне, где идти! Это так глупо, что я сбилась, уж мне бы надо знать Эгдон, не понимаю, как это вышло. Скорей покажи мне дорогу, Диггори, ради бога!

- Ну, покажу, конечно, да я сам пойду с вами. Но ведь вы уже были здесь, миссис Уайлдив?

- Только сейчас подошла.

- Странно. Я тут лежал и спал и дверь была заперта от непогоды, как вдруг, минут пять назад, я проснулся (у меня чуткий сон) оттого, что где-то совсем рядом женское платье по вереску прошуршало, и еще я услышал, что плачет она, эта женщина. Я встал и высунул фонарь, и как раз там, куда свет еще доставал, я увидел женщину; она отвернулась, когда свет упал на нее, и скорей, скорей пошла туда, вниз. Я повесил фонарь обратно, и любопытство меня взяло, живо оделся - и за ней, но ее уже и след простыл. Вот где я

был, когда вы подошли, ну, а потом я вас увидел и подумал, что это опять она.

- Может, из поселка кто-нибудь? Домой возвращалась?

- Нет. Слишком поздно. Да и платье по вереску как-то вроде свистело, так только от шелка бывает.

- Ну, так уже, значит, не я. У меня платье, видишь, не шелковое... Скажи, мы сейчас не где-нибудь на пути между Мистовеком и гостиницей?

- Да около того.

- А вдруг это она! Диггори, я должна сейчас же идти!

Венн не успел еще фонарь отцепить, как она уже выпрыгнула из фургона; он прыгнул следом.

- Я понесу ребенка, мэ, - сказал он. - Вы, наверно, устали.

Секунду Томазин колебалась, потом передала ребенка в руки Венна.

- Не прижимай ее слишком сильно, Диггори, - сказала она, - не сделай больно ее ручкам. И закрывай ее сверху плащом - вот так, чтобы дождь не попадал ей на личико.

- Все исполню, - с жаром отвечал Венн. - Как будто я могу сделать больно чему-нибудь, что вам принадлежит!

- Я хотела сказать - нечаянно, - поправилась Томазин.

- Ребенок-то сухой, а вы вот, кажется, промокли, - сказал охряник, когда, готовясь запереть дверь, заметил на полу кольцо из капель в том месте, где раньше стояла Томазин.

Томазин послушно шла за ним, а он двигался не спеша, сворачивал то направо, то налево, в обход более крупных кустов, временами останавливался и, прикрыв фонарь, оглядывался назад, стараясь определить положение Дождевого кургана, высившегося за ними, -

чтобы идти правильно, надо было все время иметь его у себя за спиной.

- Диггори, дождь там на ребенка не капает, ты уверен?

- Ни капли не проходит, будьте покойны. А сколько ему времени, мэм?

- Ему! - укоризненно сказала Томазин. - Неужели не видно сразу, что это девочка? Ей почти два месяца. Далеко еще до гостиницы?

- Чуть больше четверти мили.

- Ты не можешь идти немножко быстрее?

- Я боялся, что вам трудно будет за мной поспевать.

- Мне надо скорее, скорее домой. А, вон и свет в окне!

- Это не в окне. По-моему, это фонарь на двуколке.

- Ах! - воскликнула Томазин в отчаянии. - Зачем только я не пошла раньше! Дай мне ребенка, Диггори, тебе незачем идти дальше.

- Нет, я пойду с вами до конца. Между этим светом и нами трясина, вы там по шею увязнете, если я вас кругом не обведу.

- Но ведь свет в гостинице, а перед ней нет никакой трясины.

- Нет, свет пониже гостиницы - ярдов на двести - триста.

- Все равно, - торопливо сказала Томазин. - Иди на свет, а не к гостинице.

- Хорошо, - ответил Венн, покорно поворачиваясь, и, помолчав, добавил: - Сказали б вы мне все-таки, что у вас за беда стряслась. Разве я вам еще не доказал, что мне можно довериться?

- Бывает такое, чего нельзя сказать тому, кто... тому, кто... Но тут ее голос оборвался, и больше она ничего не смогла выговорить.

ГЛАВА IX

СВЕТ И ЗВУКИ СВОДЯТ ПУТНИКОВ ВМЕСТЕ

Увидев в восемь часов сигнал Юстасии, Уайлдив немедленно изготавился помогать ей в бегстве и, как он надеялся, сопровождать ее. Он был несколько взволнован, и то, как он сообщил Томазин о своей предполагаемой поездке, само по себе могло вызвать ее подозрения. Когда она легла, он собрал вещи, какие могли понадобиться в дороге, потом пошел наверх, и достал из денежной шкатулки порядочную сумму в банкнотах, которую ему авансировали на расходы, связанные с переездом, под обеспечение имуществом, во владение коим он вскоре должен был вступить.

Затем он пошел в конюшню и каретный сарай - проверить, в достаточно ли хорошем состоянии лошадь, двуколка и сбруя, чтобы выдержать дальнюю поездку. Там он провел около получаса, и когда возвращался домой, то не имел никаких сомнений в том, что Томазин мирно спит в постели. Паренька, что работал в конюшне, он отпустил, дав ему понять, что выедет утром часа в три-четыре, время необычное, но не столь странное, как полночь, на которую они сговорились с Юстаспей, так как пароход отходил из Бедмута между часом и двумя.

Наконец в доме все стихло, и ему ничего не оставалось, как только ждать. Никакими усилиями не мог он стряхнуть душевный гнет, который не переставал его мучить с последнего свиданья с Юстасией, но он надеялся, что многое в его положении можно исправить деньгами. Он уже убедил себя, что быть одновременно великодушным мужем своей кроткой жены, закрепив за ней половину своей собственности, и преданным рыцарем другой, более возвышенной женщины, разделив ее участь, - вещь вполне возможная. И хотя он намеревался буквально выполнить приказ Юстасии, то есть довести ее, куда она хочет, и там оставить, если будет на то ее воля, все же обаяние, которым она его вновь овеяла, становилось

все сильнее, и сердце его ускоренно билось, когда он предвкушал все бессилие подобных приказов перед лицом их взаимного желания уехать вместе.

Он не позволил себе долго останавливаться на этих предположениях и надеждах и без двадцати двенадцать снова тихо прошел в конюшню, запряг лошадь и зажег оба фонаря; затем, взяв лошадь под уздцы, он вывел ее и крытую двуколку со двора на одно укромное местечко у большой дороги, примерно в четверти мили от гостиницы.

Здесь Уайлдив стал ждать, слегка защищенный от дождя высокой обочиной, которая в этом месте почему-то была насыпана. Там, где свет от фонарей падал на дорогу, видно было, как ветер рывками гонит по ней шуршащий гравий и щелкающие друг о друга мелкие камешки и сметает их в кучки; потом, вдруг бросив их, ветер устремлялся в глубь пустоши и с гулом уносился сквозь кусты во тьму. Только один звук был сильнее всех этих шумов непогоды - это рев плотины о десяти затворах, возвышавшейся в нескольких ярдах оттуда - в том месте, где дорога подходила к реке, составлявшей здесь границу вересковой пустоши.

Он ждал в полной неподвижности, пока ему не стало казаться, что полночь уже наступила. У него возникло сомнение, решится ли Юстасия спускаться по холму в такую погоду, но, зная ее характер, он подумал, что, пожалуй, она все-таки пойдет.

- Бедняжка! И тут ей не везет, - пробормотал он.

Под конец он повернулся к фонарю и взглянул на часы. К удивлению своему, он увидел, что уже четверть первого. Он жалел теперь, что не поехал кружной дорогой к Мистоверу; в свое время они отвергли этот план из-за огромной длины этой дороги по сравнению с пешеходной тропкой, спускавшейся по открытому склону, - не хотелось добавочно утомлять лошадь.

В эту минуту он услышал приближающиеся шаги, по свет фонарей был направлен в другую сторону, и идущего не было видно. Шаги затихли, потом слышались снова.

- Юстасия? - тихо окликнул Уайлдив.

Идущий выдвинулся вперед, и свет упал на блестящую от дождя фигуру Клайма, которого Уайлдив сразу узнал, но сам Уайлдив, стоявший за фонарями, не был тотчас узнан Клаймом.

Клайм остановился, как бы размышляя, может ли этот ожидающий экипаж иметь какое-либо отношение к бегству его жены. Вид Ибраита мгновенно изгнал из сознания Уайлдива все здравые мысли: перед ним снова был соперник, смертельный враг, от которого Юстасию надо было уберечь во что бы то ни стало. Поэтому Уайлдив молчал в надежде, что Клайм пройдет мимо, не заговорив с ним.

Пока оба таким образом медлили, сквозь шум дождя и ветра донесся глухой звук. Характер этого звука не оставлял сомнений - это было падение тела в реку, по-видимому, где-то возле запруды.

Оба вздрогнули.

- Боже! Неужели это она? - сказал Клайм.

- Почему она? - воскликнул Уайлдив, в испуге забывший, что он до сих пор прятался.

- А, так это ты, предатель? - закричал Ибрайт. - Почему она? А потому что на прошлой неделе она чуть не покончила с собой. Присматривать за ней надо было! Бери фонарь, и скорей за мной!

Он схватил тот, что был к нему ближе, и побежал. Уайлдив не стал задерживаться, чтобы снять другой фонарь, а сразу бросился следом, напрямик через луг, немного отстав от Ибраита.

У подножья Шэдуотерской плотины был большой круглый водоем пятидесяти футов в диаметре; вода поступала в него через десять огромных затворов,

которые поднимались и опускались обычным способом - посредством лебедек. Края водоема были выложены камнем и обведены каменной стеной, чтобы не размывало берегов; но зимой сила потока бывала иногда так велика, что она подмывала и обрушивала подпорную стенку. Клайм добрался к затворам; все это сооружение сотрясалось до самых основ от быстроты течения. Внизу в водоеме ничего не было видно, кроме ходящей буграми пены. Он ступил на дощатый мостик над быстринной и, придерживаясь за перила, чтобы не снесло ветром, перешел на другой берег реки. Там он нагнулся над стеной и опустил вниз фонарь, но увидел только водоворот, образовавшийся на загибе встречного тока.

Уайлдив тем временем добежал до берега на этой стороне, и фонарь Ибрайт, роняя пятнами дрожащее сияние на поверхность водоема, осветил перед бывшим инженером низвергающиеся из затворов и затем кружащиеся внизу пенные струи. И поперек этого израненного и сморщенного зеркала воды виднелось темное тело, медленно несомое одним из обратных течений.

- О, милая! - отчаянным голосом вскричал Уайлдив и, не проявив присутствия духа даже настолько, чтобы хоть сжать пальто, бросился в кипящий водоем.

Ибрайт теперь тоже разглядел плывущее тело, хотя и неясно, и, заключив из прыжка Уайлдива, что тут еще можно спасти жизнь, сам уже готов был прыгнуть. Но в то же мгновение ему пришел в голову план, более разумный: прислонив фонарь к столбу, чтобы он стоял стоймя, Ибрайт побежал кругом к нижнему краю водоема, где не было стены, и, соскочив в воду, смело двинулся вброд к более глубокой его части. Тут дно ушло у него из-под ног, он поплыл, и течением его снесло на середину водоема, где он увидел Уайлдива, борющегося с волнами.

Пока у плотины совершались второпях все эти опрометчивые действия, Венн и Томазин пробирались сквозь нижний угол пустоши, держа направление на свет от фонарей. Они были не настолько близко, чтобы услышать плеск упавшего в воду тела, но они увидели, как фонарь вдруг снялся с места, и проследили его движение по лугу. Как только они дошли до одиноко стоящих лошади и двуколки, Венн догадался, что стряслось еще что-то новое, и поспешил за удаляющимся светом. Он шагал быстрее Томазин и к плотине пришел один.

Фонарь, прислоненный Клаймом к столбу, все еще светил на воду, и охряник заметил, что там плавает что-то неподвижное. Но руки ему связывал ребенок, и он побежал назад, навстречу Томазин.

- Возьмите, пожалуйста, ребенка, миссис Уайлдив, - быстро проговорил он. - Бегите с ней домой, разбудите конюха, и пусть пошлют сюда ко мне всех мужчин, какие живут поблизости. Кто-то упал в воду.

Томазин схватила ребенка и пустилась бегом. Когда она подбегала к двуколке, лошадь, хотя только что из конюшни, стояла совсем смирно, как будто понимая, что случилась беда. И тут Томазин впервые разглядела, чья это лошадь и экипаж. Она чуть не упала в обморок и, наверно, не смогла бы сделать и шага, если бы мысль о ребенке не заставила ее взять себя в руки. В жестоком беспокойстве, мучаясь неизвестностью, она вбежала в дом, устроила ребенка в тепле и безопасности, разбудила конюха и служанку и побежала поднимать тревогу в ближних домах.

Диггори, вернувшись к водоему, заметил, что верхние небольшие затворы сняты. Один лежал тут же, на траве; его он взял под мышку и, держа в другой руке фонарь, зашел в воду с нижнего края водоема, как это уже сделал Клайм. Как только ноги его перестали доставать дно, он лег поперек затвора; с этой

поддержкой он мог теперь сколько угодно плавать, высоко держа фонарь в свободной руке. Он несколько раз проплыл кругом всего водоема, каждый раз поднимаясь вдоль стен с одной из обратных струй и спускаясь по главному течению в середине водоема.

Сперва он ничего не мог разглядеть. Потом среди мокрого блеска водоворотов и белых комьев пены он различил перебрасываемую волнами женскую шляпку. Он осматривал воду вдоль левой стены, как вдруг почти рядом что-то вынырнуло на поверхность. Однако это была не женщина, как он ожидал, а мужчина. Охряник зажал кольцо фонаря в зубах, схватил утопающего за шиворот и, держась другой рукой за затвор, постарался попасть в самую сильную струю, которая и повлекла его вместе с затвором и утопленником вниз по течению. Как только Венн почувствовал, что его тащит по гальке в нижней части водоема, он твердо стал на ноги и побрел к берегу. В том месте, где вода была ему уже только по пояс, он оттолкнул затвор и попытался вытащить утонувшего. Это оказалось необыкновенно трудным, и причина тут же обнаружилась: ноги несчастного крепко обхватил руками другой мужчина, который до сих пор был все время под водой.

В эту минуту Венн, к своей радости, услышал бегущие шаги, и двое мужчин, которых разбудила Томазин, показались у верхнего края водоема. Они перебежали туда, где был Вени, помогли ему вынести оба, по всем признакам безжизненные, тела, расцепили их и положили рядом на траву. Венн направил свет фонаря на их лица. Тот, что вынырнул, был Ибрайт; тот, что все время оставался под водой, - Уайлдив.

- Надо еще искать, - сказал Венн. - Там где-то женщина. Достаньте шест.

Один из мужчин пошел на мостик и оторвал перила. Затем охряник и оба его помощника вошли в воду, как и раньше, с нижнего края и, соединенными усилиями

продвигаясь вперед, стали обшаривать дно от края и туда, где оно постепенно понижалось к срединной глубине. Венн не ошибся в своем предположении, что всякое затонувшее тело будет рано или поздно снесено сюда, ибо не прошли они еще и половины расстояния до середины, как шест во что-то уперся.

- Тащите на себя, - сказал Венн, и они стали подгрести это шестом, пока оно не очутилось почти у их ног.

Венн исчез под водой, затем вынырнул с охапкой мокрой ткани, облекавшей холодное тело женщины; это было все, что оставалось от несчастной Юстасии.

Когда они выбрались на берег, там уже стояла подавленная горем Томазин, склоняясь над теми двумя, что были положены здесь раньше. Подвели лошадь и двуколку к самому близкому месту на дороге, и понадобилось лишь несколько минут, чтобы погрузить всех троих. Венн вел лошадь под уздцы, другой рукой поддерживая Томазин, оба его помощника шли сзади; так они прибыли в гостиницу.

Служанка, которую разбудила Томазин, успела уже наспех одеться и растопить камин; другой служанке предоставили мирно храпеть в задней части дома. Юстасию, Клайма и Уайлдива внесли в дом и положили на ковер, ногами к огню; тотчас пустили в ход все средства оживления, какие могли вспомнить, а конюха послали за доктором. Но казалось, ни в одном из этих трех тел не оставалось даже самого слабого дыханья жизни. В это время Томазин, в которой оцепенение горя сменилось неистовой деятельностью, поднесла флакон с нюхательной солью к носу Клайма, уже тщетно испытав это средство на двух других. Он вздохнул.

- Клайм жив! - закричала она.

Через несколько минут дыханье его стало отчетливым, а Томазин снова и снова пыталась тем же способом привести в чувство мужа, но Уайлдив не

подавал признаков жизни. Были все основания думать, что и, он и Юстасия были уже за пределами досягаемости для возбуждающих ароматов. Все же и над ними неустанно трудились, пока не прибыл доктор, а затем их всех, одного за другим, перенесли наверх и уложили в согретые постели.

Венн вскоре почувствовал, что дальнейшие заботы с него сняты, и потел к выходу; ему еще и сейчас трудно было полностью осознать странную катастрофу, грянувшую над семьей, в судьбах которой он принимал такое участие. Силы Томазин, конечно, будут сломлены таким внезапным и сокрушительным ударом. Ведь нет уже в живых твердой и рассудительной миссис Ибрайт, которая помогла бы кроткой девушке пройти сквозь это испытание; и как ни расценивать, трезво рассуждая, потерю такого супруга, как Уайлдив, не подлежит сомнению, что в настоящую минуту бедняжка потрясена и повергнута в отчаяние. А так как сам он не имел никаких особых прав идти к ней и ее утешать, то и не видел основания еще чего-то дожидаться в доме, где он присутствовал только как чужой.

Снова он пересек пустошь и вернулся к своему фургону. Угли в печурке еще тлели, и все было так, как он оставил. Только теперь Венн обратил внимание на свою одежду, до того напившуюся водой, что она стала тяжелой, как свинец. Он снял ее, развесил перед огнем и лег в постель. Но какой мог быть сон, когда ему все время представлялись яркие картины смятения, царящего сейчас в доме, только что им покинутом; и, осуждая себя за то, что решился уйти, он встал, надел другое платье и снова поспешил в гостиницу. Дождь еще лил, когда он вошел в кухню. В очаге пылал огонь и возле сутились две женщины, одна из них - Олли Дауден.

- Ну как там сейчас? - шепотом спросил Венн.

- Мистеру Ибрайту лучше, но миссис Ибрайт и мистер Уайлдив, похоже, отдали богу душу. Доктор говорит, с ними все было кончено еще раньше, чем их вытащили из воды.

- Да, мне тоже так показалось, когда я их тащил. А как миссис Уайлдив?

- Да так, ничего. Очень-то хорошего ведь и ожидать нельзя. Доктор и ее велел уложить в постель; она сама-то промокла не хуже тех, что в речке побывали. Да и ты, охряник, что-то не больно сух.

- Ну, это пустяки. Я уже переоделся. Это от дождя, пока я шел.

- Иди сюда, к огню. Хозяйка сказала, чтобы тебе все давать, что тебе понадобится. И очень сокрушалась, когда узнала, что ты ушел.

Венн подвинулся ближе к камину и стал рассеянно смотреть в огонь. Пар поднимался от его башмаков и вместе с дымом исчезал в глубине камина, а он думал о тех, что лежали наверху. Двое мертвых, один едва ускользнувший из когтей смерти и еще одна - больная и осиротевшая. В последний раз он сидел у этого камина, когда разыгрывали лотерею; Уайлдив был тогда жив и здоров, Томазин с улыбкой хлопотала в соседней комнате. Ибрайт и Юстасия только что поженились, и миссис Ибрайт жила в Блумс-Энде. В то время казалось, что благополучие их прочно, еще лет на двадцать хватит. Однако из всех них только у него одного положение существенно не изменилось.

Пока он так размышлял, на лестнице послышались шага, Это была нянька; в руке она держала скатанную кучу мокрой бумаги. Она была так поглощена своим занятием, что вряд ли даже увидела Венна. Из буфета она достала несколько бечевки и натянула их поперек камина, привязывая кончик каждой к подставке для дров, которую предварительно выдвинула вперед; потом расправила скатанные бумажки и начала

прикалывать их одну за другой к веревочкам, в точности как белье для просушки.

- Что это за бумажки? - спросил Венн.

- Банкноты покойного хозяина, - отвечала она. - Нашли у него в кармане, когда раздевали.

- Значит, он нескоро думал вернуться? - сказал Венн.

- Этого мы никогда не узнаем, - сказала она.

Венну не хотелось уходить, ибо все, что было ему дорого на земле, находилось под этой крышей. А так как никто в доме в эту ночь не спал, кроме двух уснувших навеки, то не было и причины ему не оставаться. Поэтому он уселся на своем любимом месте - в каминной нише, и стал смотреть, как поднимается пар от двойного ряда подвешенных на веревочках банкнот и как они качаются взад и вперед в токе воздуха. Мало-помалу из мокрых и мягких они стали сухими и хрустящими. Тогда снова пришла нянька, отколола их и, сложив все вместе, унесла наверх. Потом с лестницы сошел доктор с видом человека, который больше ничего сделать не может; натягивая перчатки, он вышел из дому, и стук копыт его лошади вскоре затих вдали на дороге.

В четыре часа тихо постучали в дверь. Это был Чарли, которого капитан Вэй послал узнать, не слышно ли чего о Юстасии. Впустившая его служанка молча посмотрела ему в лицо, как будто не знала, что отвечать, потом, махнув рукой в сторону каминной ниши, проговорила, обращаясь к Венну:

- Пожалуйста, скажите вы ему.

Венн сказал. Единственным ответом Чарли был слабый, невнятный звук. Он стоял совсем тихо. Потом сказал срывающимся голосом:

- Я хотел бы еще раз увидеть ее.

- Это, я думаю, можно, - печально ответил Венн. - Но сейчас тебе, пожалуй, надо бы скорее пойти сказать

капитану Вэю.

- Да, да, хорошо. Только я очень бы хотел еще разок увидеть ее.

- И увидишь, - произнес за их спиной глухой голос. Вздвогнув, они обернулись и увидели тощую, бледную, почти призрачную фигуру, закутанную в одеяло, нечто подобное Лазарю, восставшему из гроба.

Это был Ибрайт. Ни Венн, ни Чарли ничего не сказали, и Клайм продолжал:

- Ты увидишь ее. Будет еще время сказать капитану, когда рассветет. Вы тоже, Диггори, наверно, хотели бы ее видеть? Она сейчас очень красива.

Венн выразил согласие тел, что молча поднялся на ноги, я вместе с Чарли они прошли следом за Ибрайтом к лестнице, где Венн снял башмаки, и Чарли сделал то же. Затем они поднялись на лестничную площадку; там горела свеча; Клайм взял ее и провел их в соседнюю комнату. Здесь он подошел к кровати и откинул простыню.

Они стояли молча, глядя на Юстасию, которая на смертном ложе затмевала все свои прежние облики. Было бы неправильно назвать ее лицо бледным, это значило бы опустить то особенное, что сейчас проявлялось в нем и было белее белизны; казалось, это лицо светится. Тонко вырезанные губы таили в уголках мягкую усмешку, как будто чувство собственного достоинства только что побудило ее умолкнуть. Вечная неподвижность сковала их в миг перехода от страсти к примирению. Темные ее волосы лежали свободнее, чем когда-либо доводилось видеть тем, кто сейчас на нее смотрел, и окружали ее лоб, как лесная чаща. Величавость, которая раньше казалась даже чрезмерной для обитательницы сельского жилища, теперь наконец обрела гармонирующий с ней фон.

Все молчали; потом Клайм закрыл ее и отвернулся.

- Теперь пойдём сюда, - сказал он.

Они зашли в альков, где на кровати поменьше лежал другой усопший Уайлдив. В его лице не было такого покоя, как у Юстасии, но и его осеняла та же светлота юности, и теперь бы всякий, глядя на него, согласился, что он был рожден для более высокой доли. Единственным, на чем отпечатлелась его недавняя борьба за жизнь, были кончики его пальцев - истертые и израненные в предсмертных попытках за что-нибудь уцепиться на каменных стенах водоема.

Ибрайт был так спокоен, он так скупко ронял слова, что Венну показалось, будто он смирился духом. Только когда они вышли из комнаты и остановились на площадке, проявилось его истинное душевное состояние. Он сказал со странной улыбкой, качнув головой в сторону комнаты, где лежала Юстасия:

- Это уже вторую женщину я убил в нынешнем году. Я многим виноват в смерти моей матери - и я главная причина смерти моей жены.

- Как? - спросил Венн.

- Я наговорил ей жестоких слов, и она ушла из дому. А я не позвал ее назад, пока не стало слишком поздно. Это мне надо было утопиться. Было бы милосердием к живым, если бы река меня поглотила, а ее вынесла на берег. Но я не могу умереть. Те, кому надо бы жить, лежат мертвые. А я вот - живу!

- Нельзя же так взваливать на себя все преступления, - сказал Венн. Этак можно сказать, что родители повинны в убийстве, которое совершил сын, потому что без них его бы не было на свете.

- Да, Венн, это верно, но вы не знаете всех обстоятельств. Если бы богу было угодно уничтожить меня, это для всех было бы лучше. Но я уже привыкаю к ужасу своего существования. Говорят, приходит время, когда человек начинает смеяться над несчастьем от долгой к нему привычки. Для меня это время, наверно, скоро настанет!

- Цель у вас всегда была хорошая, - сказал Венн. - Зачем же вы говорите такие страшные речи?

- Не страшные, нет. Только безнадежные. И больше всего я печалюсь о том, что ни человек, ни закон не могут покарать меня за то, что я сделал.

КНИГА ШЕСТАЯ

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

ГЛАВА I

НЕИЗБЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Историю гибели Юстасии и Уайлдива долго еще рассказывали по всему Эгдону и даже далеко за его пределами. Все, что было известно об их любви, преувеличивалось, искажалось, приукрашалось и переиначивалось, так что в конце концов действительность имела уже мало сходства со своей подделкой, творимой окрестными языками. Но в общем внезапная смерть не уронила достоинства ни мужчины, ни женщины. Судьба милостиво поступила с ними, одним взмахом оборвав их заблудшие жизни, вместо того чтобы, как это чаще бывает, позволить каждой медленно затухать в тусклой скудости сквозь долгие годы, приносящие только морщины, заброшенность, разрушение.

Те, кого эти события ближе всего касались, восприняли их несколько иначе. Посторонний человек мог бы во всем происшедшем увидеть просто еще один случай, о каких он слышал и раньше, но когда удар обрушивается непосредственно на вас, никакое предшествующее знание не служит подготовкой. Самая внезапность утраты вначале как-то приглушила чувства Томазин, но затем - и, казалось бы, вопреки логике - сознание, что потерянный супруг далеко не был образцом добродетели, несколько не уменьшило ее скорбь по нем. Даже наоборот, это обстоятельство словно бы украшало умершего мужа в глазах его юной

жены, как бы служило облаком, необходимым для радуги.

Но страх перед неизвестностью прошел. Кончились смутные опасения, терзавшие ее, когда она думала, что может оказаться в роли покинутой жены. Тогда грозящая беда могла быть лишь предметом глухих трепетных догадок, теперь это было нечто постигаемое рассудком, ограниченное зло. Да и главное содержание ее жизни - малютка Юстасия - была при ней. В горе Томазин было смирение, в ее отношении к миру не было вызова, а когда так бывает, это знак, что потрясенная душа склонна утихнуть.

Если бы нынешнюю печаль Томазин и дремотное спокойствие Юстасии, облекавшее ее при жизни, можно было измерить какой-то единой мерой, весьма вероятно, что показания бы сошлись. Но прежняя яркость Томазин превращала в тень то, что в более сумрачном окружении само было бы светом.

Пришла весна и успокоила ее: пришло лето и умиротворило ее; пришла осень - и она снова стала понемногу радоваться жизни, так как ее маленькая дочь росла здоровенькой и веселой и с каждым днем крепла умом и телом. Внешние обстоятельства тоже благоприятствовали Томазин. Уайлдвиг умер без завещания, и она с дочкой были единственной его родней. Когда было назначено управление имуществом, уплачены все долги и наследство после дяди, причитавшееся Уайлдвигу, официально закреплено за его вдовой, оказалось, что сумма, которую надлежало поместить в банк для пользования Томазин и ее маленькой дочери, составляет чуть поменьше десяти тысяч фунтов.

Где же ей теперь жить? Ответ напрашивался сам собой: в Блумс-Энде. Правда, старые комнаты были немногим выше, чем межпалубное пространство на фрегате, и для того, чтобы поместить новые стоячие

часы, которые Томазин перевезла из гостиницы, пришлось в одном месте понизить пол и с футляра часов снять венчавшие его красивые бронзовые шары, но зато комнат было достаточно, да и самый дом был ей мил по воспоминаниям детства. Клайм с радостью отдал почти весь дом в ее распоряжение, оставив себе только две комнаты на верху задней лестницы, и там он жил теперь, совсем отдельно от Томазин и ее трех служанок, которых она наняла, так как была теперь сама хозяйка своим деньгам и могла позволить себе такую роскошь, - жил потихоньку, занятый какими-то своими делами, предаваясь каким-то своим мыслям.

Тяжелые переживания этого года несколько изменили его внешне, но главная перемена была внутри. Можно сказать, что душа его была в морщинах. У него не было врагов, и никто его не упрекал; тем горше он упрекал сам себя.

Иногда он думал, что судьба была к нему несправедлива, и даже говорил, что перед каждым рождающимся на свет встает неразрешимая задача, и по-настоящему людям следовало бы думать не о том, как пройти по жизни со славой, а о том, как уйти из нее без позора. Но на том, с какой злой насмешкой, как безжалостно его душа и души его близких были пронзены словно ножами, он все же не останавливался мыслью слишком долго. Так бывает со всеми, кроме самых непреклонных. В своих великодушных попытках построить гипотезу, которая не унижала бы Первопричину, люди никогда не решались допустить, что моральный уровень правящей миром силы может быть ниже, чем их собственный; и даже когда они сидели и плакали на роках Вавилонских, они уже подыскивали оправдания для того гнета, который вызывал их слезы.

Таким образом, хотя утешительные слова, которые ему говорили, были бессильны, предоставленный сам

себе, он в каком-то другом, им самим избранном направлении, находил подобие душевного мира. Для человека его скромных привычек дом и унаследованные от матери сто двадцать фунтов в год полностью обеспечивали все его материальные нужды. Ибо достаток измеряется не тем, сколько человек получает, а соотношением между получением и тратой.

Он часто бродил один по пустоши, и бывало, что прошлое хватало его своей призрачной рукой и заставляло прислушиваться к своим рассказам. Тогда его воображение вновь населяло пустошь ее древними обитателями: забытые кельтские племена ходили вокруг него по своим тропам, он как будто жил среди них, заглядывал им в лица, видел, как они стояли возле курганов, разбросанных кое-где на пустоши и по сей час еще нетронутых и круглых, как в те дни, когда они только что были возведены. Те из раскрашенных варваров, которые избрали пригодные для обработки земли, по сравнению с теми, что оставили свой след здесь, были как писатели, писавшие на бумаге, по сравнению с теми, что писали на пергаменте. Их летопись давно была стерта плугом, тогда как создания этих стоят до сих пор. Однако все они жили и умерли, не подозревая о различной судьбе своих трудов. Это напоминало Клайму о том, какие непредвиденные факторы участвуют в создании бессмертия.

Снова пришла зима и с нею ветры, морозы, ручные малиновки и сверкающие звезды. В прошлом году Томазин почти не замечала смены времен года, теперь сердце ее было открыто для всех внешних влияний. Жизнь этой милой сестры, ее ребенка и ее служанок доходила до Клайма только в виде звуков сквозь деревянную переборку, когда он сидел у себя в комнатах и работал - теперь он уже мог читать книги с наиболее крупным шрифтом, - но его слух вскоре так привык к этим легким шумам, что он как будто сам

видел то, о чем они говорили. Слабое постукивание с темпом два в секунду означало, что Томазин качает колыбель; чуть слышное дремотное гуденье что она убаюкивает ребенка песенкой; хруст песка, словно между двумя жерновами, вызывал представление о тяжелых башмаках Хемфри, Фейруэя или Сэма, ступающих по каменному полу кухни; легкий юношеский шаг и веселый напев фальцетом говорил о посещении дедушки Кентла, а внезапный перерыв в его звукоизлияниях - о том, что губы его в этот момент приложились к краю кружки с домашним пивом; суэта и хлопанье дверей означали отбытие на рынок, ибо Томазин, несмотря на появившиеся у нее аристократические замашки, была до комизма экономна в расходах и старалась выгадать каждый пенс, чтобы сберечь лишний фунт для своей малютки-дочери.

Однажды летним днем Клайм, проходя по саду, остановился под окном гостиной, которое, как всегда, было открыто. Он разглядывал цветы на подоконнике; стараниями Томазин они были возвращены к жизни и вновь доведены до того состояния, в каком их оставила миссис Ибрайт. Он услышал, как слегка вскрикнула Томазин, сидевшая в это время в гостиной.

- Ох, как ты меня напугал! - сказала она кому-то, кто, видимо, только что вошел. - Я думала, это твой призрак!

Любопытство побудило Клайма подойти еще ближе и заглянуть в окно. К удивлению своему, он увидел, что в комнате стоит Диггори Венн, но уже не в обличье охряника, а до странности изменивший всю свою окраску - в белой манишке, светлом жилете с цветочками, с галстуком в синий горошек и в бутылочно-зеленом сюртуке. Странного в его внешности было только то, что она так сильно отличалась от прежней: красный цвет и все сколько-нибудь приближающиеся к нему оттенки были

тщательно изгнаны из его одежды - ибо чего больше всего опасается человек, только что бросивший тянуть лямку, как не того, что напоминает о ремесле, его обогатившем?

Клайм обогнул угол дома и вошел в комнату.

- Я так испугалась! - сказала Томазин, с улыбкой поглядывая то на Диггори, то на брата. - Никак не могла поверить, что он сам собой побелел. Прямо колдовство какое-то!

- Я еще об рождестве кончил охрой торговать, - сказал Венн. - Это ведь дело выгодное, и у меня уже довольно скопилось, чтобы снова взять на себя ту молочную ферму о полсотне коров, что отец мой держал при жизни. А я всегда думал туда вернуться, если уж стану занятие менять. Ну и вот теперь я там.

- Да как же ты белым-то стал, Диггори? - спросила Томазин.

- Постепенно, мэм.

- Ты так куда красивее, чем раньше был.

Венн, казалось, смутился, и Томазин, сообразив, что слишком вольно разговаривает с человеком, который, может быть, еще питает к ней нежные чувства, слегка покраснела.

Клайм ничего этого не заметил и добродушно добавил:

- Чем же мы теперь будем стращать Тамзину дочурку, когда ты опять стал человеком, как все люди?

- Садись, Диггори, - сказала Томазин. - Сейчас будем чай пить.

Венн сделал движение, как будто хотел идти в кухню, но Томазин сказала с шутливой повелительностью, снова принимаясь за шитье:

- Здесь, конечно, садись, с нами. А где же находится ваша ферма, мистер Венн?

- В Стиклфорде, мэм, - это две мили вправо от Олдерворта, там, где начинаются луга. Может, мистер

Ибрайт надумал бы к нам побывать? За приглашением дело не станет. А насчет чая - спасибо, но сегодня я, уж простите, не останусь, дело у меня есть на руках, надо его уладить. Завтра, видите ли, майский, праздник, и ребята из Шедуотера сговорились кое с кем из ваших соседей, чтобы майское дерево поставить здесь, на пустоши, как раз против вашего палисада, - тут такая хорошая зеленая лужайка. Фейруэй мне говорил об этом, а я сказал, что, прежде чем ставить, надо спросить разрешения у миссис Уайлдив.

- Я тут ничего не могу ни разрешать, ни запрещать, - ответила Томазин. - Наша земля только до белого тына и ни вершка дальше.

- Но, может, вам неприятно будет, когда куча народу станет выплясывать вокруг шеста перед самым вашим носом?

- Да нет, я ничего не имею против.

Венн вскоре откланялся, а Клайм, прогуливаясь вечером, дошел до дома Фейруэя. Был чудесный весенний закат, и березки, выросшие по краю эгдонских вересковых дебрей, оделись молодой листвой, нежной, как мотыльковые крылья, и прозрачной, как янтарь. Возле дома Фейруэя в стороне от дороги было открытое место, и теперь тут собралась вся молодежь, живущая поблизости. Шест положили одним концом на козлы, и девушки увивали его, начиная с верхушки книзу, полевыми цветами. Дух веселой Англии еще был жив здесь, и символические обряды, которые по традиции связывались с тем или другим временем года, свято соблюдались на Эгдоне. В сущности, в таких глухих селениях и до наших дней затаилось язычество; поклонение природе, празднества с буйным весельем, осколки тевтонского ритуала в честь богов, чьи имена давно забыты, - все это каким-то образом пережило здесь средневековую догму.

Ибрайт не стал мешать их приготовлениям и вернулся домой. И когда на следующее утро Томазин отдернула занавески в окне своей спальни, на лужайке напротив палисада уже возвышалось майское дерево, уходя верхушкой в небо. Оно выросло за одну ночь, или, вернее, за раннее утро, как бобовый стебель Джека. Томазин подняла раму, чтобы получше разглядеть украшавшие его гирлянды и букеты. Сладкий запах цветов уже разливался в воздухе, и воздух Эгдона, чистый и ничем не запятанный, донес до ее губ благоуханье от поднятого ввысь цветника, который он оведал. На самом вершине были прикреплены крест-накрест два обруча, увитые мелкими цветочками; пониже шел пояс молочно-белого боярышника; еще ниже - пояс из пролесков, потом - из первоцветов, потом - из сирени, потом - из горицвета, потом - из желтых нарциссов и так далее до самого низа. Томазин заметила их все и радовалась, что майское празднество будет происходить так близко.

После полудня на лужайке начал собираться народ, и это настолько пробудило интерес Клейма, что он даже стал поглядывать на них в одно из открытых окон в своей комнате. Немного позже Томазин вышла из двери, находившейся как раз под этим окном, и, подняв глаза, увидела брата. Она была одета гораздо наряднее, чем всегда, - такой Клайм не видал ее ни разу за все полтора года после смерти Уайлдива; да, пожалуй, и с самого дня своей свадьбы она еще не одевалась с таким старанием и так к лицу.

- Какая ты сегодня хорошенькая, Томазин! - сказал Клайм. - Это ты в честь майского дерева?

- Не совсем, - ответила она и тут же покраснела и потупилась, на что Клайм не обратил особого внимания, но тон ее все же показался ему несколько странным, тем более в обращении к нему. Или, может быть, - нет,

неужели возможно, что она надела это веселое летнее платье, чтобы понравиться ему?

Он стал припоминать, как она держалась с ним последние несколько недель, когда они часто работали вместе в саду, - точь-в-точь так же, как делали это детьми под присмотром его матери! Что, если в ее отношении к нему было не только родственное чувство, как прежде, но и нечто большее? Для Ибрайта это был серьезный вопрос; даже одна эта мысль приводила его в смятение. Вся его потребность любви, не утоленная еще при жизни Юстасии, ушла вместе с ней в могилу. Страсть посетила его поздно, в зрелые годы, и не оставила по себе столько горячего, чтобы хватило для нового костра, как могло быть в юности. Если даже допустить, что он еще способен любить, эта любовь рождалась бы медленно и трудно и оставалась бы в конце концов хилой и малорослой, как выведенный по осени птенец.

Это новое осложнение так его расстроило, что когда прибыл полный энтузиазма духовой оркестр, - что случилось около пяти часов, - и заиграл, так всколебав воздух, что, казалось, и самый дом Ибрайтов мог сдуть с места, Клайм незаметно выскользнул черным ходом, прошел через сад и заднюю калитку и скрылся. Нет, сегодня он был не в силах присутствовать при чужом веселье, как бы ему этого ни хотелось.

Добрых четыре часа никто его не видал. Когда он возвращался по той же тропке, уже пали сумерки, и все, что было кругом зеленого - трава и листья, - стало влажным от росы. Буйная музыка умолкла, но совсем ли кончилось гулянье, Клайм, подходя к дому сзади, видеть не мог, пока не прошел через половину, занимаемую сестрой, к передней двери. Тут на галерейке одна-одинешенька стояла Томазин.

Она подняла к нему укоризненный взгляд.

- Ты ушел, как раз когда началось, - сказала она.

- Да. Я почувствовал, что не могу присоединиться к их веселью. Но ты-то, конечно, пошла к ним?

- Нет.

- Но ты ведь как будто ради этого и приоделась?

- Да, но я не могла идти одна, там было столько народа. Вон и сейчас еще один ходит.

Клайм взгляделся в темно-зеленое пространство за тыном, и там возле черного силуэта майского дерева он различил смутную фигуру, лениво похаживающую взад и вперед.

- Кто это? - спросил он.

- Мистер Венн, - сказала Томазин.

- Что ж ты его не пригласила к нам, Тамзи? Он столько тебе сделал добра.

- Пойду сейчас, приглашу, - сказала Томазин и, повинувшись порыву, быстро прошла через калитку туда, где под майским деревом стоял Венн.

- Это вы, мистер Венн? - проговорила она.

Венн сильно вздрогнул - как будто до сих пор ее не замечал, хитрец! - и ответил:

- Да, я.

- Не зайдете ли к нам?

- Боюсь, я...

- Я видела, вы весь вечер танцевали, и еще с самыми хорошенькими. Не потому ли и зайти не хотите, что вам так приятно стоять здесь и вспоминать о столь счастливо проведенных часах?

- Отчасти да, - отвечал Венн нарочито сентиментальным тоном. - Но главное, почему я тут застрял, - хочу дожидаться, когда луна взойдет.

- Поглядеть на майское дерево при лунном освещении?

- Нет, поискать перчатку, которую одна из девушек тут обронила.

Томазин даже не нашла, что сказать от удивления. Если человек, которому предстояло еще пройти четыре

или пять миль до дому, вздумал задерживаться здесь по такой причине, это могло означать только одно - что он очень заинтересован в обладательнице этой перчатки.

- Ты танцевал с ней, Диггори? - спросила она, и по голосу ее было слышно, что это открытие сильно повысило ее интерес к собеседнику.

- Нет, - вздохнул он.

- И, значит, не зайдешь к нам?

- Сегодня нет, благодарю вас, мэм.

- Не дать ли вам фонарь, мистер Венн, чтобы вы могли поискать перчатку этой молодой особы?

- Да нет, спасибо, миссис Уайлдив, это совсем не нужно. Луна вот-вот взойдет.

Томазин вернулась на галерею.

- Ну что, придет он? - спросил дожидавшийся ее здесь Клайм.

- Сегодня не хочет, - бросила Томазин и прошла мимо него в дом, после чего Клайм тоже удалился в свои комнаты.

Когда он ушел, Томазин, не зажигая света, на цыпочках поднялась наверх, прислушалась у кровати, спит ли ребенок, потом прошла к окну, осторожно отвернула уголок белой занавески и стала смотреть на поляну. Венн еще был там. Несколько времени она следила, как разрастается бледное сияние на небе над восточным холмом; наконец лупа высунула там краешек и залила долину светом. Теперь Диггори был хорошо виден на лужайке; он ходил согнувшись, очевидно, просматривая траву в поисках драгоценной перчатки, все время слегка отклоняясь то вправо, то влево, так чтобы ни один фут земли не оставался необследованным.

- Смешно! - пробормотала Томазин, пытаюсь вложить всю доступную ей силу сарказма в это восклицание. - Взрослый мужчина - и разводит такие

нежности из-за какой-то перчатки! А еще почтенный фермер теперь и человек с достатком! Смотреть жалко!

Под конец Венн, по-видимому, нашел перчатку; он выпрямился и поднес ее к губам. Затем спрятал в нагрудный карман - самое близкое к сердцу местоположение в современном костюме и зашагал по вереску, пренебрегая тропинками, точно по прямой к своему далекому дому на краю лугов.

ГЛАВА II

ТОМАЗИН ГУЛЯЕТ В ЗЕЛЕННОЙ ЛОЖБИНКЕ ВОЗЛЕ РИМСКОЙ ДОРОГИ

В ближайшие дни Клайм мало видался с Томазин, а когда виделся, то замечал, что она молчаливее, чем обычно. Под конец он спросил ее, о чем она так усердно думает.

- Знаешь, я совсем с толку сбилась, - откровенно призналась она. Понять не могу, в кого это Диггори Венн так влюблен. Из тех девушек, что тут были, ни одна его не стоит, а все-таки это же одна из них!..

Клайм на минуту попытался представить себе избранницу Венны, но, не будучи особенно заинтересован в этом вопросе, снова пошел работать в сад.

К этой тайне Томазин еще некоторое время не могла найти ключа. Но однажды, одеваясь у себя в спальне для прогулки, она столкнулась с обстоятельством, которое заставило ее выйти на лестницу и крикнуть: "Рейчл!" Рейчл была молодая особа тринадцати лет от роду, чья должность состояла в том, чтобы носить ребенка гулять. Она немедленно явилась на зов.

- Рейчл, - сказала Томазин, - ты не видала где-нибудь одну из моих новых перчаток? Пару вот этой.

Рейчл молчала.

- Почему ты не отвечаешь? - спросила ее хозяйка.

- Она, наверно, потерялась, мэм.

- Потерялась? Как так? Кто ее потерял? Я эту пару всего один раз надевала.

Рейчл обнаружила все признаки крайнего смущенья и под конец расплакалась.

- Простите, мэм, ради бога, нечего мне было надеть на майское гулянье, а тут вижу, ваши лежат, ну и подумала, возьму, надену, а потом назад положу. А одна-то и потерялась. Один человек дал мне денег - купить вам другие, да мне все времени не было в город съездить.

- Какой человек?

- Мистер Венн.

- Он знал, что это моя перчатка?

- Ну да, я ему сказала.

Томазин была так поражена этим открытием, что забыла сделать девочке выговор, и та тихонько ушла. А Томазин даже не шевельнулась, только обратила взгляд к зеленой лужайке, где в тот памятный вечер возвышалось майское дерево. Она долго стояла так в раздумье, потом решила, что гулять сегодня не пойдет, а лучше возьмется наконец всерьез за то хорошенькое платьице из шотландки, которое уже давно скроила для своей дочки по самому модному фасону, но так и не удосужилась дошить. Как получилось, что, взявшись всерьез, она за два часа ничуть не подвинулась вперед в своих трудах, это, конечно, загадка, - если не вспомнить, что предшествовавшее маленькое событие было из тех, что не рукам задают работу, а голове.

На другой день она уже, как всегда, занималась домашними делами и вернулась к своему обычаю гулять по пустоши без иных спутников, кроме маленькой Юстасии, достигшей того возраста, когда эти создания еще не отчетливо понимают, как им предназначено передвигаться в этом мире - на руках или на ногах, и часто претерпевают большие неприятности, пробуя и то и другое. Томазин нравилось, унеся ребенка в какой-

нибудь укромный уголок на пустоши, давать ей возможность потренироваться в искусстве ходьбы на густом ковре из зеленого дерна и чебреца, где мягко падать вниз головой, если вдруг потеряешь равновесие.

Однажды, когда она исполняла таким образом свои тренерские обязанности и нагнулась к земле, чтобы убрать с пути ребенка веточки, стебли папоротника и прочие непреодолимые препятствия высотой в четверть дюйма, она с беспокойством увидела, что к ней чуть не вплотную подъехал всадник, чьего приближения она раньше не заметила, так как по мягкому травяному ковру лошадь ступала бесшумно. Всадник - это был Венн - помахал ей шляпой и галантно поклонился.

- Диггори, отдай мне мою перчатку, - сказала Томазин, ибо ей свойственно было при любых обстоятельствах идти прямо к делу, если оно сильно ее занимало.

Венн немедленно спешился, сунул руку в нагрудный карман и подал ей перчатку.

- Спасибо. Очень любезно с вашей стороны, что вы ее сберегли, мистер Венн.

- Очень любезно, что вы так говорите.

- Нет, я правда была очень рада, когда узнала, что она у вас. Сейчас все стали такие равнодушные, я даже удивилась, что вы обо мне подумали.

- Кабы вспомнили, каким я был раньше, так бы и не удивлялись.

- Да, - быстро сказала она. - Но мужчины с вашим характером все такие гордые.

- Какой же у меня характер? - спросил он.

- Всего я, конечно, не знаю, - скромно ответила она, - но вот, например: вы всегда скрываете свои чувства под каким-то деловым тоном и обнаруживаете их, только когда остаетесь один.

- Гм! Почему вы знаете? - выжидательно спросил Венн.

- Потому, - сказала она и приостановилась для того, чтобы свою дочку, ухитрившуюся стать на голову, снова перевернуть надлежащим концом кверху, потому, что знаю.

- Не судите по другим, всяк ведь на свой образец, - сказал Венн. - А что касается чувств - то я даже хорошенько не знаю, какие теперь бывают чувства. Все был занят делами, то одним, то другим, ну и чувства у меня вроде испарились. Да, я теперь душой и телом предан наживе. Деньги - вот моя мечта.

- Ну, Диггори, как нехорошо! - укоризненно протянула Томазин, и по ее виду никак нельзя было угадать, принимает ли она его слова за чистую монету или только за попытку ее поддразнить.

- Оно и верно, чудно, да что поделаешь, - отвечал Венн снисходительно, как человек, примирившийся со своими пороками, которых уже не в Силах преодолеть.

- Вы же раньше всегда были такой милый...

- Вот это приятно слышать, потому, чем я был раньше, тем могу снова стать. - Томазин покраснела. - Только теперь это труднее, - добавил он.

- Почему? - спросила она.

- Вы теперь богаче, чем тогда были.

- Да нет, не очень. Я почти все перевела на ребенка, как и обязана была сделать. Оставила только на прожитье.

- И я этому очень рад, - мягко сказал Венн, поглядывая на нее краешком глаза. - Потому что так нам легче дружить.

Томазин опять покраснела; и после того, как они обменялись еще несколькими словами, судя по всему приятными для обоих, Венн вскочил на коня и поехал дальше.

Этот разговор происходил в зеленой ложбинке поблизости от старой римской дороги; Томазин часто здесь бывала. И надо заметить, не стала в дальнейшем

бывать реже оттого, что однажды повстречалась там с Венном. А стал, или не стал Венн избегать этой ложбинки оттого, что однажды повстречался там с Томазин, об этом легко догадаться по тем действиям, которые она предприняла двумя месяцами позже.

ГЛАВА III

КЛАЙМ ВЕДЕТ СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР СО СВОЕЙ ДВОЮРОДНОЙ СЕСТРОЙ

Все это время Клайма не покидала мысль о его долге перед двоюродной сестрой. Он соглашался, конечно, что было бы недопустимой тратой ценного материала, если бы это нежное существо с таких еще юных лет и до конца дней своих было обречено всю бьющую в ней, как живая струя, веселость и обаяние изливать напрасно на бесчувственные папоротники и дроки. Но он оценивал все это скорее как экономист, чем как любовник. В свою страсть к Юстасии он словно бы вложил всю отпущенную ему силу любви, и больше у него не оставалось этого драгоценного качества. Вывод был ясен: нечего и думать о браке с Томазин, даже в угоду ей.

Однако была здесь и другая сторона. Когда-то давно миссис Ибрайт втайне лелеяла мечту, касавшуюся его и Томазин. Это не было желанье в точном смысле слова, а скорее именно заветная мечта, и состояла она в том, чтобы со временем и если это будет не во вред их счастью, Томазин и Клайм стали мужем и женой. Что же оставалось делать сыну, который так чтит память матери, как Клайм? Беда в том, что любая родительская прихоть, которую при их жизни мог бы развеять получасовой разговор, превращается после их смерти в непреложное веление с такими последствиями для детей, от которых родители, будь они живы, первые бы открестились.

Если бы дело шло лишь о будущем самого Ибрайта, он немедля и без колебаний сделал бы предложение

Томазин. Он ничего не терял, выполняя волю матери. Но представить себе Томазин навсегда прикованной к человеку, давно умершему как муж и любовник (ибо именно таким ощущал себя Клайм), - вот мысль, которая его страшила. Только три действия вызывали в душе его живой отклик: ежедневное посещение маленького кладбища, где покоилась его мать, почти столь же частое паломничество по вечерам к более далекому погосту, где нашла себе приют Юстасия, и, наконец, подготовка к тому призванию, которое одно, как ему казалось, могло утолить его духовную жажду, - к призванию странствующего проповедника одиннадцатой заповеди. Трудно поверить, чтобы Томазин было очень весело жить с таким мужем.

Все же надо ее спросить, рассудил он под конец; пусть сама решает. И с приятным чувством исполненного долга он спустился вниз однажды вечером, когда по долине вытянулась длинная черная тень от печной трубы, которую он несчетное число раз видал там при жизни матери.

В комнатах Томазин не было, он нашел ее в палисаднике.

- Томазин, - начал он. - Я давно хотел сказать тебе коечто, касающееся нашего с тобой будущего.

- И ты хочешь сказать это сейчас? - быстро ответила Томазин и покраснела под его взглядом. - погоди минутку, Клайм, дай сперва я, потому что как ни странно, а мне тоже давно уж нужно что-то тебе сказать.

- Хорошо. Тамзи, говори ты.

- Нас тут никто не услышит? - продолжала она, оглядываясь по сторонам и понижая голос. - Но сначала ты мне пообещай, что не рассердишься и не станешь меня бранить, если будешь несогласен с тем, что я задумала.

Ибрайт пообещал, и она пояснила.

- Мне, понимаешь, нужен твой совет, ты ведь мне родня и вроде как мой опекун, правда, Клайм?

- Гм, да, пожалуй, в некотором роде... Да, конечно, можешь считать меня своим опекуном, - сказал он, решительно не понимая, куда она клонит.

- Я собираюсь выйти замуж, - кротко сообщила Томазин. - Но я выйду только в том случае, если ты одобришь такой шаг. Почему ты молчишь?

- Прости, это так неожиданно... Но я, конечно, очень рад... И, конечно, одобряю, Тамзи, милочка. А кто же он? Не могу догадаться... Ах, нет, знаю это наш старик доктор! То есть, я вовсе не хочу сказать, что он старик, он, в конце концов, не так и стар. Да, да, я кое-что заметил - в последний раз, когда он тебя лечил!

- Нет, нет, - торопливо сказала Томазин. - Это мистер Венн.

Лицо Клайма вдруг приняло серьезное выражение.

- Ну вот, он тебе не нравится! И зачем только я об этом заговорила! воскликнула Томазин почти с раздражением. - Да я бы не стала, только он все время так пристает, я уж не знаю, что и делать!

Клайм поглядел в окно.

- Нет, мне нравится Венн, - проговорил он наконец. - Он очень честный человек, однако не без хитринки. Ну и ловок тоже, вот - сумел тебя причаровать. Но, право же, Томазин, он не совсем...

- Не совсем нашего круга, ты это хочешь сказать? Я сама так считаю. И очень жалею, что тебя спрашивала, и больше о нем думать не буду. Хотя если уж мне выходить замуж, то только за него - это я должна признать!

- Ну почему же, - заговорил Клайм, тщательно скрывая свои прежние и внезапно прерванные намерения, о которых Томазин, видимо, не догадывалась. Ты могла бы выйти за врача, или

учителя, или еще кого-нибудь в этом роде, если бы переехала жить в город и завела там знакомства.

- Не гожусь я жить в городе - я очень деревенская и совсем простушка... Ты разве не заметил?

- Замечал, когда только что приехал из Парижа, а теперь - нет.

- Это потому, что ты и сам стал немножко деревенским. Нет, я ни за что на свете не могла бы жить на городской улице! Эгдон, конечно, страшная глушь, медвежий угол, но я здесь привыкла и нигде больше не могу быть счастлива.

- Я тоже, - сказал Клайм.

- Так как же ты предлагаешь мне выходить за горожанина? Нет, что ни говори, а если уж мне за кого выходить, так только за Диггори. Он мне сделал столько добра и столько мне помогал, я даже всего не знаю! - Томазин уже как будто дулась на брата.

- Да, это все верно, - сдержанно ответил Клайм. - И я очень хотел бы сказать тебе: выходи за него. Но я не могу забыть, что об этом думала моя мать, и не могу не считаться с ее мнением. Есть много причин, почему нам следовало бы хоть теперь-то уважать ее желанья.

- Ну хорошо, - вздохнула Томазин. - Больше я ничего не скажу.

- Но ты не обязана слушаться меня. Я просто сказал, что думаю.

- Да нет, я не хочу опять быть непослушной, - печально проговорила она. - Нечего мне было думать о нем - о семье надо было подумать. Какие у меня ужасно дурные наклонности! - Губка у нее задрожала, она отвернулась, чтобы скрыть слезу.

Клайм, хотя и несколько обиженный тем, что он определял как "странный вкус" Томазин, все же испытывал облегчение от того, что вопрос о его собственном браке был снят с очереди. В ближайшие дни он из окна своей комнаты не раз видел Томазин,

уныло бродившую по саду. Он то досадовал на нее за то, что она выбрала Венна, то сердился на себя за то, что помешал счастью бывшего охряника, который ведь, в сущности, был ничем не хуже любого другого молодого эгдонца, - честный парень и какой упорный, вот сумел же он так круто повернуть свою жизнь. Короче говоря, Клайм сам не знал, что ему делать.

Когда он опять встретился с Томазин, она сказала отрывисто:

- Он теперь гораздо приличнее, чем был тогда!

- Кто? Ах да, Диггори Венн.

- Тетя возражала только потому, что он был охряником,

- Ну что ж, Томазин, может, я и правда не все об этом знаю. Тебе виднее. Так что ты уж рассуди сама.

- Ты всегда будешь думать, что я оскорбила память твоей матери.

- Нет, не буду. Я знаю, ты искренне убеждена, что если бы она видела его таким, каков он сейчас, она бы признала его подходящим мужем для тебя. Вот так я всегда и буду думать. И ты больше меня не спрашивай, а поступай, как считаешь лучше. Я со всем соглашусь.

Надо полагать, эти слова рассеяли сомнения Томазин, так как несколько дней спустя, когда Клайм забрел в такую часть пустоши, где давно не бывал, Хемфри, работавший там, сказал ему:

- Я рад, что миссис Уайлдив и Венн, видать, опять поладили.

- Вот как, - рассеянно отвечал Клайм.

- Да. И как выйдет она с дитем погулять, так он ей сейчас и попадетсЯ где-нибудь на дороге. Но я все думаю, мистер Ибрайт, вам бы надо было на ней жениться. Чего два дома затевать, где бы и одного хватило. Да вы бы и сейчас могли ее у него отбить, это я вам верно говорю, стоит вам только постараться.

- Да, а где мне взять совести жениться, когда я только что двух женщин свел в могилу? Нет, Хемфри, и не думайте об этом. После всех моих злоключений пойти в церковь и взять себе жену - это уж, знаете, на дурной бы фарс смахивало. вспомните слова Иова: "Завет я положил с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице..."

- Полноте, мистер Клайм, не грешите вы сами на себя, будто вы двух женщин в могилу свели. Нет тут вашей вины, и говорить даже так не надо.

- Хорошо, оставим это, - сказал Ибрайт. - Но как бы там ни было, а все случившееся поставило на мне клеймо, которое неважно будет выглядеть при любовном объяснении. У меня сейчас только два замысла в голове - два желанья и больше никаких. Одно - это открыть здесь вечернюю школу, другое - стать проповедником. Что вы на это скажете, Хемфри?

- Рад буду душой прийти вас послушать.

- Спасибо. Только это мне и нужно.

Пока Клайм спускался в долину, Томазин тоже спускалась в нее с другой стороны, и они встретились у калитки.

- Знаешь, что я тебе сейчас скажу, Клайм? - спросила она, задорно поглядывая на него через плечо.

- Догадываюсь, - ответил он. Она вгляделась в его лицо.

- Да, ты угадал. Это будет в конце концов. Он говорит, что пора уже мне решиться, и я тоже так думаю. Так что мы наметили на двадцать пятое будущего месяца, если ты не против.

- Делай, как ты считаешь правильным, милочка. Я могу только порадоваться, что ты опять нашла свой путь к счастью. Мы, мужчины, в долгу перед тобой за то горе, которое в прошлом тебе причинили {Автор считает нужным отметить здесь, что в его первоначальном замысле вовсе не было брака между

Венном и Томазин. Венн до самого конца сохранял свой одинокий и несколько загадочный облик, затем он таинственно исчезал в Эгдонской пустоши, и никто не мог сказать куда; Томазин оставалась вдовой. Но в силу некоторых особенностей журнального издания автору пришлось кое-что изменить. Поэтому читателям предоставляется право выбрать либо тот, либо другой конец. Возможно, что читатель, особенно требовательный в эстетическом отношении, предпочтет наиболее последовательное развитие действия и его признает истинным. (Примеч. автора.)}

ГЛАВА IV ВЕСЕЛЬЕ СНОВА УТВЕРЖДАЕТСЯ В БЛУМС-ЭНДЕ, А КЛАЙМ НАХОДИТ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ

Всякий, кто в утро, назначенное для свадьбы, проходил бы около одиннадцати часов через Блумс-Энд, отметил бы, что хотя в доме Ибрайта было сравнительно тихо, зато из жилища его ближайшего соседа, Тимоти Фейруэя, исходили звуки, говорившие об усиленной деятельности. Это был главным образом скрежет подошв по усыпанному песком каменному полу. Близ дома никого не было, кроме только одного человека, который, как видно, припозднился и теперь спешил; он торопливо подошел к двери, поднял щеколду и без дальнейших церемоний вошел.

Глазам его представилось не совсем обычное зрелище: там и сям в комнате стояли мужчины, составлявшие основную эгдонскую компанию, в том числе сам Фейруэй, дедушка Кентл, Хемфри, Христиан и еще два-три торфореза. День был жаркий, и все мужчины сняли куртки, за исключением Христиана, который никогда не расставался с малейшей частицей своей одежды в чьем-либо доме, кроме своего собственного. На тяжелом дубовом столе посреди комнаты распласталась длинная и широкая полосатая ткань, которую дедушка Кентл держал за один конец,

Хемфри за другой, а Фейруэй натирал каким-то желтым комком, весь в поту и сморщившись от усилий.

- Перину вощите, соседи? - сказал вновь пришедший.

- Да, Сэм, - коротко уронил дедушка Кентл, как человек слишком занятой, чтобы тратить много слов. - Натянуть этот угол потуже, Тимоти?

Фейруэй ответил, и работа продолжалась с неослабным усердием.

- Хорошая будет перинка, - продолжал Сэм, помолчав. - Для кого бы это, а?

- Это подарок молодоженам, им ведь теперь свое хозяйство заводить, проговорил Христиан, который стоял, свесив руки, подавленный торжественностью происходящего.

- А-а, понятно. Ну, это дорогой подарок.

- Дорога перина тем, кто гусей не держит, правда, мистер Фейруэй? сказал Христиан, обращаясь к нему, как к всеведущему оракулу.

- Да, - сказал торговец дроком, выпрямляясь и отирая мокрый лоб. Воск он передал Хемфри, который и продолжал вощение. - Не то чтобы эти двое так уж нуждались, но всегда хорошо выказать дружеские чувства людям в тот час, когда они затевают такое рискованное дело. Я, когда дочек замуж выдавал, каждой снарядил по перине, да еще и на третью в доме пера осталось. Ну, соседи, теперь уж, я думаю, мы достаточно ее навощили. Дедушка Кентл, выворачивай ее на лицо, а я стану перьями набивать.

Когда чехол был надлежащим образом вывернут и расправлен, Фейруэй и Христиан принесли огромные бумажные мешки, доверху полные перьев, но легкие, как воздушные шары, и стали вытряхивать их в подготовленное вместилище. По мере того как опорожнялись мешки, воздушные хохолки из пуха и перьев стали плавать в воздухе во все возрастающем

количестве, а потом из-за неловкого движения Христиана, который вытряхнул мешок мимо чехла, воздух в комнате совсем загустел от огромных хлопьев, оседавших на присутствующих, словно снег в безветренную погоду.

- Экой ты неуклюжий, Христиан, - строго сказал дедушка Кентл. - Право, можно подумать, что ты сын такого человека, который за всю жизнь из Блумс-Энда никуда не выезжал, так что и ума тебе неоткуда было набраться. А ведь отец твой и солдатом был. и везде побывал, а тебе все без пользы. Все равно как если б я сиднем тут сидел, ничего на свете не выдавши, как вы все тут. А ведь мне-то лихости было не занимать, расторопный был парень.

- Ох, да не принижай ты меня так, отец, я уж себе после этого не выше кегли кажусь. Ну, неудалый я, что поделаешь.

- Ну, ну, не настраивайся на такой унылый лад, Христиан, - сказал Фейруэй, - ты лучше возьми да еще попробуй.

- Да, да, пробовать надо, - отозвался дедушка Кентл, да так строго, словно он-то первый и подал этот совет. - По совести, каждый человек должен либо жениться, либо в солдаты идти. Это стыд перед народом - ни того, ни другого не сделать. Я вот, слава богу, и в том и в этом не оплошал. Ну, а кто ни возвращать мужчин, ни в землю их класть не научился, это уж значит самый никчемный, пустой бездельник.

- Выстрелов я всегда до смерти боялся, - пролепетал Христиан, - ну, а жениться - это я пробовал, сватался то за одну, то за другую, да все без толку. И сейчас есть тут усадьба, да и не одна, где мог бы мужчина, каков ни на есть, хозяйничать, ан нет, женщина одна там правит. А с другой стороны, пожалуй, и нехорошо было бы, кабы я с ней поладил, потому, видите ли, соседи, тогда бы

дома никого не осталось за отцом присматривать, чтоб он вел себя, как старику прилично.

- Да, и хлопот у тебя с этим делом немало будет, сынок, - самодовольно ответил дедушка Кентл. - Кабы только немочи разные не так меня одолевали, я б завтра же отправился сызнова свет поглядеть! Но семьдесят один год дома-то оно ничего, а для путешествия, пожалуй, многовато. Да, семьдесят один на сретенье стукнуло. Эх, кабы мне не годов, а гиней столько! - И старик вздохнул.

- Не унывай, дедушка, - сказал Фейруэй, - вытряхни еще перьев в перину и бодрись. Ты хоть и тощей, а старик крепкий, Поживешь еще, целую летопись еще про тебя напишут.

- Эх, честное слово, возьму-ка я да пойду к ним, к нашим новобрачным, сказал дедушка Кентл бодрым голосом и быстро повернувшись. - Зайду к ним вечерком и спою им свадебную. Это ж мой обычай, вы знаете. И они это примут как должно. В восемьсот четвертом очень любили, когда я пел "Там, в рощах Купидона", а я и другие знаю не хуже, а то и лучше. Вот, например:

Слышу, зовет она

Из стрельчатого окна:

"Милый, поди ко мне,

Я тебя от холодных рос укрою!"

Им же приятно будет это в такой день послушать! Право, я сейчас вспомнил, давно ведь мы хорошей песни не пели, с самого Иванова дня, когда "Ячменную жатву" исполняли. А ведь это жаль, не упражнять свой талант, когда он такой редкостный!

- Верно, верно, - сказал Фейруэй. - Теперь давайте-ка встряхнем перину. Мы сюда семьдесят фунтов отборного пера заложили, и больше, пожалуй, тик и не выдержит. А теперь неплохо бы малость выпить и закусить. Христиан, достань-ка припас из углового

буфета, если дотянешься, а я принесу кое-что, чем горло промочить.

Они сели закусывать тут же, за столом, - с перьями вокруг, над головой и под ногами, коих прежние владельцы иногда подходили к открытой двери и обиженно квохтали при виде столь большого количества своих старых одежд.

- Честное слово, я задохнусь, - сказал Фейруэй, извлекая перышко изо рта и тут же обнаружив, что в кружке у него уже плавают добрый их десяток, насыпавшийся, пока кружки разносили.

- Я уж несколько проглотил, и в одном было порядочное стебло, безмятежно отозвался Сэм из угла.

- Эй, что это? Я слышу колеса? - вскричал дедушка Кентл, вскакивая и спеша к двери. - Ну да, это они, уже вернулись, а я еще полчаса их не ждал. До чего ж быстро можно теперь обвенчаться, если уж настроился!

- О да, обвенчаться-то можно, - протяжно сказал Фейруэй, как будто еще что-то надо было прибавить, чтобы полностью выразить его мысль.

Он встал и вслед за дедушкой Кентлом пошел к двери, остальные устремились за ним. Через мгновение мимо дома прокатил крытый фаэтон, в котором сидели Венн, миссис Венн, Ибрайт и какой-то важный родственник Венна, нарочно приехавший из Бедмута ради этого случая. Фаэтон наняли в ближайшем городке, не считаясь с расстоянием и расходами, так как, по мнению Венна, на Эгдонской пустоши не было ничего достойного везти к венцу такую женщину, как Томазин, а церковь была слишком далеко, чтобы свадебная процессия могла добраться туда пешком.

Когда фаэтон проезжал мимо дома, все выбежавшие ему навстречу хором прокричали "ура" и помахали руками. При каждом движении перья и пух вылетали из их волос, рукавов и складок платья, и брелоки дедушки Кентла весело плясали в солнечных лучах, когда он

стремительно поворачивался. Кучер фаэтона свысока оглядел их; он и с новобрачными обращался несколько снисходительно, ибо чем, кроме язычников, могли быть люди, обреченные всю жизнь проводить в такой глухомани, как Эгдон? Томазин не выказала подобной гордости по отношению к стоявшим у двери поселянам, - она быстро, как птица крылом, помахала им ручкой и со слезами на глазах спросила Диггори, не следует ли им сойти и поговорить с этими добрыми людьми. Однако Венн сказал, что вряд ли это нужно, так как все соседи вечером придут к ним в гости. После этих волнений Фейруэй и все остальные вернулись к своему занятию и скоро кончили набивать и зашивать перину. Тогда Фейруэй запряг лошадь, увязал громоздкий подарок и в двуколке отправился с ним к дому Венна в Стиклфорде.

Ибрайт, выполнив во время венчания ту роль, которая, естественно, досталась ему на долю, и вернувшись затем домой вместе с новоиспеченными супругами, не был расположен принять участие в пирушке и танцах, которыми заключался вечер. Томазин очень огорчилась.

- Если бы еще я был уверен, что не помешаю вашему веселью, - сказал Клайм. - Но как бы я не оказался чем-то вроде черепа на пиру.

- Нет, нет.

- Но и помимо этого, милочка, мне бы не хотелось идти, уж ты меня не неволь. Конечно, это выходит как-то нелюбезно, но, дорогая Томазин, боюсь, мне просто тяжело будет в таком многолюдье. Я буду постоянно навещать тебя в твоём новом доме, так что не важно, если сегодня не приду.

- Ну, в таком случае я уступаю. Делай, как тебе удобней.

Клайм с облегчением удалился в свои комнаты на верхотурке и почти до самого вечера занимался тем,

что записывал главные мысли для проповеди, с которой собирался начать выполнение своего заветного плана, по крайней мере, в той его части, какая сейчас была практически осуществима. А от плана этого, как ни менялся он под давлением обстоятельств, как ни хвалили его одни и ни хулили другие, Клайм никогда не отказывался. Он снова и снова проверял и взвешивал свои убеждения и не находил причины их менять, хотя принужден был несколько упростить свои намерения. Его зрение под благотворным воздействием эгдонского воздуха значительно окрепло, но не настолько, чтобы позволить ему выполнить свой прежний широкий замысел. Но он не роптал. Оставалось еще много работы, хотя, быть может, и более скромной, во всяком случае достаточной, чтобы занять все его время и поглотить всю энергию.

Вечер близился, и звуки жизни и движения все чаще и громче доносились из нижних комнат. Беспрестанно хлопала калитка. Вечеринка должна была начаться рано, и гости собрались задолго до темноты. Ибрайт спустился по задней лестнице и вышел на пустошь другой тропинкой, не той, что шла от калитки, намереваясь побродить на воздухе, пока вечеринка не кончится, а тогда вернуться и попрощаться с Томазин и ее мужем уже перед самым их отъездом. И бессознательно он направился в сторону Мистовера по тому пути, которым шел в то роковое утро, когда услышал странный рассказ маленького сына Сьюзен.

Он не свернул к ее домишку, но поднялся на возвышенность, откуда видна была вся усадьба, когда-то бывшая родным домом Юстасии. И пока он озирает темнеющие дали, на пригорок поднялся еще кто-то. Клайм не разглядел его в сумерках и, вероятно, молча бы прошел мимо, но этот пешеход, а это был Чарли, сам узнал Клайма и заговорил с ним.

- Давно я не видел тебя, Чарли, - сказал Ибрайт. - Ты часто сюда приходишь?

- Нет, - ответил юноша, - я редко выхожу на насыпь.

- Тебя не было на майском празднике.

- Да, - сказал Чарли тем же безжизненным голосом, - мне это теперь неинтересно.

- Ты, кажется, любил мисс Юстасию, да? - мягко спросил Ибрайт. Юстасия часто рассказывала ему о романтической привязанности Чарли.

- Да, очень. Ах, если б... - Что?

- Если б вы, мистер Ибрайт, подарили мне на память какую-нибудь из ее вещиц, если, конечно, вы не против.

- С радостью, Чарли. Мне это будет очень приятно. Дай я вспомню, что у меня есть подходящего. Да пойдем к нам домой, я посмотрю.

Они вместе пошли к Блумс-Энду. Когда они подошли к палисаду, уже совсем стемнело. Ставни в доме были закрыты, так что в окна ничего не было видно.

- Обойдем кругом, - сказал Клайм. - Ко мне сейчас идти с черного хода.

Они обошли вокруг дома и в темноте поднялись по лестнице в рабочую комнату Клайма на верхнем этаже. Тут он зажег свечу, и Чарли тихонько вошел вслед за ним. Ибрайт пошарил в ящике стола и, достав пакетик в шелковой бумаге, развернул его. Внутри было два-три волнистых, черных как смоль локона, протянувшихся по бумаге, словно черные ручки. Он выбрал один, снова его завернул и подал Чарли. У того глаза наполнились слезами. Он поцеловал пакет, спрятал его в карман и проговорил дрожащим голосом:

- Спасибо вам, мистер Ибрайт, вы так добры.

- Я тебя немного провожу, - сказал Клайм.

И под веселый шум, доносившийся снизу, они спустились по лестнице. Тропинка, ведущая к калитке, проходила под самым боковым оконцем, откуда свет свечей падал на кусты. На этом оконце, заслоненном

кустами, ставни не были закрыты, так что человек, - стоя здесь, мог видеть все, что происходило в комнате, - сквозь, правда, уже позеленевшие от времени стекла.

- Что они там делают, Чарли? - спросил Клайм. - Я сегодня опять что-то хуже вижу, а стекла в этом окне уж очень мутные.

Чарли отер собственные свои глаза, затуманенные влагой, и шагнул поближе к окну.

- Мистер Венн просит Христиана спеть, - отвечал он, - а Христиан ежится в своем кресле, словно до смерти испугался такой просьбы. И вместо него сейчас запел его отец.

- Да, я слышу стариков голос, - сказал Клайм. - Стало быть, танцев не будет. А Томазин в комнате? Вон там перед свечами все мелькает кто-то похожий на нее.

- Да, это она, и вид у нее очень веселый. Вся покраснелась и смеется чему-то, что ей сказал Фейруэй. Ой!..

- Что там за шум? - спросил Клайм.

- Мистер Венн такой высокий, что ударился головой о потолочную балку, потому что подпрыгнул, когда проходил под ней. Миссис Венн испугалась, подбежала к нему, щупает ладонью, нет ли там шишки. А теперь все опять хохочут, словно ничего не случилось.

- И никто там по мне не скучает, как тебе кажется? - спросил Клайм.

- Да ни капельки. Сейчас они все подняли стаканы и пьют за чье-то здоровье.

- Может быть, за мое?

- Нет, это за мистера и миссис Венн, потому что он им в ответ говорит речь. А теперь миссис Венн встала и уходит, наверно, переодеваться.

- Так. Никто, значит, не вспомнил обо мне, и правильно. Все идет как должно, и Томазин, по крайней мере, счастлива. Не будем тут задерживаться, а то они скоро выйдут.

Он немного проводил юношу по пустоши и, вернувшись через четверть часа домой, застал Венна и Томазин уже готовых к отъезду; гости все разошлись за время его отсутствия. Новобрачные уселись в четырехколесном шарабане, который старшин скотник и постоянный подручный Венна пригнал из Стиклфорда, чтобы их отвезти. Няню с маленькой Юстасией удобно устроили на открытом заднем сиденье, а подручный Венна верхом на почтенного возраста, мерно ступающей лошадке, чьи подковы звякали, как цимбалы, при каждом шаге, замыкал шествие наподобие телохранителя прошлого столетия.

- Теперь ты остаешься опять полным хозяином своего дома, - сказала Томазин, нагибаясь с шарабана, чтобы пожелать своему двоюродному брату доброй ночи. - Боюсь, тебе будет одиноко, Клайм, после того шума, какой мы тут поднимали.

- О, это не беда, - сказал Клайм с несколько грустной улыбкой.

И новобрачные уехали и исчезли в ночной тени, а Ибрайт вошел в дом. Его встретило тиканье часов - единственный звук во всем доме, ибо ни души в нем не оставалось; Христиан, служивший Клайму за повара, камердинера и садовника, уходил спать домой, к отцу. Ибрайт сел в одно из пустых кресел и долго сидел, задумавшись. Старое кресло его матери стояло как раз напротив; в этот вечер в нем сидели те, кто едва ли даже помнил, что когда-то оно принадлежало ей. Но Клайм как будто и сейчас видел ее в этом кресле, сейчас и всегда. Какой бы она ни сохранилась в памяти других людей, для него она оставалась святой, чье сияние даже его нежность к Юстасии не могла затмить. Но на сердце у него было тяжело, оттого что мать не благословила его в день его брака, в день его сердечной радости. И дальнейшие события доказали правильность ее суждения и самоотверженность ее

забот. Надо было ее послушаться, и даже не столько ради себя, как ради Юстасии.

- Это все моя вина, - прошептал он, - о мама, мама! Дал бы бог мне сызнова прожить жизнь и перестрадать все, что вы перестрадали ради меня!

В первое же воскресенье после свадьбы Дождевой курган представлял собой необычную картину. Издали видно было только, что наверху кургана стоит неподвижная фигура, точь-в-точь как Юстасия стояла на этой одинокой вершине два с половиной года назад, с той разницей, что теперь погода была ясная и теплая, веял мягкий летний ветер, и происходило все это не в мрачных сумерках, а в светлые дневные часы. Но тот, кто поднялся бы повыше, в ближайшее соседство с курганом, тот увидел бы, что выпрямленная фигура в центре, врезающаяся в небо, на самом деле не одинока. Вокруг нее на склонах кургана полулежали или в удобных позах сидели поселяне, и мужчины и женщины. Они прислушивались к словам человека, стоявшего на кургане, - он проповедовал, а они, слушая, рассеянно подергивали веточки вереска, ощипывали папоротники или бросали камушки вниз по склону. Это была первая из ряда нравственных бесед, или Нагорных проповедей, которые затем происходили здесь каждое воскресенье, пока стояла теплая погода.

Дождевой курган Клайм выбрал по двум причинам. Во-первых, он занимал центральное место среди разбросанных кругом жилищ, во-вторых, проповедника, поднявшегося на курган, тотчас становилось видно со всех сторон, и возникновение его на вершине служило сигналом для тех, кто в это время бродил по пустоши и захотел бы прийти послушать. Проповедник стоял с непокрытой головой, и каждое дуновение ветра шевелило его волосы, поредевшие не по возрасту, так как ему было меньше тридцати трех лет. На глазах он носил козырек, лицо у него было задумчивое,

изрезанное морщинами. Но хотя эти телесные черты говорили об упадке, голос его был молод - сильный, музыкальный, волнующий. Он пояснил, что его беседы с народом будут иногда светскими, иногда религиозными, но не будут затрагивать догматов веры, а темы для проповедей он будет брать из самых разных книг. На этот раз он выбрал такую цитату:

"И царь встал ей навстречу, и преклонился перед ней, и снова сел на трон, и велел поставить седалище для царевой матери, и она воссела по правую его руку. И сказала она: "У меня есть просьба к тебе. Прошу тебя, не отказывай мне". И царь ответил: "Проси, о мать моя, тебе ни в чем не будет отказа".

Так Ибрайт в конце концов нашел свое призвание в деятельности странствующего проповедника, проводящего под открытым небом беседы на нравственные темы. И с первого же дня он неустанно трудился на этом поприще, произнося не только очень простые проповеди на Дождевом кургане и в соседних селениях, но и более сложные в других местах - со ступеней и портиков ратуш, у подножия крестов или часовен на площадях маленьких городов, у фонтанов, на эспланадах, на пристанях, с парапета мостов, в амбарах, сараях и других подобных местах в соседних уэссекских городах и деревнях. Он не касался вероисповедания и философских систем, считая, что многое можно сказать даже просто о взглядах и поступках, общих для всех хороших людей. Кто верил ему, а кто нет, кто считал его проповеди недостаточно возвышенными, кто жаловался на отсутствие у него богословской эрудиции. Были и такие, что говорили: что же и делать, как не проповедовать, тому, кто ничего другого делать не умеет. Но повсюду его встречали ласково, так как история его жизни стала широко известна.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Над романом "Возвращение на родину" Гарди работал около трех лет - с января 1876 г. по сентябрь 1878 г. В целом этот роман занял больше времени, чем любое другое произведение писателя. На то было немало причин; не последняя, вероятно, заключалась в том, что этим романом Гарди открывал новый для себя тип романа. Роман "Возвращение на родину" не только укоренен в Уэссексе (в этом отношении у него были "предшественники" - "Под деревом зеленым" и "Вдали от безумствующей толпы"), он вводит новую для писателя тему трагического столкновения героя и окружающей его среды. Это первое в ряду трагических произведений Гарди, кардинально отличающееся от всего, что было им написано до того.

В соответствии с существовавшей в те годы традицией Гарди сначала опубликовал свой новый роман в журнале. Это способствовало созданию прочной литературной репутации, а также и материальному успеху, что было совсем небезразлично для молодого автора, недавно вступившего в брак.

Поначалу Гарди предполагал издать роман в ежемесячнике "Корнхилл", однако редактор, которому он послал первые главы, отказался взять на себя какие бы то ни было обязательства до тех пор, пока не прочитает всю рукопись в целом. Его пугали взаимоотношения между Юстасией и Уайлдивом, которые, как он думал, могут стать слишком "опасными" для семейного журнала. Те же опасения, как стало известно недавно, высказал и редактор "Блэквудз Мэгезин", солидного журнала с широким кругом "респектабельных" читателей. В конце концов роман вышел в ежемесячном журнале "Белгравия", где печатался из номера в номер. Для того чтобы увидеть свой роман напечатанным в журнале, Гарди пришлось пойти на ряд текстуальных изменений, продиктованных страхом издателей перед моральными установками

викторианского общества, которое зорко следило за их соблюдением. Дж. Гибсон, изучавший текстуальную правку Гарди, называет эти исправления "уступками "миссис Гранди" (т. е. общественному мнению).

Больше всего пострадала от этих изменений Юстасия. Героини, которых с удовольствием выводили на страницах "семейных" журналов издатели, были бесконечно далеки от этой страстной мятущейся женщины. Вспомним, что в викторианском обществе женщине отводились строго определенные роли невинное дитя, чистая девушка, гений домашнего очага, гибнущая жертва и проч., ни одна из которых не подходила Юстасии. Более того, слово "страсть", даже в его применении к мужскому полу, находилось в "семейных" журналах под запретом. Что уж и говорить о героине, обладательнице волевого и страстного темперамента!

Гарди пришлось пойти на уступки издателям. Он значительно смягчил описание самой Юстасии и характера ее отношений с Уайлдивом. Лишь в издании, вышедшем в 1895 г., Гарди восстановил те изменения, которые он сделал ранее под давлением "миссис Гранди". Заметим, однако, что и эти изменения не были окончательными. В так называемом "Уэссекском издании" романов, предпринятом в 1912 г., Гарди снова идет на уступки "миссис Гранди". Приведем лишь один пример. Во всех изданиях, кроме 1895 г., Юстасия говорит об Эгдоне: "Это мой крест, моя мука и будет моей погибелью!" В издании 1895 г. она называет Эгдон своим "крестом, позором и погибелью" (конец IX главы). Гарди пришлось также изменить концовку романа (см. с. 339).

"Возвращение на родину" писалось в самое счастливое для Гарди время. В 1874 г. Гарди женился; весной 1876 г. совершил вместе с женой поездку по Европе, а по возвращении в Англию обосновался в

Дорсете, в небольшом городке Стэрминстер-Ньютон на самом берегу реки Стэр, в живописной и плодородной местности. Здесь в небольшом доме, носившем название "Риверсайд-Вилла", супруги прожили около двух лет. Здесь была создана большая часть романа. Впоследствии Гарди вспоминал об этом периоде как о "самом счастливом времени своей жизни". Критикам, пытающимся объяснить трагическое звучание романов Гарди, исходя из биографии самого писателя, следовало бы иметь это в виду.

Эгдонская пустошь, столь поэтично описанная Гарди в этом романе, находилась совсем недалеко от Стэрминстер-Ньютона, в каких-нибудь двадцати тридцати милях от него. Это была родина Гарди, те места, где он родился и провел свою юность до отъезда в Лондон. В картинах Эгдона, который значит очень много для всего замысла романа, немало собственных, и очень личных, воспоминаний самого писателя. Немало здесь и деталей, перенесенных в ткань романа прямо из жизни. Юстасия при первом своем появлении держит в руках подзорную трубу и песочные часы - то и другое хранилось как реликвия в доме Гарди. По семейной легенде эти предметы принадлежали одному из предков, морскому капитану. Юный Гарди, случалось, также пользовался ими. "Высокая белая мачта с рангоутными перекладами и прочим морским такелажем", стоящая рядом с домом капитана Вэя, деда Юстасии, заставляет вспомнить о подобных же мачтах, возвышавшихся неподалеку от родного дома Гарди, - поблизости жили старые моряки. Наконец, гадюка, укусившая миссис Ибрайт, также связана с семейным преданием о том, как, вернувшись как-то домой, мать Гарди увидела в колыбели гадюку, мирно спавшую на груди сына. Впрочем, как ни живописны эти детали, они имеют, конечно, лишь вспомогательное значение в истории Клайма Ибрайта, решившего покинуть жизнь

среди "безумствующей толпы" и посвятить себя служению своим землякам.

Н. Демурова

Стр. 27. Книга Страшного суда - большая перепись всех английских земель, проведенная по приказанию Вильгельма Завоевателя в 1086 г. В переписи указывался владелец, площадь, доходность земли, число арендаторов, количество скота и т. и.

Леланд Джон (1506-1552) - первый исследователь и собиратель английских древностей; был библиотекарем у короля Генриха VIII, а позже королевским антикваром. В 1534-1543 гг. совершил свою знаменитую поездку по Англии, собирая материал для задуманного им грандиозного труда "История и древности Англии", но не успел обработать накопленный богатейший материал, и "Путеводитель Леланда" в девяти томах был издан почти два века спустя после его смерти. Леланд ставил себе в заслугу, что он "сохранил многих хороших авторов, чьи труды иначе скорей всего были бы потеряны" во время закрытия монастырей Генрихом VIII.

Стр. 35. Пороховой заговор. - В начале царствования в Англии Якова I Стюарта (1603-1625) в обстановке обострившейся борьбы между католиками и протестантами группа дворян-католиков, недовольных недостаточно определенной позицией короля в этом вопросе и уже отчетливо враждебной позицией парламента, задумала одним ударом покончить и с парламентом и с королем, а именно: 5 ноября 1605 г., в день открытия парламента, когда на его заседании должен был присутствовать также и король, взорвать здания парламента. Пороховые бочки уже были заложены в парламентских подвалах, но по неосторожности одного из участников заговор раскрылся, и его исполнители, в частности солдат Гаи Фокс, были схвачены в тот момент, когда уже

собирались осуществить свое намерение. Впоследствии в деревнях и городках Англии этот день знаменовался народным праздником с публичным сожжением чучела Гая Фокса.

Стр. 36. Жига - старинный английский очень быстрый танец, основанный на трехдольном движении. Танец парный, у матросов сольный.

Стр. 39. Рил - разновидность жиги. Хорнпайп - английский народный танец, получивший название от хорнпайпа - народного язычкового духового инструмента, под аккомпанемент которого исполнялся.

Стр. 47. Гора Нево. - Согласно библейскому сказанию, гора, на которую Моисей взошел перед смертью и с которой он видел землю обетованную.

Стр. 77. Лотофаги - поедатели лотоса (греч.). В "Одиссее" рассказан миф о том, что люди, отведавшие лотоса, забывают прошлое.

Марш из "Аталии". - Аталня (в Библии - Гофолия) - жена Иорама, царя Иудейского, и мать Охозии, его сына и преемника. Охозия был в родстве с домом нечестивого царя Ахава и, как и тот, склонялся к культу Ваала, за что и был убит двадцати трех лет от роду и на втором году царствования по наущению пророка Елисея. Узнав о смерти сына, Гофолия из мести умертвила всех сыновей из рода Давида (которому было предсказано, что потомство его будет царствовать в Израиле) и воцарилась сама. Но самого младшего, малолетнего Ноаса, спасли и скрыли в храме. Через шесть лет он был провозглашен царем, а Гофолия убита (IV Книга Царств, гл. 11). На эту тему написана трагедия Ж. Расином, а музыка к ней - Мендельсоном.

Стр. 78. Алкиной. - Согласно греческому мифу - царь феаков на острове Схерии, внук Посейдона, мудрый великодушный правитель.

Фиц-Алан и де Вер - фамилия двух старинных английских аристократических родов.

Стр. 79. Страффорд Томас Вентворт, граф - советник Карла I, был назначен наместником Ирландии, где действовал жестоко как усмиритель, подавил беспорядки и создал боеспособную армию, что сильно беспокоило парламент, так как могло служить к укреплению позиции короля в его распрях с парламентом. Поэтому в 1641 г. парламент выдвинул против него обвинение в государственной измене, и 12 мая 1641 г. Страффорд был казнен.

Сисара - по библейскому преданию, хананеянин, который выступил со своей армией против израильтян (Книга Судей, гл. 4); Саул - первый царь Иудейский, сражался с филистимлянами, был в несогласии с пророком Самуилом, преследовал Давида и бросился на меч, когда был разбит филистимлянами. Иаков и Давид правоверные герои библейских сказаний, послушные исполнители божественных предначертаний, способствовавшие возвышению Израиля.

Стр. 93. Франклин - район в северной Канаде, за Полярным кругом, простирающийся от моря Бофорта на западе до Баффинова пролива на востоке и включающий острова Банкс, Виктория, Сомерсет, Дево и др.

Стр. 94. Фридрих Великий, воюя с очаровательной эрцгерцогиней, или Наполеон, утесняя прекрасную королеву Пруссии... - Подразумевается Мария-Терезия (1717-1780), эрцгерцогиня австрийская, старшая дочь императора Карла V, после его смерти оказавшаяся во главе Габсбургской монархии. С Фридрихом II, королем Пруссии, вела так называемую Семилетнюю войну (1756-1763 гг.), стремясь отвоевать недавно потерянную Австрией Силезию, но потерпела неудачу и Силезия осталась во владении Фридриха. Луиза, прусская королева (1776-1810), жена Фридриха Вильгельма III, была очень популярна в своей стране, примкнула к партии реформ. После битвы при Иене, где

пруссаки были наголову разбиты Наполеоном, король с семьей укрылся в Мемеле. Наполеон ставил королю крайне тяжелые условия мира, а королеву, лично просившую его о более мягких условиях, преследовал в особенности, приказывая печатать во французских газетах статьи, в которых ее называли зачинщицей войны и главной виновницей бедствий, постигших ее страну.

Стр. 96. Жена Кандавла. - Согласно греческому мифу, царь Лидии Кандавл показал своему любимому телохранителю, пастуху Гигу, свою жену обнаженной. Оскорбленная царица предложила Гигу или заплатить жизнью за дерзость, или убить Кандавла и жениться на ней. Гиг избрал последнее.

Стр. 99. Зеновия - Зеновия Септимия, вдова и преемница Одоната, правителя города-государства Пальмиры в Сирии, находившегося под протекторатом Рима. Обладая не меньше мужа военными талантами, продолжала его завоевания, значительно расширила пределы своего государства и мечтала подчинить себе самый Рим. Разбитая наголову войсками императора Аврелиана, была взята в плен и украсила собой триумф Аврелиана при его возвращении в Рим. Император подарил ей имение в Тибуре, где она вскоре и умерла.

Стр. 110. "Замок праздности" - поэма Томсона (1748), где описывается страна забвения, куда могут удалиться все усталые души и где предметы и пейзажи постоянно меняют очертания.

Стр. 134. ...у его тезки в наши дни. - Подразумевается Турция, которая в то время была в очень тяжелом положении. Неудачная война, потеря значительных территорий, восстания, постоянно возникавшие то в одном, то в другом районе, государственное банкротство, официально объявленное в 1875 г. и приведшее к тому, что была даже создана комиссия кредиторов, которая фактически вмешивалась

в распределение государственных доходов, - все это постепенно привело страну в такое состояние упадка, что слова "больной человек" стали тогда в Европе ходячим обозначением Оттоманской империи.

Стр. 145. Копье Итуриэля. - Итуриэль в "Потерянном рае" Мильтона (Песнь IV) - херувим, которому архангел Гавриил поручил найти в раю Сатану, укрывшегося среди ангелов. Когда Итуриэль коснулся Сатаны своим копьем, коего "не выносит никакой обман", Сатана подскочил и предстал в истинном своем виде.

Стр. 156. Мой ум есть царство для меня - заголовок и первая строка поэмы Эдварда Дайера (1540-1607), в которой говорится о радостях ума, превышающих все удовольствия, какие может предоставить земля.

Стр. 157. Клайв Роберт (1728-1774) -одни из видных английских колонизаторов в период завоевания Индии. Участвовал в войнах между английской и голландской Ост-Индскими компаниями, был губернатором Бенгалии, причем наградил огромное состояние. Вернувшись в Англию, получил титул лорда. Гэй Джон (1685-1732) - английский поэт и драматург, автор знаменитой "Оперы нищих". Китс Джон (1796-1821) - один из крупнейших английских поэтов.

Стр. 161. Роджерс Сэмюел (1763-1855) - второстепенный английский поэт; первый свой сборник, "Удовольствия памяти", выпустил в 1792 г., затем издал еще много сборников. Занял видное место в литературных кругах в период, когда поэтический стандарт был невысок. Узст Бенджамин (1738-1820) американский художник, живший в Англии. Норт Фредерик, лорд (1732-1792) английский государственный деятель, был премьер-министром в 1770-1782 гг.

Стр. 174. Блеклок Томас (1721-1791) - родился в бедной семье, шести месяцев от роду заболел оспой и потерял зрение, двенадцати лет начал писать стихи,

готовился стать священником и был назначен в один из шотландских приходов, но прихожане возражали из-за его слепоты, и он, получив ежегодное вспомоществование, вернулся в Эдинбург, давал уроки, написал несколько поэм, ныне забытых.

Стр. 193. Пиковые гиней - гиней эпохи Георга III (конец XVIII в.), имевшие на реверсе изображение щита, похожего на пики в картах.

Стр. 244. ...так же как поступь Ахимааса... выдала его царской страже. - Согласно библейскому преданию, на сороковом году царствования Давида в Израиле сын его Авессалом поднял против отца восстание, намереваясь занять его место. Давиду даже пришлось покинуть Иерусалим и удалиться в город Менахем. В Иерусалиме он, впрочем, оставил лазутчиками двух священников, из коих один, Садок, имел при себе связным своего сына Ахимааса. Когда высланное Давидом войско разбило восставших и военачальник Иоав послал к царю вестника, Ахимаас решил тоже побежать, чтобы самому возвестить царю о победе. Царь сидел между двух городских ворот, озирая простирающуюся перед ним равнину; в это время воин из городской стражи крикнул, что видит двух человек, бегущих вдаль, и добавил: "Я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова". И сказал царь: "Это человек хороший и идет с хорошей вестью".

Но Ахимаас, кроме вести о победе, приносит еще и трагическую весть о гибели Авессалома, которого, несмотря на его бунтарство, Давид любил больше всех других своих детей и потом горько оплакивал. Таким образом, упоминание в этом месте романа об Ахимаасе, которого узнали по походке, для читателя, хорошо знакомого с библейским преданием, становится своего рода сигналом, предвестием трагедии, надвигающейся

на миссис Ибрайт, которая тоже издали узнала своего сына по походке.

Стр. 245. Замок Угомон - в битве при Ватерлоо важный стратегический пункт. Утром 18 июня 1815 г. войска Наполеона предприняли атаку на правый фланг английской армии у замка Угомон, но нападение встретило здесь энергичный отпор и натолкнулось на укрепленную позицию.

Стр. 267. "На что дан страдальцу свет" - сокращенная цитата из Библии (Книга Иова, гл. 3), в целом виде такова: "На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою".

Стр. 269. Черная яма. - В 1756 г., во время борьбы индийских правителей против Ост-Индской компании, бенгальский набоб Сирадж уд-Доула, захватив Калькутту, заключил в военную тюрьму в форте Уильям сто сорок шесть англичан, из которых сто двадцать три в первую же ночь погибли от духоты. Эта тюрьма получила название "Калькуттской черной ямы".

Стр. 302. Фантасмагория - световые картины и изображения, получаемые с помощью оптических приспособлений.

Стр. 335. Одиннадцатая заповедь. - Как известно, основных заповедей в христианской религии всего десять. Но в Евангелии от Иоанна в уста Иисуса Христа вложены следующие слова (гл. 13. 34): "Заповедь новую даю вам, да любите друг друга". Это и есть одиннадцатая заповедь, проповедником которой собирался стать Клайм.

О. Холмская

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)